ВАЛЕНТИН СОРОКИН

ДУХ СВОБОДЫ

ВЕТЕР ВСТРЕЧИ

Глубоко вздохну и вытру слёзы —
Не тоскуй, душа моя, держись!..
Эти взгорья, речки и берёзы
Нам продлят и успокоят жизнь.

Молодость весёлая вернётся
В наши соловьиные края,
И не раз, как прежде, улыбнётся,
Нам с тобой, любимая моя!

Тихо скажет: — Не тропою жалкой
Я шагала, верная судьбе,
Нет, я серебристою русалкой
Выплыла из омута к тебе!..

И в ответ ей всполошится лето,
И такой начнётся перелёт,
Птичий звон
и ливень,
ливень света
Нам опять в ладони упадёт.

СОРОКИН Валентин Васильевич родился в 1936 году в Башкирии. Около 10 лет проработал в 1-м мартене Челябинского металлургического завода. Член Союза писателей с 1962 года. В 1965 году окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Государственной премии России, Международной премии им. М. А. Шолохова и др. Живёт в Москве.

И куда я тайно взгляд не кину,
Красоты её не миновать...
Будет тополь обнимать рябину,
Будет ветер травы целовать!

УГАСАНИЕ ИМПЕРИИ

Вколачиванье догм — безверие...
Двор
без оградки и ворот.
Ещё держалась вся империя,
Но главный умирал народ.

Захваченные территории
Не просто, а назло врагам
Тянулись к собственной истории,
К поверженным своим богам.

А в Риме речи, в Риме по́сулы
Величия нетрезвый дух.
И валят друг на друга консулы
Тоску очередных разрух.

Права господ и слуг уменьшены.
Мужчины сведены на нет,
И так рога им ставят женщины,
Что помутился белый свет!

Добро бы — хоть средь благолепия,
Под звуки арф прикрылась дверь...
Всё полудикое отребие
За первый сорт идёт теперь.

Войною хуже, чем проказою,
Отравлен мудрый лад в домах.
И римляне широкоглазые
Лежат бестрепетно в холмах.

Цари ж, места освоив злачные,
В знак благодарности судьбе
Возводят памятники мрачные
Самим себе,
самим себе!

ДОРОГОЮ ЖЕРТВ

В мире этом, грубом и нелепом,
Полном подозрений и борьбы,
Движутся, обшиты царским крепом,
В бездну одиночества гробы.

И молчит над ними в ровном блеске
Солнце, не сошедшее с небес...
Где вы, изумрудные подвески?
Где ты, пышнобокий “мерседес”?

Ложь и доллар во святые силы
Объявили, вздыбили тщету.
Глянули б на русские могилы,
Разоренье их и нищету!

В душах жизнь страданием убита.
Только киллер киллеру и рад.
Небольшая почесть — из гранита
Выситься среди кривых оград.

Всё-то нам понятно, да непросто, —
Думы прорицателей верны:
Там, где нагло попраны погосты,
Не построить божеской страны.

Тонут люди в торжище свирепом,
К храму нет намоленной тропы.
И плывут, обшиты царским крепом,
В бездну одиночества гробы.

Ну, а те, которым и не снятся
Терема услад в заморской мгле,
Промелькнут и тихо растворятся
На родной и горестной земле!..

ДУХ СВОБОДЫ

Памяти крейсера "Варяг"

Есть усталость железного хода,
В скоростях издержался металл.
Есть пределы души у народа:
Разуверился, сникнул и сдал.

О, народ мой, оратай и воин,
Пулей выбитый, взятый тюрьмой,
Ты, как море больное, спокоен, —
Только вздох и туман за кормой.

Только выплеск да свинченный ропот,
Да бунтарская хватка волны.
И не зря рулевой-недотёпа
Громко трусит твоей глубины.

За монархами в подвиге славном,
В гневе праведном,
рыцарь земли,
Осенённый заветом державным,
Ты разламывал вдрызг корабли?

На широтах в заботе отважной
Ты не сгиб среди скальных ножей,
Обворованный злой и продажной
Бандой циников и торгашей.

Но грядущего знака расплаты
Не дано миновать никому.
В недрах дрёмы родятся раскаты,
Остро молнии реют во тьму.

Дух свободы и воля свободы,
Не ломается в бурю лоза.
Запевайте о Разине, воды,
Свет высокий, буди небеса!

КАИН

Этот пьяный, жестокий урод
В межмарксистской слепой заварушке
Расстрелял православный народ,
Дом Советов подставил под пушки.

Но душа у него не поёт,
Главный киллер кровавой шумихи,
По неделям сидит он и пьёт,
Запершись от знакомых, в Барвихе.

Демократы одели прогресс
В нищету городов и окраин,
Мать кричит ему ночью с небес:
“Не отмолишь прощения, Каин!..”

Но у Каина совести нет,
Поднимает стакан, опускает
И ручей золотистых монет
Он обрубком ладони ласкает...

Будь ты проклят в сердцах и в умах,
Ты, предавший страну оголтело, —
Миллионы крестов на холмах
И на взгорьях России взлетело.

Вымирает великий народ,
Обворованный подлым законом,
Чтобы ты,
опохмельный урод,
Лицемерно тянулся к иконам!..

К УЕЗЖАЮЩИМ

Россия наша бедами объята,
Но с нами Бог и солнышко надежд.
Не предавайте Родину, ребята,
Её вам не заменит зарубеж.

Желаю вам я верности и силы
На каждый миг,
на каждый день и час.
Не предавайте братские могилы,
Защитников Отечества и нас!

Бессмысленны успехи и страданья,
Тропа судьбы и добрый звёздный свет, —
Ведь без любви к России нет призванья
И счастья нет, и человека нет.

Я никаких заветов не нарушу,
Отвергнув олигархов перелёт:

Богатый тот,
кто подвиг свой и душу
В родном краю России отдаёт.

Что в жизни нашей может быть дороже:
Банкирский шик иль воинский гранит?..
Богатый тот, кто Родине поможет
И русский меч Победы сохранит!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Вся жизнь, как череда порабощений,
И ты идёшь к начертанной судьбе.
Из всех, плохих и добрых, возвращений
Есть возвращенье главное — к себе.

И ничему уже не удивится
Душа твоя...
А молодости нет...
И только рожь звенит и серебрится,
И сквозь берёзы льётся лунный свет.

А за туманом гнутся те же дали.
Кого окликнуть?..
Ворогу на страх
Друзья, прижавшись к гривам, ускакали
И канули в погибельных ветрах.

И тот же холм, и те же избы рядом,
И вечная висит над ними пыль,
Но под твоим высокодумным взглядом
Не расцветёт красавицею быль.

Круг завершён, но опыт — не мерило,
И новый день не легче понимать,
Но ведь меня терпеньем одарила
И в грозный путь
благословила мать!

АЛЕКСАНДР ДАНИЕЛОВ

ПО ОБОИМ БЕРЕГАМ МИУ́СА

ПОВЕСТЬ

К югу от Тореза. Донбасс. 26 августа 2014

Смущение. Двусмысленность. Остаётся лишь жалеть. Срамота…

В палатке — нестерпимо. Вовсю распалилось обычное для послеполуденной степи удушающее безумство. Сквозь брезент жжёт огненным драконьим дыханием.

— Оксан, у нас ещё есть крем “Траумель”? Я искал, но, видимо, не там. Мне — не прямо уж сию минуту… но надо найти.

Оксана посмеивается смело, если не нагловато, словно уже имеет на Ольхово́го определённые права. Показывает полностью зубы, крупные, с желтизной у дёсен. Отирая рукавом халата лоб, подносит ему лоток со скальпелями, захватами и заготовленными тампонами.

— Ще е небагато. Ввэчери витдам… Вам за́раз трэба допомога, Мыкола Богдановыч? Абo сами впо́раетэся?

— Сам управлюсь. Ты б, Оксан, приготовила мне иголку. Вот это — срочно. Скоро шить буду. — На неё Ольховой старается не смотреть, притворствует: дескать, полностью сосредоточен на ключице пацана, лежащего

ДАНИЕЛОВ Александр Романович родился в 1959 г. Окончил в Москве педагогический университет, а позже — аспирантуру Академии Наук СССР/РФ. Два года после вуза служил офицером в армии. В течение почти 9 лет после защиты диссертации с начала 1990-х выезжал для преподавательской и консультационной работы в США и Западную Европу. Автор многих исследований по проблемам политики, экономики, культуры, опубликованных научными и деловыми изданиями; также выступал в ведущих отечественных/западных СМИ. Первая публикация художественной прозы — рассказа — случилась еще в армейские годы автора. В 2013 г. вышел его роман “Проходит сквозь” в издательстве “Грифон”. Живет в Москве.

на операционном, самодельном столе. Притворствует: ничего такого там нет, чтобы концентрироваться на ране.

Пацан, обозлённый, плюётся матом, но не на врача, а на того, кто полчаса назад раскалённой острой мерзостью пропорол ему над ключицей. Пуля, вероятно, вошла уже ослабевшей в лямку бронежилета, снайпер бил издалека. Чуть затронула кость, но даже не сломала, и осталась в жгуте мышцы. Выковырять такую для полевого хирурга — как свиснуть. На десять минут дел-то, вместе с дезинфекцией и зашивкой разреза.

Ольховой промазывает йодом всё плечо у подбитого перед тем, как резать:

— Делать обезболивающее или потерпишь?

В присутствии Оксаны-милашки, которую открыто хочет половина харцызского батальона (с плотоядным придыхом называя её Манюней), сегодняшний пацан, храбрясь, решает обложить и анестезию.

И хорошо, что отказался; новокаин и лидокаин заканчиваются, осталось совсем немного — лишь для самых трудных проникновений.

Кроме Оксаны к батальону прибились и другие женщины — настаивают борщи, режут сало неровными ломтями, кладя его на огурец и всё вместе на квадрат плохо пропечённого хлеба сланцево-серого оттенка. Но лишь на двоих из десятка прифронтовых муз точат зубы воины. Прежде всего, на своенравную и всегда заливающуюся смехом медсестричку, у которой даже широкий халат еле застёгивается на груди. Лезут к ней по-всякому, несмотря на её пристрастие к высмеиванию любого, пытающегося очаровать прокуренным шахтёрским шармом. Льнут и к давным-давно уехавшей в эту степь от сумгаитской резни, широкобёдрой, уже немолодой, но всё ещё завлекающей своей восточной сладостью, не переборчивой в вечерних симпатиях Тамаре Левоновне — у неё сын воюет южнее, за Раздольным, там линия обороны изменяется каждые три часа, ехать туда — самоубийство, поэтому она ждёт сына здесь, варит в пятивёдерном казане для всех острый суп из овечьих потрохов и обрезов гузки.

Когда-то тут были ещё две, почти профессионально умелые, искали спроса. Одна приехала из Черновцов, бессарабка. Звали её не то Стеллой, не то Астрой; ну, то есть, как-то не по-людски. Вторая была с востока, со станции Лубны, уже никто и не помнит её имени. Приехавшие жрицы любви, не найдя лучшей карьеры в мегаполисах, решили здесь, в скоплении оторванных от семейных радостей и забывших домашние запахи мужей хотя бы как-то заработать. И просили-то недорого. Но желающих платить им за ночь оказалось немного, всего лишь несколько, из иноземцев, не только давно, но и далеко оторвавшихся от своих домов.

* * *

Подраненного пацана сегодня принесло из разведкоманды. За ним, насколько помнит врач, закрепился какой-то модный, научно-технический позывной — Дивайс. Ещё про него рассказывают, что родом он из соседних мест — из Артёмовска как будто или Ча́сова Яра. До войны слесарил на автосервисе в районном посёлке и портил поселковых девок. А сейчас оказался незаменимым в пластунском ползанье и прожигании куммулятивными гранатами передовой брони нацгвардии (или нациков, нацистов, как по-разному их тут называют). И ещё его ценят за то, что умеет ремонтировать: сам, с пятком подсобников только на прошлой неделе наладил ход им же подбитой БРДМ днепропетровского десанта.

На вид Дивайсу не больше восемнадцати, но заматерелость его и нашитые ромбики на нагрудном кармане — по числу спалённых машин — говорят об обманчивости курносого детского лица и торчащего пшеничного клока на лбу.

Николай Ольховой старается не смотреть на ассистентку. Стыдится вчерашнего.

Как он ни противился все предыдущие дни, перетекающие в недели и месяцы, её зовущему аромату, манку́ ещё молодого, небольшого, истекаю-

щего желанием тела, как ни старался думать о доме, где осталась отчаянно любимая Ильсия, природное в нём всё-таки задавило оставшееся здравомыслие. Он ведь даже стал забывать, какая она, женщина, в прикосновении. Без малого три месяца здесь, в одичавшем донецком раздолье, сделали из него если и не животинку, не представляющую, что такое порядочность, то уж, наверняка не моралиста.

К тому же позавчера-вчера вылакали из хирурга весь запас крепости — на отладку к нему направляли и направляли; он даже запутался в счёте, сколько ранений пропустил через себя. Двадцать шесть? Или сорок шесть? Пришлось и констатировать убыль двоих, которых незачем везли, надеясь на чудо. Одного, из гражданских, дежуривших 24-го числа на ближайшем к Торезу блоке трассы, бритого под ноль пузыря, равного в диаметре что по высоте, что в ширину, убило, по-видимому, ещё там, на месте; раздробило позвоночник. Другому, слишком горбоносому для того, чтобы сойти за местного, в чёрных кудряшках густых волос на голове и спине, осколок от мины, выпущенный отступающими с высоты 277,9 или Саур-Могилы нацгвардейцами попал в печень, разорвав всё в крошево.

В починке остальных, лишь слегка подпорченных, Николай измотался так, что даже не смог озлиться, когда, в который раз, прибежал Ефрем Васильевич Колзин, хорошо упитанный, возрастной зануда из арьергардного взвода охранения — то у него палец в кровь прищемило тугим предохранителем автомата, то просил посмотреть, как стопа распухла от пореза о неведомо где торчавший гвоздь. Вчера же заявился с требованием удалить ему занозу, значительно ниже пупа, которую он схватил от дощатой стенки походного душа, при помывке.

— Я бы и сам её выковырял, — привязался Ефрем Васильевич, — но уж место больно, того, интимное. Боюсь, как бы не повредить там себе. Так ты, Айболит, уж постарайся. Аккуратненько.

Николай даже не посмотрел на место, в которое тыкал несуразный ополченец.

— Ну, раз аккуратненько, да чтобы не задеть ничего, то буду доставать тебе эту занозу согласно протокола ректального вмешательства.

— Как, говоришь? — не сообразил Колзин, о чём речь.

— Через заднепроходное отверстие! — отвернулся от него хирург, готовясь вырезать по осколку стали из подлокотья и бедра недавно принесённого ему лёгкого солдатика, уже лежащего на операционном столе со спущенными спортивными шароварами, сцепившего зубы, чтобы не стонать при Оксане…

И ближе к ночи нывшее тело и мозг потребовали у Николая отдыха. Он не чувствовал уже своим ни то, ни другое. Живот, и так с отрочества втянутый, ещё больше ввалился. По рукам с длинными тонкими пальцами фортепианного солиста вспухли бечёвки артерий.

Помня некогда полученный в ростовском окружном госпитале урок, когда раненых и умирающих везли из чеченского форшмака каждый день, он не стал глотать капсулу-энергетик, не стал бодяжить “коктейль дальнобойщика” — растворимый кофе в разогретой пепси, — а залил в глотку из мерной колбы семьдесят граммов спирта, который пока ещё был в операционной. От загнанности за прошедший день еда в него уже не лезла, поэтому сразу же сплющило, и он поплыл расплавленным воском. Но желаемое облегчение всё же пришло…

В такой полужидкой консистенции его и нашла кроха Оксана. Он не очень-то и помнил, как там оно всё начиналось, что *он* говорил, что *она* ему, просто заметил, что уже какое-то время держит в ладони её податливую правую грудь, и тычется губами в её губы. Оксана не только не противилась, но и тянула на себя. И впопыхах скинула лямки своего комбинезона…

Ну, а потом всё происходило так, как это только и может происходить в колючих пыльных зарослях за медицинской палаткой, под малярийно-белой луной — неудобно, суетливо, без радости, лишь на поводу у инстинкта.

А теперь Ольховой отворачивается от медсестрички, не умея прямо посмотреть ей в смеющиеся глаза. Играет повышенным вниманием к подраненному Дивайсу.

Узнал об Оксане много, от неё же. Болтлива оказалась… Она здесь управлялась за всю медицину ещё до его приезда. Кое-как, со средним образованием фельдшерицы, перевязывала дырки от пуль и осколков на разных частях тел бойцов Отпора, если дырки были мало значительными для областной и даже торезовской больницы; мазала ожоги, меняла повязки у продырявленных, следила, как идёт заживление. Отпаивала валокордином-диазепамом местных бабулек и нескольких оставшихся дедулек, которым уезжать было некуда и не на что — сердечные приступы теперь случались чаще, по мере ужесточения обстрелов жилья с высот, захваченных армией и сбродом "гвардейцев".

Приехала сюда в начале апреля, с запада, из житомирского захолустья, как только там бандеры стали врываться в городские и районные управы, унижать милицию и православных батюшек. Боялась и за дочь, и за себя — муж был на плотницких работах в Перми, и все в её райцентре знали, что он этим обстоятельством доволен. Но самым опасным было то, что многие знали и о её деде Лукьяне. Того, никакого не НКВДёнка, а сопливого младшего сержанта, радиста, в середине пятидесятых годов в составе неполного стрелкового полка послали бить бандер УПА по карпатским склонам Франко́вщины. Теперь бы ей деда припомнили, как припоминали всем "зра́дникам", предателям в их понимании, и ближней родне зрадника. Убить, возможно, и не убили бы, но поизмывались бы от души.

Оксана заперла на все три замка свою квартирку в панельной хрущобе и с дочкой поехала на восток — в Донецке жила одинокая мачеха мужа.

— А чого то вы, Мыкола Богдановычу, бильш на росийський мови гово́рытэ? — спрашивала она в начале лета у Ольхового, ставшего из-за причуд судьбы её непосредственным начальником. — Вы ж украйинську знайетэ.

— Знаю. Алэ цэ в мэнэ звычка, ма́буть. — Николай сдержанно разглядывал малую, но полномясую, русую дриаду, не в силах задержаться взглядом на бутылочном стекле её глаз. Она с самого же начала стала выказывать присланному хирургу свою недвусмысленную заинтересованность, что Ольхового и смущало, и злило… — Привык, — повторил он. — Я ж бо́льшую часть жизни в России прожил. Все знакомые, и по службе, и по жизни говорили по-русски, жена тоже, недоросль мой — соответственно.

— А скильки вашому хлопчику? — Оксана упорно крутилась, не боясь порезаться, перед самым его носом, таким же тонким и острым, как хирургический ланцет, плескавшийся в кипящем стерилизационном судке в углу палатки.

— Уже четырнадцать минуло.

— А мойий доньци — тильки шисть, — непонятно почему взгрустнула тогда, вздыхая. — В вас жинка руська?

— Нет, не русская. Башкирка… А это имеет для тебя значение?

— Та ни, ничо́го. То я так… Мэни нация — однаково…

Николай, ещё тогда же как-то не очень удачно попробовал шутить:

— Я смотрю, тут у вас одни лишь Оксаны. Девять на десять девочек.

Помощница заходилась тихим смехом, больше похожим на хлюпание.

— Дуже тонке наблюденье.

Ольховой тоже слегка подцеплял в ответ:

— Не "наблюденье", а "спостэрэ́дження"… Боже ж ты мой, на каком вы все языке говорите! Это ж не украинский, это гоголь-моголь. Я-то думал, что хоть у "западников" язык сохранился… Нет, везде — только суржик. У украинцев центра и востока — украино-русский. У вуйко́в (и галичан, и волынян) — украино-польский. В Закарпатье — русско-венгерско-украинский, на Буковине — украино-румынский… — он любопытствующе разглядывал тогда её форму, затаённо вымеривая взглядом ложбину между двумя надутыми полушариями, выпиравшими из ворота низко застёгнутого, не совсем чистого медицинского халата.

Сдобную плюшку Оксану ни тогда, ни позже не заинтересовывали филологические семинары: "Ну, як гово́рымо, так й гово́рымо".

После этого и выстелила понемногу за последующие месяцы Николаю всю свою предыдущую жизнь. Тот же помалкивал, в ответ не спешил де-

литься. Собственно, и условия этому не способствовали — резали и шили без остановки; в первые два месяца большой донецкой войны раненых подвозили для хирургии сутками, перепадало и сельским, особенно старикам. Потом постепенно поток стал мелеть: многих стариков или поубивали снаряды из-за полей, или их всё-таки кто-то вывез отсюда, а бойцы просто учились воевать, не пёрли больше в ура-штурм, рассредотачивались, расползались по степи вьющимися рептилиями, смотрели по сторонам, хоронились при артобстреле.

* * *

Сегодня, что необычно, кроме Дивайса пациентов нет. Так что остаётся время разобраться в не таком уж обширном лекарственном кофре, написать через телефон торопливую весть Ильсие, спросить о сыне, об их поездке в выходные за город, и отчитаться, как всегда вскользь: "У меня без изменений, самоощущение — в норме, погода тоже нормальная..." Писать это в качестве как бы поспешного, подразумеваемого извинения за вчерашнюю вольность. Словно оправдываясь перед собой.

Он и берётся нащёлкивать текст, но в палатку уже протиснулась обезьянья рожа Шлыка.

— Богданыч, тебя Голова зовёт. Если только ты не занят. Казав зайти, як время будет. Не горит. — Помолчав, показывая, что распоряжение передал, добавляет, почёсывая за ухом тыльной стороной короткой финки: — Всё хотел узнать у тебя, Богданыч: а ты сам живого пиндоса видал? Ну, хоч колы-нэбудь...

Николай недовольно откладывает телефон.

— Нет, с американцами ещё не встречался, хотя кого только не видел!.. А тебе-то какой бубновый интерес к ним?

— Та хлопци тут взялы одного. Из тербатальона "Збруч". — В отличие от правительства, которое понимало "тербатальон" или, проще, "тербат" как "территориальный", а значит — сформированный на определённой территории Украины и оплачиваемый частно, одним из влиятельных "патриотов", в ополчении Отпора расшифровывают "тер" как "террористский".

Шлык всё ещё опасно расчёсывает себе кожу у шеи:

— Взялы вояку тыхо, рта йому завьязалы. А як прынэ́слы сюды, развьязалы... — а не руський. И не укроп. Непонятно, хто такой. Думаем, шо пиндос.

— Так меня из-за него Голова зовёт?

— Ни-и, цэ я так. Шоб ориентироваться... Ты ж у нас кадровый... У ко́го ж ще спытать? — Шлык из деликатности шмыгает только одной ноздрей.

Николай так и не знает: Шлык — боевой псевдоним, как у всех тут за редким исключением, или фамилия. Боец отвязный, всегда лезет в самый ад, нациков готов давить руками (его инвалидного брата те погубили при взятии Краматорска, до кучи, не выделяя, когда саданули очередью по небольшому сходу горожан, выкрикивавшему им "позор!"). Знаменит тем, что успешен в мордобое, несмотря на миниатюрность. Брюнетик, загорелый, на цыгана похож. Высшая классность для него — не выстрелить в нацгвардейца или терба́товца, а всадить ему под скулу десантный кортик или ту же сегодняшнюю финку. Видимым осложнением после постоянных прямых соприкосновений с противником у Шлыка стало отсутствие передних зубов, что сверху, что снизу. Он этого не думает стыдиться, наоборот — дерёт горло на всех постоянно и сплёвывает через прореху. Жевать, правда, неудобно, но ничего, приспособится ещё. Молодой...

И что это Голове от хирургии могло понадобиться?

У батальонного не было времени на зелёнки-пелёнки, воевать приходилось много и по колено в останках — своих и чужих. Проваливался западный фланг, там без передыху нацики и армейская артиллерия засыпали из "ноны" 120-миллиметровыми снарядами-минами, которые в полёте выли низким бабьим воем. На левой стороне шоссе охраняемого участка не оста-

лось ни одной целой хаты. Потери бойцов были предельными; день ото дня мортиролог прирастал именами и именами. Соседи утрамбовали, казалось бы, предыдущий артдивизион врагов, но у правительства находились всё новые дивизионы, и карусель крови не останавливалась.

* * *

Николай, как уже привык, поднимает из-под хирургического стола автомат, не ходит никуда здесь без него — никому не известно, когда может понадобиться, — и, разминая шею, вращая головой, выбредает на поиски батальонного.

Патрульные на шоссе спокойно, будто с детства только и делали, что останавливали автомобили, осматривают облупленную "Ниву", давно подлежащую утилизационному прессу и двигающуюся лишь на мольбе ездока. Водитель, апатичный брюхан, которого, наверняка, сегодня стопарили через каждые три версты, безропотно показывает ополченским мальчикам все скрытые полости машины. Мальчики похожи на школьников, прогуливающих урок словесности, по непонятной моде этого свирепого времени они одеты в бронированный камуфляж, с укороченными полицейскими калашниковыми по диагонали груди.

"Гляди ж ты, уже умеют! И когда только обучились? — Ольховой ищет комбата, рассеянным зрением захватив блокпост. Двое шарят в машине, третий — сзади, контролирует водилу… Да, научишься, когда столько их сверстников тут положили ди́веры, диверсанты из тербатальонов, переодетые в станичные обноски".

Он лишь на прошлой жестокой неделе закрывал глаза одному такому, прогульщику уроков. Совсем был тот ещё по-детски нескладным, сделанным из одних лишь рёбер; удрал из дома, из мирного тыла в центре Украины, чтобы здесь, в терриконовой шахтёрской степи начать очищать, в том числе и свой тыловой пригород, от руниче́ских, совершенно не украинских символов, фигур на эмблемах и знамёнах майданов-тербатов…

Но батальонного нигде нет. И у двух музейных гаубиц, экспонатов, которые пригнали для их забытого предназначения из городского парка Славы, ныне стоящих в тенях тополей вдоль обочины, никто не знает, где комбат.

* * *

Находит Ольховой его в известной шоферам-дальномерам, по довоенному времени столовке при трассе, только что наспех приспособленной под подобие летучего штаба и склада трофейных снарядов (для отбитых у нацистов же условно современных самоходных артустановок и стационарных миномётов).

Командир батальона, собранного в мае в Харцызске, с фамилией Довга́ло, подглуховатостью и запоминающейся привычкой неприятно громко щёлкать в размышлении пружинным устройством шариковой ручки. Единственный в этом крыле движения Отпора старше Ольхового годами.

— Здоров був, Айболыт, — машет Николаю из дальнего угла столовки-склада. Пьёт тархун из зелёного пластика, недовольно кривясь: газировка тёплая и оттого гадкая — холодильник стоит отключенным, электрокабель вдоль шоссе перебило прилетевшей "ноной" уже больше двух дней назад.

— Здоров, Сэмэн Даныловыч! Да не Айболит я, сколько повторять!.. Он, как известно, по ветеринарному списку проходил. А я-то больше на людях упражняюсь, — хирург пожимает гиревую руку комбата.

Довгало, бородатый, взъерошенный, с рано поседевшими вихрами, компактный, но выносливый, чугунный, как зверь-броненосец, усаживается в стоящее в углу кресло, отвинченное с водительского места автобуса. Предлагает глазами и Николаю присесть в похожее, валяющееся у входа. В помещении ходят рядовые, уже непризывного возраста, таская с улицы ящики,

набитые патронами любой маркировки и размера и ещё с завода закукленные в промасленную обёртку заряды для ручных гранатомётов.

— Ну, як в тэбэ справы? — Комбат прикрывает ладонью зевок.

— Какие ж у меня дела? Сегодня — вообще, считай, без работы. Только одному и помог. Пульку вытащил и на память отдал. — Ольховой кладёт на пол пока не пригодившийся с утра калашников. — Может, пойти мне с вами, Данилыч, с хлопцами? Повоевать малёк, кости размять, бандер, ляхов-найманцев да разных прочих шведов полу́щить. А то я так вообще стрелять разучусь…

— Повоюешь ще, никуды те швэды от тебя не убегуть, их тут прыехало — на повну роту. — Довгало, как ставя точку в конце каждой фразы, зевает от недосыпа. — Почуваю, шо биться нам с хунтой ще долго, сука. Так долго, пока бильшисть людэй нэ зрозумие, шо там сидят ворюги и запро́данци, холуи подпиндосские, под которыми нам николы не буть, сука. Цэ не на месяцы дело… — вздыхает. — Так шо постреляешь ще.

Николай стягивает с себя куртку и вытирает ею бока — накал уходящего лета впивается в тело, в стены, в бетон цоколя, в сгоревшую до паркетного оттенка траву у крыльца.

— Ну, а вообще как у нас обстоит? Что нового? А то я кроме бинтов ничего не вижу. Совершенно выпал из контекста.

Комбат допил тархун и завидным броском зашвыривает пустую бутылку в далеко стоящий ящик с отходами и обрывками бумажного мусора.

— Та що нового? Багато чого нового, — подзадумался. — Из поганого вот шо: вчора ще четверых потеряли, сука. Особливо жаль Генге́му, то бишь Галыночку Хмару, на захвате работала в звене Скомороха. Донечанка коренная, мастер боевого самбо, красуня… Эх, даже не рожала ще… А скольких вуйко́в на той свит наладила!.. — Довгало неизвестно кому грозит пудовым кулаком. — Ще грека наш, Костаниди, тож коренный, азовський. Вёрткий був, як гюрза. А от, вбылы… По́тим ще Стёпа Поспелов. Тож боевой був. Козак! — Комбат по-украински выделяет “о” в слове. — Прыйихав до нас з Астрахани. Ще з самого начала тут… И, четвэртый, останний, а́нтал Надь. Памьятаешь такого? Мадяр. Ну, усатый, как из “Песняров”… Наш человек, хоч и латынянин по вере. Чёткий був наводчик. — Довгало горько пыхтит. — Полегли браты за курган Савур. Но зато курган мы отбили. Самый высокий тут. И трёх недель хунта его не удержала! — Победно усмехается. — Ну, шо ще з поганого?.. Нацики разбили артиллерией усю вулыцю Зубкова у Харцызськи. А ведь у городе наших бийцив николы й нэ було́. И нацики нэ мо́жуть про цэ нэ знаты. Тро́щат дома, сука, шоб у наших хлопцев голова болела за родных, оставшихся на вулице, а не за продо́вження отпору… — Снова возносится литая рука. — Тут девчата з села глядилы телек, так там хунтовськый канал “Одын плюс одын” передав, сука, шо то мы сами растро́щили город. Чуешь? Мы сами! Ну, нормально? Когда у меня в батальоне, почитай, половина з Харцызська… А наци ще одну церкву сожгли дотла — храм Ивана Кронштадтського…

Довгало щёлкает кнопкой шариковой ручки, высовывая и засовывая обратно стержень.

— Есть присказка така, деткам ка́жуть: не ешь с ножа — злым вырастешь… Так, видать, ту хунту с топора, сука, кормили.

Ольховой вытягивает ноги по полу, полулёжа в своём автобусном кресле.

— Ну, а что хорошего?

Комбат, наигравшись с ручкой, прячет её во внутренний карман камуфляжа, подальше, чтобы не сломать щёлкающую часть — ещё понадобится.

— Гарного тож немало. Драп нациков. Со всего восточного Донбасса. Наши пошли на Мариуполь, отвоевывать. Нацики обосрались с переляку, драпают так, шо тильки пыль по дороге, сука. Соседний наш батальон “Исток” обзавёлся новыми тремя, чуток подпалёнными танками — подарок от вуйков. Те бросают усё, шо не могут увезти. С утра мы перебили у них батарею “Мста-Эс”. Так шо металлолому для мартенов прибывает. — Довгало медитирует недолго и, превозмогая сон, мямлит под нос: — Тебе б, конешо, Айболыт, надо бы в город перебираться, в больницу. Там хоч какое ни

есть оборудование, медика́мент. Но, по нашим соображеньям, та больница у нациков пристреляна. Неровён час… А тут твоя палатка ничем не приметна. Так шо звыняйте, придётся пока тут.

Николай вспоминает о Шлыке:

— Да, Данилыч, мне тут твой разбойник сказал, что ты хотел что-то от меня. Что хотел-то?

Довгало потягивается у себя в углу, с усилием протирает глаза, чтобы соскрести густую, как клейстер, дрёму.

— Правыльно вин тоби сказав. Хотел… — Достаёт из кармана мобильный телефон, собираясь звонить или ожидая звонка. — Мои у Кутейниково взяли двох нацистив, з тербатальону. Сейчас везуть сюды. Когда доберутся — Бог знае. На дорогах-то неспокийно… У одного з нацев, старшого, ногу страшно порвало, даже ступать не може. Так ты готовься его брать к себе. Надо, шоб с ногой остался. Важный овощ. Продезинфицируй или ещё шо… Ну, шоб гангрены, там, не завелось, или… не знаю.

— Посмотрю, Семён Данилыч. За мной не встанет. Это ж моя специализация: микрофлора мышечных ран, раздробленные коленные чашечки, раневые инфекции, переломы шейки бедренной кости. Особенно люблю сдвиг межпозвонковых дисков и иные прелестные вещи, — удовлетворяется Ольховой, узнав, зачем был нужен комбату.

— А ты, видать, сьогодни в гарном настрое, — отпускает его, наконец, Довгало. — Вообще-то, не в моих прынципах из тербатальонов у плен брать. Это тебе не армейцы и даже не нацгвардия, люди подневольные, бильшисть которых насильно прызвана, особлыво солдатство… Ни-и, в тербатах — тильки инициативники. Или просто за бабки, и большие, или ще к тому ж и идейны нацисты, для которых мы усе — и российские, и украйинци, шо хотят оставаться з Россиею, — усе колорады, вата, ватники… Они нас в плен не беруть, кату́ють, казнять. И я их не беру. Як правило… Но эти двое, шо до нас зараз везуть, нужны. Здо́рово нужны. Так шо ты, Айболыт, почини мне раненого. Шоб до ампутации ноги, сука, не дошло…

Червона Слобода у Черкасс. 19 мая 2014

Не хотела Светка спокойно сидеть на колене Борятьева. Ну, вот не хотела, и всё! Крутилась, пыталась соскользнуть на пол, убежать. Не понимала, отчего папка так крепко обнимает её, гладит ей всё время волосы и целует в затылок. Ей хотелось на проулок, побегать с Гарпушей из соседского двора, попрятаться в лопухах за дровяным сараем, погонять кур с огорода — они так смешно разбегались с кликушеством от брошенной в них ветки, так смешно лопотали…

Но папка не отпускал. Приходилось терпеть в такую жару его горячие руки.

— Ну, шо ж ты всё прыгаешь, скаже́нна! — мимоходом укоряла её бабушка, накрывая стол на веранде. — Батько прыйихав, а ты даже сэкундочки нэ можешь посыдиты з ным по́руч. Ось уйидэ, будешь сумуваты за ным.

— Да не надо грустить по мне, — Борятьев отмахнулся. — Я ж живой. Уеду, приеду, снова уеду, и снова приеду… Ладно, иди, играй.

Нехотя отпустив вертлявую дочку во двор, посмотрев ей вслед, он повернулся к тёще.

— Стефания Петровна, спасибо вам за Светланку. Если б не вы, я б уже и не знал, как мне ехать. Наверное, и не поехал бы… А так…

Достал из кармана конверты.

— Здесь мои бумаги на вклад в “УкрСвитБанке”, а здесь — полная на вас доверенность, Петровна. На всё, что у меня есть. Не Бог весть что, но всё-таки…

Тёща, казалось, не обращала внимания на его меркантильные заботы, продолжая ставить на клеёнку тарелки с оладьями, только что с огня, чашки, сметану, колбасу, наскоро нарубленный салат.

— Та го́ди, чого там! Бог дасть — не помрэмо. В мэнэ пэнсия, яка нэ яка… Хоча́, краще не йихав бы ты, Евгэн. Всэ ж батько для дивчинки

важни́ше, ниж бабка… То йийи старший брат уйихав кудысь, тэпэр ты… Я вже стара, та й хата моя, на жаль, нэ надийна, хытаеться, як я сама.

— Да будет вам, Петровна, — уходил в минор Борятьев. — Не шатаетесь вы! И надёжней человека у меня нет. Тем более, что я подправил тут, что надо. По поводу электрики договорился с Михасём Осыкой, всё ж монтёр на подстанции. Завтра придёт, посмотрит проводку, заменит, где требуется. Вы ему гривен сто дайте. Но только после того, как сделает, а не до. А то я его знаю!

— А ты надовго? — исподтишка, боясь напугать судьбу, спросила женщина, отводя вбок выцветшие, мокроватые, старые свои глаза. — Я вжэ нэ спытаю — куды. Можешь нэ гово́рыть, якщо нэ хочешь.

Борятьев осушал лоб манжетой рубашки. Запекало уже совсем по-летнему. Шершни со шмелями ожили и гужевались в углах навеса над верандой.

— Не знаю, Петровна. Как получится. Может, и надолго. Надо гопоту́ донецкую придавить. И кацапам ненасытным дать в зубы… Но надеюсь, что ненадолго. Вся страна, сами видите, поднялась. Им против всей страны долго не устоять. Да и за нас, фактически, весь мир. Все даже кацапского духа не хотят…

— Та шо тоби ти кацапы! А ты сам, хиба́, нэ кацап? — тёща присела на краешек скамьи, напротив Борятьева. — Ты б про доньку подумав. Як вона́ без тэбэ будэ, коли щось з тобою выйдэ? — Подтёрла под глазами каймой слободского наплечного платка.

Он негодующе ронял, как выбрасывал, на пол, под ноги, туда же уйдя взглядом:

— Я украинец, Стефания Петровна. Я здесь родился и вырос. Для меня эта земля — родная. И не надо за речь мне счёт выставлять. Русский — такой же свой для украинца язык, как и украинский! — Говорил с упором, хотя уже и без прежней убеждённости: мол, само собой… — К тому же, не могу я сидеть тут, когда мою страну рвут на тряпки. Крым отжали! Как бандюги, ночью, втихаря. Воспользовались, что у нас долго не было порядка, что армию никто не берёг… Донбасс отымают. А потом пойдёт и пойдёт…

Тёща сплетала костистые и кривые пальцы, перекрученные болезнью и долгим трудом. Вздохнула:

— Та шо, Крим тэбэ нема́ кому йихаты? Ты ж нэ вийськовый… Та й нэ парубок вже!

— Да, вот потому, что я уже не юный! Как я могу тут спать, жрать, а тем временем туда посылают просто цыплят! Вы ж видели тех призывников! Им даже бронежилет тяжело таскать… Кого посылают-то? Из бедняков, дистрофиков… Нет, туда должны ехать только такие, как я. Мне уже, слава Богу, в этом году будет сорок четыре. Я пожил. Двух детей после себя оставляю. А они? Ну, те, цыплята… Что они умеют? Что они навоюют? — Евгений неосторожно откинулся на шаткую спинку лавки. — Вот вы говорите, Петровна, что я не военный… Но вы ж знаете, я же старшиной в морской пехоте отслужил, ещё при СССРе. От первого до последнего денька. Кое-что помню, кое-что ещё могу. Не увечный. Глаза видят. Так что я там собою хоть пару наших хлопчиков упасу… — И после затянутой паузы, грузно: — Не-е, решено. Еду. Я и договор уже подписал. У нас тут формируется добровольческий батальон. Под Кременчугом. Один большой человек выделил средства. И все остальные — миром собирают по гривне, канадские поселенцы помогают… У нас там, в батальоне, немало таких собирается, как и я, в зрелости, служили, так что не жалко…

— Ну, дыви́сь, ты ж батько. Вже дорослый! Тоби ришаты. — Тёща смотрела укором, стряхивая с подола невидимые крошки. — Алэ якщо загинешь там, то знай, що донька твоя, та й сын, тоби цього не простять. — И она снова посмотрела на Евгения тем самым взглядом, памятным ещё с позапрошлого сентября, с церковной службы, с тех скомканных поминок.

То был самый невыносимый взгляд, который нёс на себе Борятьев.

Уже больше полутора лет минуло, а взгляд Стефании Петровны его сжигал. С того лютого сентября, когда в не принимаемой рассудком катастрофе, на дороге, подлость своевольных узоров судьбины забрала у него сразу трёх

дорогих, любимых. Любимей — только дочь и сын… Хотя… Разве ж можно так считать! Все любимые…

Тогда он подболел. Температурил, из носа капало, как из проржавевшего топливного бака, всего трясло, тридцать девять и три, рвущий горло кашель, ломкое тело, всё тянет в постель. Конец сентября выходил ветреным и ледяным. Но как раз в это время надо было везти родителей в аэропорт Черкасс; им нужно было лететь в Одессу, в санаторий под Калаглией.

Борятьев мог бы наглотаться тогда пилюль, ещё чего-нибудь, собраться. Но, признаться, не хотелось выходить в обваливающийся ливень из тёплого дома. Можно было бы и такси нанять, да жалко стало денег — зачем тратиться! Езды на двадцать минут, есть же своя "Лада приора", а таксёры, свора гиен, заламывают несусветные цены, когда слышат про аэропорт. Вот и вышло везти жене. Кому же ещё? И кто тогда думал о том, чем всё кончится!

Дорога скользила, ливень издевательски рушил стену воды навстречу, приходилось ехать по реке. И Тося не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, как потом было написано в протоколе; разделительной линии вообще не просматривалось. Ну, и — встречный многотонный обоз двухприцепного MAN на полной скорости въехал в них на Смелянской, на самом уже подъезде к аэропорту.

Убило всех троих в "Приоре". Жена с папой сразу же были раздавлены — месиво. Папа всегда любил сидеть впереди, рядом с водителем. Вот и посидел… Мама умерла лишь на утро — оказалась в машине за невесткой, которая взяла весь удар на себя — на лицо, на грудь, на сердце…

Тёща и так не очень-то почитала зятя. А за что почитать? Самодуристый, властный, совсем придавил тихую и безотказную жену, Тосю, любимую донечку. Огромный, как слон, рядом с такой тенди́тной Тосечкой. Бесцветные ещё эти его глазищи, как будто бельмы… Да ладно бы был га́здой, хозяином справным! Так ведь заработки-то — от раза к разу. Вот вроде бы закончил в Харькове уважаемый технический университет, что-то по электронике… Ну, и что с того! Поработал по профессии лишь пару годков. А где, кому в стране последние два десятка лет электронщики требуются?.. И потом пошло-поехало: по закупке стройматериалов, директор зачуханного дома отдыха на Южном Буге, маленький начальник на горнолыжной стройке Буковель. В перерывах же между случаями работы лежал дома, как тюк, и только под телевизионных обозревателей страдал, всё переключал кнопки. А Тосечка тянула на себе пятерых, обстирывала, обглаживала, кормила — его самого, сына с маленькой Светланкой, мужниных родителей (ведь вынуждена была жить вместе, в их черкасской квартире), — вычищала в блеск всю эту четырёхкомнатную громадность, а ещё и работала пятидневку кадровиком шёлкового комбината, бедненькая…

— Простите меня, Стефания Петровна, если сможете. Это из-за меня, — по-новому, чуть ли не заискивающе, воспалившимися глазами смотрел на тёщу Борятьев в церкви, когда отпевали сразу троих погибших. — Я во всем виноват. Только я. Не сберёг…

— Та нэ звынува́чуй сэбэ. Пры чому тут ты, Евгэн, — старуха неподвижно стояла, ненавидящими глазами ударяя в него тогда, впервые прямо в зрачки. Впервые, потому что раньше — только куда-то мимо.

Западное Предуралье. 10 мая 2014

Не просто суббота, а ещё и праздники. Клиенты — насущные и возможные — съехали на дачи, открывают сезон грядок и мелкого ремонта по дому, в городе мало кто остался. Кому сейчас до обустройства контор! Сегодня никому не требуется компания "Функционал-1М", комплексное оборудование офисов "под ключ": мебель, оргтехника, оптоволоконная связь, бытовые электроприборы". Сегодня важнее раскупорить после зимней спячки свою дачную халабуду где-нибудь на бережку Белой — широкой и совсем не светлой реки Агидель — или в направлении Чишмы, или в противоположный бок, по Челябинскому тракту, собрать прошлогодний бурелом, покопаться

в трубном змеёвнике от “Башводоканала”, просто побездельничать на природе, а то и улететь далеко, к морям и дельфинам.

Дни нежеланной праздности. А раз нет работы — нет и денег. Сиди, лапу соси.

— Так и будешь весь день в окно утыкаться? — за спиной зазвучало меццо-сопрано: Ильсия распевалась с утра. — Совсем потерял интерес к дому, Ольховой? Ты уже не с нами, уже сбежал? А у сына твоего, сачка́, между тем, по химии — двойка на двойке. Позанимался бы с ним, чтобы он хоть этот класс закончил без скандала, не как прошлый. Я ничем с химией ему помочь не могу, а ты ж в своей академии изучал, обязан помнить. А, Ольховой? Или гори всё?..

Повернулся, встречая два распахнутых, светло-серых знака вопроса под тонкими, частью выщипанными чёрными бровками.

— Тебе сколько говорить, Иля, чтоб ты меня по фамилии не называла? Не выношу это в семьях. Когда жена так к мужу обращается…

Женщина показательно недовольно дёрнула плечами, фыркнула — так фыркают только что вынырнувшие из воды, — развернулась, ушла в кухню-гостиную — исполнять гаммы посудой в мойке.

Он ощущал себя преотвратительно, но снова самым боковым зрением и самыми задворками сознания отметил безупречность линий её высоко оголённых, немного венозных, но всё так же, как в юности, ошеломляющих ног. И хотя эти ноги наряду с другими сегодня никак не могли быть первостепенны для него, Николай не мог командовать своими желаниями и умением замечать.

Удивительно, что с годами не наступало привыкание. Живут бок о бок изо дня в день; пора бы всё-таки. А вот не привыкалось. И её ноги всегда волновали его. Из-за них, выписанных, словно у балерин Дега, он и захватил её когда-то. Захватил, как захватывают осаждённую цитадель — измором.

И ещё захватил из-за её гротескно выпуклой груди.

На этом, в общем-то, и заканчивалось её фо́рте — сильные стороны. Ну, ещё глаза, вероятно, можно бы добавить: ясные при общей чернявости — всегда эффектно… Но не более того. Лицо грубовато, с неровной кожей, будто поле поздне-мартовское, ещё голое. Не придавали изящества ей и большие мужские руки.

Носила она свой метр восемьдесят гордо и прямо, даже чуть откидывая голову назад. Он, из-за приобретённой за операционным столом сутулости, часто казался даже ниже неё.

В тот день, незадолго до расставания с нечёткими перспективами, Ольховой зачем-то вспоминал, с чего у него всё начиналось с его такой несовершенной, но такой зовущей Сиреной.

Чего вспоминать? Зачем?..

Впервые он влетел в Уфу ещё курсантом, в двадцать один, весной, в год ГКЧП и последующей смерти Союза. Направили на стажировку в гарнизонный госпиталь.

Вобрал в себя этот русско-тюркский город, его едва уловимый флер мечтательности, но одновременно и его же устроенность, устойчивость. Горячие мясные учпачмаки на каждом углу, сок течёт по подбородку. Парки-леса на пол-Уфы… Его, увлечённого самоучку-малевальщика, оглушил художественный музей, без преувеличения, мирового ранга, о котором он никогда даже не слыхал. В столбняке стоял перед незаконченной шедевральностью первой пробы “Видения отроку Варфоломею”, нечаянно прорванной ещё самим Нестеровым, позже с любовью склеенной и зализанной неторопливым реставраторским шпателем.

Его, тогда ещё не искушённого, только что из госпитальной казармы, забрала и игра артистов драмтеатра в арбузовской пьесе “В этом старом милом доме”. Увидел в театральном фойе в антракте одиноко озиравшуюся, тогда ещё девятнадцатилетнюю Илю. И запульсировало, подкатило жаром к голове!

Прилип, начал безответственно врать о себе, пригласил на сэкономленные рубли пообедать-поужинать. Она забоялась отказать настырному солдату с медицинскими петличками, и так, первый раз в жизни, попала в ресторан.

С испуганным интересом разглядывала пожилых и крепко подпитых дядек и тёток за соседними столами, нервно оправляя свою мини, которая лишь чуть скрывала восхитительные ноги…

Что за ноги!

Их себе она сделала на прыжках в высоту и беге в спортивном обществе “Спартак”. Родители, старший брат и вся традиционалистская мусульманская семья очень не одобряли ни её “Спартак”, ни прыжки через перекладину, ни её длинные ноги, почти не прикрытые мини-юбчонкой. То ли эти борения, то ли любознательность, то ли ещё какие позывы притянули Ильсию в одну из церквей под Уфой (в самом городе она бы поостереглась — а вдруг заметят!). Потом съездила ещё раз и ещё. Стала заговаривать с церковными женщинами, отстаивала службы в платочке, прикрыв колени метром бязи на булавках, слушая многогласые хоры Рахманинова, читала тайком то, что ей давала старшая из женщин. И как-то незаметно, не вдруг, приняла христианство.

Когда скрывать православие уже не хотелось, пошла в раскол со старшим в роду и даже с братом. Только мать тихо всхлипывала, возясь со стёжкой одеял на женской половине дома:

— Ай, доча, доча! Что ж ты наделала! В прошлые времена тебя бы наши мужчины сами должны были бы задушить ремнём… У нас так было. Двоюродная бабка твоя, Катиб-ханум… Тоже к крестовикам хотела уйти.

Приговор семьи и отказ всех от Ильсии пришли неизбежно, как дождевые потоки после недели летней духоты. Но это всё случилось, уже когда Ольховой давно уехал.

Семь лет он названивал Ильсие:

— Привет, злюка! Как ты?

Виделись при его отрывах в Уфу на пару дней, в отпуск. Никакого интереса длинноногой к себе Николай не находил. Она всё время старалась от него отгородиться, воздвигая стену своим иссушающим “не торопись”. А в годы второй чеченской кампании, когда он даже спать оставался рядом с операционной (столько приходилось резать и сшивать!), Ильсия стремглав прошла через порывистый роман с чересчур взрослым для неё коллекционером средневековых гобеленов. Даже отпробовала немного брака, уже через несколько месяцев разочаровавшись в этом институте.

Николай позвал её, ещё не разведённую, лишь ему сравнялось двадцать восемь. Получил капитана медицины, и его финально, будто подаянием, облагодетельствовали ужатой квартирочкой в доме молодых офицеров на Лебердоне (вспомнил городское прозвище левого берега Дона), а то всё мерз по съёмным проходным, сырым комнатам Выборга или Иркутска. В такие клети он не мог и не хотел никого звать. А Ильсия, как потом стало понятно, уже ждала, что хотя бы кто-то позовёт. С сомнением поехала в ростовское июньское пекло, медленно ответив по телефону уже “да”, вместо “не торопись” с таким сомнением, словно напоказ не боялась, что капитан медслужбы может отозвать приглашение.

Они не стали сразу жениться, давая друг другу возможность переиграть. Но меньше, чем через год после приезда Ильсия родила себе и Николаше Ольховому затейливого и беспокойного мальчишку, которому долго никак не могли дать имя. После месяца переборов, странно назвали Миркой. Мироном. Странно — потому что ни во чью честь.

С сыном у них заметно добавилось вопросов, бутуз часто хворал, о женитьбе даже не задумывались. Так, не скреплённые законом, и жили, и катались по стране, меняя гарнизонные госпитали на окружные.

— Ухожу в запас! Надоело нищенствовать. Уже рапорт подписали, — скоро, не всё до конца продумав, отдекларировал Николай; шел 2007-ой год.

Ильсия если в чём всерьёз и винила его, то лишь в том, что он поставил её перед свершившимся фактом.

— А советоваться тебя не научили? Ты один живёшь? Ну, и как нам теперь?

Ему бы самому знать — как теперь. Решили возвращаться в Уфу. Точка их встречи была не только родной для Ильсии, но и стала важной для

Ольхового. Уфа заметно подправилась, облагородилась и почистилась за годы его отсутствия, к тому же возможности прокормиться в ней, казалось, были благоприятней, чем в любом другом месте, доступном Николаю.

Со временем, долго борясь с условиями и поняв, что в районной больнице он хирургией заработает не больше, чем в войсках, решил забыть о своём образовании и написал по электронному адресу на удачу, трижды округлив карандашом объявление на одной из страниц "Уфимского перекрёстка". Объявление заманивало синекурой коммерческого директора в направлении комплексного обустройства офисов. Работа, как можно было предположить, оказалась не синекурой, но и не сложнее любой другой, хотя занимала почти всё время.

Часто ездил — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Сибай, Нефтекамск, — подыскивая клиентов, знакомясь с риелторами, владельцами начинающих фирм, которым нужен был угол для конторы.

— Зря ты больницу бросил, — неодобрительно качала большой головой Ильсия. — Ты же там только начал работать. Ещё пару лет, и у тебя появилось бы имя, люди бы к тебе потянулись. Ты же прекрасный врач. И с доходами всё наладилось бы.

— Какие ещё пару лет! Нет их у меня больше, — несмело отзывался Ольховой. — Все авансы в моей жизни — в прошлом.

За последующие годы в конторском бизнесе образовались определённые накопления, так что можно было разжиться не только новым — от производителя — стабильным корейским "Хюндаем", но и замахнуться в кредит на "двуху". Ещё вовремя появилась и программа сертификатов для военных с выслугой лет, решивших уйти в запас.

Квартира нашлась в недавно построенном многоэтажном сталагмите за Шугуровкой, на дальней северо-восточной границе города, вытянутого, если смотреть по карте, сверху-вниз, как баклажан. Через полгода жизни там стерпелось-слюбилось: никаких тебе городских шумов, природа вокруг тихо играет ветром по кустам шиповника или кричит галочьими стаями. К тому же Ольховой узнал, что с этой стороны, если ехать от города дальше по прямой, неизбежно через час, а то и раньше, наедешь на посёлок Черкассы и на нечто вроде речки с тем же названием. С днепровским эталоном, конечно, не тягаться, но всё равно забавно. Вот так замыкаются круги жизни…

Помня то, что Ильсия не любит экспромты, он решил загодя, хотя бы за пару недель сказать о своём решении на ближайшее будущее.

— Вот, — протянул вчера ей заготовленный пакет, перетянутый кассирской резинкой. — Здесь четыреста тысяч; всё, что удалось собрать. Я даже себе ничего не отложил… А *там* пара местных воротил платит, боясь, что если нацисты возьмут их города, то и бизнес оттянут… Так что жди перечисления, я дал реквизиты нашей сберкнижки. Сама книжка всё там же, в спальне, под иконкой в красном углу… Больших денег *оттуда* не обещаю, но, думаю, вам с Мирошей должно хватить.

— Ну, конечно! — Ильсия часто зафыркала, как пловчиха в баттерфляе. — Скажите, пожалуйста! Нам с Миркой должно хватить! А ты не забыл, Коля, что у нас ещё взносы за квартиру?

— В случае чего, сдашь машину. Это — на крайность. "Хюндай", хоть ещё и свежий, но много за него не получить… Однако что-то всё-таки получишь… И хватит, мне надоели твои колкости! В конце концов, ты тоже работаешь. Нечего играть в женщину, которую бросают!.. На самую крайность, позвонишь моей маме. Копейку-другую на внука она всегда даст. Ей, говорит, пенсию прибавили. Ещё гонорары иногда получает за статьи в журнальчике, в "Музейной жизни".

Но понимал, что Ильсия его придерживает никак не из-за денег. И разве любая женщина вот так возьмёт и с поющим сердцем отпустит своего мужчину на войну! А ведь там война — уже в полный разнос…

Он истлел за предыдущие месяцы, не мог спать ночами. Ворочался рядом с женой — не-женой со спины на живот и наоборот; потом на цыпочках, босиком пробирался в кухню, заваривал кофе и до утра присасывался к компьютеру.

Интернет рвал понимание. Его родина горела, его сладкоголосая и открытая, нежная родина, где каждому всегда было удобно жить: и украинцу, и россу, и иудею, и эллину, и хоть папуасу. Дуболобый многосоттысячный нацист из Галиции, которого ещё со школы Николай видел злобной крысятью, захватывал там всё.

Вчитывался в немыслимые по дикости реплики к новостям; в эти новости и без ремарок невозможно было верить. Всматривался в людоедские фотографии и видео. Форумы превращались в рубилово: из Украины и России швырялась навстречу друг другу такая словесная рвота, за которую раньше можно было осесть в тюремной камере на годы. Факельный марш нежити в вышитых рубахах по Крещатику, огромный портрет Бандеры на фасаде мэрии, коптящаяся резиновым дымом столица. Объявленный главным телеканалом конкурс на самую отвратную изобретённую насмешку над "даунбасами" и "лугандонами" (очевидно, что людей Донецка и Луганска остальная страна уже своими не считала). В родном же городе, на Пастеровской улице стреляли в Серёгу Саенко, в когда-то знаменитость изостудии городского Дворца пионеров, теперь — лауреата, народного художника республики. И всего лишь за то, что он написал и выложил на своём сайте сегодняшнее прочтение гравюры "Сон разума порождает чудовищ" Гойи, всё с теми же факельными походами и уцелевшей сволочью из ОУН; ранили его в желудок, плохо ранили. Семидесятипятилетней матери Лары Княжицкой торговка на Червонослободском рынке плюнула в открытую сумку и поносила грязно — та осмелилась назвать майдан "проплаченным ведьминым шабашем".

Ольховой звонил оставшимся в городе своего детства немногим знакомым, спрашивал: как могло такое случиться? что с людьми произошло?

Но понятных ответов никто не мог дать. Спрашивать у матери — без толку. Она только плакала. Что она могла подсказать из Анапы? Знала лишь то же, что и он. Сколько уж лет вне Украины!.. Пробовала сама звонить бывшей соседке, хлопотунье тёте Фае, всегда подкармливавшей Колю Ольхового, любимчика, только что запечённой в кляре рыбой.

Мама хотела поговорить, так та сразу же ей нагрубила:

— Вы там в вашей России ни бельмеса не разумеете, вы там все заговорены антиукраинской пропагандой. Вам, небось, передают, что тут у нас детей режут и их кровь пьют литрами!

Решение ехать вызревало, как незлокачественная опухоль. Долго, месяцами. Ночи превратились в издёвку. Спальня — в пыточный каземат. Ночное воображение бередило одним и тем же, как кочергой в калёных углях: видел родную ухоженную улицу, завешанную кроваво-чёрными флагами ОУН-УПА, и необозримую толпу в парке Долины Роз, ревущую "Слава нации! Героям слава! Смерть ворогам!" А уж после истребления рискнувших не согласиться — первого мая в Харькове и второго — в Одессе, — понял, что всё решено без него. Теперь, хочет ли он того или не хочет, но он уже там. На Донбассе, где ещё едва дышит надежда на возвращение к прежнему и здравому смыслу. Где люди, судя по вырисовывавшейся в компьютере картине, решили ткнуть фигой в морду всех сволочей, оккупировавших страну.

Он торопился, ехал. Что бы ни произошло в ближайшую неделю-полторы, билет уже заказан. На воронежском поле будет ждать его деловой человек, которого отрекомендовали как Штопора; он Ольхового и ещё двоих перевезёт-переведёт через Деркул и Могилу-Мечетную в донецкую неизвестность. Самому ведь не проехать.

Врачи понадобятся, ещё как понадобятся! Особенно такие, как Ольховой, который знает, что это — резать, когда из всего обезболивающего в наличии только мензурка этилового спирта и таблетки пенталгина. Полевую хирургию ждут и в Лисичанске, и в Новоазовске. Там скоро будет совсем страшно.

Белый Яр, Донбасс. 20 июня 2014

Батальон идёт третий день от Изюма. На станции машины и танки сняли с платформ, и дальше они тянутся своим ходом, колонной.

Остановки до этого были частыми и долгими. Вперёд надо было двигаться с вниманием: в каждом кустарнике и палисаде мог ждать гранатомёт. Разведка авангарда работала с опаской, жить хотелось долго, а тут непонятно, из-за какого крыжовенного куста в тебя влетит тупоносая взрывчатая тварь. Уже первая в колонне БМП растеряла гусеничные звенья сразу на двух противотанковых минах у оставленного жильцами и полуразрушенного села. Бордовые всполохи рассекли и подняли суглинок наезженной колеи, раскатились воплем один вслед другому.

И надо же было наехать сразу на две! А сколько их тут ещё…

Становится понятно, что работали военные, а не те ряженые бородатые казаки в папахах с кубанским красным верхом, которые утром пробовали обстрелять из заколосившейся засады сотню Борятьева. Нет, ставил мины профессор. Тут, если внимательно осмотреть площадь под ногами, другого прохода нет, так что неминуче кто-нибудь наехал бы. А разведка разве под ноги смотрит! Она испуганно шарит глазами по зарослям, по пустым оконным проёмам брошенных домов. Настоящих специалистов во всём батальоне наберётся десяток, из которых половина — командированные из-за кордона. Разве на все сотни их хватит! Приходят-то, как правило, такие же припухшие на домашнем диванчике после сытных обедов, мирные в прошлом мужчины — кто на строительном рынке торговал вагонкой и гипсокартоном, кто колбасу смолил в своём сарае, кто в университете философом доцентствовал… Или совсем ещё ничего не понимающие дети, которые только и умеют про “москаля на ножи!”, на грудь себе нашивая лого батальона с анфасом гетьмана Ивана Мазепы, срисованным с десятигривенной купюры последнего образца.

— Сотник, зно́ву у нас некомплект по броникам. Всему взводу Павлюченка нечем крыться, на хер… Що казать людям?

Громадный Борятьев досадливо смотрит на Бе́йбаса, своего зама, напоминающего пингвина, с родимым пятном во всю левую щёку, носом-клювом и неодинаковыми бакенбардами.

Бронежилетов и вправду на всех не хватает. Из Дробышево обещали ими завалить, да разве первый день обещали!

— Могу тебе отдать для них свой, мать её… — сотник начинает отстёгивать липучки по бокам. — Устроит? Считай, один боец во взводе укутан.

Насупленный, мелкоголовый Бейбас перевешивает автомат на другое плечо, ослабляя под подбородком крепёж кевларовой каски.

— Та я що, соби прошу? Хлопци ж бесятся. Учо́ра не покормылы, сьогодни нараспашку посылають у бой! Цэ ж непорядок, Евгэн Анатольйовыч.

Борятьев кивает:

— Непорядок… Согласен. Дальше что? — И щурится на как-то сразу сникшего зама. — А у нас вся мотострелковая бригада на подходе вообще без броников. Ну, и что делать?

— Шо нам до мотострелков! Цэ державна армия. Нехай держава за ных и думае. А мы ж тут усе по свойий воли. Нам броники положены. Есть у контракте, чёрным по белому.

— Да, положены… Но если их пока не подвезли, то что делать? — Борятьев постепенно весь идёт первым — белым, пузырящимся — кипятком. — Назад идти?.. — Не дожидаясь ответа, впечатывает винницкому правдоискателю: — У нас задача: до вечера залечь на восточных окраинах Белого Яра, пока сепара́ты не очухались. К утру подойдёт артиллерия. Всё равно в ближайший день никакого боя не будет. Могут в том недовольном взводе потерпеть или мне самому всё бросать и к ним переться уговаривать?.. Так и передай Павлюченке. И от меня добавь, чтоб не выгибался… Свободен! — гонит он от себя Бейбаса.

В расставленных палатках жить совсем невмочь: днём печёт так, что мозги вытекают из ушей, приходится с двух сторон задирать брезент, чтобы хоть какой-то ветер обдувал. Ночью — не лучше, отпускает лишь под утро, и то ненадолго. А с десяти часов — снова жаровня. Солдаты могут заснуть лишь после сталеплавильного бурякового самогона, на который выменивали ещё в харьковских сёлах сухпайки НАТО, самим уже приевшиеся.

В оставленных людьми домах ночевать тоже не хочется. Там может быть заминировано в самых неожиданных местах и, кроме того, противно: иногда забрызгано кровью по стенам, по мебели, по тому, что осталось.

Борятьев не оберегал голос, матерясь по рации с Ворощуком, отвечавшим за тыловое обеспечение в батальоне. Сколько же, как выясняется, незаменимого положено человеку! И если с отсутствием кофе или сменной одежонки ещё как-то можно мириться, то без надёжного запаса патронов, сигарет и солярки двигаться вперёд мучительно.

— Тебе таблетки выслали? — В рации ещё пробовал его отчитывать пожизненно циничный хохотун Ворощук. — Так подкармливай личный состав. Меньше клопоту будэ. Примут — и враз всё станет веселее.

— Ты что, хочешь моих хлопцев на шмаль подсадить? — Борятьев дал бы своему формальному начальнику в лоб, если б тот стоял рядом.

— Та кака́ там шмаль, Женя! То ж так, для поднятия духа, чисто взбодриться, — зубоскалил Ворощук. — Но перед боем — вещь обязательная. Ссать со страху не будут. И тебе меньше нервов, и от хлопцев никаких претензий. Усё для них будэ в золоте, амурах и завитушках. Проверено! Я с этим сам через Чечню прошёл.

Евгений тогда отключил связь и пошёл куда-нибудь, в редкие заросли, чтобы никого не видеть и ни на ком из ста подчинённых ратоборцев не обрывать связки. И чтобы хоть полчаса его никто не донимал.

Сеча кругом идёт — до немеющих, отваливающихся рук, до окаменения головы. Бандиты из самопроизводной донецкой республики неожиданными налётами теребят хвосты наступающих правительственных соединений. Армия захлёбывается.

Тербатальоны несравнимо лучше обеспечены, ну, и состав собрался поидейней, все пришли сами, не за шкирку притащены, многие — после службы в войсках, кто-то даже в перерыв в службе, но всё равно, каждый новый шаг, каждый посёлок, освобождаемый от се́паров, сепаратов, сепаратистов-предателей, даётся таким трудом, такими жертвами, что кажется: ещё чуть-чуть, ещё день-два, и всё поползёт, разольётся по неровным полям вокруг, и собрать воедино всю мозаику, когда-то слитно выдвинувшуюся из Кременчуга, будет уже невозможно.

В вынужденные часы простоя Борятьев звонил в Черкассы, если мобильный клавишник ловил сигнал. Выспрашивал тёщу о Светке, о том, чем живут, как.

— Что за соседи вас на Днепр вчера пригласили? Крамаренки? Или которые справа?.. — нервничал он. — Светланка купалась? Да? Вода уже тёплая? А фрукты она ест? Обязательно покупайте ей клубнику. Когда ещё кушать, как не сейчас!.. Прошу, Петровна: клубнику, черешню, абрикосы — обязательно. Персики тоже. Ну, и сами ешьте, естественно. — Спрашивал с опасением: — Деньги за меня получаете?

— Та не хвылю́йся за нас, Евгэн. Гро́ши в нас е. Ты ж залышив. И перевод прыйшов.

— Так как за вас не волноваться! За кого ж мне ещё волноваться?

Борятьев в каждое не занятое войной мгновение думал о Светке. О Толе уже почти не думал — вроде бы вычёркивал медленно сына из своего блокнота.

Вся Солнечная система для него сейчас умалилась до пригорода Черкасс, до дряблого асфальта с заплатками на улице Кузнеца, где в тени садов частного сектора стоял уверенно на своей столетней основе каменно-деревянный дом Стефании Петровны, несколько ненадёжный сверху, но временами подправляемый Евгением или нанятым шабашником из Червоной Слободы. Сожалел, что подворье далеко от Днепра. Вспоминал родительскую квартиру на Гагарина, совсем рядом с самым прекрасным парком, королевством фонтанов и роз, так и названным — Долина Троянд. Под окнами квартиры на парапет тихо шлёпались взбаламученным песком днепровские волны. Парапет, кое-где забросанный пустыми бутылками, ржавеющим городским непотребом, начинался напротив подъезда, только дорогу перейти.

Хотя одному из ведущих архитекторов города, Борятьеву-старшему, и полагалась обширная квартира, всё равно последние лет двадцать жили скученно. Жить даже впятером было несносно. Родители вынуждены были или уходить куда-то на целый день, или запираться в своей спальне, резервации, чтобы не мешать сыну и невестке растить шалящего наследника. Толик озоровать научился ещё в роддоме, вереща, как вся гусиная стая. А уж когда Тося родила ещё и Светланку, то Борятьев-старший и мама даже перестали есть на кухне, забирали тарелки-чашки к себе.

— Не переживай, Женечка, мы там прекрасно всё оборудовали, — успокаивала мама. — Столик себе купили чудный для обеда, телевизор смотрим…

Если бы он тогда знал, как легко и страшно решится их жилищная перенаселённость!..

Сын как-то удивительно быстро вырос. Шумность и топотание по комнатам сменились у вытянувшегося и потемневшего длинными волосами Толи закрытостью. После школы ненадолго уехал, поступил в столице на компьютерного сисадмина. Вернулся на неделю, и снова — "Досвидос!". К внезапно подошедшему двадцатилетию ему надо было выделять свой угол. Говорил, что собирается жениться, а возвращаться — ни за что. На отдельный угол сыну у Евгения не было; решением стала лишь продажа квартиры и выдача доли из вырученных сумм. Дал в обрез, на самую маленькую однокомнатную; в столице и такие сто́ят злых денег.

По получении положенного, Толик пропал — наглухо, совсем не звонил, сменил номер мобильного.

Покупку новой квартиры для Светланки и себя Борятьев пока отложил, решив пожить у ставшей совсем одинокой тёщи, тоже выплакавшей все слёзы после похорон. Там, в гудении пчёл, в апрельском цветении грушевого сада боль выносить, казалось, полегче. Дочке также полезно побегать в чистом воздухе, ну, и присмотр со стороны старухи…

— Анатольйовыч! Я за тобою, — отрезает от Светланки, тёщи, Черкасс нашедший его вездесущий Бейбас, низко-гулким, как речной пароход, голосом напоминая, что кругом, по всему донецкому кряжу — костоломка. — Нам прыслалы нового отделённого во вторый взвод, к молодым. Токи що прыйихав з штабу на машине с хавкой. Знову консервы курячие прывэзлы, на хер, просроченные. Знову хлиба не прыслали. Тут кругом мычит и курлычет столько жратвы, шо только успевай. А ось бэз хлиба — жесть.

— А чё же этот отделённый так долго до нас добирался? — всё ещё булькает Борятьев.

— Та мо́выть, шо им неправильно в Изюме сказали, де нас шукать. Я перезвонил, проверил… Хлопчина, вроде, адекватный. По внешности — толковый стреляка. Говорыть, шо ещё до этой бучи служил сверхсрочную, тута, недалёко… Десантура. — Бейбас утирает пальцем струйку, стекающую на верхнюю губу. — Сам його поглядишь, або взводному показуваты? Но ты ж слыхав за нашого Зозулю? Однэ слово — вуйко з Полоны́ны. Энтузиазьма — на трьох, а с подготовкой хужее. В трембитах он, може, и понимает, но вот в десанте…

— Идём… Сам посмотрю, — встав нехотя с трухлявого пня, Борятьев впереди заместителя идёт к сотне.

— И прыслалы нам малюнки дитя́чи, целу коробку, — продолжает докладывать Бейбас.

— Какие там ещё рисунки? — недоволен Борятьев.

— Я ж говорю: дитки малювалы, з Харкива, зи Львова, з Запорижжя, з Днипра. На коробке було напысано: "Защитникам от детей Украины". Ну, акцию провэлы… Малюнки ри́зни — е вэсэли, е нэ дуже. Так я казав роздаты йих бийцям. Нехай дывляться, бэруть соби на згадку. Ну, щоб нэ скурвытыся тут на вийни.

— Правильно сделал, — задумывается Борятьев. — И мне несколько рисунков принеси. Буду на них периодически посматривать. Чтобы тоже не скурвиться.

* * *

Прибывший соискатель должности десятника отделения кажется сноровистым, сотканным сплошь из сухожилий, с упрямым глазом, с короткой рыжей стрижкой. Голым по пояс моется под рукомойником. При виде приближающегося вероятного начальника встаёт в некую позу, намекающую на "смирно". Но видно, что не от неумения, а наоборот, от навыка. Как бы обозначал чинопочитание, не напрягаясь на его исполнение.

Пока шли, зам поведал Борятьеву в одном длинном предложении подноготную соискателя. Тот воевал с самого начала антитеррористической операции в другом батальоне, был даже взводным, но потом разжаловали, пока — до отделённого: разрешал своим солдатам немного шуровать в домах освобождённых посёлков и городков, ну, и сам ложку мимо рта не проносил, а люди стали плакаться командиру батальона, и дошло до того лица, на чьи дотации и формировался батальон, и хлопчине приклепали "подрыв доверия населения к освободительной миссии", понизили в лычках, но оставили на контракте, потому что воевал расторопно, хватко, опрометью врываясь в укреплённые блокпосты сепаратистов, расстреливая автоматами с обеих рук бандюганов и приставших к ним люмпенов.

— Ты откуда родом? — Борятьев быстро читает у приехавшего верительную грамоту — предписание, — мельком лишь сравнив фото на паспорте с оригиналом.

— Из Херсона, — новоприбывший натягивает футболку хаки и поднимает бронежилет, чтобы надеть и его.

— Да, был я как-то, давно, правда, у вас. — Евгений возвращает документы парняге. — Не знаю, как сейчас, но тогда что-то город мне не показался. Разутый какой-то, в натуре, неприбранный. Село.

Вместо того, чтобы обидеться, разжалованный, слегка ощерясь, суживает глаза, закуривает без разрешения и отвечает негромко:

— А шо ж вы хотели там увидеть? Рази ж хороший город назовут "Херсон"?..

Борятьев зовёт Бейбаса рукой, и разрешает отвести новоприбывшего к отделению, представить. В напутствие:

— Отделение неплохое. Пацанва, в основном. Всем — чуть больше двадцати. Есть с приводами в милицию. Двое с судимостью, на условно-досрочном. Ты с ними — без церемоний!.. Есть и совсем ещё не троганые... Но все готовы тут сепаратов жечь. Так что моральный дух на высоте. Твоя задача — научить их бою. И, по возможности, вернуть домой не очень покалеченными. Они стране ещё понадобятся.

И отворачивается, слыша за спиной басящие добавления Бейбаса, нетерпеливо ожидающего, пока новый командир соберёт все свои вещи и готового показывать тому вверяемое отделение:

— До позавчора десятником там був гараздый хлопчина, Марат Сокольников, бувший вэ-вэшник, охранник з унутряшних вийськ, сторожив якись зоны. Сам прыйихав до нас аж з свого Орла. Хоч и москаль, но националист, звездячил бандюг даунбасовськых та усяких рашистов от сердца! Он московську владу нэ тэрпив. Хотив витдилятыся вид Кавказу та ишаков азиатськых. И правильно знав, що борба за вызво́лэння його Раши починаеться тут, в Украйини... Та, на жаль, пидстрэ́лылы його позавчора. Нас тоди крепко вздюбили сепары...

— А с настоящими москальскими военными биться пока не приходилось? — интересуется новоприбывший. — Говорят, сюда две парашютные роты из Пскова перебросили.

— Ни, — слышит Борятьев затухающий, по мере удаления от него, пароходный гуд Бейбаса. — З такымы по́кы що не прыхо́дылося. А ты йих тут ба́чив сам?

Ответ разжалованного взводного уже не разобрать. Борятьев отошёл далеко от него и Бейбаса, начиная обязательный обход палаток сотни, ближних дозоров и проверку складирования арсенала.

* * *

Пора сотню передавать Бейбасу. Он, в натуре, не совсем готов командовать, технику знает не в деталях. Срочную отслужил ещё когда! Потом же, остальную жизнь у себя в городе, ставил новые стеклопакеты по домам… Но, что́ бы там ни говорить, служака проверенный. В защите не отсиживается, боя не боится, научился уже контролировать всю сотню, а не только тех, кто в секторе видимости. И слушать учится. Это главное на войне — слушать всё вокруг.

Евгения же забирают в штаб батальона, общаться с закордонными посланцами. Вот — гляди ж ты! — с института английский совсем забыл, а как понадобилось — вдруг вспомнил. Почти всё сам понимает, если говорят небыстро. Во всяком случае, дошкольную речь командированного на Донбасс офицера шведской или румынской разведки разберёт. Хуже с англичанами — те тараторят так, что хоть проси их письменно повторять. Они не собираются говорить разборчивей, уверенные, что весь мир обязан знать их язык. Но они, к счастью, приезжают с переводчиком.

Шпионами и военспецами из НАТО ему приказал заняться командир батальона, Сева Зильбертруд, больше похожий на уманского хасидского раввина, чем на боевого коммандо. Тихий, в очках, говорит абзацами из Кастанеды, Достоевского и Ветхого Завета. До Борятьева дошло чьё-то мнение, что Сева — дальний родич того, на чьи деньги и собирался батальон. Видимо, инвестор никому другому своё войско доверить не рискнул.

Борятьев, и до войны имевший счета к похожим на уманских раввинов, теперь Севу втихомолку не любит. Догадывается, что главный приз того в нынешней войне — всё, что будет отбито. Конечной целью батальона могут быть металлические заводы на севере Донецка.

Суки, короче, и Сева, и его родич, нахапавший долларов за предыдущие годы, и эти скурвленные североатлантические офицеры… Разберёмся с ними, когда заломаем донецкую урлу! А пока приходится сносить…

Борятьев понимает, что его переводят на связь с закордонными подсказчиками не из-за того, что он, один из немногих, кое-как балакает на инглиш. Скорее — из-за его военного прошлого, поскольку срочную службу он служил замкомвзвода в роте морпехов Северного флота, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос. Из-за не растерянных, как оказывается, за все последние десятилетия боевых рефлексов, из-за того, что в его сегодняшней сотне — самые малые потери батальона, из-за того, что командует твёрдо, у него среди взводных, десятников и рядового элемента репутация крепче титанового сплава. Из-за того, что воюет дельно, не шкурит, себя не оберегает как-то особо, сам с автоматом прикрывал отход своих янычар, когда требовалось… А натовским советчикам, надзорным, разведке… какого-нибудь колупая не дашь на связь, тут нужен человек в ответе, кому бы верили.

Он много стрелял на этой войне. Ещё с мая, когда батальон воевал в Приазовье, до того, как их после переформирования отправили по железной дороге сюда, на север Донбасса, на самое пагубное направление — на Донецк… Стрелял преимущественно наугад, просто в сторону бандитов, отвлекая на себя. Им самим убитого увидел лишь однажды.

Албанец, смуглощёкий, тощий, будто высосанный, фельдфебель Мехмет Шира́, в видавшей виды полевой немецкой форме, с шевроном УЧК на рукаве. Прибыл сюда ещё с тремя такими же, вроде бы, советовать, обучать хлопцев диверсионным основам, ставить незаметные растяжки, но, как потом стало понятно, больше — за человечьим материалом. Предложил через неделю после приезда Борятьеву за почки, сердечный узел, лёгкие или другие "запчасти" от любого только что убитого мальчика, хотя бы парня не старше 25-ти, такие евро, что Борятьев с дочкой смогли бы на них прожить довольно беззаботно и довольно продолжительно. Всё нужное для хранения и перевозки — в наличии, всегда с собой…

Но сотник в это предприятие не вошёл. Он, не произнеся ни единого слова, оставил в грудине фельдфебеля-патологоанатома половину пистолетного магазина. Ощущение оказалось сильнее его, отмеченного медалью вой-

скового командира. Ощущение взорвалось в нём в одну тысячную секунды, как осколочная граната, ненадолго полностью разрушив разум.

И лишь потом, только через час с небольшим пришло понимание, сознание стало склеиваться. Возобновились мыслительные процессы.

Бейбас, единственный, кому Евгений сказал о своих отношениях наедине с прикомандированным фельдфебелем в тростниковых плавнях, напрогнозировал Борятьеву расстрел за загубленного албанца, если узнает батальонный, а особенно Служба Безпеки, которая наверняка благословила предприятие албанского дольщика.

— Не узнает, — через сведённые челюсти провыл сотник, уже и так проклявший себя за свою, из детства идущую, невоздержанность. — Кроме тебя, об этом больше никто не узнает… Пропал без вести косовар, испарился. На войне такое бывает. На ней и не такое ещё бывает, — добавил, выравнивая вдохи-выдохи. Снял с борта одного из грузовиков сотни ещё новую, в обрывках складской упаковки, лопату. С другой машины — такую же. — Лучше помоги приховать эту косовскую мряку.

Они вдвоём стали зарывать торговца внутренностями на заброшенном огороде при неизвестно чьей опустевшей хате.

* * *

В первом взводе зовут зайти. Как объясняют, поесть зажаренной на костре свежины — поймали в оставленном хозяевами сарае бокастого поросятку; резал буковинский Солодчук, он из крестьян, привык. Обещают и чарку поднести: ночью у Гришки Зацаринного первенец родился, брат позвонил. Все земляки Гришки из Комарно загодя скинулись по гривне, двум, трём, ещё в Изюме, купили ему в станционном киоске бритву с поворачивающейся парой лезвий, чтобы молодой папик, наконец, сбрил свою чудаковатую бородку.

Борятьев в охоту угощается свежиной, но от Немировской фирменной водки отказывается: ни к чему это амикошонство с подчинёнными, вредно это.

— Ну, Грыць, твоему сынку — чтоб вырасти здоровым и счастливым, а тебе — семейного ладу и пухлого кошелька, — дополняет пожелание взмахом складной вилки, которая всегда с собой. — И вернуться домой героем… Слава Украине!

Взвод нестройно отвечает положенным приветствием.

— Дя́кую, панэ сотныку, — центр празднества, заострённый, как богомол, с широко расставленными, мутноватыми глазёнками и пышными ресницами, не имеющими цвета, будто запылёнными, подкуплен редким вниманием командования. — Обиця́ю, що нэ зраджу… Нэ предам. Для мэнэ цэ почэтно — служиты пры вас.

Борятьев роется во внутренних карманах куртки, пока не находит там серебряно-мельхиоровый, ещё с имперскими вензелями Александра-Миротворца пустой портсигар, историю обретения которого уже и не помнит.

— Ты ж, по-моему, Грыць, курящий. Ну, так вот тебе на память. Не от сотника, не от начальника. Считай — от боевого товарища.

Награждённый запорхал загибающимися ресницами и медленно принял из рук командира имперский подарок.

— Дя́кую, Евгэн Анатольйовыч. Вэ́льмы дякую. Знов обицяю — вы нэ пожалку́етэ про тэ, що взялы мэнэ.

— Не сомневаюсь, что не пожалею! Как только можно будет, дам увольнение на пару дней. Поедешь, на сына посмотришь, — стучит слегка его в грудь Борятьев, собираясь уходить. — Ну ладно, хлопцы. Отмечайте и дальше. Но чтобы у меня — без чэ-пэ. Понятно? — С притворной строгостью глянул на комвзвода, журчащего носом и дёрганого Вовчика Салия, одетого в форму на два размера больше, с закатанными рукавами и штанинами.

— Так точно, Евгений Анатольевич, — высмаркивает исполнительный Салий, поправляя збрую на животе. — Слава сотнику! — гукнул в персонал позади.

— Слава! — не стройнее, чем в первый раз, отвечает взвод.

Борятьев подмигивает.

— Ну-ну,.. — снова невсамделишно грозит взводному пальцем. — Вот только давай тут без культа личности.

И идёт дальше, не поворачиваясь.

Второй взвод решает проверить потом. Там сейчас Бейбас нового отделенного представляет.

Шагает натруженными ногами к машинам третьего взвода, которым командует всегда чем-то неудовлетворённый кировоградец Павлюченко. Теперь вот из-за бронежилетов права качает…

"Да найду я тебе брони́ки, ехидна, найду уже сегодня! Ты б и сам их давно своему взводу обеспечил, в натуре, если б у тебя этим голова была занята. А то только и знаешь, что перегонять отсюда ставшие бесхозными автомобили в глубь страны, на продажу, а то и отымать у даунбассов"…

Ещё издали услышал гогот и выкрики:

— Дай ему, совковой вше! Дай ему в хлебало, Тюрин. Ужми этого колора́да! Нехай подохнет, лайно́! Это ему за наших разведчиков, шо они позавчера пожгли…

Сотник с разбегу влетает в десятиголовое, обритое, шевелящееся скопище хаки-людей в камуфляжных разводах. Под подкованными носками тяжёлых британских ботинок сжимается на земле тело, одетое в неформенные, выпачканные ржавым, присохшим рваные штаны и когда-то бывшую белой майку. В теле различается седеющий и истощённый мужичок, задохлик. Его ещё два часа назад взяли на подходе к Белому Яру, в одном из оставленных домов — прятался в погребе. И уже тогда было понятно, что он не ополченец. Слишком немолод, и выворачивал ступню, опять же, подволакивая несгибающуюся ногу.

— За откол свого собачого Даунбаса вид нэньки Украйины голосував у апреле, поц? Воюва́в проты наших? — Бейбас его тогда допрашивал.

Пороха на прятавшемся утром не обнаружили. Никаких свидетельств его партизанщины — тоже. Иначе сразу же застрелили бы или подвесили под стрехой любой хаты поблизости — в назидание. А так только: разбили лицо и сломали кастетом челюсть.

Зачем же рейтары из взвода Павлюченки снова стали его обрабатывать? Похоже, что у схваченного в погребе только что, от прямого удара ботинка вытек глаз. Мужичок в крови закричал такой жутью, что, кажется, вся Борятьевская сотня затихает и оборачивается к месту казни.

— А ну, за-а-а-асохли! — сотник взнуздывает голос, заскакивая в ультразвук, от чего ломит уши.

Терно́полец, сержант Гавриш, с бритой по бокам, с переда и затылка головой, вошёл в ритм и бьёт мужика под рёбра лопнувшим от упражнений мыском армейского бота. Сотник ловит его за шиворот и легко отбрасывает назад, метра на четыре, да так, что Гавриш валится в дорожную пудру, подняв грязные облака.

— Я кому сказал "засохли"? С первого раза не понимаешь, гондура́с? Дальше буду уже бить в харю.

Солдаты в мгновение ока обрывают физзарядку, зная норов сотника.

— Так вин же — вата. Откольнык с-сучавый. Се́пар! — пробует огрызаться тернополец.

— Доказательства того, что он воевал, нашли? — Борятьев полосует отделение взглядом анаконды. — А раз не нашли, то нечего тут подкачиваться на ком попало… Он нам живой сгодится. Сменяем его на кого-нибудь из наших, кого вчера сепараты в плен забрали… И, в общем, — сотник, расцветая красными пятнами по шее и лбу, оглядывает свои списочные вооружённые силы, — вы бы лучше прыть в бою проявляли, а то буцкаете штатских, которые под ногу попадутся! — Оглядывает с недолгим вниманием лежащего мужичка, завывающего от боли и с силой прикрывающего ладонью дырку

выбитого глаза. — Приказываю: отдать этого в штаб, Купревичу, пусть сам решает, это его функция.

И печатным маршем идёт дальше — смотреть складирование боеприпаса.

— Сотник! — слышит сзади недовольный озыв.

Поворачивается. На него неторопливо надвигается Гавриш. Под солнцем бликуют свежебритые виски и лоб; лишь на самом куполе — хвост волос, на манер казацкого хохолка — "осэлэ́дэць" или "селёдка", как его назвали ещё в семнадцатом веке оборонители Руси, ухари Запорожской Сечи с днепровского острова Хортица. В ухе — медная серьга.

— Чего надо? Ты чего-то недопонял? — неприязненно бурчит сотник. — И почему не по форме обращаешься?

Гавриш подошёл почти вплотную.

— А вы, пан сотнык, зи мною — по форме? Якэ вы ма́лы право мэнэ торка́ты пры рядовых? Я всэ ж сэржант!.. И ще обража́ты...

— Ображаты? — топырит губу Борятьев. — Это я тебя не оскорблял. Это я тебе ещё комплимент сказал. Это ты потом узнаешь, как я кро́ю... У себя, в своём городишке Збараже будешь быковать или откуда там ты сюда объявился, весь такой резкий! А у меня ты будешь шёлковый... И иди, иди, не зли мне характер.

Сержант отряхивает дорожную пудру со штанов сзади и нахохленно пялится Борятьеву куда-то во вторую пуговицу на куртке. В глаза не решается глядеть.

— Я рапорт подам. В штаб батальону, — выдавливает он гортанно, будто бы без помощи зубов. — Вы нэ ма́етэ права зи мною так... И ще докладу́ про тэ, що обмэ́жуетэ нас, колы́ мы колорадив гнобымо́.

— Докладай, докладай, Гавря. Я таких докладчиков уже имел... — Сотник решает спрятать кулаки в карманы штанов, не уверенный в себе. — А про то, что я вас ограничиваю в вашем произволе, мы ещё поговорим. — Борятьев всей тяжеленной статью покачивается — с левой ноги на правую, с правой на левую. — Вы, сучье стадо, тут страну защищаете от кацапских банд и их охвостий? Или свои делишки решаете? Думаешь, я не слышал, как ты утром, на привале, откровенничал с Тюриным? Базла́л что-то в таком роде: "Где ещё в Украине можно теперь безнаказанно трахать любых баб, брать всё, что понравится, из любого дома! здесь можно снять с груди у попа золотой крест, и ничего за это не будет, кроме ордена!.. Да, се́пары могут и кокнуть, но уж такая судьба; кто не рискует, тот... не рискует!.." Или скажешь, что такого не говорил?

Сержант пожимает плечами.

— Ну й що? Так багато хто думае. И хто мэнэ за цэ засудыть?

— Я осужу. И тебе этого будет — с верхом, по горлышко... В бою-то ты не такой лихой. Я ж вижу, как ты всегда за углом ховаешься или по ямам, когда остальные на сепаратов идут. — Борятьев понимает, что пора прекращать воспитательную беседу. Авторитету не способствует. Это не его, сотника, дело. Есть Павлюченко, взводный, пусть и воспитывает... Но не может не поддеть: — Хотя, чего ещё от тебя ждать? Бандеровец!

У Гавриша достаёт смелости поднять глаза. С ударением:

— Ну, я — бандэривець. А вы щось протыв ма́етэ? Бандэривци — найперши патриоты Украйины. А про тэ, що я ховаюсь дэсь у бою, цэ ще доказаты трэба. Вы свидкив нэ на́йдэтэ.

— Зачем мне какие-то свидетели! — подсмеивается Борятьев. — И кому доказывать?.. Ты запомни, Гавря, я для тебя — и следователь, и исполнитель приговора. И никто не пикнет.

Посчитав, что разбирательство окончено, собирается продолжать обход. Не удержавшись, ставит окончательную точку в воспитании. Или несколько точек:

— Ты, Гавря, рано хвост на дядю сотника решил поднять. Ещё одно кривое слово от тебя услышу — инвалидом сделаю на всю жизнь. Руку ты мою должен был запомнить. С того, первого боя, у Ясногорки. Помнишь, как я твоего дружка, Тюрю, приложил? Когда он, гнус, вместо того, чтобы драться с бандюками, шедшими на нас с северного боку, свою доблесть перед

безответными бабками и детьми села выказывал, пугая выстрелами в землю у их ног… И ещё… — закрывает от солнца правый глаз, смахивая с лица комариный балет. — Давно хотел спросить по другой теме: а чё ты, Гавря, тут из себя казака запорожского строишь? Чуб-оселедец отрастил. Как бы — по стилю, потому что в Украине сейчас это в почёте? — он улыбается, но улыбка — из триллера. — Какой же ты казак? Они православными были, а ты — униат. Я ж знаю! Это как раз казаков из-за оселедцев и стали дразнить "хохлами". А ты ж у нас не хохол, а бандеровец. Как же! Вы ж — белая кость, совесть нации, вы ж хохлов и за полноценных украинцев не считаете! Тогда зачем рядишься, мразота?

И, не собираясь слушать ответ, гремит подкованными подошвами к сгружаемым с КамАЗов ящикам боекомплекта.

"Никуда эта бандеровская сопля рапорты писать не будет. Шакал, как и все они… А вот пулю между лопаток от него в бою я могу заработать… Впрочем, на то и бой: пуля может залететь откуда угодно — что от Гавриша, что от бандючеллы донецкого…"

* * *

Сотня как-то обустраивается на ночлег. Неторопливо и не основательно.

С новым докладом по пути заворачивает Бейбас. У него темнеют потные пятна на спине и у ворота.

Подсчитал, что в селе найдено двенадцать трупов; в основном — старики. Лишь одна — девка. Боевиков не нашли. А дохлого скота — без счёту.

— Хорошо, позвоню Ворощуку в штаб. Скажу, чтоб бульдозер подсылал. Будем хова́ть. У нас третий взвод сегодня меньше устал, чем другие; так скажи им, чтоб все трупы стаскивали по ту сторону шляха, подальше, чтоб не подцепить заразы. Раздай медицинские маски и прикажи взводному проверить, чтоб все они после перетаскивания помыли руки с хлоркой. А я начну ставить второй взвод в охранение.

Заместитель устало козыряет.

— Бу сделано, Анатольйовыч.

Борятьев последовательно осматривает всего осунувшегося зама.

— Что, Валера, притомился?

Тот немного играет в браваду:

— Та с чего бы, сотник? Усё в поряде. Свеж, як огурец, — и кривозубо лыбится.

— Ну-ну, — шелестит присланными штабными циркулярами Борятьев. — А как дела дома? Тоже всё в поряде? С родными общаешься? Что там у вас?

— Ничо́го особлывого, — Бейбас садится напротив командира, закуривает тонкую дамскую сигаретку. — Бизнес йдэ погано. Люди всё реже заказывають новы окна. Грошы́й нэ хватае… Зато вдома — полный ажур. Донька в этом учебном годе будэ школу кончаты. Она в мэнэ отличница, на золоту мэдаль йдэ…

— Ну, пруха тебе! — откровенно грустит Евгений. — Не то, что мои.

К югу от Тореза. 27 августа 2014

Для ремонта батальонного мотохламья юному технику Дивайсу обычно выдают троих-четверых подручных из пленных. Сейчас же — лишь двоих, затащенных в правительственную армию по мобилизации или, в фольклоре, "могилизации".

Угрюмый мужлан с кустистой шеей, по которой механическим поршнем ходит рабоче-крестьянский кадык, Пили́п Горишин, из трудяг, судя по шишакам мозолей на исковерканных руках. Ноги в чужих растоптанных ботинках. Всё на нём чужое, свободно обвисает, хлопает от движений.

Проговорился, что по домашней профессии он сварщик. Вот и попал к Дивайсу. Откуда приехал — молчал (ну, большей же военной тайны не бывает!).

Кому какое дело здесь, откуда кто приехал! В стране уже давно никто не разделяется по адресам, лишь — по мечте.

Другой же — тёплый, желтоволосый, совсем одуванчик, мальчуган, призванный в Ковеле, именем Мусий, для ополченцев ставший Муськой. Всегда в разговоре кивает, настолько часто, что лишь удивляться остаётся: как только позвонки выдерживают! По стандарту волынян, говорит на протяжном украинском, через фразу вставляя польское раздосадованное "холера!", когда что-то не получается; быстро ест то, что дают, даже заметить никто не успевает, как он вычищает пластиковую мелкую тарелку, зачем-то обязательно моет в конце минутной трапезы, будто её собираются вторично использовать. Ещё исхитряется немного из еды прятать в карман, чтобы позже подкормить тварину из кодла набежавших дворняжек или облезлых кошек, оставшихся в войну без хозяев; те сгинули или убрались из этих проклятых мест. Ополоумевшие животные хромой, осипшей оравой сбиваются со всего края, жмутся к людям, каким угодно, лишь бы к людям; иначе — гибель.

— Муська, имья в тэбэ како-то жидовське, — сонливо допытывается Дивайс посреди собственного перекура, сидя на ящике, облокотившись о задний люк добытой ещё в июльском бою давно устаревшей БМП. Муська воздерживается, потому лежит рядом, покусывая стебель дикого житняка. Над ними оскаливаются руины, когда-то называвшиеся районной машинно-тракторной станцией.

— Мусий... Это ж Моисей. То есть Мойша. Ты, часом, не из этих?..

— Та ни, — улыбается мобилизованный волынец, отмахиваясь, как от мошкары. — В нас Мусийив забагато. То ж хрыстыянське имья. А вы, панэ Дывайсэ, з руськых?

— Можно и так казать. Мал-мал и белорус. Мамка — бульбашка, з-под Витебску... — Дивайс сглатывает табачную горечь. — Усе мы — русские, з Киевской Руси. И ты тож.

— Дывóво, — дивится Мусий. — А нам у школи нэ так пояснювалы... Чого ж мы воюемо? Якщо мы уси руськи...

— Да, воюем, и это наша, унутрянна вийна, меж русскими, и з твоей Волыни, и з Слобожанщины, и з Курску, и з Мурмáна или, положим, з острова Сахалину... На мою думку, пиндосы с Европой так хотят. Шоб мы меж собою резалися. Чем нас, русских, меньше, тем им жить просторней. Та й пиндосам и у Европе бы драчка не помешала, та й везде вокруг них, шоб казалось, шо сами они живуть, почитай, в последнем зáтишке на земле, шоб усе денюжки мира к ним плыли, шоб самим жирнеть с того... Ну и, известно, им надо придавить Русь потому, шо их усе боятся... — Дивайс обрывает окончание посыла, отряхивает с себя сонность и разморенность и, загасив о броню остаток сигареты, возвращается из аналитического дискурса, а вместе с этим объявляет завершённым и перекур. — Ну, будет, пошли. Нам заменитель для гидромеханики реверсной передачи дизеля дэсь шукать надо, и левый трак натягивать. Придётся натягивать вам двоим. Я не смóжу: у меня дырка от прострела у шеи ще свежа, болыть... Я лучше тормозной механизьм слева буду перебирать... Де твой однополчанин? А ну, шумни его!

Муська, всё ещё мутирующим мальчуганьим голосом зовёт престарелого сварщика, заснувшего в тени развалин:

— Пан Горышин! Йдэмо працювáты, пан Дывайс клы́че.

* * *

Утро блестит, горизонт размыт, пелена нагретого воздуха колышется зыбким маревом. В накаляющееся небо идут соки земли, вся её страсть. Поле вокруг дышит.

Высушенные солнцем подсолнечники. Каждый боец хотел бы семечек, но никто не пойдёт — остались противопехотные подарки от нацгвардии; она тут неделю стояла, мало ли чего припасла для сменщиков...

Ольховой не спал всю ночь, живёт вчерашним, ворочает сейчас это вчерашнее в тяжёлой голове.

Вчера, ближе к вечеру, ездил в горбольницу со списком; Довгало договорился с главврачом. В палатке Ольхового всё заканчивалось, особенно анестезия и пенициллиновая группа, и шприцев — лишь полкоробки, а это на день, ну, на два.

Батальонный дал свой "бобик". Николай согласился только на Шлыка шофёром. Другие — не здешние, всех троп тут не знают. При этом на Шлыка можно положиться, как ни на кого: наученный, внимательный, слушает каждый шорох листа. Когда надо — взрывающийся, когда надо — неторопливый, всегда занимает верную позицию для стрельбы; отстрелявшись, прикрывает прикладом у себя то, что обязательно надо прикрывать. Если бы Ольховой не знал предысторию этого цыганского отродья, то был бы уверен, что оно заканчивало диверсионное отделение спецучилища, настолько это отродье было приспособлено под войну. И стреляет — на загляденье, и пустыми руками умеет, а также ножами, лопатами, палками и всем остальным, что выхватит конокрадский глаз, к чему можно дотянуться. Такой ролью жи́ть надо!..

Загрузились в больнице нужным и стали осторожно выезжать из госпитального двора, который целиком заняли раненые в больничных пижамах, а дамы — в легкомысленных пеньюарах. Все, наверное, до одного, вышли из корпуса, кто мог ходить, чтобы глотнуть остывающего к вечеру воздуха.

Машина выезжала за ворота. Ольховой и на улице, вдоль квартала, увидел немало гуляющих в пижамах и исподнем. Те, у кого ещё оставались гривны, выжидали в очереди к продуктовой лавке на углу улицы — конфеты-суфле, воды-пиво, яблоки-бананы. Не ругались, как обычно в очереди, а, видимо, неторопливо вели среди своих политинформацию и делились вестями с полей.

Шлык уже собирался проезжать перекрёсток, как Ольховой услыхал на высоте, в подлёте, развязный и тонкий звук мины, среднего диапазона. Вдогонку — другой, побасовей. Услыхал и Шлык, потому что рывком ускорился, послав в непристойном направлении все базовые правила, через встречное движение в запретный для проезда переулок. И сразу же сзади детонация раскромсала пространство.

Оба обернулись. Вслед догонял хлористо-красноватый клубящийся ком воздуха, собравшего камни, землю, фрагменты взорванного перекрёстка. По "бобику" посыпалось и стекло, и древесная труха. На капот бахнулась оторванная ударной волной ветка каштана, потом — кровавый обрубок в лоскутах ситцевой пижамы.

— Вот нам и подару́нок от укропов. По больничке целили, падлы! Да тильки в ных руки не с того места растуть, ничего не умеють, даже попасть. А потом ще скажуть, шо то мы́ пуляли.

Николай высунулся из окна. Больница вроде бы задета не была, а на месте лавчонки и очереди — следы взрыва... Оттуда шёл уже чёрный дым. В прогалинах можно было видеть несколько разодранных в стружку тел на тротуаре и на дороге. Загорелся ИЖ-"каблук" у киоска, на заезженной резине своих четырёх колёс, — стоял тут, верно, для подвоза товара. Уцелевшие люди, сметённые психозом, уже стойко засевшим в них за последние три месяца, семенили, рвались — кто куда. Безумный вой женщины, упавшей на колени от увиденного; ноги не держали...

— Стой, мне надо туда! Останови! — Николай дергал Шлыка за рукав. — Там же люди!

— Та ты дребанулся, штоль, Богданыч! Убитым ты вже не допоможешь. А раненых и без тебя больничные соберуть! — Цыган яро выдёргивал правую руку из вцепившихся хирургических пальцев. — Да отпусти ты! Я ж так вести не можу. — Потом как-то извинительно: — Я не маю права останавливаться. Пойми ты, мне Голова сказал сурово: только в больничку и обратно. Не останавливаться ниде, даже если дождь пойдэ з укроповских знамён. Даже если ихний президент на дороге сам буде стоять и голосовать попутку. Не маю я права... Нам с тобою, Богданыч, сейчас погибать не можно. Тебе ещё стольких залатать надо! Впереди война длинная, падла! А мне... мне ещё много чего нужно сказать укропам...

Ольховой дословно вспоминает Шлыка.

Николая всегда резало это — “укроп”. Как затуплённым консервным ножом разрезало. Все не-украинцы в движении Отпора так называют: и местные, и донские казаки, и горцы, и русские с Печоры, и русские с казахстанских просторов, и втянувшиеся в ополчение приблуды с атлантических берегов. Украинцы же в ополчении, понятно, не могут так небрежно о вчерашних своих, по ту сторону поля, поэтому подбирают синонимы, как угодно: вуйко́, бандера, свидоми́т. Ну, и “нацик” — универсально для всех в Отпоре.

Уже через неделю после появления здесь, ещё в начале лета, Ольховой не сдержался, спросил кудрявого комвзвода Затохина, промышлявшего до войны уличной рекламой на щитах в Донецке:

— Так я тоже, по-твоему, укроп?

— Т-ты… ты шо, Айболит! Бог с тобою! Якый же ты у-укроп! Ты ж наш, украйинэць, — начал пристыжено выводить заикания взводный, и, стушевавшись, как бы выпрашивая о снисхождении: — Т-та в мэнэ жинка напов-украйинська. И сам я…

Теперь, сидя у палатки и снова проживая вчерашний удар миномётов, Николай вдруг задумывается, о чём не часто думал — о национальном, родовом.

Его это почти не касалось в той, прежней, очень давней жизни. Да, любил песни, до дрожи рук. Часто ставил на проигрыватель старую, ещё сороковых годов пластинку Оксаны Петрусенко, на 78 оборотов, “Ой, не свiти, мiсяченьку, не свiти нiкому”. Родители показали. Сердце обрывалось и останавливалось. Пластинка была заезжена всеми поколениями Ольховы́х посредством граммофонной иголки до такого состояния, что через неё под конец можно было рассматривать солнечное затмение… А ещё был Анатолий Соловьяненко — “Чом, чом, земле моя”, Паторжинский…

Всегда в потаённых закоулках чего-то, что всуе принято называть душой, тепло ёкало, когда читал или слышал о людях, одного с ним роду-племени, дошедших до самых вершин в державе — былой, большой, которой уже нет. Кто-то стал первым министром и канцлером Империи, кто-то — министром обороны Союза, потом ещё один. Кто-то вырос в величайшего биофизика, кто-то разрабатывал самые первые и самые дальние в мире ракеты, а на чьем-то режиссёрском новаторстве учат и по сей день киношников всех континентов.

Но на этом всё-таки слишком не залипал. Последний год в школе был отдан только сверхмечте. Хирургии.

С чего началось такое наваждение, уже не помнил. Пошло́ всё, вероятно, с той операции, которую он в пятнадцать лет прочувствовал на себе самом. Прочувствовал не саму операцию, уточнял, а её последствия. Приведение в норму скривлённой с материнских родов одной из лодыжек сделало его совершенно полноценным. Настолько полноценным, что навечно были забыты детские унижения и подавленность от того, как его щадили на физкультуре в школе, как он никогда не играл мячом с дворовыми в “штандер”. Настолько полноценным, что без каких-то оговорок потом прошёл медкомиссию в академии.

Видимо, в месяцы перед операцией и после он восхитился строгим очарованием труда своего хирурга, Вилена Игоревича, собранного, всё на свете прочитавшего, пунктуального, ироничного; подростка Колю Ольхового задевал вызов этого занятия — спорить с анатомией, исправлять то, что запущено или испорчено.

Так что с тем, на кого учиться, было определено давно. Никаких подтачивающих сомнений! Лишь вопрос: где?

Немного разобравшись в окружавшей жизни, понял, что врачи в стране — не самое привилегированное сословие, и зарабатывают плохо. Тем более, что под конец школьной беззаботности из семьи исчез папанька; ушёл, вылившись на прощание нелепой и затянутой, покаянной речью. О маминой же одинокой поддержке и разговор не шёл: она б не сдюжила тянуть сы-

на все годы учебы в медицинском (а годы эти дольше, чем в любом другом институте…). Так что, как ни соображай — только военмед имени Кирова, на полный казённый счёт. И после академии… Тогда офицеры ещё получали пристойно; пристойней, всё-таки, чем цивильные коллеги.

* * *

Из мыслей о вчерашнем и своих началах его извлекает ассистентка. Вокруг всё ещё скрипит и нехотя бухает дальними взрывами война.

Фельдшерица привела немного покалеченного в сегодняшней быстрой свалке с разведывательным взводом тербатальона "Хоро́л", грязного по шею солдата. Многозначительно улыбается. Не по поводу пациента. По совсем другому, ясно.

Втолкнула в палатку страдальца. Ольховой заторопился вслед.

На сей раз предстоит вправлять вывихнутый локтевой сустав. Вправлять незнакомому бойцу, не только грязному, но и вонючему, обветшалому, мелкому, измазанному кровью, хотя, по всей видимости, не своей.

У входа в палатку Оксана шепнула Ольховому в ухо то, что ей сказали привезшие о покалеченном.

— К вам как обращаться, друг?

Обветшалый трясётся от боли, смотрит на врача затравленно.

— Киря. Шерстобитов.

— А сколько вам лет, Кирилл? — старается Ольховой подобрее.

— Тридцать восьмой пошёл…

— Быть не может! — Меняется лицом хирург. — Я думал, ты старше меня. А мне ведь уже хорошо за сорок.

Шерстобитов перестаёт трястись и осторожно кладёт вывихнутую руку на толстый лист фанеры, подразумевающий операционный стол.

— А вы, доктор, поработайте в шахте семнадцать лет кряду, так я погляжу, на сколько вы будете выглядеть. Я ж горняк в трёх поколениях, с Енакиева.

Николай смотрит на бедолагу с сожалением.

— Чего ж ты воевать пошёл, горняк? Мне Оксанка сказала, что твой командир тобой не очень-то гордится. Ты и стрелять-то, по его словам, до конца ещё не научился. Автомат, вон, весь поко́цанный. Я ж — военный. Вижу, не бережёшь его. Это ж не за сегодня ты всё цевьё ободрал, ремня нет, в стволе трава торчит…

— Чего я воевать пошёл? — Глаза у горняка разливаются карим несчастьем. — А вы б не пошли воевать, когда вашу племяшку, ещё школьницу, спаскудили трое бугаёв из нацистской гвардии в Мариуполе? Поймали на улице, затащили в бойлерную под разбитым домом, и понеслось… То ли все вмазанные были, то ли накуренные. Ржали всю дорогу промеж друг-дружкой на непонятной мове, лицо племяшке изрезали… Сейчас она в "дурке", лечат, она после того случа́я дважды хотела с крыши стребнуть, еле успевали за руку ловить… Сеструха моя — в милицию, а ей там: нужно лучше за дочкой следить… Дело отказались заводить. — Шерстобитов непокалеченной рукой смазывает с грязного лица мокроту, безвольно сочащуюся из глаз. — А вы, доктор, спрашиваете, чего я воевать пошёл! Автоматом моим попрекаете… Да вообче — доманá́ли они меня, до самой хребтищи! Вы бы не пошли воевать, когда вас за скотину принимают! Те, с хунты. Когда учат, как надо Украйну любить, будто я без них не знал! Когда заставляют по-ихнему молиться и думать! Когда пообещали всех недовольных "новóю владою", ну, хунтой, всех в шахтных ко́панках засыпать! Вы бы не взяли автомата?

Хирург внимательно изучает куртку горняка.

— Сам сможешь снять?

Тот опасливо вертит головой: не-а.

Николай начинает резать правый рукав камуфляжа огромными ножницами закройщика, наточенными о булыжник.

* * *

Вправил сустав быстро. Шерстобитов жмурился с силой, боясь живодёрских мук. Добела накалённая боль и прожгла его всего, но лишь моментом. А затем, сразу же — успокоение; он с нескрываемым идолопоклонством смотрел на избавителя…

Когда подправленный горе-комбатант уплёлся, Оксана рассказывает, что приходили от Головы. Тот "велел нега́йно прибыть".

Ольховой налаживается на поиски: Довга́ло на месте не сидит. Вероятно, сейчас зовёт из-за тех двух захваченных важных бандер, которых ещё вчера должны были привезти из-под Кутейниково; у одного из них, как говорил батальонный, нога — чуть ли не на ампутацию…

Николай видит батальонного в тополиных тенях, у архивных, мало дееспособных гаубиц — их после Отечественной не использовали, лишь недавно привезли из городского сквера, даже защитная покраска ещё не поскреблась. У экспонатов гудит и посмеивается расслабленный, полураздетый штурмовой десант, покуривая, попивая по кругу воду из пластмассовой бадьи.

— Ну, мы со Скоморохом, ёпсть, швыдко в сгоревший дом и впрыгнули, — начинает различать Ольховой, подходя ближе. Вещает ополченец с гладким лицом, без рубашки и майки, подставивший спину и татуированную шею солнцу под загар. Хирург, потряся свою память, как пыльный ковёр, не враз, а по буквам выбивает из неё позывной вещателя: В-е-п-рь. Один из старожилов, бьётся с самого начала, добрался мопедом-пешком из Чернигова, на окладе футболил за город. Ольховому говорили, что стреляет Вепрь — как дышит, в любом положении, при любом освещении, а ногами дерётся так, что и рук не надо. В его, вепревом, перечне уже полсотни значительных пленённых врагов. Служит в знаменитом отряде захвата, под началом самого Скомороха. О них стали слагать сказания. — Впрыгнуть-то впрыгнули, — слышит Николай уже отчётливей, — а там четверо укров, из передней розвидки, ёпсть. Ну, двох мы тут же уконтрапупили, один оставшийся пытался убегти, ёпсть, но Скоморох ему стрельнул по ходулькам. А второй, оставшийся, уже собирался дёргать за гранатную чеку, ёпсть, я еле успел нажать на курок…

— Не мог ты на курок нажать. — Довгало не в духе, примериваясь уходить. — Курок у автомата чи пистолета, то такой механизьм ударного бойка, як молоточок, бьёть по капсюлю. Курок так звэться, бо вертить при ударе наконечником, як жива ку́рка головой. Но его ж не видно, сука, он внутри корпуса. А то, за шо вы все стреляете, то бишь на шо нажимаете, звэться спусковым кручком, або спусковой скобой… Гово́рю это вам всем так, для вашей общей интеллигентности.

И замечает Николая.

— Пишлы, Айболыт. До тэбэ е справа.

Ольховой пожимает батальонную руку.

— Какое дело? Привезли, наконец, тех двоих нацев? Ну, по поводу плохой ноги у одного из них…

— Та ни, ще не прывэзлы, хай йим грэць!.. Наши хлопци зво́нять, гово́рять, шо не можуть пробытыся, усюды посты нациков, сука. Вночи́ змоглы ти́льки задами, огородами пидъихаты до сэла Благодатного. Може, як будэ тэмно, спробують пройихаты напрямкы́ чэрэз полэ. Пёхом нэ выйдэ, сука. Той старшой, з схваченных, якый хо́дыты нэ може, такый хряк моцный, що його на руках нэ понэсты… Ладно, будьмо й мы ждаты, хлопци чогось надумають. А поки що — тоби́ трэба глянуть того, шо Вэпрь со Скоморохом прыволоклы. Чув, що Вэпрь казав? Нацику ноги прострэлылы, щоб нэ вбижав. Тэпэр плаче, сука нацгвардийська, як дитятя мала. Так ты глянь — шо да как. Пули повытаскуй. Помажь там чым-нэбудь… Ну, нэ мэни тэбэ учыты.

Они идут в сторону жалкой, никудышной рощицы, стыдливо прикрывающей, будто с бока зачёсанный локон, проплешины голой, как череп, запущенной пашни. Даже не рощицы, а чего-то весьма прозрачного. По пути комбат матюгает бойцов, которые устроили склоку по поводу того, кому закапывать трупы брошенных тут нацгвардейцев.

Перед тем, как батальон Довгало занял позицию, её держала рота правительственных внутренних войск, присланная аж из-под Ивано-Франковска. Костяк роты — о чём говорила стрельба — был свидомым, идейно-выдержанным, дрались до того, пока не закончились припасы для боя. Но, к удивлению старослужащих Отпора, укатывая отсюда на запад с пустыми патронниками, почти сохранив свою технику (лишь пару бронетранспортеров с сожжёнными в лохмы покрышками отдав нападавшим), остатки роты не стали, как раньше, забирать полегших сослуживцев. Оставили всех, даже ещё шевелящихся, не схоронив убитых, на ночную потребу лисам и воронам.

— Как теперь убеглые будут смотреть в лицо родителям? Родителям тех, кого они тут побросали… Они ж все, понимаешь, с одних и тех же сёл и посёлков, — с выползшим знобящим страхом спросил подпалённый в том бою ополченский воин-чулымец, меткий охотник на соболя, узкоглазый, не по-славянски круглолицый, с позывным Харакири, приехавший стрелять откуда-то из-за Енисея и после боя попавший к Ольховому на обработку ожогов. И думал охотник, наверняка, в тот миг о себе, окажись он на месте брошенных. — Как они могли так со своими же?

— А ось так и моглы, — тяжело ответил Довгало, пришедший проверить, как устраивается хирург, сразу же после установки госпитальной палатки. — Цэ вам наука.

Семён Довга́ло, под которым и служит Ольховой, при приезде того в расположение, в июне, перво-наперво самым подробным образом выспросил всё у военврача. Спрашивал даже о сокурсниках, спрашивал о тех, с кем знался на последующей службе, номера госпиталей. Потом всё это, безусловно, проверялось спецотделом движения Отпора.

Но, чтобы не показаться мнительным, кое-что рассказал Ольховому и про себя. Вроде бы, получалось взаимное глубокое знакомство.

Приехал Довгало, по его быстрым показаниям, от самой Матери городов русских, из спящих и заштатных Броваро́в. Вчерашний… — ладно, пускай, позавчерашний — инструктор огневого контакта в милицейском училище, готовил и парней из "Беркута". Новую власть поклялся уничтожить после поджога его выучеников зимой на Грушевского, улице Институтской и Европейской площади, за "беркутов", поставленных на колени во Львове и Ровно, за филаретов-денисенок, самозванцев, раскалывающих православие Руси, за бандер-униатов, схвативших страну за горло, не просто не скрывающих, а кичащихся своим омерзением от схидняко́в — и совсем не кацапов всяких, москалей, а таких же украинцев, которые на востоке, — омерзением от манеры говорить, от раздобревших форм, от православия, посмеиваясь: "их бородатые попы ладаном провонялись…"

— Ты чуешь, Айболыт, они ж нам гово́рылы напрямкы́: вы — недоделки, низшая раса по отношению к захиднякам, западынцам, греко-католикам, щирым европэйцям, не знавшим крепостного права. Всех, хто восточнее (даже годовалых дито́к!), записывають в алкоголики… Ещё бы: в Галиции ж алкоголизьм неведом! Там же одни ангелы летають и питаються тильки цветочным нектаром!

Для Довгало, давно разменявшего пятый десяток жизни, вдруг стало совершенно очевидным:

— Захидняки — не украйинци, зо́всим нам чужи, они ж точили, оказывается, на нас ножи вси симдэсят чотыри роки у составе республики.

Он с удивлением припоминал свою дембельскую связь с Хры́стей, Христиночкой, колдовски красивой девахой из Старого Самбора, говорившей на лемковском искривлении мовы. (Уходил со срочной в запас с лесной заставы на самом начале Днестра). Помнится, тогда у них двоих всё складывалось, даже женихались…

Про семью свою ничего не говорил, держал в себе. Вряд ли кто в батальоне что-нибудь знал.

…Звонок от комбата:

— Айболыт, давай у штаб! Ну, который в столовке… Хлопци бандер прыва́злы. Я тож за́раз туды йду, — Довгало был краток.

В столовке-штабе-складе электричество не появилось. Да и с какой стати? Тужатся бензиновые коптилки и пара шахтёрских ламп.

Одновременно подошедшие комбат и хирург протискиваются через неорганизованный хурал ополченцев, окруживших звёзд группы захвата и привезённых ими двоих гостей.

Сквозь подрагивающие длинные тени частями высвечен ужаснувшийся поляк нечёткого возраста. В натовской форме без погон цвета кофе с молоком; вся в защитных разводах, она скроена для боёв в пустынях Месопотамии. Найманец сидит на корточках, потёкший, в чаплинских усиках и торчащем дикобразе коротких волос. Сразу же начинает для Довгало более-менее произносимо ведать о себе по-русски, быстро перескакивая со слова на слово: Ра́фал Жимчак, город Познань, по набору, хорунжий в отставке, командир танка, записывали в легион в Варшаве, улица Доманевска, записывал какой-то американчик, флотский (даже представлялся, но не удалось запомнить), в джинсах и форменном пуловере с надписью "корвет Vanquisher", две тысячи восемьсот долларов в месяц, двухгодовой оклад семье в случае гибели, в Познани работы мало, платят чепуху…

Трепещет, сопливится, выклянчивает жизнь.

Второй — здоровущий, на порядок больше любого присутствующего, с остриженной под машинку головой, потный толстяк, в обычной форме, не пустынной. Его посадили-положили в валявшееся на полу пассажирское кресло, открученное из автобуса.

— Ну и бизон! — знакомо крячет Довгало, рассматривая. — Такого заместо трактора нужно в плуг запрягать. Справиться не хуже…

Форма гиганта в проколах и забрызгана, но по вороту и по берету видно, что облачение новое, недавно со склада. Мало ношеными выглядят и высокие кожаные ботинки, с подкованными каблуками и носками, на четвёрке ремешков, не на шнурках.

Толстяк — с разодранной от бедра левой ногой и задетой рукой. Левый бок тоже побит. От боли бизон кривится, заламывая губу. Увидев подошедшего и склонившегося к нему старшего из хозяев (как можно заключить из уверенной повадки бородатого низенького качка), и особенно того, кто пришёл с командиром, у него с лица почему-то сходят страдальческие очертания.

Он, как заколдованный гипнотизёром, прошёлся застывшим глазом по комбату, чтобы потом медленно перевести на Ольхового и так свой открытый глаз закрепить на всё последующее время.

Николай рассматривает вблизи разбитые в драке лица обоих пленных, исследуя темноту подкожной крови. У бизона совсем заплыл другой глаз, верхнее веко отекло.

— Нашу мову розумиешь? — Довгало ему. И для чего-то переводит: — По-русски понимаешь?

Громадина, иссохлым языком зря облизывая треснувшую губу, отвечает едва различимо, вприсвист, как проколотый мяч, испускающий дух:

— Самый глупый вопрос, на который в жизни мне приходилось отвечать…

Ольховой едва ухватывает начала слов, а слабый на ухо Довгало совсем ничего не может разобрать.

— Я спытав тэбэ: з якых будешь? Тэж лях-ляшок?

— Я не лях. И не ляшок. Я украинец, в отличие от вас, — бизон еле раздвигает искусанные и разбухшие губы.

— Ты глянь! — изумляется Довгало. — А по-руськи гово́рыть краще, ниж я сам… — Обводит окруживших его степняков повеселевшим взглядом. — А ты, хлопак, часом, не з России? А то я вже ба́чив таких. Сам руський, а за нацистив воюе!.. Начальну подготовку тут проходишь, щоб у России по́тим повоюваты?

Толстяк слабо шевелится, поглаживая разорванную ногу значительно менее разорванной рукой.

— Я уже сто раз говорил вашим подчинённым, которые меня сюда тянули. Я украинец. Здесь родился и вырос. Чего вам ещё от меня надо? Мои документы у вас.

Ольховой внимательнее рассматривает сидящего на автобусном кресле исполина. Изучает не столько продранные борозды в застывшей крови на его ноге, сколько лицо. Голос толстяка просто ударил Николая, даже ненадолго поплыли в глазах остывающая накануне ночи земля и полукруг бойцов, обступивших его и комбата, и обоих пленных.

— Семён Данилыч, — он отзывает Довгало в сторону, — если по внешнему виду, то того пшека не задело, и моя помощь ему не нужна. Пусть ему просто дадут умыть его польскую рожу холодной водой, и со временем у него табло выправится. И, в целом, пусть помоется… Хотя нет ли у него болевых симптомов помимо тех, что появились от того, что его наши орлы отметелили? Я его позже посмотрю. А вот у бизона нужно сейчас же быстро в ранах порыться, чтобы не началось самое скверное. На первый взгляд — раны поганые.

— Да, конешо, Айболыт. Негайно забырай його. Повто́рюю: вин нам потрибен годный, не хворый, не покалеченный. У нас на нього вэлыки планы. Йим персонально наша спецура займэться. А по́тим… Або будэмо його показуваты телевизионщикам закордонным, як до́каз того, хто проты нас воюе, або зминяем його на когось-нэ́будь з наших. По званию можемо, на́вить, його на Конопенку зминяты… А шо? Конопенко був у нас замом начальника контррозвидки, у полон ще в мынулому мисяци попав, у бою пид Северском, а цэй бизон, як мэни докла́лы, у ных зараз служив по звьязку з закордонными розвидслужбами. И був сотныком каратэльного батальону, шо шов на Донэцьк.

Ольховой ещё раз оценивает гиганта.

— Давай, Семён Данилыч, подгоняй сюда машину, и пусть парни его грузят. Они его на руках в мою палатку не донесут… Мужчина, видать, центнера полтора весит, если не больше… Ч-чёрт, боюсь, стол его не выдержит…

* * *

В медпалатке — привезённый полуторацентнеровый пленный и хирург. Настороженно-внимательно рассматривают друг друга.

Николай до этого отослал незаменимую Оксану за дополнительным освещением; керосиновые лампы, электрические фонари, стеариновые свечи — всё сгодится. Пока же он подносит к оплывшему лику толстяка автослесарный светильник, питающийся с обычного аккумулятора, который достался от распоротой пулемётом малолитражки — накануне везла харчи батальону.

— Жетон? Женя?.. — Ольховой заговорил глухо, будто из-под одеяла. Даже сам удивляется не совсем своему голосу. Зубы постукивают, губы подрагивают. Руки тоже. — Борятьев? Неужели ты, Жень?

Раненый, мигая, смотрит одним глазом в лекаревы оба, корёжа в ухмылке черту разбитого рта.

— Да, Коля. А я вот сразу узнал тебя. Всё такой же подобранный, прямо как вьюноша. А к нашим годам мужики, чаще всего, раздаются в животе. Пивко, ничего не поделаешь… Сколько же лет прошло, вьюнош!

Ольховой пробует считать.

— Да уж, верно, не меньше тринадцати. Если помнишь, я в начале нулевых годов приезжал в Черкассы. Последний мой приезд, на сей день. Попаду ли ещё?..

— Да, припоминаю. — Огромный мужчина слабо шевелит посечённой рукой, которой он всё потирает то бок, то разорванную штанину над коленом. — Ты тогда со своими одноклассниками выпивал. Если б я случайно не заглянул в наш шалман “Якорь” (у меня там была назначена, помнится, встреча с одним из торговых партнеров), мы б с тобой тогда и не увиделись… Ты, как я помню, был во всём партикулярном, но говорил, что офицер, в отпуске, служишь в русской армии. Что-то по медицине… — Открытым глазом обводит собеседника всего, по линии силуэта. — Так… Значит, вот в какой ты армии!

— Я уже давно, Жетон, не в армии. Уволился. — Ольховой опускает фонарь, чтобы не пережечь этот пока один, видящий глаз пациента.

— Но всё ж костоправишь, как выясняется. И у кого!!!

К югу от Тореза. 28 августа 2014

Командир батальона для охраны израненного пленника подсылает Ольховому немногословного солдата, твердокостного, недавнего комбайнёра агрофирмы из-под Старомлиновки, одной из первых захваченной галицийской "гвардией". По виду этот бывший аграрий — в норме, нетерпеливо играет предохранителем автомата, то переключая на стрельбу очередями, то на одиночную, то на стопор, то снова на очереди.

— У-у-у, ну и темьнища! — поговаривает и пощёлкивает.

Проходя мимо, однако, Николай отмечает едва уловимый запах. Внимательно осмотрев глаза сторожа при свете ночника, хирург понимает, что экскомбайнёр несколько в подпитии.

На малое злоупотребление в батальоне Довгало смотрит если и не с одобрением, то с пониманием; наказывает, но не больно — сам не абстинент. Всё ж можно и выпить для того, чтобы в чувство прийти в перерыве между атаками. Не колоться же! Это пусть вражина колется. Как накануне взяли у деревеньки за аэропортом нацистский пост, по которому всюду шприцы на дне окопа лопались под каблуками.

Но не приведи Господь, что батальонный делал, если по вине перепитого воина случался сбой, не говоря уж о большой беде! Во второй роте каждый помнит особенно тягостное утро 16-го августа в полчетвёртого, когда уже сивушно-невнятный и засыпающий Бомбила на засаде охранения не засёк трио ди́веров, осторожных диверсантов, вырезавших ножами караульных у подвала с артснарядами, гранатами и остальным боезапасом и даже начавших под низ закладывать радиомины, обмотанные пластидом. Батальон остался бы не только без огневого ресурса, но и был бы подорван, не меньше, чем напополам.

Комбат цепко вглядывался в закошенное лицо Бомбилы, икающего, быстро трезвеющего. В конце осмотра, ничего не сказав, без какого бы то ни было отношения, Довгало вдавил в сердце сорокадвухлетнему ополченцу, таксисту с улиц Горловки, единственную, но вполне достаточную пулю из калашникова.

Тогда попытку удалось придушить. Всех троих диверов взяли. Без документов, как всегда с диверами и бывает. Приходилось верить засланцам, сразу же обмякшим, на слово, хотя — какая разница!

Втоптанный ребристой подошвой в траву, под тычущимся в затылочную щетину стволом один из них, изворотливый, захлёбывался украинским, сплёвывая кровь разорванного рта, что из Га́йворона, что соблазнили, — где сейчас ещё в стране такие гро́ши получишь! — что шёл войной на оккупационное полчище, а оказалось... Что давно разочаровался, что это убойня, эта бесконечная степь, эти ночные прогулки...

Рядом скрежетал зубами молдаван, неизвестно откуда, отказавшийся говорить подробно.

Третьим, старшим дивер-группы, исходя из подчинённого к нему обращения гайворонца, в резком свете шахтёрской лампы вылепился датчанин, как сам объявил. С остывшим взглядом, схожим с осенним медленным закатом. Коротко, по-мальчишески стриженный, сухой, мышечный, в форме ефрейтора украинской армии; назвался Ма́гнуфом...

Ему связали руки и ноги отрезком электропровода. Он попеременно, то на эскимосско-русском, то по-английски, не надеясь, просил не убивать. Готов к какому угодно сроку, пусть даже на Алдане, в урановых копях. Говорил, что тоже давно разочаровался в этой, без будущего, Украине, уехал бы, но командировка лишь через три недели заканчивается, а затем предполагалось повышение в должности, у себя... Подрагивал, но держался, не плыл в слюнях, как большинство связанных за предыдущий месяц наёмных ландскнехтов с проправительственной стороны.

Все трое приползли из тербатальона “Хорол”, из-за поля.

Диверов столкнули в двухметровую воронку от недавней ракеты, со скорбным прощанием: “Вот ваши тут и окопчик для вас отрыли”. Вбросили туда сначала одну, потом другую гранату-лимонку, и, скупясь, присыпали, не более метра — лишь бы не воняли со временем в круглосуточной жаре. Гранат накануне нарыли много, наткнулись на “захóванку” регулярной армии при подходе к Малой Шишовке; а патроны становились дефицитом, пока не удастся отобрать цинки у отступающих или убитых из тербатальонов.

За прикопанного датчанина спецотдел Донецка чуть было не вынес исключительную меру самому Довгало.

— Ты шо?! — с диким лицом, шёпотом (чтобы солдаты не услыхали) орал на него Монастырский, новый замначальника контрразведки, задёрганный, уставший дедун в роговых очках, уже девять лет как не районный прокурор. Он специально приехал на трофейном “Хаммере“ в батальон Довгало, чтобы решать что-то с эксгумацией датчанина. В их политучёбу попал и Ольховой, которого вызвали для совета по трупным изменениям. — Мы тут с ног сбились, по-одиночи збырая натовцев, шоб предъявлять их миру, а ты, комбат, вбываешь таку бесценну улику!..

Но дни сменялись новыми днями, а Довгало, не колеблясь, продолжал расстреливать. Бывало, что и своей рукой. Стрелял и схваченных тербатовцев, и двух собственных слюнявых мародёров, которые вывозили на батальонном ЗИЛе ухваченное из разбомбленных и оставленных хат и квартир.

При отбитии очередного села из-под опеки у́ряда (все называли новоприобретённое украинское правительство только так), выезжал к тому, что считалось центральной площадью, на внедорожном “Сузуки“, реквизированном кем-то ещё до войны у автомайдановца в оставленном ныне Славянске.

Машина была забита сокрушительной техникой: предусилителем, низкочастотным усилителем, вуферами, сабвуферами, терминаторскими динамиками, ещё чёрт знает чем... И, включив все децибелы, Довгало вколачивал насыщенными, раздольными басами по селу и окрестностям, проигрывал один и тот же привезённый из дому компакт-диск с подбором песен, лучших, пожалуй, из очень недавнего, общего прошлого. Ласкающую “Услышь меня, хорошая” баритоном Георга Оттса сменяла маршевая “Летят перелётные птицы” от Владимира Бунчикова, а за ней — печальная, как бы рефреном, “Летять, ніби чайки, і дні, і ночі, в синю даль...”. А в послесловие — обязательное “Прощание славянки”: среди грома геликонов и литавр истонченным серебром вышивали флейты.

— Большой був человек, цэй Васыль Агапкин. Такэ написать! Ось скильки вже слухаю (аж не поверишь, Айболыт!), а мурашки всэ одно по шкири йдуть... — сказал он в один из таких перформансов Ольховому, после взятия батальоном деревни Корчеватое. — Цэ в нас така традыция, Айболыт. Завмисть митингу. Митингуваты нэма́ колы́. То ж нэха́й люды чують, шо свои прыйшлы...

* * *

Борятьев всё ещё кусает от боли нижнюю губу, но одноглазо и въедливо всматривается в бедный интерьер медпалатки. Ворочается на нестойком и жёстком осмотровом диване, на который его сгрузили ополченцы, в надсаде внесшие в хирургию более полутора центнеров вражеской плоти.

— А что за картинка у тебя приколота на стене? Сам рисовал? Я ж помню, ты когда-то неплохо, в натуре, умел... Кто это? Если по камзолу с жабо, то — время первого покорения Америки. Случайно, не Магеллан ли?

Ольховой подходит к перефотографированному из учебника наброску, держащемуся булавкой за ветхий брезент.

— Не угадал. Этого звали Амбруа́з Парэ́. Он у меня — что-то вроде вечного талисмана. Знаю: пока он со мной, ни фига плохого не случится.

Пациент заинтересованно спросил:

— А кто он?

Николай проводит ладонью по пришпиленному листу, как будто стирает пыль, и идёт к поступившему больному.

— Кто он?.. Француз. — С усилием двигает неподъёмное тело, с подстилкой ровно на середину лежака, обитого кожзаменителем. — Считаю его зачинателем всей полевой хирургии. Он впервые стал лечить прямо в бою. Избавил раненых от травм; до него ж раны или огнём прижигали, или кипящим маслом заливали… Первым додумался до захвата щипцами кровоточащих сосудов и лигатуры. Придумал много нового инструмента, протезов…

Но внимание Борятьева уже на другом. Его обнадёживает операционная лампа над, хочется думать, хирургическим столом.

— Неужели настоящая? — с недоверием спрашивает.

Хирург шуршит в кофре упаковками с перевязкой, иглодержателями, пинцетами. Постепенно выкладывает на операционный стол ампулы, новые зажимы, ранорасширители и одноразовые шприцы, ещё запаянные в плёнку. Выкладывает на чистую, не использовавшуюся поролонку, покрытую отрезом бинта, ровно, почти параллельно ближнему срезу стола. Кладёт на одинаковом расстоянии одно от другого… Война — не война, а привычки не меняются.

— Самая настоящая лампа. Только ненужная. Электричества-то нет. Ваши кабель перебили вдоль трассы. Так что страдать тебе — от своих же.

Зайдясь кашлем, мастодонт отваливается на подголовник.

— Ничё. Как украинцу, не грешно за нэньку Украину и пострадать. Возвращение домой, в Европу, из застенков Раши простым не будет. Украинцы готовы страдать. Не тебе чета… — Потом чуть просительней: — Коль, ты б уколол мне чё-нибудь. Ну, сил уже нет выносить рези; у меня вся левая сторона — как на решётке гриля.

Ольховой всё ещё роется в кофре, производя специфично медицинские и успокаивающие звуки.

— Уколем, когда можно будет. Сначала я тебя немного пощупаю, а ты мне расскажешь про ощущения. А уж потом я буду колоть обезболивающее. — Он вспоминает: — И вот ещё что… Наперёд… Не надо мне тут про Украину и украинцев! Не тебе меня форматировать, Женя.

— Это что за выступление? — предгрозовым тоном начинает Борятьев. — Почему это не мне про Украину? А кому? Тебе, что ль?

Николай отрывается от ампул и кофра. Тихо, но в звучании ультиматума, отвергая любые будущие возражения:

— Не тебе, Жень. Какой ты, к чуме, украинец! Чего ты заладил: “Украинец, украинец”!.. У тебя же и мама, и папа — чистые русаки. Ты ж даже говорить по-украински можешь лишь через пень-колоду.

Борятьев даже задыхается протестом:

— Зато ты у нас корифей разговорного жанра! Как же! Мама у него — учительница украинского! При таких условиях не то, что ты, а и мартышка бы язык знала.

Ничего другого Николаю не остаётся — лишь повести слегка плечом:

— Причём мама? У меня и папулька только по-украински дома говорил. Всё ж Богдан Ольхово́й. Он же из Славуты. Там других языков не знают…

Примолкает, наливая в пробирку немного спирта, готовит ватный тампон. Трогает лоб Борятьева свободной рукой, рассупонивает ему полностью куртку и раскидывает в стороны её половины.

— А, кстати, как твои? Анатолий Владимирович и Марина Юрьевна. Надеюсь, здоровы… Я их помню так, точно вчера видел. А самарский расстегай в исполнении Марины Юрьевны я просто до сих пор во рту чувствую. Вкуснотень несравненная!

Евгений отворачивается; не хочет, чтобы приятель видел его мгновенно потёкшие глаза. Выдавливая каждое слово, поначалу замедленно, словно после апоплексии, начинает рассказывать: и про застывший в нём навечно кошмар дорожной катастрофы в ливень, осиротившей его сразу на жену и родителей, и про Светланку, оставшуюся с тёщей в Червоной Слободе, и про сына, неведомо куда запропастившегося, и про свою безработицу

в последние несколько лет… Он уже быстрее выбрасывает слова, снова удивляясь: почему он это говорит Кольке Ольховому, о существовании которого он, казалось бы, забыл? Рассказывает всё помимо желания, будто духовнику, будто во всём свете больше никому этого рассказать раньше не мог. Неужто исповедоваться пришёл час? "Да ну, херовина, глупня! Ещё повоюем! Рано панихиду по себе заказал". Но слова, пусть и с сопротивлением, всё продолжают из него вылезать. И старается примолкнуть, прикусить следующее, но вот новое, и ещё одно, и ещё одно слово, и опять — о тёще, о Светланке, и даже о срочной своей службе, ещё при Советах, уже такой далёкой, хотя и незабвенной, в Поморье, на мысе со смешным названием Канин Нос… И опять о…

— Поверить невозможно! Господи, вот беда-то! Вот уж чего никому не пожелаешь! — Николай стоит рядом, отставляя далеко на подставку и спирт в пробирке и роняя тампон, и, забыв про ампулы и боясь пошевелиться. Позже, после мертвенного, свинцового молчания: — Да, Жень, братка… Выпало ж тебе! — Кладёт продолговатую ладонь на грудь раненого. — У меня всё не так трагично, но тоже приятного мало.

Он медлит с ответной исповедью. Отбирает, что из неё сто́ит произнесения, а что лишнее.

— Папулька ушёл от нас, когда я девятый класс заканчивал. Вот такой был мне подарок к летним каникулам. Нашёл какую-то бабищу, вроде бы у себя в Хмельницком или где-то там ещё. А где теперь — не представляю. С тех пор не общались. И жив ли… А мама жива. Добавить, что здорова, будет преувеличением. У неё прогрессирующий полиартрит, совсем больно ходить…

* * *

Хирургу уже понятнее с пациентом.

Разрезав на нём оставшиеся военные тряпицы, он осторожными пальцами протрогал всю левую сторону Борятьева, чутко реагируя на всякий стон, выспрашивая о точном местоположении каждой боли и том, как она отдаётся.

— Сейчас я тебе вгоню слегка в ногу укольчики, то есть туда, где тебе, Жетон (таково было его юношеское прозвище, а Ольховское — Кокос), особенно невыно́сно, как ты говоришь. Но полностью тупить болевые симптомы пока не буду, иначе ты мне ничего не сможешь рассказать про самочувствие. А твои россказни в отсутствие рентгена — единственное, на что я могу опираться… В руку и бок пока колоть не буду. Потерпи. Я там ещё не всё прощупал.

Жетон отвечал вяло:

— Ну, давай… Хотя бы в ногу. А то я сейчас, похоже, сознание потеряю. Уже больше суток терплю.

Пахнуло спиртом. Николай, протерев пару мест, быстро, по косой вводит иглу в каждое из них. Оперируемый и не заметил.

Со временем левая нога леденеет и успокаивается. Резь всё ещё покусывает бок и руку. Но надо выносить, сжаться.

— Я в последнее время, Кокос, жил между домом Стефании Петровны, ну, матери Тоси, — как будто продолжает прежнее Борятьев, — и кладбищем, где Тосю с моими родителями схоронили. Первое время каждый день к их могилам ездил, проводил там почти весь день, дотемна. Говорил с ними. И не мог наговориться… Через год немного стало отпускать…

Николай пристраивается у ног Борятьева, на угол лежака, всё ещё рассматривая кожные покровы и изрезы от пули и осколков. Заговаривает расстроенно:

— Я вот тебе недавно сказал, что вряд ли скоро смогу приехать в Черкассы. У меня ж там тоже есть свои могилы. Дед и бабка по маминой линии лежат. Хотел бы навестить, но получится ли теперь!.. При новых-то порядках на Украине… Возраст у меня пока ещё самый боевой, украинец

с российским гражданством, в прошлом — офицер. Миллион причин меня не пустить: потенциальный же враг теперешнего режима. Может, даже агент, подрывник! Развернут на любом погранпосте.

Раненый сжимает-разжимает кулаки.

— А чего было уезжать в эту коростную Россию! Чего не вернулся в Украину после независимости? Почему в Раше остался? — пытает он приятеля, мерцая глазом с отражениями лампы.

— Так разве кто-то мог всерьёз предполагать, что это будут реально две разные страны? — Ольховой, подумав, сосредоточенно отрывает от длинной ленты с шприцами ещё одну упаковку. — Все были уверены, что всё будет по-старому, как повелось. А так называемая независимость друг от друга — форма, дань времени. Кто тогда делил? Ни границ, ни различий. И там, и там — один и тот же разор… Тем более, что в России не заставляли армейских заново присягу принимать. Признавали данную Союзу. Так что передо мной просто не стоял выбор: или-или…

— Да? Поэтому и мать свою перетащил в Россию? — Борятьев немного ожил.

— Я её не перетаскивал. Она сама решила. Всё тогда же, ещё при Союзе. Папанька ушёл, я заканчивал школу, собирался в академию, то есть полюбому уже уезжал из дома навсегда. Что в Черкассах одной делать? Родня или поумирала, или съехала из города. У неё и остался-то, кроме меня, только один свой человек на всём белом свете — сестра. Моя тётя Катерина, в Анапе, любимая и мягкая. Вот мама и затеяла перебираться куда-то к ней и её многочисленному семейству… Два года выменивала квартиру в самом центре — ты ж помнишь, бывал у нас сколько, Садовый переулок, дореволюционный дом, четырёхметровые потолки! — через несколько вариантов, маклеров, через грузинский Кутаиси… В результате выменяла на дюймовочий кооператив в Анапе. Пристроилась работать в анапский музей; она ж не только учительница, её первый диплом был по искусствоведению.

Евгений хочет ответить, но слабость валит его навзничь. Даже бежевые смазанные овалы в глазах залетали, каждый в сияющем ободке.

* * *

Нытьё, утихомирившееся было в левой ноге, напоминает о себе издевательскими подленькими укусами, колет, надавливает.

— Кокос, так ты будешь ковыряться во мне? Я ж железо в себе чувствую каждой клеткой… Ну, делай хоть что-то.

Хирург подтирает салфеткой мокрый лоб раненной горы.

— Сделаю хоть что-то. Обязательно сделаю. Достану из тебя сейчас то, что мне видно… В виде бонуса ещё поколю тебя на предмет дезинфекции и избежания абсцесса. Но чтобы найти самые мелкие вошки (в руке, в боку, под коленом) и чтобы оценить масштаб бедствия в костях нужен рентген. Позже, сегодня же, Жетон, повезу тебя в город, в больницу… Если нас тут всех не положит ваша артиллерия.

Жетон умоляюще:

— Только, Кокос, сделай всё сам. Я одному тебе здесь верю. Не давай меня резать никому.

Друг Кокос успокоительно показывает распрямлённую кверху ладонь, клянётся:

— Не бойсь, не отдам. К тому же, не уверен, что в больнице есть хотя бы один свободный хирург. Вы, спасители Украины, тут столько людей покалечили, что больница просто захлёбывается. И ладно бы лишь солдат курочили! А в чём перед вашей Великой Европейской Мечтой виноваты дети? Скольких уже убили или без ног, без рук оставили? Зачем вы донецкое старичьё гробите?.. А ты знаешь, сколько из-за ваших обстрелов уже выкидышей у баб, которые были в положении? Сколько рождается недоношенными, с патологиями!

Он говорит, рассчитывая время на грядущую операцию, задумчиво, готовя под укол нужные ампулы, но Борятьев вздрагивает. Шлёт в бой оставшиеся силы:

— А чего ты хотел, Кокосик? Чтоб мы сочувственно смотрели на то, как дербанят нашу страну, как отрывают одну область за другой?.. — Он выкатывает открытый глаз, бледный, будто облачное небо; по жирной шее даже просматривается трепыхание наружной яремной вены. — Ты пойми, украинец: сейчас наша с тобой страна впервые пытается по-настоящему строить своё, совсем самостоятельное государство, которого… толком и не было никогда… Мало кто у нас уверен, что получится, но… Шанс! Другого уже не будет. Мы не имеем права прочавкать этот шанс. Поэтому мы и бьём, и будем бить по любому, кто против. А получится или не получится… Бог ведает.

Ольховой ковыряет, не без провоцирования:

— Откуда такие сомнения и неуверенность, патриот? Что значит "может не получиться"?

Секунды паузы. Вздох раненого, кажется, собрал в себя всю полуторатысячелетнюю исследованную историю обитания людей на Подольской и Приднепровской возвышенностях.

— Да слишком много против. И внутри нас, и вне… Я вот никак не могу допереть: разговариваю со своими друзяками, многих знаю с молодых усов, а не понимаю их… Да, на словах, все — за единую и неделимую. Да, все считают, что тут, на Донбассе, мы воюем не только с бандюгами-сепара́тами, которые хотят отделиться и заварить своё независимое, мафиозное, воровское вполгосударство, чтобы сесть на уголь, руду, химичить с денежными потоками, контрабандить помаленьку… И вот, все всё, казалось бы, понимают, даже гривни свои жалкие отдают на борьбу с се́парами. Но самим сюда приехать, да самим повоевать — так хрен… Не едут! От призыва косят. У меня ни один знакомый в антитеррор не подписался. Только я. Как юнак небитый, на одном лишь убеждении, — он вспыхивает в полный накал. — Вот что не даёт уверенности! Народ слишком клёклый, — посылает в воздух какой-то не совсем обнадёживающий жест. — И ещё: нет врага сильнее и хитрее, чем Раша. Она сделает всё, чтоб у нас не получилось. Подкупит наших верхних, задурит голову большинству своим Русским Миром… Ты же не будешь спорить, в натуре, что здесь резвятся не только якобы добровольные, но и вполне штатные части кацапов…

Ольхового больше тревожат желтеющие пятна на ноге пациента, поэтому — лишь сдерживаемый вздох:

— Не знаю, не встречал тут штатных. А ты? Я имею в виду не постановки с призывниками Украины, переодетыми в русскую форму, чтобы латвийские и пиндосовые телеканалы фиксировали "кремлёвское вторжение" в нэньку… Ты видел тут настоящие боевые части России? Воевал с ними?

Снова молчание. Борятьев собирается, подметает в ладонь рассыпавшиеся мысли, слова.

— Пока нет, но уверен, что они тут есть. Не может же донбасская быдлота воевать в одиночку против нашей армии! У нас же, минимум, двадцатикратный перевес, и по людям, и по технике. Так что только идиот или ребёнок не чувствует против себя твёрдую внешнюю руку. — И трибунно, перебирая нервными пальцами край ложа своего неудобного: — А что этот быдлостан может дать Украине? Пьянь, мат? Феню? Ведь почти вся Раша по-блатному бо́тает. Даже девки молодые. Откуда это: "беспредел", "гнилой базар"? Охранники там — сплошняком "вертухаи"… Не страна, а одна большая зона!

Друг детских приключений смотрит на него с сожалением, изогнув одну из бровей:

— А на Украине — не то же ли самое? Нечего из неё Парадиз лепить! Та же феня. Мне-то можешь не втирать! Я ж не из африканских саванн и не с Венеры… — Ответный вздох. — Что делать! Такая была судьба общей страны.

Решает начинать, созрев для оперативного этапа. Шприц выталкивает последний воздух через иглу вверх, и проспиртованная мякоть ухватывается опытными пальцами:

— Я сейчас, Жетон, ввожу тебе уже блокаду посильнее. И буду резать, пан Пузан… Не взыщи, что без перчаток; они у меня закончились… — Он пытается размягчить Борятьева, принизить факт вторжения в его чресла, отвлечь, поэтому заставляет его мыслью снова улететь туда, за линию огневого соприкосновения, за фронт. — Вот что я всё никак не могу понять, так это болезненное сходство в ваших сегодняшних привязанностях и неприятиях. Ты ж не первый с той стороны, кого тут наши повязали. Обрати внимание, сегодня вы, большинство на Украине, говорите не о своей стране, а почему-то только о России. Навязчивая идея! У меня как человека с некоторым медобразованием даже предположение вызрело: а не распыляют ли вам всем через вентиляционные решётки в домах какой-то забористый кокаин…

Борятьев готов к шприцу, но не может оставить последним не своё слово. Говорит, не пересекая чувства, скорее — из обязательности:

— Это вам, в Рашке осознание в бетон закатывает телевизор.

Хирург же, растянуто, ступенчато, всё глубже, слой за слоем вводит инфильтрационную дозу новокаина. Игла входит в подкожный жир и мясо легко, как и не игла вовсе, а всего лишь одинокий тонкий луч света, издалека.

— Понятия не имею, Жетон, про телевизор. Не смотрю. С тех пор, как телевидением стала реклама. У нас дома даже аппарата как такового никогда не было, сын даже мульты и "В мире животных" по компьютеру смотрел… Так что всё, что нужно, ловим только в интернете. А он без цензуры, — и, оставив в тканях нужные миллиграммы, вытягивает, под свежий спиртовой тампон свой световой луч из настрадавшейся ноги. — Ведь видно, Жетон, что приучаете себя не любить, а ненавидеть. Для вас ненависть к территории — отсюда и до Командорских тюлених лежбищ — важнее любви к Украине. Можно даже и не любить эту Украину. Ну, воровать, скажем, гривны у страны, а потом слинять из неё в Швейцарию. Главное: ненавидеть Россию! Тогда ты — свидомый украинец… То есть патриотизм — только через ненависть. Это, по-твоему, не кататоническая шизофрения?

Словно по операционному хронометру, точно к началу процедуры, возвращается Оксана с двумя рудокопными лампами и набором разнообразных свечей — и простых церковных, и фигурных, для салонов.

* * *

Ольховой, видя замученную мимику медсестры после операции, отпускает её поспать, хотя бы пару часов.

— Я сам закончу. И продезинфицирую, и наложу повязки. Тут площадь обработки и перевязывания, как видишь, не мала, так что я, не торопясь…

Она, облегчённо вздохнув, идёт в свой угол, занавешенный куском брезента. Завозилась там, наскоро ополоснула в тазу руки и потное лицо, шею. Сбрасывает халат и рушится на взвизгнувшую раскладушку поверх скомканного пледа. Засыпает сразу же, разметавшись.

У прооперированного расщепляется сознание, ускользает и вновь возвращается. Голова кружится так, точно он, то ли напившись допьяна, то ли в непомерном жаре нутра летит вверх-вниз на горках в парке развлечений.

Хирург обтирает лоб и виски сначала ему, потом себе. Устали все.

— Везёт тебе, Жетон, что ваши сегодня нас не тыркали ночью. Как будто специально дали возможность мне тебя пользовать. — Он не совсем доволен проделанным, полностью исключить заражение крови пока не удалось. — Ну вот, вынул я из тебя всё, что различил. Остальное — только после того, как увижу снимки.

Из Борятьева выползает напряжённость, которая его держала всё предшествовавшее время. Выползает, как если бы её, разветвлённую, потянули сильно из него за самый толстый край, корень и выбросили где-то за колышками натяжения госпитальной палатки.

Расплывается пленник безвольно по медицинскому лежаку.

— Спасибо, дружбан. Как-то спокойней стало… Никогда в жизни так тело не резало, не давило…

…Оба говорят, и разговору конца не будет. О чём? О Черкассах, о днепровских разливах, о последних годах, о детях своих.

Уже давно рассвело. По палатке, от основания до верха, взбирается утренняя краснота солнца, заполняя этот маленький госпитальный объём адской нереальностью. Только чертей с рогами недостаёт и кострища для грешников.

Всё пропитывается нездоровой и пугающей краской. Лишь одной.

А тут ещё нарастает гвалт за плоскостями палатки. Он накатывается, как приближающийся шум воды, как океанский прилив.

— Пойду, посмотрю, чего там разорались. — Николай дежурно берёт из-под операционного стола автомат. — А ты, Жень, давай, спи. Тебе теперь торопиться уже некуда. Не высыпался, видать, всё это время?.. Здесь ты — в моём ведении. Так что никто тебя не тронет.

Втискивает Борятьеву под голову куртку, опускает край палаточного брезента, чтобы не задувало рассветным слабым ветром.

— Спи, толстун.

У донецкого аэропорта. 18 сентября 2014

Опираясь на не подогнанные под рост костыли, самые простые, деревянные, привезённые с полупустого донецкого склада медтехники, Борятьев пробует впервые пройтись по двору. Загипсованую левую ногу потешно-неумело выставляет вперед, прилаживаясь к странному шагу.

— Ну вот, ещё немного, и будешь годен к строевой, Жетон.

Врач, вроде, доволен результатом. Всё могло быть хуже. А так — пациент возвращается к ограниченно-самостоятельной жизни. Заплывший второй глаз давно раскрылся, след от удара прикладом в щёку при захвате уже не заметен.

После поездки в горбольницу в конце августа, рентгена и там же, на месте, операции при ассистировании ещё одного хирурга, больничного, удалось вытащить все оставшиеся чуждые предметы из левой стороны пленника, вплоть до металлических зёрен, что подтвердил повторный рентген. Первый же — поймал ещё и трещину в большой берцовой кости. Но смещение в районе скола было малозаметно, что облегчало оперативные труды.

Кость сцепили, мясо зашили, зашинировали, залили отвердителем на самый жёсткий бандаж до пальцев ноги, перед этим обтыкав разрезанные места всем дезинфицирующим, что только нашлось в больнице.

По возвращении Борятьева в хирургической палатке допросили уже все, кто только хотел. Дважды приезжали и из Донецка, и из спецотдела фронта, что под началом Никитина. Всё намеревались забирать с собой, но Ольховой каждый раз неопровержимо объяснял, почему раненому пока нужно оставаться у него.

— Он вам целый нужен или сгодится по частям? — спрашивал со строгим лицом. — А если целый, то не мешайте мне его поднимать. Когда гипс соскребём, тогда и можно будет думать: как и куда везти. Ему же сейчас сломать себе простреленную ногу не стоит ни копейки; любой неправильный шаг — и амба…

Борятьев слышал эти приглушённые диалоги и каждый раз быстро сжимал ему руку, как только их другие не видели.

— Спасибо, дружбан, — прошептал он Ольховому после первой отговорки. — Честно признаюсь, не уверен, как бы я сам поступил, если б мы с тобой поменялись местами, и в других обстоятельствах. Мы ж вроде теперь враги.

— Да какой ты враг! — позёвывал тот. — Дятел ты. Дятел с отбитым мозгом.

— Ну, это тема для долгого спора, кто из нас отбитый. Я просто поверить отказываюсь, что мне тебя, чистопородного хохла, в натуре нужно убеждать в нашей, украинской правоте! Это ж кому рассказать!.. — Потом, задумчиво: — Хорошо, что эта война хоть не между нациями, а всего лишь между государствами. Государства раньше или позже как-то примирятся, Кокос. Вынуждены будут. Мы ж в материализме живём. Нужно есть, пить, торговать, зарабатывать деньги… А вот национальности вряд ли примирились бы. Как греки или армяне с турчинами, скажем, или кореяне — с японцами.

На следующий день пробовал развить мысль, поскольку сам хотел понять, что же — дышло всем нам в рот! — происходит, наконец:

— Эта война за госграницы, за представление о жизни. И по ваш бок, и по наш есть хохлы, кацапы, израильцы, кавказцы, латыши, чехи, итальяшки. То есть украинец против украинца, то же про русских. — Он выглаживал пригоршней неравномерно зарастающий затылок. — Был в моей сотне один корректировщик огня, Нугза́р Асатиани, красава югоосетинских боёв, кацапский танк тогда зажёг. А до приезда сюда подрабатывал пляжным спасателем при отеле в Батуме… Так вот он как-то уж очень горько на обеде сказал мне, что за вас, бандюков, тут, рядом, воюет его любимый дядька (имя не помню), растил маленького Нугзарика, младший брат матери. Мой корректировщик его боготворит, очень хотел бы с ним встретиться. Только не в атаке…

После подписания 5-го сентября ни к чему никого не обязывающего договора, о сворачивании огня между Украиной и Новороссией, обстрелов стало чуть меньше. Их не то чтобы действительно сворачивали — тербатальоны плевать и размазать хотели по поводу любых договоров, — но ежедневные артобработки сократились во времени, били не больше получаса. Диверсионные экскурсии с чужой стороны потеряли свою летнюю самоуверенность. И, по общему наблюдению, военная работа шла на убыль.

Результат такой полувойны выражался арифметически: Ольховому иногда за целый день не присылали ни одного на капитальный ремонт. И на текущий тоже. Батальон Довгало перестал терять людей; со дня договора — как отрезало. Это и обнадеживало, и наводило хирурга на мысль: а не пора ли постепенно собираться домой…

С переговорщиками из правительственных когорт не получилось условиться об обмене Борятьева на кого-то из схваченных ополченцев: переговорщики не могли предложить никого, равного Евгению по армейской табели о рангах. На предложение возвратить Юрия Конопенко, в начале войны отлавливавшего лазутчиков по берегам Северского Донца и подобранного раненым, в бессознательном состоянии одним из наступавших тогда тербатальонов, отвечали без изворотов: не выйдет, некого возвращать, он был изъят ещё тогда же допрашивателями из СБУ. Даже за весомые доллары не выйдет, то есть переговорщики продали бы, и с дорогой душой, как это с июля пошло́, да руки у них коротковаты против Службы Безпеки…

К середине сентября похолодало. Отглаженный комфронта Никитин поставил батальону задачу: вместе с полком из Амвросиевки поддерживать с юга атаку на обрушенный донецкий аэропорт, в котором зарылись в железобетонную падаль, в собственные экскременты, в землю и в мёртвую оборону нацгвардейцы и тербатовцы, заколоченные почти со всех сторон силами Отпора, но вооружённые вдосталь. Неизвестно на каких смесях державшиеся, они отстреливались из всего подряд по логике приговорённых, не уступая полностью лётного поля и некоторых терминалов, уже на три четверти не существующих.

Переброска харцызцев на новый, могильный рубеж шла постепенно и долго.

Ольховой с Оксаной перетащили всё небольшое госпитальное имущество в оставленный жильцами, некогда вполне благоустроенный домик из червонного кирпича в близкой к аэропорту деревне.

Раненых никто не вёз. Заниматься было нечем. Оксана топила печь и, по большей части, расходовала время готовкой — на себя, хирурга, пленного и на любого, кто зайдёт. Особенно хорошо у неё выходили деруны́ с кон-

сервированным паприкашем и говядиной, которую — свежее филе! — благосклонно ей отпускал заинтересованный любезник, батальонный интендант Рахат-Лукум, не по-интендантски костлявый и щедрый, из здешних мест.

Ещё она пришивала пуговицы всем, кто просил, варила с персолью и хозяйственным мылом в двух эмалированных баках бельё — своё нательное, постельное, ну, и двоим мужчинам, что требуется. Николай же ходил по бойцам, следя за выздоровлением подбитых ещё летом, и откликался на жалобы деревенских; к нему взывали с обычными невоенными недомоганиями — у кого грипп, у кого ломает суставы на сырость, у кого начинающийся педикулёз.

С Ильсиёй говорил по телефону редко. С сыном-сачко́м — только однажды за всю свою эпопею. В Уфе было по-прежнему, и он начинал взаправду тосковать по дому.

* * *

Борятьев, выдохшись после тренировки с костылями по двору, накапливает силу, сидит на низкой табуретине, вжимается спиной в тёплую стену позади печи. Разрабатывает левую руку, как повелел врач-враг, сводя и разводя пальцы бессчётно, прописывая локтем нули в воздухе.

— Кокос, тут есть поблизости церковь? — смотря в пол, спрашивает. — Хотелось бы сходить. Как начал воевать, лишь раз добрался. В Володарском. Перед боем… Хотел бы сейчас за Тосю помолиться, за маму с папой. За всех нас. За тебя, паразита, поблагодарить Бога, что свёл…

Николай, под временную тишину, как всегда, набирает в мобильнике текст, неискренний своей бодростью, чтобы позже послать Ильсие.

— Есть церковь, хотя и неблизко. В селе рядом, километров шесть. Я в воскресенье был. Там умный иерей. Святослав. Открытый, вникающий. Тоже из военных. Служил в юстиции. Сам просил перевести его в приход сюда, на войну, когда предыдущего, отца Лавра, в июле убило кассетной бомбой… Только одно "но", — из-под козырька кепи подглядывает за выздоравливающим, взвешивая довод: — Не знаю, подойдёт ли эта церковь тебе.

Исполин отвечает недоумённо:

— И как тебя понимать? Что, церковь не православная? Синтоистский храм, в натуре?..

— Церковь — самая православная. Только не филаретовская. — Ольховой закрепляет в памяти телефона уже набранную часть вымыслов для семьи. — Московской ветви церковь. Вот так…

Борятьев опускает голову, изучая пристально свои гипсовые латы, выговаривает еле, не двигая, похоже, губами:

— Ну, тогда, значит, подойдёт. Я православных церквей другой ветви в Украине не знаю.

Хирург откладывает телефон.

— Н-да, не ожидал от тебя такое услышать. Ты ж зад себе рвёшь за нэзалэжну и самостийну Украину. А так называемую независимую украинскую православную церковь не признаёшь? Как же быть с денисенками и автокефалами? А?

Ещё больше пригибается к своей ноге пленник, не в силах смотреть на оппонента.

— Нет таких православных церквей. — Видно, что признания — через излом, через болевое насилие. — Кукольный театр! Самоделки! Кружки "Умелые руки" при домкоме… — Он говорит всё тише, всё дальше от хирурга отводя глаза. — А когда речь идёт о Боге, о спасении души, то о политике не думаешь. Для меня есть только одна православная церковь в Украине. Ну, и что теперь делать, раз она формально Московская? Ну, бывает. Такая была история! Ничего не попишешь. Турки тоже с аравийцами воевали, при этом поклоняясь святыням тех… Своих не придумывали… Вера — выше войны.

Первое удивление Ольхового минуло, сдав позиции негромкому насмешничеству: такой повод потроллить толстуна Жетона!

— Но как же! Денисенко же себя называет патриархом Филаретом! Патриарший клобук на голове носит! В Верховной Раде выступает!

Сидящий Жетон медленно заводится, впервые за разговор зыркнув на Николая:

— Тебе сколько повторять, приставáле!.. Да пусть он себя называет, как хочет, и что хочет на голове носит! Хоть свои панталоны… Нет такой церкви для меня! И ни для одной из православных церквей его нет, ни для греков, ни для остальных балканцев, ни для грузин, ни для Константинополя… По поводу же Рады… Так что б ты знал: те, кто ему аплодирует, тайком всё-таки крестят своих детей и молятся во здравие близких там, где и положено. Не у денисенок. — И итожит: — С верой не играют, Кокос!.. Договорились? Что по-пустому базлáть!.. Свози лучше меня к своему умному иерею.

Николай вталкивает телефон себе в карман у колена.

— Свожу. — Он всё ещё сдержанно-смешлив. — Так что ж это выходит, Жетон? Мы с тобой, получается, в одной церкви? А вот, вишь, сейчас мы крест-накрест, один наперекор другому.

Затянутое молчание приятеля можно истолковывать, как угодно. Тот, снова скрывая глаза, выстраивает продолжительную фразу:

— Да, в одной церкви. Да, крест-накрест, Кокос. Ну и что? Я ж тебе уже сказал: и такое бывало. Вон, князь Суворов-Рымникский не только иноверцев по всей Европе гасил, но и своих же, которые с ним в одной церкви — тысячами! Вешал на воротах, забивал насмерть хлыстами-канчуками, когда водил войска на Каму и под Оренбург давить бунты. Что нового-то?.. Да, мы в одной церкви с тобой. Но Украина нас развела. Ты её хочешь опять загнать в рабство Москве, а я — вырвать.

Приходит черёд Ольховому напрягаться каждым мускулом. Он говорит нервно, срываясь голосом в пропасти злобы и с силой оттуда выкарабкиваясь:

— И что ты гонишь, Женя? Ты на радио “Свобода” глашатаем подписался?.. Какое рабство, когда Москвой столько пáрубков с Украины помыкало! Раз уж князьёв-графьёв вспомнил, то тебе Разумовского мало? Он же не только Петербургу и Москве указывал, но и самой царицке Лизавете… А уже при “совке” сколько! Дорогого и любимого Леонида Ильича забыл? А Семичастного? А Цвигунá? А Подгорного? Ведь всё наше детство — под ними.

Встаёт, часто вдыхая, чтобы успокоить себя до привычной врачебной бесстрастности.

— Говоришь, что Украина нас с тобой развела? Пожалуй, — смотрит на Борятьева остро, как будто снова разрезает его лезвием, только теперь уже всего, начиная с темечка и до простаты. — Мы родину по-разному понимаем, Жетон. Ты — только вопреки одной большой Руси, только от какого-нибудь закарпатского Ужгорода и лишь до Азова… А моя страна — не только от Ужгорода или Измаила. Она и от балтийской Куршской косы, и от Гродно на Немане, и аж до Берингова пролива. Что-то меньшее меня не устроит. — Останавливается у поддувающего окна. — Вот из-за этого я сейчас тут, Женя, а не с сыном и не со своей любимой.

Борятьев исподлобья вбивает прищуривание киллера в область носа Николая. Глаза сузились до монгольских.

— Твоё счастье, Кокос, что я пока калека и не могу тебе в зубы дать. — Вытирает вспотевшие ладони о пряжу шарфа, доставшегося от предыдущих хозяев дома. — Ты чё, пропагандозом заболел? Какой Руси тебе хочется? Чё тебя устроит? Чтоб снова всех нас за ниточки, как кукол, дергала Москва? Повсеместно — от моего Закарпатья до твоего Тихого океана?

Ольховой, на правах лечащего врача, спокойно, совсем не боевито, подходит вплотную к больному, ногой придвигает себе стул.

— Нет, милый, снова не угадал. Не Москва. Забудь. Никто уже давно не думает повторять тупое командование из неё, как при “совке”. Доказано на практике за десятилетия, что такое — не пляшет. — Он кладёт ногу на ногу, наклоняясь ближе к Борятьеву — может так, ближе, слова как-то

точнее дойдут. — Москва навсегда останется столицей России, и лишь России как одной из частей Великой Руси. А общий управляющий город всей Руси придётся строить. Пусть и не с нуля, но строить. Я даже знаю, где.

Замечает — зацепило. Во всём лице громадины словно разлито подстёгивающее выражение: "ну, ну, не тяни жилы, давай уже..."

— Другого места просто быть не может. Такое — только одно. — Николай ищет подмогу у своих рук — принимается жестикулировать. — Общая столица должна быть в точке, в которой сходятся границы трёх частей, трёх держав одной Руси. А значит, на границе белорусской Гомельщины с украинской черниговской землёй и российской брянской. Можно под столицу образовать отдельное земство, тоже общее... Я бывал там. Места великие! Леса, реки... Там ещё памятник стоит "Три Сестры". Три страны.

Громила заранее несогласно вертит головой, пренебрежительно помахивая кистью.

— А-а-а-а, тюля всё это, глупня! Подумаешь! Ну, не из Москвы, так из этой, заново построенной... Но всё ж равно кацапы будут править! Они ж никому другому не дадут!

Но Ольхового перебить раненому не удаётся.

— А если управлять общей Русью попеременно? Один год — белорусы, другой — мы, украинцы... Ну, и так далее, по кругу.

Борятьев даже начинает давиться яростью:

— Да ты чё, Кокос! Как мы можем с москалякой? Когда мы столько с ним воюем!.. Ты забыл, дурила? Вся же история украинцев — война с Московией.

Николай смотрит сострадательно, выдерживает небольшой перерыв. И говорит подозрительно ласково:

— Женя, не дам тебе больше есть грибы. Как врач... — Говорит, будто рецепт выписывает. Но чуть потом, в гудящей подземной дрожи рассерженного вулкана: — Какая война? Последние лет пятьсот — только вместе! И в помоях, и в победах!.. Драку у Конотопа вспомнил? Так то несколько сечевых атаманов, запро́данцев, купленных за шляхетские злотые, воевали с московитами. И не столько с московитами, если разобраться, сколько с другими малороссийскими атаманами, оставшимися верными присяге... И всё, Женя! — Он подрагивает сейсмическими толчками, неосмотрительно хватая Борятьева за колено. — Вспомнишь, наверное, Кру́ты? Так там ни с какой не Московией бой был, а с большевиками. То, по сути, было смертоубийство опять же между украинцами, что не впервой. Кто тогда на стороне красных бился? В том числе украинцы же: матросня, кавалерия. От ездового тачанки до помкомандарма... А вся остальная история — только заедино! Против ляхов. Ну, и ещё против турок, румын, разнообразных германцев... Против кого была Запорожская Сечь? Против Московии? Хватит этой тифозной горячки! Да среди днепровских казаков около трети были беглые из России... А Северин Наливайко? Больше же двадцати войн и восстаний на земле Украины, ещё с одиннадцатого века!.. А опришки? А дейнеки? Мы ж это всё детьми читали, в нашем дворе мы со своими игрались! И вы в своём, наверняка. В Пынтю Храброго, в Олексу До́вбуша...

Немного совладав с глубинными подвижками земной коры, пригасив выплески вулканических фонтанов, он встаёт, снова собираясь ходить по комнате.

— Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, Жетон. Так не пойдёт. Сожги весь тот силос, который сейчас печатается на Украине по прошлому страны. Иначе — совсем голову загубишь. Ведь ясно, что ныне историю на Украине излагают вовсе не историки, и не археологи. А фантасты! Причём — бездарные.

У донецкого аэропорта. 2 октября 2014

Просыпается Ольховой от взрывов совсем рядом, нескольких, одновременных. Сразу определил: начался обстрел "градами" правительственной принадлежности, арт-самоходами и самыми тяжёлыми миномётами.

С сентября (когда опорные выступы ополчения размолотили на ингредиенты всю 95-ую моторизованную бригаду Украины) националистические тербаты как с цепи сорвались. День за днём сносят оставшиеся сёла на подходе к Донецку, даже те, в которых уже ничего и никого нет.

Николай наобум одевается, напяливая на себя всё, что свисало с гвоздей у двери: не исключено, что придётся надолго убираться отсюда, так что весь день на ветру, а ещё заморозки под утро…

Рвётся в соседнюю комнатку, торцевую, где спит Борятьев.

— Жетон, встаём! Давай, я тебе помогу одеться. Нужно сматывать в вырытое укрытие. Это через улицу и два дома. Мало ли что… Вашим, похоже, закордонные учителя пожаловали своих снарядов, так что старые нужно списать…

Великан спросонья дёргается, производит много лишних движений, не сразу попадая рукой в рукав, а ногой в штанину.

— Оксан! — Врач трубит в дверной проём. — Ты где? Убегай. Знаешь, куда бежать-то?

— Та знаю вжэ, Мыкола Богдановычу! Ось тильки анэстезию посбираю, я йийи тут не залы́шу, вона нам дуже дорого доста́лася… Та й антибиотики тэж забэру.

— Не дури, чу́ча! Какие ещё антибиотики! Беги с хаты, я сказал! Не смей рисковать.

Кое-как успевает одеть Борятьева, натянуть на него чужой, оставшийся от прежних владельцев китайский драный пуховик и, придерживая плечом подмышку человека-утёса, толкает его к выходу.

Тот, подтянув с испуга всю физику организма, довольно смело торопится на улицу, опирается уже окрепшей левой рукой на ортопедическую палку, слегка наступая на всё ещё гипсовую ногу.

— Оксана, быстрей, не возись! Брось всё! — Врач уже снаружи кричит в дом.

Подпирая громко дышащего и мгновенно упревшего Жетона, торопится в узкое убежище Довгало, зацементированное и приваленное бордюрными плитами, в подвале упавшей избы, с отдалённо вырытым лазом. Там сейчас временный штабик.

Остаётся всего полста шагов. Самыми опасными кажутся шаги на неприкрытой деревенской улице, где они с Борятьевым становятся беззащитными, образцовыми мишенями для закрепившихся на деревьях дальней высоты корректировщиков и снайперов, вросших в инфракрасные видоискатели.

Но вот и улица пересечена. И до развалин нужной избы уже совсем чуть.

Тогда-то и слышит Ольховой недолгое завывание летящего конуса из 152-миллиметровой самоходной “акации”, а за затылком — новый взрыв. Слишком рядом.

Они с Борятьевым приученно пригибаются, прочувствовав спинами, задниками курток расстрельную дробь из кирпича, бетона, древесины.

Николай оборачивается и поначалу ничего не видит, прежде всего — того дома, в котором они провели последние восемнадцать ночей. Его больше нет совсем. Нет ничего, и с улицы, сквозь поднятую тучу из травы, земли, мелких кусков неизвестно чего просматривается весь сад, аж до забора с участком соседей. Даже не сад, а расколотые остовы деревьев — кроны рухнули. А дом как будто в секунду провалился. Лишь по неровным зубьям обнажившегося фундамента начинает разгораться неторопливый пожар.

— Окса-а-а-ан! — разрывая вопящую гортань, вздувает канаты на шее Ольховой. — Оксана! Ты где?

Ответа нет. Никаких звуков нет. Наступила совершенно новая, нетипичная, непривычная тишина. Даже вороны заткнулись. Даже ветер мгновенно стих, так же, как и Ольховой, замертвев.

Николай отупелым взглядом смотрит на загорающийся фундамент только миг назад стоявшего дома.

— Оксана-а-а-а-а!

Борятьев, тоже с выкатившимися глазами, еле выталкивает из себя:

— Не ори, Коль. Неужели не понимаешь, что бесполезно? — И с силой пробивает наружу затык в горле: — Давай лучше двигать отсюда, а то как бы и нам с тобой тут не пришёл конец… Я наших знаю: раз стали бить из тяжёлых мортир и миномётов, то, значит, скоро сюда пойдут танки.

* * *

Комбат Довгало, щёлкая шариковой ручкой, не переставая, в возбуждённом подрагивании, рыскает пальцем свободной от щёлканья руки по разложенной на полу карте.

— А ну, посвитыть мэни, хто-нэбудь, — требует у нескольких командиров рот и взводов, собравшихся в штабном подвале. — За́раз будэмо организо́вуваты оборону ливого края сэла. Наса́мпэрэд, трэба прыкрыты вульци Громадську й Синну. Швыдко пэрэвэзыть туды батарэю Жа́ла, и щоб момэнтально уси гарма́ты булы готови до бою!

Один из названных командиров батареи Жало — подвижный Петро Жмаченко, крупнотелый и крупноносый, — гуркнув "Понял!", выползает из погреба на подрагивающую от орудийного беснования улицу.

Щёлкающий своей надоевшей всем шариковой ручкой Довгало переводит глаза на усевшихся в подвальный угол хирурга и оберегаемого им выздоравливающего узника. Борятьев немного отошёл в надёжно укреплённом пространстве, и к нему возвращается размеренное дыхание. В Ольховом же всё ещё спицей торчит парализовавшая его застылость.

— Айболыт, я тоби за́раз даю машину з водилой, и вы дуетэ звидсы на восток, в глыбь наших зэмэль, подальше вид Донэцьку. Зараз тут будэ зовсим мокро, сука, — машет вверх, в улицу. — Йидьте до Харцызська, а по́тим — на Торез, и ще дали, на схид. Там вам скажуть — куды.

Врач не хочет ничему верить, не хочет ничего слушать.

— Данилыч! Я пойду посмотрю. Может, Оксана всё-таки уцелела. Раненая там сейчас…

Довгало сжимается, запускает пальцы в бороду.

— Ты й сам розумиешь, що никого там нэ знайты́. Пряма наводка. Пысля "акации" ничого нэ залышаеться. Так що нэ тягны час, збырайся йихаты.

— Но Голова… — начинает снова Ольховой.

— Ниякых "Голов"! Ты ж вийсько́ва людына. Шо, трэба тоби пояснюваты, що таке прыказ командыра? Так ото́ я нака́зую: эвакуваты цього полонэного. — Потом, будто Ольховой языку разучился, чтобы не было инотолкований, переходит на как бы русский: — Лично отвечаешь за этого пленного. Он для нас слишком драгоценный. Срочно на восток! И как можно дальше. У Донецьки ему оставаться нельзя. Они миллионный город мочить не перестануть. Для них взять Донецьк — шо войну вже выиграть.

И в ответ на стеклянные глаза Николая:

— Обещаю: лично, сам всё там потом облажу, на карачках, всё осмотрю. Если знайду хоть шо-то от неё, то похороним, как подобает… А не знайду… — так усё равно там камень ей поставим… Обицяю! Вона ж мэни́, Оксанка, всэ о́днэ як донька була.

Самый восток Донбасса. 3 октября 2014

В лобовом стекле "бобика" — уныние осенней замирающей степи разбавляют первые избы поселения. Ещё одного. Сколько таких деревень уже проехали за прошедшие сутки с молчаливым водителем!

На развилке трассы и подъезда к безвестному поселению — длинная стена из озеленелого цемента. Ольховой соотносится с картой, лазит пальцем по склеенным изолентой отдельным листам: село Рассыпно́е.

В картах он не силён. Вот если б надо было порыться в анатомическом атласе…

По мере продвижения на восток Борятьев постепенно смурнел. Смурнел от понимания, что ещё больше удаляется от дома — когда он туда попадёт?!

И попадёт ли?.. Смурнел в унисон с природой за окном машины. Там совсем уж всё было давно невесело. Тяжёлый, как будто одолженный рассвет, да ещё и поздний.

Ночью, в слепую темноту, остановились, чтобы поспать. Спали недолго и некомфортно на своих сидениях в машине. Лишь раненному Евгению было дозволено развалиться в двух задних сидениях, выпростав гипсовую ногу. Стучало изредка дождём. Потом морозило. И снова морось. Из рощи, где-то, вероятно, вблизи, подкрадывались лесные шёпоты. Самой рощи не было видно. Кто-то там ползал, шуршал. Глумливо хохотали совы. Скрежетали ветви. Шлёпали по мокрым низинам их отвалившиеся мёртвые отростки, сбитые случайной струёй…

К утру перестало. Всё тот же холод.

От ветра всё быстро испарилось. Ползут вдоль трассы подсохшие листья, и ветер догоняет собравшийся к югу клин утиных эмигрантов. По обочинам торчат остатки трав из затвердевшего, как пряжка, дёрна. Небо сырое, насморочное. Погромыхивает за полем. Настораживающе, без дождя.

— Нам теперя на север надо, — говорит чирьеватый водитель, выделенный комбатом Довгало ещё под Донецком для эвакуации важного раненого. Водитель очень молод, очень молчалив, Николаю до этой поездки знаком не был. Из хозяйственной службы, кажется. Но автомат знает хорошо: видно по тому, как свойски его пристроил слева от себя, стволом вниз. — Ещё минут двадцать, и мы там, де треба.

Но двадцати минут история им не даёт. Происходит то, что так ненавидит любой водящий машину, и чего он боится, просыпаясь, если привиделось ему это во сне: двигатель щёлкает, астматически задыхается, машина ещё с три сотни метров проезжает рывками, ещё раз, последний, пытается дёрнуться и останавливается. На этот раз надолго. Пока не получит хотя бы глоток бензина.

— О-па… Кажись, приехали. Горючка кончилася. — Водитель раздражающе спокоен. Точно с ним такое происходит ежедневно.

А вот это уже проблема. Да ещё какая! Ольховой сердит.

— Ты что, байстрюк, раньше не видел, что у тебя па́ливо на нуле? — Он с силой распахивает свою дверь. — Ты в который раз за рулём? Второй, поди, в жизни?

Выходит. Свой автомат оставил на сиденье.

— Тебе не то, что машину — игрушку в яслях, пустышку нельзя доверить!

Тоскливо оглядывает безлюдные просторы — спереди и сзади.

— Ну, и что теперь делать прикажешь, хлопец дорогой? Ждать, когда кто-то проезжать будет? А если не отольют нам горючки! А если до вечера тут никто не проедет!..

Евгений ворочается, не снимая ноги с сиденья рядом.

Всё, что угодно, только не идти!

Водитель непонятно усмехается и, игнорируя вопросы хирурга, медлительно берёт его автомат, будто хочет рассмотреть вблизи сослепу, и так же медлительно отдаёт его в руки сидящему сзади пленному.

— А шо? Может так случиться, шо и не проедет тут нихто, — выговаривает долго, невыразительно, доставая свой ствол и направляя на Ольхового. — Вы только, доктор, не дёргайтеся и дурью не майтеся. Двигайтеся постепенно, без фанатизьму. И не подходьте к машине. Тада́ вас нихто не тронет.

Николай, стоя на замёрзшей за ночь, подбелённой инеем грунтовой дороге, и Евгений, получивший автомат, одинаково удивлённо смотрят на шофёра.

Не скочерыжился ли парень от этой войны?

— Ты чё это вдруг? — спрашивает у него с задних сидений Борятьев. Тем не менее, по выработанному порядку проверяя оружие, отсоединяет и снова прилаживает магазин с патронами. — Чё задумал? — Потом делает предположение: — Не из наших ли будешь? Из украинских? Ты здесь чё, на задании, в натуре?

Водитель отвечает медленно, словно ему гантель на язык подвесили:

— Не… Я в ополчении торчал. Но теперь хочу до дому вернуться. И мне нужна ваша помощь.

— Моя? — всё ещё не понимает загипсованный.

— Да. Я прикидываю, шо вы — вэлыкий командыр в вашей армии. Так я помогу вам пробраться к своим, а вы за меня поручитесь. Я живу в Красноармейске, он сейчас под вашими.

Большой командир похмыкивает:

— А чего ж ты в ополчение это чесоточное пошёл, дубень?

Чирьеватый завздыхал громко:

— Та-а-а… Чего уж объяснять!.. — И, видя, что Ольховой всё-таки собирается вернуться к машине, излишне грозно предупреждает: — Я ж казав вам, доктор: стойте на месте. — Поднимает автомат для прицеливания.

И продолжает, снова спокойно, лишь слегка повернув лицо к своей надежде, сидящей сзади, наискосок:

— Девоньку я одну любил. Замуж звал. А она по весне пошла в ополчение. Уж больно не жаловала она всю вашу власть. А стреляла хорошо… Ну, и я за ней. Ну, шоб не потерять… Так она подорвалась на "противопехотке", установленной вашими у колодца, под Докучаевском, в самом конце лета. Жарко было в тот день. Пить она хотела… А мне теперь уйти из ополчения уже никак… Ваши пристрелят на первом же блокпосту.

Приходится Борятьеву соглашаться:

— Да, вполне могут, — он снова проверяет автомат. — Ну, ладно, если доберёмся до наших, скажу за тебя. В грудь себя буду бить, что спас ты меня. Из кровавых лап контрразведки просто-таки вырвал! — Разулыбался, довольный. — И ещё скажу, что тебя весной насильно, шантажируя родными, затащили в вашу банду. Обещали, что положат всю твою родню, если не пойдёшь воевать против украинской армии.

— А поверят? — осторожно сомневается водитель, неусыпно одним глазом держа Ольхового. — Разве кого-то насильно в ополчение Отпора стягивали?..

Раненный пленник, уже и не пленник вроде бы, обнадёживает:

— Поверят! У нас все знают, что только так ваше ополчение и собиралось… Ну, и я всё-таки в нашей армии — не отставной козы барабанщик. Если за тебя поручусь…

Отталкивает свою дверцу, кряхтя, выволакивает обвязанную ногу, опираясь одновременно на прихваченную из-под Донецка ортопедическую палку и автомат Николая, прикладом в землю. Хитровато-добродушно зовёт:

— Идём, Кокос, вон туда, в заросли. Побазла́ем немного. И опорожнимся заодно. — А шофёру сухо, уже приказными интонациями: — Ты же тут пока посидишь. Мне с врачом поговорить надо, наедине… И не бойсь, я кот учёный, наш доктор от меня не сбежит и автомат не отберёт. Я больше в плен не ходок… Так что сиди тут, жди, я через какое-то время вернусь. Может, через немалое время. Но всё равно жди… Если будут машины, попроси немного бензину.

Николай, в бешенстве запахиваясь на все пуговицы камуфляжного бушлата, засунув руки в карманы, идёт на Борятьева.

— Не, Кокос, двигай вперёд, передо мной, — одёргивает тот. — Так, чтобы только твоя спина была видна… И не быстро. А то я пока ставить рекорды в беге трусцой не могу, как тебе известно…

— Раскомандовался… Ну, и куда идти, сэр? — на ходу спрашивает Николай, прикрываясь от налетевшего режущего ветра.

— А вон там деревья какие-то, вроде, обрыв над рекой. Посидим там, потолкуем, ножки с обрыва свесим. Как в детстве, в Александровке. Помнишь?

Хирург беспечно шагает к деревьям, подняв ворот бушлата, отдав спину в распоряжение приятеля. Уточняет с весёлой злостью:

— О чём толковать хочешь? Не о высших ли сферах геостратегии?

Тот отвечает хирургу в тон:

— А как же! О них. О них самых. О независимости Украины. О полной независимости.

Николай говорит с нерадостным смехом:

— От кого независимости? От России или от Америки?

Перекидывание через сетку понг-понгового шарика фраз обрывается. Борятьев не отвечает, долго идёт, задумавшись. Потом оборванно, уже без прежнего шутовства, негромко, с оформившейся уверенностью говорит: "...от России".

* * *

Они проходят низкие и редкие посадки, ведущие к обрыву над рекой, — слишком редкие, чтобы именоваться лесом. Но они приемлемы для уединения.

Выходят на изглоданный течением обрыв. Внизу под ними грустно ползёт безымянная река, вся в плывучем листопаде. Одна из тех речушек, которые они уже проезжали.

Евгений подходит к краю обрыва, без цели рассматривая течение.

— Ну и речка! Канализация сельская, а не речка. С нашим Днепром не сравнить. Правда, Коль?

Ольховой в отдалении пожимает одним плечом:

— Река как река... Ну, так что ты хотел мне поведать наедине, Жетон?

Тот опускается на границу земли и невысокой пропасти, нависающей над берегом, заросшей дикими и пригорюнившимися перед спячкой травами.

— Чё-то подустал я... Да садись ты, Кокос. Только — где стоишь. Ближе не надо... Садись. В ногах правды нет.

— "Но правды нет — и выше", — цитирует Ольховой.

— Старó, Коля... Но ты всё-таки сел бы. И прошу: не вздумай метаться. Я призёром по стрельбе всегда был. — Освобождённый пленник пристраивает автомат на колене, направляя в дружбана. — Дело идёт к тому, Коль, что нам с тобой расставаться пора. Так что уходи. Прошу: не дай грех на душу взять. Спасибо за всё, что ты для меня сделал за этот месяц с небольшим. Поверь, при всех моих недостатках, меня нельзя назвать неблагодарным скотом... Но раз ты, украинец, не хочешь за свою родину встать, то езжай к себе в Уфу или ещё куда, но только не трись здесь. Это моя страна, и здесь я буду жизнь налаживать.

Ольховой и не собирается слушать Жетона серьёзно. Этот-то, толстозадый, будет его наставлять! Этот, которого он учил правильно загребать руками и ногами, когда они переплывали Днепр от одного острова до другого! Этот, которому он позже рассказывал об "Инфанте" Веласкеса в столичном музее западноевропейской и восточной живописи! Может, ещё и выстрелит в учителя? А вдохновения хватит?

— Жетон, а если не уйду? Завалишь меня? — Смеётся обидно. — Ну, стреляй, стреляй!.. Что, скуксился? — И замедленно, с долгими интервалами: — Нет, не уйду, Женя. Не мечтай. Я буду воевать. Именно за родину, которую у меня хочет оттяпать ваш североамериканский меценат. Я её верну. — Выдохнул сломившимся голосом: — Не могу я её оставить. Вы же крадёте! Мою тихую, мою обильную и сдержанную когда-то Украину, какой я её всегда знал. И я останусь здесь, чтобы её у меня окончательно не отобрали. Ни пиндосы, ни вуйки, ни вы, свидомые громадяне.

Борятьев нервно цепляется за спусковой крюк автомата. Рычит полушёпотом:

— Дурак ты, Кокос. Вроде ведь порядочный человек... А дурак... О чём ты? Не понимаешь, дурила, что той, тихой и забитой, совковой, несвободной Украины больше никогда не будет? А будет сильная, независимая от всех, соборная Киевская Русь, у которой твоя Раша ещё за честь посчитает быть в колониях... Метрополия, центр мира! Со святой Софией и златоглавыми храмами!

Но приятель беспощаден:

— Боже ж ты мой! Жетон, откуда такой звёздный размах?!.. Центр мира? С чего бы? С культуры, покорившей всю планету? Военной силы? Технологического превосходства? Вселенских денег?.. Ведь в сегодняшнем мире только гро́ши что-то и способны решать, да и то — не всегда. Но теперь у Украины даже этого нет.

— Теперь, может, и нет, — лязгает Евгений зубами, как замками тюремной камеры. — Но обязательно всё будет.

— Откуда будет-то? Объясни, Жетон. — Ольховой в возбуждении возвышает голос. — Почему ничего из этого не появилось за все годы после Союза? И откуда появится теперь?

— А вот появится. Поскольку теперь есть свобода. — Жетон непреклонен, уже заходится ором: — Мы теперь всё можем!

Николай прижимает обе ладони к горящей голове.

— Боже, вразуми вас всех! Да чем же вас опыляют? Тут поневоле поверишь в инфо-утечки, что последние лет сорок военный флот Штатов разрабатывает излучатели массового гипноза. И это тебе не телевизор. Эти волны пострашнее. Неужто до Украины дошёл черёд?.. Нет, не хочу верить... Чтоб вас, свидомитов, проказа скрутила! Надо ж было так страну уездить!

Борятьев, перегорев, вскидывает поджарое волчье тело автомата. Палец пружинит на спуске. Снова взрыв неукротимого приступа.

— Ну, так подыхай! И я тоже готов сдохнуть! А Украина будет великой! Будет, несмотря на всех врагов — и снаружи, и изнутри!

Разовый выстрел протыкает холодный и многотонный, как вечная мерзлота, воздух, сбрасывает с качнувшихся веток подорвавшуюся стаю, и чёрная рваная туча в вороньем иерихоне спешит в небо, подальше от этого места, где ещё не наиграли в стрелялки.

С северо-востока тянет острым приполярным ветром, низкие облака несутся оттуда, но всё никак не кончаются.

Евгений невидяще и неверяще смотрит сквозь закачавшуюся фигуру друга, которая валится набок, приминая осенний тёмный, траурный осот-подорожник.

* * *

На гремящую смесь звуков прибегает дезертир-водитель с автоматом.

Борятьев отворачивается: не хочет убеждаться в том, что кто-то мёртв. Или ещё жив. Или не совсем... Не хочет снова смотреть туда, куда направлял шальной глаз дула — в ломающиеся к зиме, чёрствые стебли.

Что свершилось, то свершилось. Если кто-то умер, так умер. Выжил — значит, так лёг расклад!

Водитель молча стоит, не смея ничего спросить. Так и стоял бы, если б не закоченелый, надорванный, спрашивающий голос отходящего от ранения великана:

— А что это за река тут внизу? Не знаешь?

Юный дезертир опускает автомат — держал наготове.

— Река называется Миус, — водитель лениво озирается во все направления. — Там за ней, на том берегу — уже Луганщина считается.

Запустение пейзажа гнетёт. К нему нужно привыкать: к неизменяемости, к нависшим, как судьба, облакам, к дикому вороньему "кра-а-а-аааа", к шевелящейся и шуршащей на ветру траве. Время года — самое покойницкое...

— Луганская область? Ещё один нарыв... Ну, ничего, и это вылечим, — Борятьев встаёт, подтягивая ногу, опираясь на палку и автомат, распрямляется. — Ну что, были автомобили? Удалось бензином разжиться?

Парень поводит-покачивает головой в обе стороны — как стрелкой метронома.

— Та не... Ни одна сука не проехала за это время.

Многоногий пешеход неслаженно перебирает всеми опорами, намереваясь пройти вдоль речного русла влево.

— Значит, нужно идти пешком, к нашим. Значит, будем двигаться. Потом какую-нибудь частную машину стопанём. Хорошо бы, чтоб с одним только шоферюгой, без пассажиров. Сунем шефу ствол в нос, завяжем руки, кинем на пол сзади, и побыстрей отсюда мотать туда, на запад. Хоть бы к вечеру успеть…

Оба сползают медленно с холма, всё так же вдоль шелудивого берега.

Задувает ветром. Стали капать первые предвестники большого дождя. Гнев грома уже рядом.

* * *

Ближе к дороге, из всё ещё густолистой осиновой заросли на них выходят четверо. Все в камуфляже. С автоматами вперёд. На рукавах нашивки — "Новороссия".

— Это не вы тут шалили, стреляльщики? Всех деток и курят нам распугали, — спрашивают, с пристрастием глядя в глаза. — Куды путь держим, граждане прохожие? Хто такие?

Шофёр сереет чирьеватыми щеками. Борятьев хочет вскинуть свой автомат, но успевает просчитать: не удастся, они выстрелят первыми…

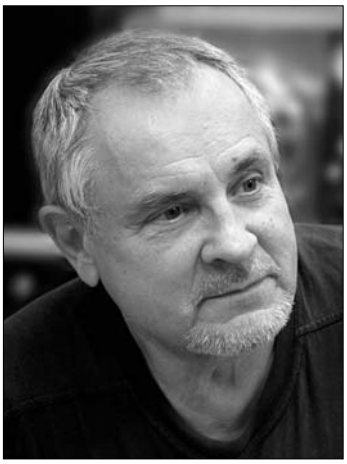
— Из харцызского отдельного батальона Семёна Даниловича Довгало. — Юнец, только что живший видами на близкий дембель, опрометью возвращается к сольной партии завзятого ополченца. — Вот, конвоирую пленного, как и приказано, в Четвёртый резервный полк Отпора. Он ранен. Можете перепроверить, свяжитеся з нашим комбатом.

— Пленного? — вперёд выходит один из четверых, приземистый и жизнерадостный. Улыбается счастливо, как в детском саду. — А шо у тебя пленный при оружии разгуливает? Та ещё зараненный… Не-е, шо-то не то тут, хлопцы… А ну, пленный, брось-ка свой калибр, а то я человек невравновешенный. Ещё как пальну… И ты, конвоир, свою дудку тож брось. Мы подымем. И вперёд просим. Сюды, по тропке. Потопали, пано́ве. У нас и машина имеется. Разберёмся. Мы и есть Четвёртый резервный в Отпоре.

Мало кому заметным поворотом Борятьев оглядывается, смотрит назад, на взгорок, прежде чем начать спотыкаться по начертанному ему пути. Коля Ольховой, лежащий на обрыве лицом к воде, хотя ещё и заметен, но уже едва. Краешек плеча над травой, бугор локтя. Далеко, мелко.

— Да иду я, иду, — недовольно отсылает за спину, в которую стучится поторапливающий ствол. — Вы ж видите, что я сегодня не спринтер и даже не стайер.

ВАЛЕРИЙ ИСАЕВ



Я СЕГОДНЯ ИМЕНИННИК!

* * *

Родина — это там,
где пыль на дороге
остывает к ночи последней
и согревает тебя,
отдавая своё всё тепло до последнего...
Где, окажись ты в потёмках,
на свет свой всегда выведет огонёк
и дружественный, и тёплый.
Где не гасится керосиновой лампы свет —
лишь убавляется
чуть не до конца,
чтобы тот, кто заблудился в ночи,
не блудил никчёмно,
а верил бы, как Сын в Отца,
и имел бы надежду хоть на что-то хоть в чём-то.
Где на речке берег один пологий,
другой — высокий,
как поставленный на ребро щит;

ИСАЕВ Валерий Николаевич родился в 1941 году в Ленинграде. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. Доктор медицинских наук, действительный член Академии медико-технических наук. Работал по профилю в Рубцовске (Алтай) и в Москве. Автор 12 книг прозы и 6 поэтических сборников. Среди них «Огнь плящий», «Первый и последний», «На краю». Лауреат премии Александра Невского. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

он отразит, если что, твой отчаянный крик
и отошлёт на деревню немедля,
о чём бы ты ни кричал там
в свой первый раз
или в... последний.

* * *

За сугробом ещё сугроб,
Родина вся в снегах.
Удивительно — они её не уродуют,
наоборот —
украшают до "Ах,
Вы мои раскрасавицы..."
Что Березники и что Стропицы,
деревеньки мои лукавые,
расхорошие, всегда и во всём правые.
Вижу — кто-то до них идёт, ноги бьёт, торопится.
Долог путь от снегов до дождя.
Посочувствовал,
позавидовал,
пригляделся —
Господи, да то ж... я!

* * *

Да, будут идти дожди.
Землю исхлещут ливни,
оглушат громы,
перепугают молнии.
Но обид никаких не жди —
лики земли, как всегда, по-детски просты, наивны.
Я с Землёй больше полвека пробыл,
знаю и силу её и волю,
свидетельствую её всепрощение,
необидчивость её до конца не понимаю.
Уверен это она — Земля, —
когда плохо нам, когда больно,
Для нас солнышко — вот довольна! —
из-за пазухи вынимает.

* * *

Мост через реку сокращает путь.
Ну, почему я каждый раз сворачиваю в зимник,
где чуть ли не по горло грязь,
в которой можно утонуть,
и кнут ломается о лошадиный круп —
Какой-то ведьмин круг.
Сижу до ночи.
А дома стол накрыли.
Ждут.
Ведь я сегодня именинник.

* * *

Передо мной всегда —
родное поле,
Дорога — только кажется, что в никуда.
Двор и калитка,
что от времени и от забот седа.
Плетень не ограничивает — не дай Бог! — как раз наоборот,
он только начинает собой волю...
А то, что в половодье чуть ли ни в окно стучит вода —
какая ж то беда — то не беда.
ВРЕМЯ пройдёт по той воде походкою Христа
И станет на порог,
и скажет: навсегда!
И даст возможность насладиться жизнью вволю.

* * *

А за лесом ещё лес.
Говорят, до сих пор
где-то есть
моря, электростанции, города...
Я залез на самое высокое дерево,
Слез.
Деревню видел свою — да!
Ну, а дальше до горизонта кругом — один лес.
Как после этого верить людям
Хоть
Иногда.

* * *

Ковры лугов
меж тихих рек.
Коса сверкнувшая сырая,
И тень в полмира от сарая.
И зной, и тишь предгрозовая,
и озаботившийся чем-то
в высокой ржи идущий человек.

* * *

Жизнь прожита.
Пора и на покой.
Что в ней запомнилось?
Не люди — нет!
Не книги,
не холсты,
не музыка,
даже не стены дома.
Увы.
А жеребёнка мчавшегося росчерк,
что освещён был молнией
в короткий миг
и света и безмолвия
перед всесокрушающим ударом.

* * *

А за облаком — ещё облака.
Ветер гонит их всё быстрей и быстрей.
И держусь — ухватился я —
за землю, от слёз моих мокрую.
И боюсь —
головокружение! —
чуть прибавится ещё скорости
и не выдержу последнего самого страшного ощущения,
что навсегда расстаюсь с ней.

Говорят: “Хороший человек — не профессия”. А вот и нет! — доказывает своей жизнью и своим творчеством Валерий Николаевич Исаев. Вдумчивый поэт, оригинальный прозаик, прекрасный врач, Валерий Николаевич прежде всего хороший человек. Верный друг редакции журнала “Наш современник”.

С удовольствием поздравляем юбиляра!

Редакция

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА

ПОДЪЕЗД

РАССКАЗЫ

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Моей бабушке М. Круподёровой

Мария Васильевна неспешно оделась: натянула спортивные брюки, ветхую блузу, достала калоши, повязала косынку. Дом начинал затихать. Миша бы очень ругался, увидь он её сейчас в "таких лохмотьях". Но она всё рассчитала. Два года бессонницы дали ей достаточно времени, чтобы изучить ритм жизни соседей.

Программа "Время" давно закончилась, собачники возвращались с прогулок — значит, уже начало одиннадцатого. Виктор с третьего этажа вернётся не раньше часа. Его смена в автобусном парке до полуночи. Он единственный, кто может пройти мимо неё. Из "неспящих" есть ещё молодёжь. Они часто подолгу стоят у подъезда, шумно расходясь уже за полночь. Но, во-первых,

---

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Окончила два медицинских вуза по специальности психология и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Работала во Франции и США. Старший медицинский психолог в Центре реабилитации подростков, страдающих наркозависимостью. Как прозаик дебютировала в 2014 году в "Нашем современнике". Автор более 60 публикаций в ведущих журналах России, а также в русскоязычных изданиях Германии, Эстонии, Беларуси, Казахстана. Рассказы переведены на арабский, китайский, белорусский, болгарский, венгерский, сербский. Участница Литературного фестиваля молодых писателей России и Китая в Шанхае (2015), Фестиваля молодых писателей России, Беларуси и Украины в Минске (2016), 13-го, 14-го, 15-го Форумов молодых писателей России и зарубежья. Лауреат премий "Золотой Витязь", "Северная звезда", "Справедливая Россия" и др. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

они откуда-то сверху и всегда ездят на лифте. А во-вторых, сегодня понедельник. Мария Васильевна давно заметила, что по понедельникам жильцы стараются поскорее прийти домой и больше не выходят. Устают. Подъезд засыпает раньше. Она потому и выбрала понедельник — первый понедельник каждого месяца. Вот, например, в пятницу она бы не рискнула. Подъезд бурлит, гудит, суетится. Всю ночь слышен топот. А зимой эти с верхних этажей вообще так и сидят на лестнице, курят, выпивают и всё болтают, болтают. Слышно даже через закрытую дверь.

Когда-то, ещё в первый год после переезда, она посоветовалась было с Мишей, не поговорить ли с ребятами, чтобы вели себя потише. Сын разгорячился:

— Это тебе не Гомель! Не надо здесь никого воспитывать! Ты понимаешь, что здесь так не делают?! — Потом заметил её растерянность и чуть мягче добавил: — Мам, я тебя прошу. Пожалуйста. У меня и так столько проблем. Не усложняй. Сидят они, лично тебе ведь спать не мешают?

— Да мне-то, Мишенька, не мешают. Я и днём могу прилечь, а остальным каково? У нас и с детьми семьи есть, а на первом этаже пара врачей. Им бывает с утра на дежурство. Я же только попросить хотела, чтобы потише…

— Мам, пожалуйста, заканчивай эти свои привычки. Вот ведь, зашёл на чай, а в итоге, как попугай, одно и то же тебе объясняю! По какому разу, а ты не слышишь!

— Мишенька, ты извини-извини! — всполошилась она. — Я не буду. Я тебя поняла. Ты поешь, отдохни, а я молча посижу. Извини меня.

Так и не поняв реакцию сына, она всё же не решилась поговорить с шумной компанией, хотя и была уверена, что нашла бы нужные слова. Всё-таки тридцать пять лет проработала в школе. Почётный гражданин города. Сколько было сложных ребят, непростых семей, но диалог всегда получался.

Она была строгим учителем. За принципиальность и активность директор продвигал её по партийной линии. “А разве можно было быть не принципиальной, — привычно заговорила она сама с собой. — История это не литература: двух мнений здесь быть не может. А история компартии в старших классах — тем более. Разве можно тут искать компромиссы? Так не патриотов вырастишь, а предателей. Их ведь, молодых, так легко запутать, так легко увести по ложному пути. Тогда нам, конечно, было проще. Учебники на всю страну одинаковые, программа утверждённая, идея единая. Была система, была логика. А вот как им преподают события 90-х? Ведь и не поймёшь. Раньше одна страна была. А сейчас, Миша говорит, каждый учитель может выбрать, какую точку зрения преподносить на уроках. Вот и хамят ребята педагогам, потому что чувствуют, что нет у старших единства, нет честных ответов, оттого и уважения у детей к старшим нет”.

Она зашла в кухню, по привычке взяла сухую тряпку и протёрла раковину. Подставила под кран пластиковую баночку из-под сметаны. Миша чинил кран в прошлом месяце, но тот снова подтекал, и за ночь раковина покрывалась бисером брызг. Вымытая посуда высохла. Она переложила приборы в шкаф, повесила влажное полотенце на батарею и огляделась в поисках чего-нибудь недоделанного. Всё чисто. Руки по привычке потянулись к радио. После треска раздались знакомые речи “Политического обозрения”. “Тьфу, пропади вы пропадом. Одно и то же мусолят. Лучше бы Радзинского включили. А то вас, лодырей, каждый вечер слушать, а его только по субботам! Ведь какой умничка, как рассказывает… С голосом только не повезло”, — она вздохнула, сопереживая писклявому телеведущему.

Мария Васильевна подошла к окну. Со второго этажа проглядывался небольшой участок широкого проспекта. Ей нравилось вечерами смотреть на разноцветные огни автомобилей и яркие витрины. Ночами было красиво, хоть и шумно. А вот днём она старалась в окна не глядеть, особенно засушливым летом. Выцветший на ярком солнце пейзаж навевал уныние: серое шоссе, пыльные тротуары, измождённые жарой люди. Из окон не видно было ни одного дерева. А с прошлого года убрали и газоны. Миша был доволен: “Наконец парковки у вас нормальные сделали, а то, как ни приедешь,

один стресс, где бы во дворе прибиться!" Ей было тоскливо наблюдать, как последние зелёные лоскутки — единственные маяки лета, исчезают под серой гладью асфальта. Но если это облегчит сыну приезды в гости, то, что ж, она потерпит. Она потерпит.

В Гомеле вокруг её окон извивалась виноградная лоза. Летом тени от листьев кружились по кухонному столу, выписывая узоры, как в детском калейдоскопе. Её маленький огородик, плотно засаженный овощами и малиной, пестрел всеми оттенками зелёного. Летом приезжали внучки, и весь день проходил в готовке. Но когда она возилась у плиты, переворачивая к полднику ароматные пышки, или строчила девочкам кружевные выходные платьица, она, и не глядя в окно, знала, какая картинка снаружи. Каждый куст, каждую вишню соседского огорода, лужайку с ребятнёй, обрамлённую аккуратными сараями, яблоню у общей калитки. Она прожила здесь сорок лет. Они сами с мужем строили этот дом, как и другие пятнадцать семей. Строили долго, добротно, для себя, для детей, для внуков. Два этажа, два подъезда, погреба, огороды, сараи, закрывающие двор от посторонних глаз. Сорок лет ничего не менялось. Только деревья росли всё выше, да вьюн расползся от крыши подъезда, укрывая тёмной зеленью весь фасад дома.

Когда она вышла из квартиры, в подъезде было темно и холодно. Отопление включали только в конце октября. У них в Гомеле в доме была газовая колонка. Тепло и горячая вода каждый день. После переезда сюда ей казалось странным снова мыться из тазика летом, как в далёком довоенном детстве.

Из-за соседской двери доносились звуки сирены и стрельбы: сосед засел за сериал. Значит, уже одиннадцать. Она тихонько прикрыла дверь, не решаясь захлопнуть. В прошлый раз из-за перегоревшей лампочки она долго не могла попасть ключом в скважину. И чем дольше пыталась, тем сильнее переживала, что кто-то из соседей её увидит, а потом Мише скажут, и он снова будет ругаться, что она занимается не своим делом и позорит его своим видом. "А в каком, прикажешь, виде выходить? — рассуждала она, натягивая плотные резиновые перчатки. — И потом, ведь я всегда в чистом. А что не новое — так ведь и не на танцплощадку". Она беззвучно переставила к лифту ведро с водой, развернула цветастый, вручную обмётанный лоскут ткани, бывший когда-то её домашним платьем, и беззвучно погрузила его в воду. Отжав тряпку, насколько хватило сил, она поднялась на один лестничный пролёт и принялась плавно, одну за другой, мыть ступени. Спустившись к площадке своего этажа, она прополоскала тряпку, с облегчением заметив, что грязи накопилось не так много. В прошлом месяце всю неделю до её "дежурства" город затапливали ливни, и воду пришлось дважды менять. А это время и силы: на улицу вылить, подняться…

Сейчас было сухо. Дожди ушли, а снег пока ни разу не укрывал столицу. Да и пару недель назад к ним всё-таки заглянула уборщица — тучная женщина в грязной сине-оранжевой форменной куртке с обветренным лицом. Убирать должны были раз в месяц, но уборщица приходила, только когда Рая с первого этажа звонила с жалобами в ЖЭК. Мария Васильевна тоже хотела звонить в ЖЭК, но Миша, услышав это, заворчал: "Ну почему тебе всегда больше всех надо, мам?! Какая тебе разница, что там. Ты же не в подъезде живёшь, а в своей квартире. Придёт время — уберут. Только не вздумай сама мыть — я тебя знаю! Или тем более соседям предлагать — решат, что ты не в себе".

Она и заикнуться не успела о своей идее, а Миша уже запретил! А ведь он и сам наверняка помнил, какой у них в доме был заведён порядок. Каждую неделю одна из квартир мыла оба этажа, график висел у входа. В подъезде всегда было чисто, никому и в голову не приходило плюнуть на лестнице или разрисовать стены. То были *свои*… Раньше ей казалось: *свои* — потому что ровесники, к труду в войну приучены, идеей одной шли, воспитанием общим жили. А их дети уже по инерции включались в правила дома. Но переехав сюда, Мария Васильевна с удивлением обнаружила, что дело не в возрасте. Две старушки с первого этажа ни разу за пять лет не ответили на её "добрый день!". Притом та самая громкая молодёжь здорова-

лась, даже когда она просила их не курить в подъезде. Её сверстницы здесь жили поодиночке, ни с кем не общаясь, редко выбираясь из квартиры. Куда уж с ними было завести разговор о дежурстве. А к тем, что помоложе, она и сама с таким предложением не подошла бы: угрюмые по большей части, всегда торопятся, уставшие, раздражённые. Как и её Миша в последнее время. Совсем другим ведь был.

Пока она вспоминала сына, его шутки, приключения и первые разочарования, она и не заметила, как уже дважды вымыла всю лестничную клетку. Лёгкий запах соды почти выветрился. Она выпрямилась, кряхтя от боли в спине и ногах. Чисто…

Мария Васильевна сидела на кровати, массируя колени дрожащими руками. Всё было вымыто, выстирано, развешано. За стеной давно замолчал телевизор. Наверху сегодня никто не скандалил. Подъезд глубоко спал.

У входа послышались шаги, затем звуки кнопок домофона. Шаги устало зашаркали по ступеням, замерли перед вторым этажом…

Она улыбнулась, представив, как Виктор удивлённо смотрит на сияющую чистоту и осторожно, стараясь не наследить, пробирается по краю лестницы домой.

Виктор привычным жестом выгреб из почтового ящика все бумаги и начал разбирать письма. “Опять одни счета! Света белого от вас не видно!” — он раздражённо сплюнул в коробку для листовок и поплёлся домой.

ЗВУКИ МУЗЫКИ

— *Вставай, тварь такая!*

Господи, что случилось?

— *Я тебя, мразь, сейчас пришибу!*

На часах 8:05. Откуда доносится рёв — непонятно.

— *Школа, твою мать, через двадцать минут!*

Школа? Да вроде уже за плечами институт. Кошмарные воспоминания из детства? Вроде такого не было.

— *Ты у меня поспишь! Подняться она не может!*

Послышались сдавленные вопли. Открыв глаза и сообразив, наконец, откуда доносятся крики, Лиза облегчённо выдохнула. Недоумевая, она прошлёпала кухню:

— Мам, это что?

— Ты о чём? А, это? — подняла она глаза к потолку. — Это *артист* свою дочь будит в школу. Доброе утро!

— Да уж, доброе… И давно это у них так?

— Года три. Ты просто раньше в будни не приезжала. Как жена его сбежала, так и началось.

Вопли продолжались ещё минут пятнадцать. Конфликт, по-видимому, разрешился: в окно Лиза увидела вылетающую из подъезда растрёпанную девчонку лет тринадцати с расстёгнутым рюкзаком, на ходу натягивающую не по погоде лёгкую куртку. Со второго этажа её лица было не разглядеть.

Когда Лиза была маленькая, сверху часто раздавались ритмичные постукивания. Мама говорила, что сосед “бьёт чечётку”. А теперь, похоже, бьёт он свою дочь. Хотя через пару лет она вернёт ему всё сполна. Раньше Лиза и не видела девочку. На улицу своего ребёнка соседи не выводили, но, судя по грохочущим перекатам, разрешали покататься дома на роликах. Однажды Лиза заметила в заоконном пейзаже метаморфозу: крепкий старый каштан побелел. Но не воздушные свечки соцветий украсили его: сверху на ветки плавно приземлялись серпантинки туалетной бумаги. Развлекалась соседская дочка. И ведь тогда на неё никто не накричал…

Ещё часто ночами Лиза слышала вальсы и симфонии. Всё тот же сосед включал классику не очень громко часа в три ночи, полагая, что все уже спят и не проснутся. Музыкальный мужик… Она отхлебнула горячего чая, размышляя, как странно меняются люди. Может, артисты, особенно неудачники, склонны к деспотизму? Сами живут под диктовку режиссёров, продюсеров

и всяческих выжиг, вот и требуется компенсация. Не улучшает характер и бытовая неустроенность — гастроли по райцентрам, нетопленые ДК, гостиничные номера на пять коек, больше смахивающие на обшарпанные комнаты общаги…

Хотя этот ещё ничего — сосед сбоку включал музыку днём, да погромче. Даже с годами Лиза так и не научилась понимать, что это: рок, металл или какая-то другая самодеятельность. Отвратительный гортанный рёв был сдобрен хаотически размазанными воплями электрогитар и рассыпающимися барабанными дробями. Вживую этого странного типа она видела не чаще, чем соседскую дочку сверху, но его музыку слышала даже через беруши. Безуспешно попыхтев над "домашкой" под ядерный аккомпанемент, Лиза с детской вспыльчивостью усаживалась за пианино и изо всей мочи вбивала в клавиши бетховенского "Сурка". Сосед должен был испытать на себе всю тяжесть музыкальной мести!

— А рокера нашего что-то не слышно? — она поглощала завтрак, разглядывая унылое утреннее небо.

— Похоронили его летом. Утонул пьяным, царствие небесное. — Мама перекрестилась. — Ещё сырников подогреть?

— Судя по его музыкальным вкусам, подземное царство ему было ближе. Да, ещё бы парочку навернула.

— Лиза, ну что за богохульство!

— Да ладно, может, он вообще неверующий был. Да и какая ему теперь разница — вряд ли обидится.

— Лиза!

— Да, мамуль? Слушаю тебя. Очень вкусные сырники, пасибки.

— На здоровье. Ты всё-таки в родительском доме. Можно как-то без чёрного юмора?

— А без юмора в нашем доме никуда, ты же понимаешь. Ладно, пойду шкаф, что ль, разберу, пока время есть.

— Батюшки, что творится! С чего бы это?

— Кхм, я ведь и передумать могу… — она ехидно улыбнулась и пошла, напевая, в комнату.

Дом просыпался. Натужно гудели водопроводные трубы, нетерпеливо скользили стулья, щёлкали дверные замки, неуклюже топали лестничные пролёты. Сонный лифт лениво карабкался вверх, чтобы, замерев на мгновенье, выдохнуть вниз.

Ей захотелось посмотреть на этот поток жизни, выплывающий из подъезда. Она забралась на подоконник, сложила по-турецки ноги и оглядела "сцену". Дворник ритмично почесывал дорожку корявой метлой. Торопливые офисники загружали обрюзгшие телеса в машины, ругаясь на узкие проезды. Раздражённая мамочка, собрав остатки выдержки, уговаривала плетущегося рядом недоспавшего малыша.

Двор терпеливо ждал, пока его жильцы отыграют привычные роли и разбегутся, оставив его наслаждаться антрактом до полудня. Жизнь будет кипеть где-то там, на проспекте, а здесь… тишина… до второго действия, в котором вернутся школьники, закопошатся по углам площадки, заполнят смехом подъездные пролёты. Домохозяюшки выплывут с собачонками размером с ладонь. После обеда выползут и мирные пьянчуги посидеть у площадки. В это время они ещё трезвые, выходят пообщаться. Двор снова оживёт. И будет услужливо предоставлять свои подмостки до самой ночи.

Кстати, о пьяницах. В последние годы их почти не видать. Один только и остался местный псих с шестого этажа, сам с собой ругается, уже с утра закупившись алкоголем.

А когда Лиза была маленькая, в пресловутые девяностые никому не было дело до пьющих. Она вспомнила весёлого кукловода из соседнего подъезда. Он иногда приходил к ним в детский сад со своими смешными номерами. А по ночам, хорошенько выпив, декламировал целые поэмы, прохаживаясь вдоль двора. Читал с выражением, громко. Никто его не гонял, не кричал с раздражением из окон. Принимая игру, жильцы припоминали строчки и старались проговорить их раньше хмельного чтеца.

Однажды они пошли с мамой в детский сад, а у соседнего подъезда стоял гроб. Лиза первый раз вживую увидела гроб. В нём лежал кукольник. Сморщенная бабулька сидела рядом на табуретке, поправляя венок. Кукольник был такой нарядный и чистый, лицо его было без щетины, заметно моложе, и улыбалось. Лизе показалось, что он был очень добрым в тот момент. Даже захотелось подойти поближе, но мама резко ускорила шаг, перекрестившись. Потом мама несколько раз переспрашивала Лизу, не плохо ли ей, не испугалась ли она. А чего было бояться — он вон какой лежал радостный. Ещё мама как-то сбивчиво и не очень понятно рассказала, что так обычно делают в деревнях: выставляют гроб, чтобы соседи могли проститься. Лиза не поняла, почему только в деревнях, но спрашивать не стала: уж очень мама торопилась и как будто сердилась.

Лиза сидела на подоконнике, перебирая детские воспоминания. Откуда-то издалека послышалась неуверенная мелодия. Спотыкаясь, она никак не могла разлиться вволю. Лиза замерла, прислушиваясь, пытаясь определить, что это. Слабые звуки долетали едва-едва. Видимо, детские ручонки выводили снова и снова воздушную польку. Это была флейта. Волшебная городская дудочка.

НА ПОСЛЕДНЕМ

Ковёр бы выкинуть давно… Сколько раз бабушке говорил… Да теперь уж ладно, пусть сама решает. Они наверняка будут рады его новости. Бабушка столько лет спала в кухне, а теперь наконец сможет спокойно вздохнуть. Только отчего ж так тоскливо?

Ему хотелось пройтись по комнате, как в американских фильмах, когда герой прощается с домом, медленно шагая по пустым коридорам, прикасаясь к знакомым стенам… Но весь проход между его разложенным диваном, громоздким письменным столом и шифоньером преодолевался за три неуклюжих шага.

Диван… Когда-то очень дорогой, чешский, пахнувший новизной, доставшийся дедушке каким-то неимоверными усилиями. Теперь, с вытертой красной вельветовой обивкой и выползающим из всех щелей поролоном, он представлял собой унылое зрелище. Никита твёрдо решил, что уговорит Настю купить кровать. Неважно, что квартира будет съёмная. О кровати он мечтал всегда: всю жизнь спал с ощущением, будто это временное место. Этот ритуал, каждый вечер раскладывать и утром снова складывать диван — он напоминал поездку в поезде: скатать матрас, сдать белье… Наверное, как и у всех малышей, у него была когда-то маленькая кроватка. Но сколько он себя помнил, этот диван был неизменным и таким недвижимым, он как будто врос в комнату, со временем даже отказавшись складываться.

Он уговорит Настю, хоть они уже и поссорились из-за кровати. У неё же куча идей, как заполнить пространство, создать “уют”. А ему нужно так мало. Ей придется уступить. Теперь он будет решать. Так должно быть. Он мужчина.

Никита заметил, что стучит пальцами по запылённой коробке. Компьютер… За четыре месяца он так и не нашёл время, чтобы подключить отчиму ноутбук. А ведь тот пару разу спрашивал, а потом, видимо, застеснялся.

Стало стыдно и совсем тоскливо. Он вспомнил, как они ездили в магазин. Мама, конечно, тоже поехала, такие покупки всегда выбирали вместе, готовясь и обсуждая уже за неделю, а то и две. Никита ощущал на себе сочувствующие взгляды продавцов и злился, когда молодой высокомерный парень демонстративно игнорировал чудаковатую пару и обращался с предложениями только к Никите. А мать с отчимом, как дети, подходили к каждой модели, трогали, читали вслух описание и рекламные брошюры. Им было важно выбрать самим. И Никита молча ждал, не отвечая продавцу.

Когда-то он стеснялся ходить с мамой в магазин: смущала её болтливость, наивные вопросы, привычка разговаривать с незнакомцами. Продавщицы обычно бывали вежливыми, но ему это казалось лживым. Мать не по-

нимала детского смущения, но на помощь часто приходила бабушка: она находила маме дела по дому, а в магазин с внуком ходила сама.

А потом появился отчим. Точнее, сначала он был просто Славик. Смешной, застенчивый, немного заикающийся. Познакомились с мамой в социальном центре на занятиях. У них оказались одинаковые диагнозы, и они радовались этому так искренне, как будто не сниженный интеллект, а особый мир связывал их.

Никита помнил, как Славик приходил в гости и всё говорил, говорил, больше мамы, но при этом постоянно краснея. Никите было лет тринадцать, жизнь кипела, и он не заметил, как Славик стал частым гостем, болтал какую-то ерунду про свадьбу. В "детскую" Славик не входил, иногда подолгу смущённо топчась на пороге. А Никита забавлялся, зная, что тот ждет, что его окликнут, а нет, так и будет стоять, хоть полдня.

Однажды вечером Никита вошел в подъезд и услышал шорохи под лестницей. Привычное дело: там часто болтались ребята или курили семейные мужики. Он уже начал подниматься к лифту, но что-то знакомое уловил в шёпоте. Он резко повернулся и заметил мамино пальто.

— Ты чего тут?! — крикнул он.

— Привет, Никит! — мать по-доброму улыбнулась, шагнув к лестнице. Только сейчас он увидел в её руках розу в дешёвом целлофане. — А мы тут со Славой болтаем, — за маминой спиной перетаптывался Славик. Лица не было видно, но Никита и так мог представить его обычное выражение неловкости.

— Совсем сдурели?! — Никита и сам вздрогнул от своего крика. Возмущение, гнев, стыд — всё слилось воедино. — Кухни вам не хватает?! На весь дом позориться решили! — перед глазами замелькали картинки, как соседи, поднимаясь к лифту, вежливо отводили глаза. Как мать по своей привычке наверняка с каждым заговаривала. Воображение мгновенно надумало о всеобщем смехе, сплетнях и перешёптываниях. Стыд навалился на него, такой огромный и невыносимый, что он впервые заорал на мать, не думая, что кто-то может войти в подъезд. А они стояли растерянные, смущённые, непонимающие. Потом он ухватил мать под руку и потащил к лифту, рявкнув Славику, чтобы валил, пока жив. Тот так и замер внизу, пугливо прижимая мамину сумку.

Никита не помнил, что он орал маме, не помнил, что пытался прокричать бабушке. Он нарочито громко хлопал дверьми в квартире, что-то рвал, выкидывал в окно, потом со злобой тщетно пытался прилепить самодельный крючок, чтобы запереться в комнате, хотя к нему и так никто не заходил. Он проснулся заполночь. Заглянул в спальню — бабушка спала. В комнате пахло валерьянкой. Из ванной слышалось журчание. Он открыл дверь. Там была мама. Она сидела на краю ванной и плакала… Его мама, простоватая ("Уж лучше бы молчала", — случалось, сердился Никита), но улыбчивая и светлая, никогда не плакала. Или просто он никогда не видел… Что бы ни происходило, она не унывала: улыбалась восторженно или задумчиво, сочувственно или с сожалением, но улыбалась.

Он растерялся, не зная, что делать. А мама сжимала в пальцах сломавшуюся подвядшую розу и плакала.

Даже сейчас, вспоминая ту сцену, ему было всё так же горько. И вроде всё потом наладилось, со временем он привык к Славику; никто не вспоминал ту вспышку ярости… Но отвратительное щемящее ощущение в горле иногда накатывало. Вот и сейчас он некстати вспомнил этот случай, хотя и так было паршиво. Он знал, как родителям хотелось свой ноутбук, как им важно было "не отставать от прогресса"… Теперь обязательно надо успеть подключить. Только где же выкроить время. Переезд, работа, Настя… Но без него точно не справятся.

— Никит! — в дверь постучали.

— Да, бабуль, чего?

— Никитушка, обед готов. Ты поешь или подождём маму? Они уже вот-вот должны прийти, — бабушка приоткрыла дверь. — А ты чего такой? У тебя всё в порядке? Бледный какой-то — не заболел? — она дотянулась до его лба. — Вроде прохладный. Работаешь ты много, совсем зелёный стал.

— Да не, всё нормально, ба. Я подожду, вместе поедим. — Ему хотелось оттянуть момент разговора, ещё какое-то время не слышать их вопросов, не видеть их лиц… — Мусор есть? Выйду, подышу.

Никита вышел на лестничную площадку. Удивительно чисто. Только паутинки у потолка ещё с лета. Последний, девятый этаж, чужие сюда не забирались. Он оглядывал знакомые стены, перила, с выцарапанным им самим лет в десять "Цой жив". Он тогда и не знал, кто это. Просто видел везде надписи и повторил.

Сколько времени он проводил здесь, откладывая момент возвращения домой, когда нёс из школы очередную двойку или весть о пропаже сменки, когда прятал в портфель трофейный, честно выигранный арбалет, который бабушка заставила потом отдать обратно. Он стоял и по детской привычке ковырял ботинком скол плитки у ступеньки. Возле соседней 143-й квартиры узор из уродливых коричневых квадратиков сбивался. Не хватило, видать, цветной плитки и всё залепили белой. В детстве он был уверен, что там, под этим белым куском находится лаз. Настоящий, секретный. Только нужно встать на нужное место, чтобы он открылся. Он улыбнулся, вспоминая, как пытался "нажать" правой ногой на свой коврик, а левой на соседский — это и была тайная схема. Потом старуха-соседка жаловалась бабушке: "Никита-то ваш об мой коврик ноги вытирает, чтобы ваш не пачкать". А он стоял, вдавливая подбородок в грудь, готовый взять на себя любую вину, но не выдать догадку о потайном лазе. Да и отпираться было глупо — на цветастом коврике развалились фигурные кусочки мартовской грязи с его ботинок.

Лифт поднимался, приближая знакомые голоса. Через пару мгновений двери открылись:

— Никита, привет! А ты чего так рано? — мама поцеловала его в щеку.

— П-п-привет, Ни-и-кит, — отчим протянул красную от холода руку.

— Привет! Да поговорить хотел. Мы с Настей собираемся жить вместе. — Он выпалил это так быстро, что сам не понял, как проговорился. Но в тот же момент стало удивительно легко, как в детстве, когда приходил с плохими новостями, а дома сидели гости, и никто уже ругаться не мог.

— Вот это новость! — мама засияла. — Здорово, Настенька хорошая такая!

— Поз-здр-здравляю! — Славик снова протянул руку.

— Да, спасибо, пока не с чем особо, — Никита был смущён их реакцией и досадовал на себя, что так долго тянул с новостью.

— А бабушке говорил? — мама звонила в дверь, неотрывно глядя на Никиту и улыбаясь.

— Не успел ещё, вас ждал.

Бабушка открыла, они зашли в коридор.

— Мам, Никита-то наш женится! — выпалила мама.

— Этого я, между прочим, не говорил. — Никита улыбнулся маминой прямоте.

— Да ладно уж, понятное дело! — мама подмигнула ему. — Настя к нам переезжает, будем все вместе!

Повисло молчание. Бабушка удивлённо взглянула на Никиту, который растерялся от маминых слов. Славик стоял у двери, не решаясь пройти дальше, пока все столпились на проходе.

— Это правда, Никитушка? — бабушка прижала руки и расплылась в улыбке. — Ты мой дорогой! А я смотрю: чего такой с утра? Что ж не сказал, думал, родная бабушка не поймёт? Да мы все так любим Настю! Давно пора. А то живёт с подружкой на съёмной квартире, и ей житья нет, и ты, бедный, выдохся туда вечерами ездить. А тут и дом, и все свои, и на всём готовом.

Никита стоял, не зная, как лучше продолжить разговор.

— Да это ещё не решено. Может, мы обедать пойдём? — ему было неловко стоять под общими взглядами и улыбками, осознавая, что придется их разочаровать.

— Конечно, идём! — мама сняла пальто и пошла мыть руки. Славик продвинулся вперёд и начал старательно пыхтеть над шнурками.

— Это ещё не точно, бабуль. Своё жильё всё-таки хочется… Может, мы одни…

— Конечно, своё лучше. Эта-то квартира твоя. И комната у вас своя будет. Мы маму со Славиком в "детскую" переселим, а вас в спальню. Кровать купим или диван раскладной? Хотя места там много, чего вам на диване мучиться.

— Да я не знаю, ба, — Никита совсем растерялся, уже не понимая, где его мысли, где Настины, где бабушкины… — Может, снимать лучше…

— Да чем же это лучше?! Сам сказал: своё жилье хочется. Настя что ли хочет?

— Вроде того, — ему снова стало стыдно за враньё, но сказать по-другому не получилось. С другой стороны, это и правда была Настина идея. Как и сейчас с бабушкой, так и месяц назад в разговоре с Настей он и не заметил, как предложил ей жить вместе. Она что-то говорила про цветовые сочетания в доме, он как-то невнятно пошутил… и тут она вдруг расплакалась, что ему на неё плевать, он и не любит её вовсе, раз за два года не предложил жить вместе… Ни с чего как давай рыдать. Он и предложил. Потом они сразу помирились, и он удивлялся, почему раньше сам не додумался, ведь это так просто и логично — жить со своей девушкой вместе… — Мы пока ещё не решили, бабуль. Снимать квартиру сейчас легко, можно найти недорого и к работе поближе.

— Ох, натаскались мы с дедом по казармам и съёмным квартирам! И уж бывало и комната хорошая, и соседи замечательные, и жили дружно… но ничего не сравнится со своим жильём. Здесь каждый угол твой. Тепло хранит, воспоминания, и всё здесь так, как хочется именно тебе. А в съёмной квартире каждый шаг обдумай, даже стены пахнут чем-то чужим, лишний раз гвоздь не прибьёшь — разрешение спрашивать нужно. А ведь это, Никитушка, очень важно, когда можешь сам решать. А что Настя хочет, так ей так и так вдали от своих жить. Но она просто пока не понимает: на тебя и приготовить, и постирать, и погладить, а она сама работает и учится вечерами. Когда всё успевать будет? Вот и начнётся у вас ругань. А тут ещё и квартира съёмная.

— Ну, это мы ещё не решили. Мы пока обсуждаем…

— А чего обсуждать, если здесь твой дом. Всё-таки мужчина должен решать, а ей придётся и уступать иногда. Так она и строится — семья-то. — Бабушка принесла маме полотенце. — Ну, пойдёмте обедать! Теперь столько всего надо обдумать! Славик, что ты всё мнёшься у двери, разделся, так иди за стол.

Славик неуклюже протиснулся за женщинами на кухню. Никита рассеянно захлопнул входную дверь и осмотрелся. Из его комнаты выглядывал край дивана с уютно свисающим пледом. Он остановился на пороге, пытаясь понять, что теперь делать.

БЛИЗНЕЦ

— Пошёл на хрен! Я тебя с лестницы спущу!

— Мы на улице, дурень!

— Вон, я сказал!

— Олежка-сыроежка! Ты же знаешь, ничего ты мне не сделаешь. Мы ж родные люди.

— Вот и сделаю, урод! Я тебя… — Олег замахнулся огромным разбухшим кулаком. Спешащая навстречу девушка, пискнув, метнулась к дороге.

— Чего людей пугаешь, болван? Ой, ты глянь, как вылупилась на тебя — вот умора! — он начал гоготать во всё горло, тыча пальцем в прохожую. — Ща глаза вывалятся от ужаса!

— Больной! — бросила девушка и засеменила на звонких каблуках по другой дорожке.

— Как она тебя, а? Получил?

— Пошёл к черту! — злобно прошипел Олег.

— А чего ждать? Давай прямо сейчас? Как мужики! Ну же, давай! — он начал махать кулаками перед носом у Олега, ехидно посмеиваясь.

Олег старался не поднимать головы, он шёл знакомым маршрутом, периодически громко сплёвывая под ноги. Перед глазами мелькали грязные лужи, прилипшие жвачки, сморщенные окурки.

— Пройдёмся по двору? Вон спиногрызы орут — давай распугаем! — он состроил уродливую гримасу. — Ну давай, весело будет! Помнишь, как в прошлый раз они разбежались по домам, как только мы подошли к площадке? А мамашки, мамашки-то! Своих слюнявых кривоножек подхватили и давай в коляски сажать! А те орут, не поймут, что такое!

Олег повернул за угол дома и двинулся к проспекту, прочь от воспоминаний о площадке.

— Стой! Ты куда? Эй!

— Сам знаешь!

— В магазин?! Опять за старое! Давай лучше погуляем! Пожалуйста, я буду хорошо себя вести! А в магазине сейчас народу — туча! Все будут на тебя пялиться, а ты боишься!

— Ни хрена я не боюсь!

— Оле-е-ежка, я ведь по-хорошему прошу: не ходи в магазин. Я ж не отстану. Помнишь, как в прошлом месяце тебя охранники вытолкали? И милицией угрожали.

— Я те покажу! Только попробуй! Измочалю! — Олег не удержался и пнул ногой куда-то в воздух. Группа соседских мужиков, пьющих у гаража, покосились на него и отвернулись.

— Мазила! — звонкий смешок забулькал истерическими переливами. — И не стыдно тебе так с родным братом! Тем более, я тебя младше!

Олег остановился у дверей магазина в нерешительности. Народ бесконечным потоком заходил внутрь, периодически задевая его. Безразличные толчки напомнили ему о метро. Голова начала кружиться, а подступающая тошнота уже заполняла горло. В метро он не был уже несколько лет. В последний раз пришлось выйти на остановку раньше, когда он заметил, что очкастая тётка начала нажимать кнопку связи с машинистом, косясь на него. И весь вагон смотрел, кучкуясь у выходов.

— Ну зачем тебе пить? Ты матери обещал бросить, — услышал Олег въедливый голос. Матери он, конечно, обещал, но она давно не верит. Навещает раз в неделю, принося частями его пособие по инвалидности. Боится, что пропьёт сразу. Она не понимает. Не понимает, что не пить уже нельзя.

— Отвали, тогда и брошу!

— Родной мой, я тебя не оставлю. Мы ж близнецы! — ехидная улыбка озаряла его лицо.

— Оставишь, урод! Сам знаешь! — Олег заметил любопытные взгляды. Злость, смешиваясь со страхом подкатывала, грозя разразиться новым приступом.

Он развернулся и помчался к светофору. Обратный отсчёт зелёного света поторапливал. Вот и осталось два шага до серой палатки. Знакомый армянин скучающе смотрел из окошка.

— Две. Большие. Как обычно, — руки Олега судорожно выудили из карманов мятые купюры. Армянин неспешно исчез в глубине. Брат стоял, злобно скалясь.

Армянин вынырнул, поставив на прилавок две двухлитровые пластиковые бутылки. Не дожидаясь, пока продавец пересчитает деньги, Олег трясущимися руками отвинтил крышку и жадно приклеился к горлышку. Тёплое пиво пенилось, ускользая струйками по его щетинистому подбородку.

Армянин брезгливо наблюдал:

— Может, заесть возьмёшь? Хлеба возьмёшь?

Олег залпом выпил половину бутылки, громко выматерился от облегчения и посмотрел по сторонам.

— Ну что, урод, свалил?! Вали-вали, пока цел! — прокричал он куда-то вверх.

Армянин, качая головой, поспешил закрыть окно палатки. Олег озирался, скалясь гнилой улыбкой. Брата не было. Он пихнул в полуоторванный карман непочатую бутылку, а вторую крепко прижал к себе: пробка куда-то улетела.

Добравшись до подъезда, он взглянул на детскую площадку. Та гудела, смеялась, жила воскресной жизнью. Ему захотелось швырнуть туда бутылкой, чтобы всё вмиг утихло. Отвратительный детский визг эхом отдавался в голове. Несчастный случай… Он бы давно забыл, если б не они… Если б не их мерзкий крик. Он залпом влил в себя остатки пива, вторую бутыль он выпьет дома. А когда протрезвеет, уже настанет вечер, и они замолчат, тогда можно будет и ночь как-нибудь протянуть.

Поднявшись к квартире, заплевывая лестницу, он завистливо замер возле соседской двери. Как бы хотел он жить в той квартире. Пусть и в однушке, но с окнами на проспект. Что угодно, лишь бы не слышать детский крик! Прошло уже больше двадцати лет, а эти звуки всё не смолкали. Если бы не этот крик тогда, он бы услышал и успел на помощь. Он бы спас брата. Он бы успел… Не он, так кто-то другой. Если б только кто-то услышал…

В квартире ему на миг привиделось, что брат тут. Он не сразу сообразил, что смотрит на своё отражение в зеркале. Они были абсолютно одинаковыми. Только шрам, который брат схлопотал в шесть лет, прыгая с крыши гаража, только эта маленькая полоска возле рта отличала их. Брат всегда был неугомонным, стремительным, всё нёсся куда-то. Мать шутила, что если б первым в родах шёл брат, то не понадобилось бы кесарево сечение. Это Олег никак не хотел рождаться. Он всегда тормозил. Он и тогда не пошёл с братом к люкам. Струсил. Если бы пошёл, ничего бы не случилось. А он остался на площадке и ничего не услышал из-за неугомонного детского крика.

Олег стянул грязные ботинки и доплёлся до окна. Он прислонил к стеклу фанерную доску, недавно найденную на помойке, притащил с дивана старые подушки и плед, поплотнее завалил подоконник и задёрнул шторы. В комнате стало тише. Сейчас ему плевать, но когда он начнёт трезветь, крики заполнят квартиру, с издёвкой разлетаясь эхом по углам. И тогда брат вернётся. Сядет напротив и уставится брезгливо и жалостливо. А Олегу нечего будет сказать. Он и сам себя ненавидит. Он уродлив и убог в своём отражении. Брат выглядит лучше. Он выглядит так, как Олег лет пятнадцать назад, когда лекарства ещё помогали. Интересно, если бы они не были близнецами, в каком бы облике приходил его брат? Тем десятилетним пацаном? Ведь фантазия не смогла бы додумать, каким бы он вырос, останься в живых. Но судьба посмеялась. Олег видел брата в своём отражении, знал все его черты.

Когда-то ему очень хорошо подобрали таблетки, и брат не приходил лет семь или восемь. Олег жил почти как нормальный подросток. Даже школу окончил на домашнем обучении. Он мог выходить на улицу один, только обходил стороной детские площадки. Теперь все эти психиатры нужны были лишь для продления инвалидности. Их лекарства больше не действуют. Брат уходит только тогда, когда Олег пьян. Он объяснял это безмозглым врачам на комиссии в психдиспансере. Они только качали головой и утешали мать.

Олег включил погромче телевизор, нашёл какой-то ужастик и безразлично уставился в экран. Ему бы только рассчитать вторую бутылку так, чтобы не протрезветь до вечера. А там и ночь.

ОДИННАДЦАТЬ ПЛАТЬЕВ

Рая провернула ключом, и дверцы старого дубового шкафа, слегка хрустнув от ветхости, отворились.

— Ты мой хороший. Что, рассохся совсем? Э-эх, моложе меня, а вон как кряхтишь — не стыдно? Сейчас мы тебя проветрим, протрём и смажем. Ты ещё поживешь, мой дорогой, послужишь. Вон, какой гладкий, — она ласково провела рукой по прохладной полированной поверхности.

Из шкафа пахло мандариновыми корочками, разложенными с осени от моли. Каждый год 31 декабря Рая разбирала весь шкаф, тщательно перетряхивая белье, протирая каждую полку и вешалку, просматривая каждую вещь на предмет дырочек. Так делали ее бабушка и мама. Так могли бы делать ее дети.

Прямо перед ней рядком висели, отгороженные от других несколько платьев. Когда отцу дали эту квартиру, Рае было двенадцать лет. Они переехали

в ноябре, в середине учебного года. У неё не получалось привыкнуть к новой школе, друзей не нашлось, а из-за высокого роста ей всё время хотелось куда-нибудь спрятаться. Родные понимали, как Рае тяжело, но отложить переезд было нельзя, а ездить на другой конец города в старую школу оказалось слишком долго. Как-то под Новый год, увидев в очередной раз её слезы, отец открыл шифоньер и достал большой сверток в грубой серой бумаге, перевязанный бечёвкой:

— Держи, Раечка. Это тебе для поднятия боевого духа!

Отец и раньше старался побаловать её, как младшую, но подарок такого размера бывал только на день рождения! Она с предвкушением развязала бантик и развернула бумагу: новенькое бирюзовое шифоновое платье пахло счастьем. От восторга она не могла вымолвить ни слова. Такой красоты не было не только в мамином гардеробе, но и вообще не встречалось ни у кого из ее знакомых! Рая бросилась целовать отца. На радостный визг из кухни пришла мама и с деланной сердитостью заворчала:

— Ты посмотри на него: не мог подождать две недели до праздника!

Рая танцевала в обнимку с платьем. Плиссированная юбочка кружилась каруселью. Ощущение волшебства переполняло до слёз.

— Надевай, Раечка, конечно, надевай! — улыбнулась мама. — Когда ещё отец такую красоту достать сможет.

— Вот они, женщины! Только одно платье подарил, так они уже о новом рассуждают!

— Да что ты, папулечка! Ты можешь мне долго-долго ничего не покупать! Спасибо тебе, преспасибо!!!

— Долго-долго — это, конечно, хорошо, но не обязательно. Руки-ноги есть, а трудящемуся человеку в нашей стране всегда работа найдется. Будут тебе ещё платья!

— Ну-ну, наобещаешь ещё дочери! А у нас из мебели один шифоньер!

— Вот и наш казначей вмешался! — папа с улыбкой приобнял мать. — Я и не говорю, что каждый год. Всё купим, всё будет. А раз в пятилетку я обещаю моей дочери самое красивое платье. Уж если они там на всю страну могут планировать, то на своих девочек и я смогу.

Платья действительно хватило на "долго-долго". Оно было длиннее на целую ладонь, брали "на вырост". Мама заботливо подшила подол и каждый год отпускала по два сантиметра. Рая надевала платье только на самые важные праздники, и каждый раз все расспрашивали родителей, где достали они своей дочке такую красоту.

Вслед за первым бирюзовым, Рая достала из шкафа шёлковое коралловое платье с кружевным накладным воротничком. Этим летом она видела такие воротнички у молоденьких девушек. Мода возвращается! Папа сдержал обещание: через пять лет он подарил ей это платье. Совсем взрослое, элегантное, с расшитым белым кружевом пояском. Мама в тот год совсем ослабла. Она лежала в комнате возле наряженной елки и любовалась на Раю: "Ты пока не надевай его никуда, впереди выпускной — будешь самой красивой!".

А через три месяца первого апреля мамы не стало. На выпускной Рая, конечно, не пошла, да и в ближайшие полтора года не ходила ни на какие праздники. Настроения хватало лишь на вечернюю учёбу и работу днём в лаборатории института. Платье она надела только на втором курсе, на свадьбу брата. Зря надела: весь вечер хотелось убежать и вдоволь наплакаться, вспоминая тот последний мамин Новый год.

Вот и сейчас слёзы снова подступили, но теперь это были слёзы нежности и любви. Отболело. Рая неспешно вынимала свои сокровища: вот платье на окончание института. Бархатное, с коротким рукавом и широким поясом. Она тогда уже сама копила, откладывала с каждой получки. И когда на Новый год отец подарил шкатулку для украшений, и не подумала напоминать ему про "пятилетку". Но к ее удивлению, после удачной зимней сессии отец принёс точно такой же, как десять лет назад, сверток:

— Раечка моя, самая умная! Вот держи, пусть хоть этот выпускной будет для тебя счастливым! Новая жизнь у тебя начинается! Трудовая, полноценная, радостная!

Отец, так искренне и полно умевший любить свою семью, страну, работу, всегда верил в достойную жизнь каждого трудящегося человека. Он успел уйти из жизни до того, как страна начала разваливаться, а трудящиеся люди перестали получать зарплаты. Он подарил ей четыре восхитительных платья. Конечно, покупали и другие, обычные, как у всех. Но раз в пять лет в гардеробе появлялась настоящая красота.

Последний папин подарок был перед Московской Олимпиадой. Рая раздобыла билет на лёгкую атлетику: выменяла у Людки из чертёжного отдела на джинсы. Тогда она уже устроилась после института на ювелирный завод. Джинсы, конечно, было жаль, тем более, что у Раи они были одни, а у Людки несколько пар! Людкин брат работал каким-то чиновником в Министерстве, и ему билетов на Олимпиаду дали целую кучу. Свою сестру, как ни просили родители, он к себе пристраивать не хотел (глуповатая она была и очень болтливая), но регулярно откупался дорогими подарками. Тогда на заводе Людка чего только не выменяла на эти билеты, а себе оставила на закрытие, о котором потом ещё несколько месяцев трещала в каждом перерыве.

Всё равно Рая была счастлива: её знакомые надеялись посмотреть Олимпиаду только по телевизору, и то, если с работы будут отпускать. Ей и завидовали, и наставляли, как завязать знакомство: в свои двадцать семь она всё ещё была не замужем. В марте папа подарил ей польское летнее платье: сверху белое в сиреневую мелкую клетку с непривычно глубоким декольте, а от пояса белое вразлет с сиреневой прострочкой на подоле. За столько лет Рая так и не смогла выведать, где и по чьему совету папа доставал ей такие модные и редкие наряды. На фоне девушек, неспешными потоками направлявшихся к стадиону, Рая заметно выделялась. На неё оборачивались, с интересом разглядывали, возможно, принимая за иностранку. И вот она сидит где-то на галёрке с армейским биноклем брата и разглядывает пёструю толпу зрителей: другие лица, иностранная речь, стойкий запах духов, инопланетного вида фотоаппараты. К ее удивлению, женщины из Западной Европы, обозначавшие себя маленькими флажками Франции, Италии или Испании, в основном были одеты в тогда ещё не известные в Союзе платья-сафари, достаточно унылой расцветки, больше похожие на рабочую одежду. На стадион Рая смотрела редко: спорт её никогда особо не интересовал.

— Извините, что отвлекаю, но разве на трибунах тоже кто-то бежит? — высокий мужской голос донёсся откуда-то снизу. С переднего ряда на неё в упор смотрел смуглый молодой человек лет тридцати.

Рая покраснела, представив, как давно он на неё смотрит, а она водит биноклем по всей арене. Сколько её ни учили подруги, она совсем растерялась и не могла завязать беседу, только смущенно улыбнулась.

— Вот там, на девятой дорожке бежит мой друг. Ему нужна поддержка! — паренёк говорил с сильным акцентом, дополняющим его образ волшебного принца.

— А я как раз туда смотрю. Я с удовольствием за него поболею!

— Не получится! — рассмеялся паренёк, — там всего восемь дорожек! Это шутка!

Рая смутилась ещё больше.

— Меня зовут Марко! — паренёк, не обращая внимания на уставившихся на них соседей, продолжал кричать ещё громче. — По-моему бег — это очень скучно! А у вас в городе есть что-то интересное?

— Да, конечно. У нас очень красивый город! Много интересных мест и памятников архитектуры, — Рая говорила, как по учебнику. Она впервые общалась с иностранцем. В институте она видела индусов и африканцев, но ни разу к ним не подходила. Да это было совсем другое.

— А я в Москве в первый раз, бывал только в Ленинграде. Меня зовут Марко! По-вашему Марк!

— А меня Рая, — наконец поняла она его намёк.

— Рая? Как там? — он показал пальцем в небо, — очень красивое имя! Покажете мне город после бега?

Рая почувствовала, как залилась краской, опустила голову и только украдкой кивнула. Оставшиеся пару часов она сосредоточенно изучала всё про-

исходящее на стадионе, стараясь запомнить имена, дистанции и прочие детали, на всякий случай.

После соревнований Марко пригласил её в кафе рядом с ареной. Прохладные залы, живая музыка, за столиками много иностранцев, и Рая вместе с другими счастливчиками! Хорошо, что не пожалела джинсы!

— А откуда вы знаете русский?

— О, я несколько лет жил в России! Четыре года учился в русской школе! Даже плохие слова выучил! Мой папа — он инженер, помогал строить фабрику в Тольятти. Мы там жили, но недолго, там сложно было со школой. Потом уехали с мамой в Ленинград, а папа к нам приезжал на выходные. Он строил фабрику автомобилей, у вас её называют завод. Знаете у вас наши машины "Фиат"?

— Кажется, не слышала. У нас есть "Волга", "Жигули"...

— Вот-вот, эти ваши "Жигули" — это наш "Фиат-124"!

— Правда? Странно, никогда бы не подумала.

— Его немного поменяли: у вас проходило много испытаний разных машин. И нужен был завод. Да, это была грандиозная стройка! Завод создавали с нуля, тогда все детали везли из других стран! Папа рассказывал очень много смешных историй!

Марко так активно жестикулировал, что случайно толкнул бутылку с "Пепси-колой": она покачнулась и со звоном упала на столик. Карамельная пена побежала сотнями пузырьков по стеклянной поверхности и мелкими водопадами потекла прямо на Раю. Мгновенно отскочив, она всё-таки не смогла уберечь платье: бурое пятно на глазах разрасталось на белоснежном подоле.

— О, простите! Какой я неуклюжий! Я просто разволновался от вашей красоты!

— Не отстирается... — Рая почти готова была расплакаться.

— Не переживайте! Всё будет хорошо! Как я мог расстроить такую потрясающую девушку!

Рая слышала его комплименты, но они её только злили. Иностранец — это конечно редкость, но такое платье в Союзе — редкость не меньшая. Да и Марко уедет через несколько дней, оставив лишь приятные воспоминания, а платье — она успела его надеть только один раз, а рассчитывала блеснуть в нём ещё на стольких праздниках!

— Вы так расстроились из-за этого пятна? Я обязательное куплю вам новое платье! Хотите — прямо сейчас? Пойдёмте, в любой магазин!

— В любом такого не купишь...

— Тогда мы купим ещё лучше! Самое красивое!

Конечно же, Рая не повела Марко ни в какой магазин. Не только потому, что ей хотелось произвести впечатление человека воспитанного, но и потому что прекрасно знала: хорошее платье в магазине не купишь. А объяснить это иностранцу невозможно. Следующие несколько дней Марко старался компенсировать свою оплошность: дарил цветы, катал на теплоходике и водил в кафе. Всё было так красочно и легко. А потом пришло время прощаться. Они стояли в аэропорту, не зная, увидятся ли когда-то снова.

— Ты мне пожалуйста пиши! Давай не потеряемся. Приезжай ко мне на Рождество!

— Это немного сложно.

— Почему? Ты отмечаешь Рождество с родными?

— Нет, что ты, мы Рождество не отмечаем.

— Тогда что же? Лететь всего три часа до Рима, а там я тебя встречу и дальше на поезде!

— Сложно выехать. Для этого нужен повод.

— А я разве не повод? Это ты нашла повод отказаться. Я думал, нам с тобой хорошо?

— Марко, ты смешной! — она нежно держала его за руку, иногда боязливо озираясь. — Мне очень понравилось с тобой общаться. Нужен повод, чтобы разрешили выезд из страны. Ты же знаешь, у нас с этим сложно.

— Но у тебя очень важный повод: я должен купить тебе новое платье! Так им и скажи! — он широко улыбнулся и поцеловал её при всех.

В Италию она к нему так и не доехала, но их общение продолжилось в дружеской переписке. Пятно, кстати, не отстиралось, и на платье пришлось сделать кармашек. Сейчас Рая с улыбкой разглядывала эту "доработку", а тогда жарким летом 80-го она в отчаянии обегала не один магазин тканей, чтобы найти лоскуток подходящего сиреневого цвета. Оно того стоило: платье до сих пор выглядело вполне свежо, а ведь она его носила несколько лет, бережно стирая детским мылом.

Марко сдержал обещание: он всё-таки подарил ей платье, пусть и через десять лет. Замечательное, наверное самое роскошное из тех, которые ей дарили. Марко приехал в девяностом. Тогда Рая уже решила отказаться от идеи с пятилетками: слишком сложно стало доставать вещи в перестройку. Страна ждала перемен, все были и истощены, и воодушевлены одновременно. Вот-вот должно было всё наладиться, и Рая решила просто подождать, когда страна наконец заживет свободно и богато, каждый день обсуждая эту будущую новую жизнь с коллегами в перерывах.

К тому времени Марко уже был разведён и по выходным воспитывал сына. В письмах они рассказывали друг другу обо всех жизненных поворотах, и когда Марко выпала возможность приехать в Россию, он за два месяца начал писать Рае о том, как они будут проводить время.

Они сидели в каком-то ужасно дорогом ресторане. Как и много лет назад, здесь тоже слышна была иностранная речь и хорошая музыка. Марко не столько постарел, сколько стал более мужественным. Он был наголо выбрит, но это ему удивительно шло, подчеркивало элегантность. Голос его стал ниже и мелодичнее, хоть на этот раз они больше молчали, нежели говорили. Вроде и так всё знали. Или, может быть, их жизни стали столь непохожими за эти десять лет… Рае казалось, что она выглядит и ощущает себя гораздо старше Марко. От этой мысли и странной роскоши, существовавшей в её же стране, но где-то в параллельном, закрытом для неё мире, она начинала стесняться и даже раздражаться.

— Я снова предлагаю тебе приехать в Италию. Ты хочешь?

— Марко! Ты такой импульсивный! Мне очень приятно, но такие вопросы нужно хорошо обдумать.

— Я много думал. Я предлагаю тебе приехать насовсем. Или хотя бы на месяц, чтобы присмотреться.

— К чему?

— Рая, мы можем с тобой жить вместе. Мы много знаем друг о друге: характер, хобби, особенности работы, любимые вещи. Совместная жизнь — это не страсть, как я теперь понял. Это — взаимопонимание. Я много думал, Рая. Мне кажется, мы очень хорошо друг друга понимаем, чувствуем. Я постоянно практикую русский: у нас в компании много ваших эмигрантов. Как видишь, мы легко общаемся.

— Марко, это, конечно, звучит заманчиво. Но что я там буду делать? Где я найду работу?

— Я достаточно зарабатываю. А в Италии женщина может не работать, и её не будут осуждать.

— Дело не в осуждении, а в том, чем я буду заниматься?

— Чем? Ты будешь заниматься домом, своим мужчиной. Ты наверняка хорошо готовишь. У меня много родственников и друзей, они будут приходить к нам в гости. Ты будешь заниматься собой. Как все женщины: ходить в парикмахерскую и на массаж, покупать фрукты на базаре, что-нибудь шить, гулять с собакой.

— У тебя появилась собака? — Рая машинально поддерживала ход его беседы, как будто и не воспринимая всерьез обрушившееся на нее предложение.

— Нет, но я бы хотел. Я сам часто бываю в разъездах, ты же знаешь. Очень хочется приезжать домой, где тебя ждут. Ты понимаешь?

— Понимаю. Я бы хотела английского дога… Это такие высокие с острыми ушами, знаешь?

— Нет, большого — это неудобно. Ему нужно много места и он слишком много ест.

— Да, ты прав… — Всё это звучало так странно, как будто с киноэкрана. Ещё несколько лет назад Рая фантазировала о том, как Марко предложит ей выйти замуж. Как в фильмах — встанет на колено и откроет маленькую бархатную коробочку. Но сейчас… Всё-таки они такие разные… — Я не знаю, Марко…

— Я тебя не тороплю. Просто приезжай сначала хотя бы на две недели. Если нужно — я куплю тебе билет. А потом, если ты захочешь остаться, ты сможешь оформить себе документы. У вас сейчас всё очень сложно, этим можно воспользоваться, чтобы получить убежище. Подумай, у нас есть время. Но всё-таки мне бы не хотелось затягивать, я устал жить один.

Целую неделю они ходили вечерами гулять, потом ехали на ночь к нему в гостиницу, скудный интерьер которой возмущал Марко. Рая стеснялась привести его к себе в ещё более скудно обставленную квартиру.

На прощание Марко вручил ей бордовую коробку с золотой лентой:

— Я хочу, чтобы ты прилетела ко мне в этом платье. В аэропорту все будут смотреть только на тебя…

Это платье Рая помнила хорошо, хотя не разу его не надела. Желтое с золотыми нитями, струящееся почти до самого пола. Платье даже пахло чем-то заграничным, сейчас уже и не вспомнить точно. Она его "съела". Вскоре после отъезда Марко Раин завод вместе с лабораторией закрыли, а через пару месяцев сотрудники перестали строить иллюзии, что кто-то о них позаботится. Рая обнаружила, что её профессия новой стране не нужна. И образование тоже оказалось невостребованным. Стране нужны были продавцы, вышибалы, официанты, бандиты. Первые полгода получалось протянуть на сбережениях. А потом пришлось продать платье. Оно прокормило Раю ещё добрых три месяца, хотя и очень скромно. Но за это время удалось устроиться учителем в школу. Зарплата, конечно, мизерная, но хоть какая-то. Рая не очень понимала, как работать с детьми, переживала первое время. Но дети быстро к ней привыкли, а через год появились частные ученики.

Что же касается Марко… Во всей кутерьме и страхе девяностых, тот разговор превратился для Раи в какую-то добрую сказку. Очень старую, почти забытую. Марко напоминал о себе письмами и фотографиями. Но каждый раз, перечитывая их, всё сложнее ей было представить себя бесцельно расхаживающей по солнечным улицам или лежащей на диване в ожидании "своего мужчины". О чем им говорить? Чем заниматься вечерами в его маленьком городке? Что делать целыми днями, когда он будет в командировке? Да и можно ли всю жизнь поменять теперь… Она откладывала и откладывала решение. Ведь он всё-таки слишком "чужой", чтобы стать близким человеком. А Марко спустя пару лет снова женился, потом через четыре года развелся, всё также продолжая звать её в Италию, хоть и с меньшей настойчивостью.

О продаже золотого платья Рая не жалела: как будто и не для неё оно было — про какую-то другую жизнь. А о Марко намного лучше напоминало то самое, олимпиадное. Рядом с ним в шкафу висели два самых невзрачных "экспоната". Первый — подарок брата в восемьдесят пятом. После смерти отца он хотел продолжить традицию и привёз из Латвии что-то вроде сарафана. Со вкусом у брата было намного хуже, чем у папы, но сама забота очень трогала, и Рая подарок сохранила, надевая для простых выходов в магазин. Второе платье она купила сама в девяносто пятом. Денег заранее не накопила, потому и платье пришлось купить простое. Хотя для школьных праздников оно было в самый раз. После этого Рая решила обязательно откладывать с каждой зарплаты по чуть-чуть.

И вот в 2000-м Рая со старшими классами поехала в Чехию. Там девчонки, конечно же, выведали у любимой учительницы про её коллекцию. Платье выбирали всей группой. Ученицы приносили ей в примерочную лучшие, а потом Рая, смущаясь от такого внимания, выходила к ним, как на подиум, и терпеливо слушала комментарии. Выбирали два дня, казалось, обошли все магазинчики Праги. Раю до слёз трогало такое внимание. Остановились на серебряном вечернем платье с рукавом три четверти. Пришлось разо-

риться и на туфли. Рая вздыхала, что и носить эту красоту некуда, на что девчонки шутливо обижались: а разве их выпускной не повод.

В школе слух о её традиции "платьев-пятилеток" быстро долетел до учительской. Да и наряд из Чехии пришлось показать. На выпускном вечере платье действительно смотрелось шикарно. "Рая Максимовна, да от вас глаз не оторвать!" — слышала она от многих. Тем теплее ей было, что эту вещь выбирали её ученики.

А спустя три года на её юбилей коллеги преподнесли сюрприз — платье в стиле индийского сари удивительного незабудкового цвета. На такое она сама бы не рискнула и посмотреть! Не по-возрасту оно казалось, да и какое-то сказочное. Даже сейчас она доставала его с особым трепетом, но вдруг на плече заметила зацепку.

— Э-эх! Это всё, небось, ты, старый скрипун! О твои петли, наверное, задела. Придется вправлять. Шёлк-то, вон какой, нежный, как бы следов не осталось.

Рая бережно отложила сари на кресло и потянулась к последней вешалке. На ней висело приятное сиреневое платье в мелкий серебристый цветок. Красивое. Но совсем "бессюжетное". Рая смотрела на него и не могла вспомнить ничего примечательного, что сопровождало бы покупку или вообще тот 2010 год. Вроде бы и деньги отложены были, вроде и выбирала долго. А вот вспомнить нечего…

* * *

Шкаф был разобран и протёрт, петли смазаны, зацепка успешно спрятана. Рая принесла с кухни чайник, чашку и коробочку с безе, расставила на столике, села в мягкое кресло и включила телевизор. "Голубой огонёк" уже начался.

— Ну, вот и год прошёл. В понедельник магазины откроются, надо будет сходить примерить то кружевное с накидкой.

Елена Тулушева пишет строгую, жёсткую и притом тонкую, истинно художественную прозу. Её рассказы оставляют ощущение документальности. Не думаю, что они действительно абсолютно документальны, но настоящий реализм и должен быть достоверным. Реализм призван к тому, чтобы люди поверили: вот так и было на самом деле. В этом его сила, в этом сила и редкий нынче дар Елены Тулушевой.

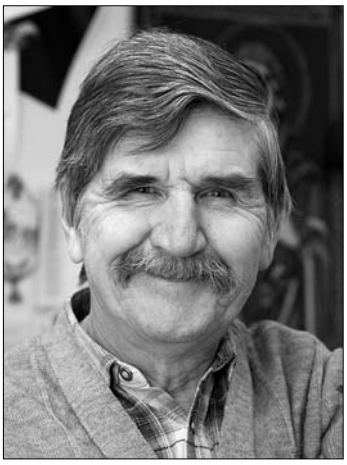
Она не играет словами, смыслами, интеллектом; не играет в литературу. Она её создает. Превращает в кристаллики месиво ежедневной жизни, запечатлевает людей с их нехитрыми, но всё же особенными, неповторимыми в деталях судьбами…

Роман Сенчин

Елене Тулушевой — 30! Сердечно поздравляем нашего талантливого молодого автора с первым взрослым юбилеем! Желаем вдохновения, удачи и счастья.

Редакция

ВЛАДИМИР СОРОКАЖЕРДЬЕВ



СТРАНИЦЫ ДАВНИХ ДНЕЙ

СЛОВО О ПОЛКУ

Пожар Москвы. Там рукопись сгорела.
А может, вовсе не было её?

Мы поднимаем руки к потолку —
Утеряны не дом и не корова!
Единственное "Слово о полку", —
А это больше, чем простое слово.

История не замедляет ход.
Хватало и у нас своих уродов.
Но неудачный Игорев поход —
Урок и слава будущих походов.

А рукопись? Страницы давних дней,
Они и в пепле неисповедимы.
И вот уже полк вежливых людей
Ведёт по кромке юга князь Владимир.

Московский примеряется наряд,
И речь звучит надёжно и парадно,
Что рукописи всё же не горят
И время возвращается обратно.

СОРОКАЖЕРДЬЕВ Владимир Васильевич родился в 1946 году в г. Кирове. Писатель, поэт, краевед. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1971). Один из организаторов первого празднования Дня славянской письменности и культуры в 1986 г. в Мурманске. Составитель сборника памяти В. С. Маслова "Гражданин и подвижник Севера" (2002). Член Союза писателей России (1978).

ДВА ПОЛУОСТРОВА

Славить подвиг найдутся слова.
И хотя друг от друга неблизко,
Очень схожи
полуострова —
Два защитника —
Кольский и Крымский.

Две надежды России, две славы!
Если ветер от запада крут,
Он и слева споткнётся, и справа,
И подумает: стоит ли дуть?

На одном они меридиане,
На державном, ещё от нуля, —
Это не острова в океане,
А князей древнерусских земля;

Во единой российской оправе,
Каждой гранью гранита тверда.
И ни камешка там не убавить,
А прибавиться может всегда!..

ПРОЩАНЬЕ С КНИГОЙ

Отпущенного мне не прыгнуть выше,
По роду долголетье не в чести.
А повезёт, хотел бы дней излишек
В кругу любимых книжек провести.

Друзья мои, готовые для драки!
Вино моё хмельное и халва!
Хвала изобретателям бумаги,
Кириллу и Мефодию хвала!

Я в мире том с детсадовского вальса.
Читал я всё и даже — что нельзя.
Смеялся и слезами умывался,
А это хорошо — когда слеза.

Моих дорог герои!.. Каждый дорог,
И я гордился собственной страной —
Я, маленький такой, у книжных полок,
Как будто под китайскою стеной.

Излишек дней, что выдан на дорожку,
Не так велик,
и в череде потерь
Закроют и за мною дверь-обложку,
На ключик золотой закроют дверь.

* * *

А деды были молоды,
Стране — всего себя,
Молились силе молота
И острию серпа.

Была когда-то дружба
Двух верных железяк.
Сейчас дружить не нужно,
Живётся просто так.

И ныне внуки-золото
От прошлого — бегом,
И не поднять им молота,
И не махнуть серпом.

БУЛАВА

Летит ракета “Булава” —
Рукопожатие востоку.
И чья-то, хмурясь, голова
Внимает этому уроку.

Зубами злобными скрипит
И руки нервные разводит.
Летит ракетушка, летит
И точку нужную находит.

И кое-кто закроет рот,
Кусать Россию перестанет —
Ей всё равно, где упадёт,
Ей всё равно, кого достанет...

ФОТОГРАФИЯ

Жива ли няня-красотуля?
Я нашу карточку храню:
Стою в фуражечке на стуле,
Я с книгой Сталина стою.

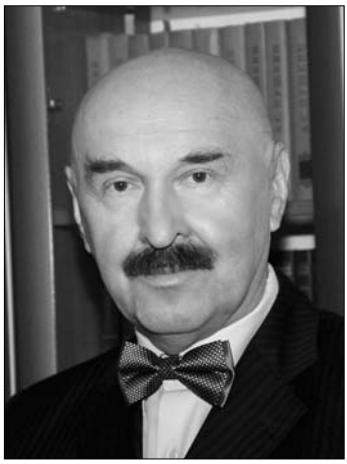
Девчонка-няня, дюже гордая,
Слегка выказывала злость,
Что у еврея, у фотографа,
Дитю игрушки не нашлось.

А я едва с волненьем справился,
Мне помогал усатый вождь.
Я на фотографа уставился:
Когда же, “птичечка”, вспорхнёшь?

Стоял на стуле я, малышка,
И был героем, может быть:
Держал я “Сталина” под мышкой
И не боялся уронить.

Сердечно поздравляем нашего автора с юбилеем!
Редакция.

ВЛАДИМИР БУТЕНКО



ПОБЕДА СЕРДЦА

(К 175-летию гибели М. Ю. Лермонтова)

…Ах, Мишель, Мишель, надлежит ли поручику, бывшему гусару, командиру лихой сотни, принимать так близко к сердцу вошедшую в силу весну, томный запах перволистья и мимолётную пресную свежесть талой воды, доносимую ветерком из подворотен и дворцовых палисадов? Что за бабская слезливость при виде звёздного узора, выложившего широкую полосу неба вдоль Невского проспекта, по которому мчалась карета в дом Карамзиных? Впрочем, здесь, на севере, и Венера, и другие светила казались ближе и родней. А на Кавказе, куда по воле службы он должен отбыть, ночи были неприветливы: не обычная темнота, а тьма тьмущая ложилась на горы и ущелья, зачастую окутанные туманной дымкой. И когда среди вершин всё же открывалось небо, причудливыми косяками и по-южному ярко вспыхивали звёзды, его преследовало ощущение таинственной торжественности и незримого присутствия высших сил, сверху глядящих на Землю и как будто проникающих исподволь в душу, наполняя её и восторгом, и мятежной тревогой, и предчувствием кончины…

Лермонтов ехал на прощальный ужин, по обыкновению размышляя и рассеянно поглядывая на фасады зданий и встречные экипажи. Мягко сгущались апрельские сиреневые сумерки. В памяти всплывали строки Додо Ростопчиной, посвящённые ему. Как всё же талантлива милая княгиньюшка,

---

Бутенко Владимир Павлович родился на хуторе Дарьевка Родионово-Несветайского района Ростовской области в 1952 году. Окончил Ставропольский медицинский институт. Автор многих книг стихотворений и прозы. Лауреат литературных премий. Главный редактор альманаха "Литературное Ставрополье". За роман "Казачий алтарь" отмечен высшей наградой Терского казачьего войска. Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

столь нежданно ставшая другом за время его отпуска! Поэтическое напутствие Евдокии Петровны (она позволяла называть себя Додо только близким) было ответом на его стихотворение, написанное в альбоме. Оба они были известны публике как писатели. Но княгиня, не переставая хвалить лермонтовские стихи, как бы подтверждала его неоспоримое лидерство в русской поэзии.

Одобрительные отзывы в этот свой приезд слышал он повсюду и от других, даже от собратьев-писателей. Известность, пришедшая со дня написания "На смерть поэта", ширилась. Разошедшееся в рукописях, это стихотворение принесло ему, однако, не упоение славой, а осуждение самодержца и арест, первую ссылку на Кавказ. "Отправлен по следам Пушкина", — с горечью думал он тогда о себе. И эти негаданные испытания, постигшие его, как бы навек связали с любимым поэтом. Мучительной ценой и страданиями окупил он каждое написанное им слово! И странно, только в последнее время, после выхода книг и журнальных публикаций, он стал осознавать, что его творчество может влиять на настроение людей и ход мыслей. Иные не стесняются твердить ему в глаза "первостепенный поэт", "продолжатель Пушкина", "надежда отечественной словесности", что неизменно вызывало в душе и протест и... отзвук обволакивающего елеем, манящего, где-то глубоко спрятанного тщеславия. И, ловя в себе это смешанное чувство, досадуя на себя за слабость и зависимость от чьих-то снисходительных слов, вместо улыбки благодарности Лермонтов отвечал довольно сдержанно, иногда — двусмысленно и едко, ставя почитателей в тупик.

Демон просыпался в душе его, гневил, требовал покуролесить. Он едва удерживался, чтобы не объявить с вызовом, что пишет не ради того, чтобы одаривали любезностями и называли поэтом! Но желание это, к счастью, быстро угасало... Он ведь и сам не мог решительно понять, откуда дар сочинительства. Знал лишь одно, что волен в собственных желаниях и пишет о том, что тревожит, что подсказывает разум и требует сердце! И это до мук болезненное творческое своеволие не ведает границ, ничто не могло и не может поколебать его. "Вдохновение" — понятие индивидуально означенное. Каждый из сочинителей определит его по-своему. Для него же, прежде всего, это явившийся вдруг божественный зов. Будто бы наполняет душу властный неведомый гул, обретающий исподволь различимые звуки, которым сопутствует порыв чувств, возносящий в чудное, непостижимо-сладостное забытьё...

Лермонтов с необоримой тревогой вспомнил о приближающемся отъезде, на память повторил строки Додо:

Ему — поклоннику живому
И богомольцу красоты —
Там нет кумира для мечты
В отраду сердцу молодому!

Да уж какие там, на военных перепутьях, кумиры! Снова экспедиции в глубь чуждого далёкого края, в аулы, ожесточённые схватки с горцами, кровь, убитые и раненые... А всё-таки чеченцы — славные ребята, храбрые воины. Умирают с высоко поднятой головой, бьются изо всех сил и до последнего патрона. Да и не было примеров, по словам сослуживцев, среди них предательств. А сколько раз в жизни светской, в офицерском кругу стерегла его клевета, ложь, измена! И чаще всего не открыто, а втайне, подленько...

Весь сегодняшний день он не находил покоя, расстроенный неожиданным приказом Клейнмихеля, дежурного генерала генштаба (хотя до этого дана была отсрочка), прервать отпуск и в течение 48 часов выехать в свой полк. Стало быть, недавнее предсказание гадалки, воспринятое им тогда с пренебрежением, не пустые слова!

Ничто не помогало ему вернуть обычную твёрдость духа, — даже чтение романа Купера. Он пробовал сочинять, но мысли рвались и казались мелкими. И снова на миг усомнился он в своём поэтическом назначении, как было давеча на балу у графа Воронцова-Дашкова, когда спросил у писателя Сологуба, верит ли тот в его талант? Беллетрист, неизменно державшийся

с дворянской надменностью, разразился панегириком, а в глазках таилась что-то нехорошее, скользкое, недружелюбное…

Тот бал дорого стоил ему за бездумную оплошку, за желание привлечь к себе дам, пофорсить: он надел армейский сюртук с укороченными фалдами. Великий князь Михаил Павлович заметил это и помрачнел. Выходка только что приехавшего с Кавказа поручика, непочтение к форме в присутствии царственной особы грозила неприятностями, вплоть до ареста. И если бы не хозяйка бала, великодушная и мудрая графиня, которая поторопилась вывести гостя-своевольца через чёрный ход, а затем уговорила Великого князя снизойти к молодости Лермонтова, то гроза наверняка бы грянула…

Повеселел и отвлёкся он лишь под вечер, просматривая две свои скромного вида недавно вышедшие книжки: "Герой нашего времени" и "Стихотворения". Обе были тиражом в тысячу экземпляров, обе пестрили корректорскими ошибками и цензурными исправлениями. И всё же это, напечатанное по настоянию его друзей, как бы материализованное из его творчества — роман, двадцать шесть стихотворений и две поэмы — было теперь для него самым дорогим богатством. Книги, как бы отделившись от него, жили теперь собственной жизнью, они, по уверению приятелей, перехватывались из рук в руки, вызывали споры. И всё же, как это мало, ничтожно мало! Он представлялся, особенно при встречах с литераторами, не стихотворцем, а любителем, сродни музыкальному дилетанту. И при этом ощущал в душе досаду от несправедливости, преследующей его. Он мечтал издавать свой журнал, сочинять романы, жить в столице, вращаться в кругу родных по духу людей, которые ему всегда рады в доме Карамзиных. А вместо этого обязан носить мундир, служить на Кавказе в действующей армии, терпеть незаслуженную опалу великого князя и самого царя!

"Должно быть, мой недостаток в том, что слишком впечатлителен и помню многое, многое из прошлого, — больно отдалось в душе. — Не забываю ни радостных дней, ни страданий. И упорно ищу справедливости. Очевидно, поэтому возник слух, что у меня дрянной характер. Да, я субъективен. Часто неуступчив и неестественен, в силу дурацкой природной застенчивости. Но, видит Бог, никому не желал зла и не делал его сознательно. "Зло порождает зло", — это убеждение я сознательно приписал Печорину. Мы оба самолюбивы! Да, как и всякие добропорядочные господа. Ещё в молодости придумал я шкалу и расставил по ней различные степени чувства, которое принято называть собственным достоинством, как-то: самолюбие, гордость, высокомерие, спесь. Две последние ступени присущи негодяям и глупцам. Они не в состоянии оценить добро и добродетель, красоту искусства и могущество разума. Остроту или случайную насмешку воспринимают как оскорбление. Они так устроены, таковы в естестве своём. Французик Барант, трусишка и подлец, песчинка среди подобных личностей. И разве могу я покорно сносить их пренебрежительность, диктат, угрозы? Христос и Магомет не доступны оскорблению, ибо недосягаемы в своей вере, мудрости и силе духа… Да и дьявола оскорбить также невозможно, как это ни звучит кощунственно. А мы, смертные, мечемся. И нет среди нас ни одного святого и никогда не будет! И только искусство, музыка и поэзия даны роду человеческому в утешение, — это понимал Пушкин лучше всех! Они способны примирить с жизненными невзгодами и неизбежностью исчезновения с Земли. "Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв"! Именно так, именно так… Все мои строки, посвящённые тем, кого любил и ненавидел, это — история моей души, духа, разума. Она не менее интересна, чем история какого-то народа или государства. Хорошо, что успел об этом написать в предисловии ко второму изданию "Журнала Печорина". А прежде многое было сочинено мною по случаю, небрежно, наспех. Да я и не собираюсь это обнародовать! Юношеский бред, а не пьесы… Хотя излишне выправленные стихи не трогают, тускнеют, как вяленый изюм. Пушкин нарушал грамматику, добиваясь слитности слов и чувств. Да и мне в редакции у Краевского пришлось отстоять ошибочку: "Из пламя и света рождённое слово". Слова сами командуют подчас поэтом. Да и нечего делать, если "из пламени" в строку не ложится…"

Он вновь с безысходностью стал размышлять о том, что предстоящая служба не позволит ему всецело отдаться литературе. Мысли об упущенной из-за дуэли с Барантом возможности жениться на княгине Щербатовой, что могло дать шанс на выход в отставку, живо напомнили ему о прекрасной вдовушке и о других женщинах, которыми увлекался и которых любил…

Любил… Так ли это? И можно ли к этому причислить то чувство, исполненное радости и страха, умиления и ревности, которое он десятилетним мальчиком испытал к милой конопатой девчушке? И как определить самою любовь, если чувство это, умирая к одной, возникает, но уже совершенно иначе — к другой? Что это: чудная мечта, жажда наслаждений, желание подчинить женщину своей воле, инстинкт продолжения рода или поиск открытий в себе и других? "Любить… но кого же? На время — не стоит труда, а вечно любить невозможно…" Его обвиняют в байронизме и скептицизме. Да, он сполна отдал в молодости дань моде. Но ныне думает и чувствует по-новому! И запасов из пережитого хватит ещё надолго, не на один роман… Невероятно, но он так и не встретил той единственной, которая бы жертвенно разделила его судьбу. И, быть может, те скоротечные минуты счастья, умиления и восторга и те часы страданий от женских измен, разочарований и предательств имеют иное название? Бог весть. Видимо, плоть и дух живут по особым, никем ещё не разгаданным законам…

Где ты, юность чистосердечная, и первая страсть, до сих пор бередящая душу? Даже теперь, спустя одиннадцать лет, таилось в памяти состояние потерянности, которое угнетало в Середникове, имении Столыпиных, где гостил он вместе с бабушкой. Семья Сушковых проживала по соседству и наезжала туда. Он познакомился с Екатериной, Катенькой-Черноглазкой, как звали её родные, у Верещагиных, а здесь, в столыпинских владениях, на аллеях тенистого парка сблизился и — влюбился. Девушка была старше его и готовилась "на выданье". И ухаживание университетского полупансионера восприняла как забаву, сделав его своим "чиновником по особым поручениям". Мишель носил её зонтик, шляпку, перчатки, которые — о, ужас! — не единожды терял. Живая, с причудами и острым умом, Катя и благоволила, и дурачила, и доводила до слёз откровенными насмешками.

Тогда он впервые осознал, что Бог наградил его весьма заурядной наружностью, страшным несоответствием между тем, как выглядел внешне, и миром внутренним. С детства испытывал Михаил некую потаённую зависть к добропорядочным семьям, к мальчикам, у которых были родители. А он, выросший в глухом пензенском имении, окружённый дворней и воспитателями, был лишён родительской ласки. Он почти не помнил покойной матушки, был разлучён с отцом, которого бабушка отрешила от воспитания сына. Одиночество, окружавшее его с ребяческих лет, разбрасывало тенёта, обособляло. Да, жил в их доме троюродный брат Аким, его сверстник, бывали и другие гости с отпрысками. Многому научили его мудрые и бывалые гувернёры-иностранцы. Бабушка Елизавета Алексеевна, любя единственного внука безумно, подчинялась его капризам, устраивала всяческие забавы, старалась, чтобы жизнь Мишеньки была интересной, вольной и радостной. На святки устраивались костюмированные представления, в которых участвовала вся дворня, а на снежных горках разыгрывались целые баталии! Рисование, чтение художественных книг да поэзия, милость Господняя своим добрым волшебством отогрели маленькую душу и наполнили его существование смыслом. Он помнил себя постоянно что-то сочиняющим: то стишки, то эпиграммки, то послания, то прозаические этюды. Он с радостью публиковал свои произведения в рукописном журнале. Елизавета Алексеевна, стараясь дать внуку всестороннее образование, отнеслась поощрительно к его поэтическим шалостям, которые захватывали всё настойчивей, унося в грёзах далеко и рисуя картины пленительные…

И вот теперь, встречаясь с Катенькой, зная, что приземист, неуклюж, он смиренно терпел выходки длинноволосой фурии и, не смея признаться в любви, как оглашенный, писал стихотворения, в которых воспевал её и выплескивал боль неразделённой мечты: "С тобою грех мне лицемерить, ты слишком ангел для того…" В сущности, мальчишка, наивный и доверчи-

вый, который, теряясь, даже улыбался криво. То, что другим подросткам, с приятным лицом и фигурой, давалось заведомо легко и безо всяких усилий, ему нужно было доказывать, подавать себя в выгодном свете, увлекать речами и остротами, именно завоевывать внимание прелестниц. Они же эту его вынужденную защиту, способ самоутверждения воспринимали как желание выделиться.

С той печальной влюблённости, и особенно когда стал офицером, взял он на вооружение эту манеру поведения: привычку дерзить, вести себя в обществе подчёркнуто независимо. С близкими людьми, которыми дорожил, он был одним, простым и откровенным, а среди светской коловерти, среди чуждых ему людей, вельмож, карьеристов, богачей-самодуров, самонадеянных мерзавцев точно надевал маску! И молва о Лермонтове, злобном, мстительном и надменном, благодаря языкам, которые "страшнее пистолета", не случайно гуляла по обеим столицам. Что ж, "белеет парус одинокий"... Белеет, но не в бушующем море, а среди бездушных, убийственных гостиных...

И всё же ни одна барышня, ни одна женщина впоследствии не позволяли себе так пренебрегать им, как мадемуазель Сушкова! Особенно мучительно было вспоминать, как вместе с подругой, которая открыла ей глаза на горячее чувство юноши, "этот ангел" учинил ему допрос. Мерно хлопая сложенным веером по ладони незанятой руки, сидя на скамье под липой, Катенька, как взрослая, задавала ему каверзные вопросы притворно-строгим, театральным голосом, требуя, чтобы не только сознался в своём чувстве, но и подробно описал, в чём оно заключается. А он, пламенея во все лицо, то отводя взгляд, то взирая на "предмет своей страсти" затравленным волчонком, что-то мямлил, говорил невпопад срывающимся голосом...

Через четыре года, каким мелочным не покажется этот поступок м он отомстил ей! Узнав, что семья Лопухиных против женитьбы Алексея, его приятеля, на Екатерине Сушковой, Михаил приударил за ней, прослывшей в свете кокеткой, и вскружил голову, что и расстроило предполагавшуюся свадьбу с Лопухиным. И, посчитав миссию выполненной, он скандально порвал с влюблённой пассией, назвав её в письме к кузине Александрин Верещагиной, "летучей мышью, которая цепляется за всё, что придётся". Он твёрдо полагал, что всякий, имеющий честь, должен действовать в ответ на причинённое ему зло по известным канонам справедливости: наказание, месть, отмщение, возмездие. Возможно, с той, которую прежде обожествлял в стихах, он и обошёлся жестоко, но побеждать беса, увы, удаётся далеко не каждому и не всегда...

И было ещё у него, юного стихотворца, вслед за разлукой с черноокой насмешницей, бурное увлечение Наташенькой Ивановой, дочерью драматурга, тоже красавицей и так же легко пренебрегшей им. Остались адресованные ей стихотворные посвящения, а в душе при воспоминаниях о Натали тлела теперь лишь сентиментальная грусть. Но тогда — о, Боже мой! — он стоял на краю гибельной пропасти, уверившись сгоряча, что не способен добиваться взаимности у своих избранниц...

Господь судил ему повстречать тогда же, в юности, небесное существо, память о котором доселе затмевает прочих женщин! Это Варя, Варенька, сестра друга по университету. Её дружная московская семья жила на Малой Молчановке, по соседству с домом, который снимала Елизавета Алексеевна. У милых Лопухиных он бывал почти ежедневно. И непринуждённо-насмешливое отношение к живой, отзывчивой и развитой девушке, казалось, ничего не предвещало. С троюродным братом Акимом они даже позволяли себе, шутя, дразнить её: "У Вареньки родинка, Варенька уродинка", — за что она корила их и осуждающе качала головой, Но однажды весенним закатом, направляясь в кругу молодёжи в Симонов монастырь ко Всенощной, Михаил оказался на скамье повозки рядом с этой темноглазой, очаровательной мечтательницей. И оба они почувствовали, что произошло нечто странное, необыкновенное в эти минуты! Они вдруг увидели друг друга, ощутили неведомое блаженство от этого открытия, так желанно сблизившего их. С этой поездки он всецело принадлежал своей возлюбленной, столь ранимой и несравненной Вареньке! Впервые в жизни повстречал он женскую душу, понимающую его!

Точно по мановению свыше, стихи Михаила стали иными — глубже и напряжённей. Он уже не ощущал себя "нищим", тем героем своего стихотворения, которое посвятил Сушковой, он теперь уже не мог им быть, ибо девушка отвечала взаимностью. Ах, сколько счастливых часов провели они вместе, сколько нежных и взволнованных слов сказано было ими, какими неудержимыми и восторженными были признания!

...Однако все её движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей...

Лермонтова оторвал от воспоминаний громкий надсадный вороний грай. Птицы, обсыпавшие верхушку старой липы, устраивались на ночлег. Их крики зловеще, громче колёс, отдавались в весенних потёмках. К счастью, возница повернул в переулок. Впереди, под зажжёнными газовыми фонарями лоснились булыжники мостовой. В открытое окно второго этажа углового здания выплёскивалась чудесная мелодия — кто-то играл знакомый этюд Шопена.

Он поёжился, поправил на шее завязанный платок и с горькой усмешкой подумал, что, пожалуй, до скончания века будет нести в сердце вину и сожаление о том, что так самоуверенно отнёсся к обещанию Вареньки ждать, выйти за него замуж, когда "милый Мишель", окончив юнкерскую школу, станет офицером. Она, всем сердцем преданная ему, хотя отец и недолюбливал избранника, наверняка сдержала бы своё слово. Стараясь сохранить покой в доме Лопухиных, Мишель переписывался не с ней, а с её сестрой Марией. Незримая нить, связывающая влюблённых, казалась неразрывной. Однако служба в лейб-гвардейском гусарском полку во многом изменила его, бросив в коловерть светской жизни. Блистательные балы, обилие младых красавиц и дам, всевозможные увеселения и пирушки закаруселили его среди высшего столичного круга. То, что он волочится за Сушковой и ничуть не скрывает этого, разумеется, стало известно Варе. А он не мог объяснить — да это было и немыслимо! — что "делает роман" ради её же брата Алексея...

Навек запомнился ему и тот день, когда подали письмо, в котором сообщалось, что Варвара Лопухина дала согласие стать женой отставного майора Бахметьева, богатого помещика-холостяка. От столь внезапной потери он едва не лишился сознания! Ведь даже представить было невозможно неотвратимую разлуку с той, которую и на расстоянии никогда не забывал, любил сокровенно и знал, что любим ею, и верил в бесконечность этого обоюдного молодого чувства...

Карета остановилась. Окна дома, снимаемого Карамзиными, были освещены, вдоль широкой улицы стояли экипажи приехавших гостей. Лермонтов легко взбежал по ступеням крыльца. В прихожей, сбросив на руки седовласого лакея свою шинель и подав форменную фуражку, отрывисто бросил:

— Доложи!

А сам подошёл к высокому, в полный рост, зеркалу. Он был в армейском мундире, но без погон. На шее чернел завязанный шёлковый платок, охваченный высоким белоснежным воротником рубашки. Лицо показалось ему смуглей и бледней, чем обычно. А глаза — устало опустошёнными и грустными. Эту ночь, обуреваемый раздумьями, он действительно спал скверно. Светлый вихор надо лбом выделялся среди тёмно-русых волос шире, чем прежде. "Неужели седею?" — удивился он своему неожиданному открытию...

— Милый Лерма! Как я рада вас видеть! — прозвучал за спиной звонкий голос Софьи Николаевны, хозяйки салона. — Все уже здесь. Ждём только вас!

Он порывисто обернулся, взял руку этой обворожительной, статной женщины, припал к ней губами и взглянул исподлобья. Сердце ёкнуло: “Покинуть этот дом, эту красавицу, круг родственных душ… Покинуть ради походных биваков, невежественных болванов и диких аулов… И, вероятно, навек!”

Однако ничем не выдал своего смятения:

— Я нахожу покой, дорогая Софи, только под этим кровом. Возможно, сегодня последний раз в жизни…

— Полноте, Мишель. Прошу не стенать и не хныкать, чтобы предстоящая дорога выдалась лёгкой! Идёмте, Додо заждалась вас…

В гостиной было довольно многолюдно: Ростопчина, Александра Смирнова, братья Карамзины, Вяземский. Среди незнакомых дам, возле бравого черноусого ротмистра сидела в уголке Наталья Николаевна Пушкина. Они были знакомы уже не первый год, но близко не сходились. Лермонтов уловил её сосредоточенный взгляд и, невольно улыбнувшись, издалека кивнул. Она также ответила лёгким движением головы. И он, считавший её недостойной гения и даже причастной к гибели Пушкина, впервые ощутил странное желание начистоту поговорить с этой женщиной, стоявшей с Пушкиным пред алтарём…

— Ну-с, сердечный друг, не припасено ли вами напоследок что-нибудь новенькое? — лукаво блестя глазами, спросила Софи.

— Да, да! — требовательным тоном родственницы подхватила рослая Александра Осиповна Смирнова. — Уж побалуйте, господин поручик, нас своим талантом.

— Наверняка бы побаловал, ежели б ведал, под каким соусом его готовят или подают сырым, — отшутился Лермонтов, прищуриваясь от яркого света. — Увы, Александрин, нынче я с пустыми руками.

— Так напишите сейчас, как в прошлый приезд, год назад! — предложила Смирнова, урожденная Россетти, со свойственным южанкам весёлым упрямством. — Глядели, глядели в открытое окно и написали шедевр. Или почитайте нам стихотворения по выбору.

— Позвольте просто напомнить строки, написанные в вашем альбоме:

Что ж делать?... Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

— Грустить сегодня запрещено! — решительно возразила хозяйка и, взяв Лермонтова под руку, повела к Ростопчиной. — Дорогая Додо, заставьте улыбаться нашего поэта. По крайней мере, уймите его нерусский сплин.

И он с трепетной радостью поцеловал руку поэтессы, маленькую и лёгкую, как у девочки. И продолжительным взглядом ответил на её взор, теплый, дружеский, слегка печальный. Додо для этого прощального вечера выбрала карминное платье из штофа, с большим декольте, украсила грудь рубиновым колье. Высокая прическа, открывшая её маленькие розовые ушки, в которых сияли треугольные серьги, очень шла ей, делая ещё моложе и прелестней.

— Вы сегодня выглядите, как греческая богиня! — полушёпотом воскликнул Лермонтов.

— Почему же — греческая? — удивлённо вскинула свои длинные ресницы приятельница.

— Потому, что у вас классический профиль. Если останусь жив и вернусь с Кавказа, непременно нарисую ваш портрет. Я думаю, для успеха женщины, пишущей стихи или выступающей на театре, необходимо непреложное условие: она должна быть красива. Предмет искусства и поэзии, прежде всего, — любовь. Представьте пигалицу, вопиющую о собственном чувстве. Нос картофелиной, глазки, как зёрнышки, ноги коротки, как у оловянного солдатика, а сия чувственная особа страдающе молит: “О, приди ко мне, мой любимый и страстный! Я осыплю тебя поцелуями!”

— C'est trop!* — протестующе воскликнула Ростопчина.

— Я говорю, как думаю. Кроме жалости и отвращения, это уродство ничего вызвать не может. А нашему брату, мужчине, многое прощается. Он не обязан пленять красой! Более того, красавчики вызывают у меня отторжение. Мужчина должен быть храбр, умён и великодушен. И ему, женскому рабу, достаточно пасть пред ней на колени и просить у избранницы милости. Она владычица мира. Женщина, её красота — кумир поэтов и служителей муз. Вот я и говорю, Додо, что Бог дал вам талант в придачу к красоте!

— Да, не хотела бы я попасть к вам на язычок, — то ли с укором, то ли с сожалением проговорила княгиня. — Вы, Лерма, как всегда, бросаетесь в крайности. Внешность даётся богом и природой. И если есть среди нас земная богиня, несравненная по женственности, красоте и уму, то это Натали Пушкина. Потеря мужа, страшное несчастье изменили её, но не сделали менее прелестной. Взгляните на неё исподволь. Разве может кто-либо из нас сравниться с её скульптурной фигуркой или глазами, отливающими, как мокрый чернослив?! Она — само совершенство. Только Натали могла быть достойна великого человека!

— Узнаю поэтическую натуру! Но так ли это? Не слишком ли была она при жизни мужа благосклонна к тем, кто волочился и оказывал недвусмысленные знаки внимания? — резким голосом перебил Лермонтов.

— Mon ami, вы противоречите сами себе, — укоризненно покачала головой Додо и усмехнулась. — Сначала вы мне доказывали, что женщина обязана быть прекрасна, а теперь, если она такова, вы хулите её за то, что ею восхищаются и ухаживают за ней мужчины.

— Ничуть, о, мудрейшая! Я говорю о нравственности.

— И я тоже! Упрекнуть Наталью Николаевну, поверьте, даже мне, светской даме, существу пристрастному, не в чем. Софья Николаевна — её подруга. Она охарактеризует вам Натали лучше всех. Софи, если не ошибаюсь, гостила в доме Пушкиных как раз в тот час, когда Александра Сергеевича привезли с дуэли. И едва ли не последней она видела его перед кончиной. Вы же, много переживший, знаете, что горе измеряется глубиной, которую ничем и никак не подделаешь. Натали была на грани умопомешательства. И только недавно прервала добровольное уединение в родовом гнезде. Нет, Мишель, вы относитесь к Наталье Николаевне несправедливо. И будете об этом жалеть…

Лермонтов промолчал. Вздохнув, достал из кармана мундира табачную коробку, прикурил пахитоску от свечи канделябра. Вновь уловив добрый, опечаленный взгляд приятельницы, произнёс дрогнувшим голосом:

— Жутко тоскливо. Прощаюсь! Прощаюсь навсегда… Не хочу уезжать! И чувствую, как по-доброму изменился здесь, в вашем кругу, вообще в столице. Даже сентиментальным стал. Сегодня, когда ехал по Невскому, увидел удивительно ясные и чистые звёзды, как будто говорившие одна с другой. И слёзы навернулись… Почему-то стал сильней ощущать природу, интересоваться людьми и не судить их прежними мерками. И всё больше думаю о российском обществе, о народе нашем, — и приглушённо заговорил по-французски. — Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir.**

— Я с вами согласна. Слова достойны афоризма, — заметила Додо, искоса наблюдая, как некоторые из гостей раскланиваются с хозяйкой и выжидающе останавливаются у двери. — Мишель, с вами хотят проститься. Ужин пройдёт в узком кругу.

Короткие минуты, в которые он обнимался и обменивался репликами с приятелями, и пожимал руки незнакомым молодым людям, среди которых запомнился светловолосый прапорщик, глядевший на него с благоговением, растрогали Лермонтова. Обойдя кружок Ростопчиной, к которому присоеди-

---

* – Это слишком! (*фр.*)

** – Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого (*фр.*)

нились братья хозяйки, блистательные гвардейские офицеры, он прошёл вдоль ряда красных кресел, пахнущих кожей, и стульев, расставленных так, чтобы гостям было удобно общаться. Совершенно случайно в тот момент, когда Лермонтов остановился напротив Натальи Николаевны, её две дамы-собеседницы и усатый гусар поднялись и удалились к выходу. Она, не скрывая удивления в своих огромных, завораживающих глазах, встала и приятельски протянула руку. А он, ощутив, как кровь прихлынула к вискам, странно оробел… Неловко поцеловал эту благоухающую руку… Неуклюже прошёл к свободному креслу…

— Мы одновременно посещали Карамзиных не один раз, но… Почему-то вы избегали меня, Михаил Юрьевич, — с доверительной теплотой проговорила Пушкина, и он отметил её приятный грудной голос и чёткую речь. — С того дня, когда моя сестра передала мне листок с вашим стихотворением "На смерть поэта", я заочно полюбила вас, как человека и единомышленника. Я нашла в этом стихотворении некое утешение, поняла, что мою скорбь разделяют и другие. В такие страшные дни это важно. Потом я узнала, что вы понесли лишения и были наказаны ссылкой на юг, и это ещё больше заставило меня относиться к вам с глубоким уважением. Поэтому я хочу, пусть запоздало, поблагодарить вас за стихи о покойном муже, за то, что всегда хорошо отзываетесь о нём. Мне об этом говорили и Жуковский, и Вяземский.

— Весьма польщён вашей оценкой моих литературных опытов, — обретя привычное состояние духа, Лермонтов взглянул в глаза Натали. — Я только слышал о вас, встречал вас, но совершенно не знал… Каюсь! Точно незримая преграда стояла между нами. Не знаю, почему свет так враждебно настроен ко мне. Я никому не делал зла, старался быть искренним. А за это подвергся отчуждению и остракизму!

— Мне это знакомо особенно, — понимающе кивнула Натали, и её глаза подёрнула тень. — После гибели мужа весь мир земной, казалось, восстал против меня. Возможно, Бог и наказал меня за что-то, но только не за измену. Я любила и поныне люблю одного мужа. Как верно сказал Ларошфуко: "Великое чудо любви заключается в том, что она унимает кокетство". Мне оно было неведомо, потому что никто не мог сравниться с моим Сашей…

— Я давно намеривался выразить вам, самому близкому человеку Александра Сергеевича, восхищение его творчеством и поклонение! Я никогда бы не постиг счастья созидания, тайных глубин поэзии, если бы не стал прилежным учеником Александра Сергеевич. Я не преувеличиваю!

Наталья Николаевна заинтересованно склонилась, и его окатил восторженный озноб от сознания, что перед ним первая красавица России, любившая и любимая гения! Её тёмно-русые волосы были расчёсаны на пробор и уложены с необыкновенным искусством, так что локоны ниспадали к ушам, открывая лоб, который пересекала по верхнему краю фероньерка, золотая цепочка с изумрудом в дорогой оправе. Восхитительно сидело на ней и зелёное платье, с шаровидными рукавами, отороченными кружевцами, плотно облегающее грудь и узкую талию. Нечто магнетическое было в выражении её лица с чудесной матовой кожей, в её плавных жестах…

— Сначала я переписывал его произведения в тетради, затем переделывал их, придумывал иные окончания. Сочинил, подражая Пушкину, целую поэму "Кавказский пленник". С ранних лет я неоднократно бывал на Кавказе, лечился там минеральными водами. Тема знакома, вот я и вообразил трагические картины… И сам не заметил, как стали получаться, складываться оригинальные стихи… — Лермонтов смущённо покраснел и вдруг спросил: — Как вы считаете, Наталья Николаевна, только ответьте откровенно, могли бы мои произведения понравиться вашему мужу?

Натали, размышляя, на мгновенье отвела взгляд.

— Безусловно! Я убеждена, что он не сдержал бы восторга, как всегда, когда радовался новым талантам. Иногда он снится мне, и мы беседуем, хотя я не запоминаю, о чём… Я до сих пор как бы чувствую его присутствие, интуитивно следую его подсказкам… Вы наверняка бы стали с ним друзьями!

Лермонтов посмотрел в сторону, стараясь скрыть предательски повлажневшие глаза. Сердце колотилось как бешеное!

— Сегодня у меня самый печальный и самый счастливый вечер в жизни, — признался он, доверчиво понизив голос. — Счастливый потому, что я узнал вас и услышал то, о чём даже не мечтал. А печальный… верней, прощальный, оттого, что едва ли я вернусь с Кавказа… Точно камень лежит на груди… А намедни ездил я с приятелем к немке-ворожее. К той самой Александре Филипповне, что предсказала вашему мужу смерть от "белого человека". А Дантес, как мне известно, блондин… И она нагадала мне, что больше не быть в Петербурге, что "ожидает меня отставка, после которой уже ничего не пожелаешь". Я посмеялся было, поскольку в тот день продлили отпуск. Ан вышло, что она не ошиблась.

— Милый Михаил Юрьевич, не верьте предсказательницам. Это грех. Это от лукавого. Нами распоряжается Господь. Молитесь и надейтесь на его помощь. Вы молоды и умны, вас ожидает блестящая будущность! Только об одном вас прошу: поберегите себя там, в баталиях кавказских. Будьте благоразумны. Теперь вы принадлежите не только себе, но России. Я буду ждать вашего возвращения. Сердце мне подсказывает, что всё будет славно!

— Если я вернусь, я заслужу ваше прощение за былую отчуждённость и холодность. Я ведь воспринимал вас как бесчувственную светскую львицу, неприступную красавицу. А нашёл искреннего и близкого по духу человека…

— Мне вас прощать не за что, — ласково промолвила Натали, вставая. — Напротив, я винюсь, что раньше не сказала вам, Михаил Юрьевич, о своей любви к вашему творчеству. И особенно рада, что, вопреки, как вы выразились, "неприступной красоте", вы подошли ко мне, как к другу… Извините. Il faut partir!*

Карамзины с удивлением наблюдали за этой затянувшейся беседой, зная враждебность Мишеля к Пушкиной и дивясь столь быстрой перемене, произошедшей с ним.

Вечер подходил к концу, и Лермонтов всё острей ощущал безвозвратный бег минут. Наконец, лакеи открыли двери в столовую, и оставшиеся гости двинулись туда.

— Наталья Николаевна тронута, что вы подобрели к ней и наговорили комплиментов, — с радостью сообщила хозяйка, ведя его под руку. — Жаль, что уехала. Мы очень дружны. Я не знаю сердца отзывчивей и добрей, чем у неё… Мне кажется, Мишель, у вас улучшилось настроение. Уж не она ли тому причиной? Ну, и как вам наша красавица? Повержены в прах?

— Повержен. Но не только красотой. Вы правы, Софи. Есть сила иная, неодолимая… Я побеждён её сердцем.

---

* Нужно ехать! (фр.)

ЛЕОНИД ИВАНОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ

РАССКАЗЫ

Покойника пришлось везти в район.

— Прости, батя, видит Бог, не хотел тебя после смерти мучить, да вот приходится, — вслух произнёс Захар, взял с кровати тело отца на руки. — Ух ты, тяжёлый-то какой!

— Может, Ивана позовём? Вдвоём-то сподручнее, — засуетилась жена. — Не стукни хоть головой, а то, чего доброго, скажут, что убили, — и заплакала.

— Да не гоношись ты, не путайся под ногами-то, — повысил голос Захар. — И вправду, иди за Иваном. Не вынести мне одному.

Аккуратно положил тело отца на кровать, сел возле изголовья.

— Вот ведь напасть какая, даже похоронить по-человечески — и то не дают.

Отец прибрался под вечер. Он совсем извёлся за последнюю неделю, как выписали его домой. Все понимали, что помирать. Неотвратимость надвигающейся смерти и сильные боли совсем доконали старика. Фельдшерица Анна Марковна только беспомощно разводила руками:

— Нету у меня обезболивающего. Ему бесплатно положено, да все лимиты в больнице уже исчерпаны. У меня-то здесь откуда возьмутся?

— Так выпиши рецепт, я в город съезжу, — горячился Захар.

— Захар Петрович, да в своём ли ты уме? Да на эти препараты на рецептах две печати ставят, как же я-то тебе их выпишу?

ИВАНОВ Леонид Кириллович родился в Вологодской области. Окончил филфак Череповецкого пединститута и отделение журналистики Высшей партийной школы ЦК КПСС. Автор книг "Первый парень на деревне", "Леший", "Будем жить!" и др. Лауреат премии Губернатора Тюменской области. Главный редактор альманаха "Врата Сибири". Возглавляет Тюменское региональное отделение Союза писателей России.

Захар молча вышел, завёл машину и поехал в райцентр. Он ходил в больнице от одного врача, уже знакомого, пока отец здесь лечился, к другому, просил, умолял, ругался и выпросил-таки две ампулы. Рецепт в поликлинике никто ему не дал: "Да как же мы вам выпишем, если пациента в глаза не видели?"

— Мне что, умирающего старика за сто километров к вам сюда за рецептом везти?

— Да вы нас тоже поймите. Это же препараты строгого учёта! В тюрьму никто сесть не хочет за распространение наркотиков. Вон в Восточной Сибири доктор уже несколько лет судится, пытается своё доброе имя отстоять. А и всего-то выписала препарат, который несколько лет назад можно было в любой аптеке купить без рецепта. За распространение наркотиков осудили. Вы что, нас тоже за решётку отправить хотите?

— Дурдом какой-то!

Дурдом не дурдом, но домой Захар вернулся только с теми двумя ампулами, что дал ему врач в бывшей районной больнице, ставшей теперь, в ходе проводимой оптимизации расходов бюджетных средств, филиалом областной.

— Анна Марковна, может, хоть таблетки какие есть? Вон по телевизору но-шпу рекламируют. Подскажи, что делать?

— Ну, вы же сами понимаете, тут уже никакая но-шпа не поможет.

А что те две ампулы?! Вот и маялся старик, от боли корчился.

— Сынок, ты уж заколи меня, а… Избавь от мучений… — слабым голосом просил умирающий. — Сил больше нету. Ну, ножиком не можешь, пристрели хотя бы… как собаку… сынок…

Захар уходил на улицу и плакал.

А вчера отец успокоился. Заснул и дышал ровно с еле слышными хрипами. Настолько тихими, что сидящие возле постели больного сын со снохой то и дело прислушивались: а жив ли хоть?

Сидели молча. Да и о чём было говорить у постели умирающего? Знали, что осталось ему совсем немного, поэтому к похоронам готовились. Говорить о чём-то другом? А о чём, когда за тридцать лет совместной жизни обо всём переговорено уже сто раз. Вот и молчали, прислушивались к еле слышному дыханию старика, не в силах смотреть на осунувшееся лицо человека, ещё полгода назад пышущего здоровьем.

Вдруг будто что-то булькнуло в горле спящего, он вытянулся и затих.

— Прибрал господь, — прошептала Зинаида и заплакала.

Ещё немного посидели, потом Захар встал:

— Пойду к Анне Марковне, пусть хоть смерть засвидетельствует. Может, бумаги какие надо оформить.

— Участковому надо звонить, он протокол должен составить. А за остальными бумагами в район ехать, — сказала Анна Марковна. — Он в больнице лежал, история болезни у них есть, выпишут справку, по ней в ЗАГСе свидетельство о смерти получишь. Какие проблемы?

Оказалось, что проблемы есть. Совсем ещё молодой главврач филиала, то ли с глубокого похмелья, то ли после дежурства, то ли всю ночь с бабами кувыркался, выглядел чрезвычайно усталым и неприветливым. Он только мельком посмотрел на Захара и, будто отмахиваясь от назойливой мухи, вытянул ладонь вперёд:

— Нет, нет и ещё раз нет. Вот если бы он скончался у нас, тогда другое дело, но летальный исход наступил дома. В этом случае только судмедэкспертиза.

— Да какая экспертиза? — загорячился Захар. — Он же у вас тут лежал, вы же сами его домой помирать отправили.

— Такие правила, — отрезал главврач и помахал рукой в сторону двери, намекая, что разговор окончен.

— Какие такие правила? — Фёдор уже начал терять самообладание. — Вы не вылечили, домой помирать отправили, а теперь экспертизу придумали.

— Понимаете, если летальный исход наступил вне стен лечебного учреждения, необходима судебно-медицинская экспертиза. Такой закон.

— Дурацкий у вас закон!

— Согласен, но не я его придумал.

Захар развернулся и громко хлопнул дверью, раздосадованный и законами, и бессердечностью доктора.

Домой он вернулся уже после обеда. Мужики к этому времени сколотили гроб, но покойника в него класть Анна Марковна пока не советовала:

— Лучше бы сначала на судмедэкспертизу свозить, а потом уже обмывать и укладывать.

— Так что, нам его просто так в кузове везти или на моём прицепе нивовском? — чуть не матерился Захар.

— Ой, я не знаю, — пожимала плечами Анна Марковна. — Отвезти-то можно, наверное, и в гробу. А то на матрасе каком или на одеяле.

— Вашу мать! — выругался Захар. — Отца родного, труженика тыла, как бича какого безродного…

Грузовик в деревне был только один — "газель"-фургончик с надписью "Продукты".

— Да ты что, Захар Петрович! — изумился просьбе соседа Андрей. — Да как же я на продуктовой машине покойника-то повезу? Да потом ко мне в магазин никто даже за хлебом ходить не станет. А если Роспортребнадзор узнает, меня же с потрохами съедят. Мне никаких денег не хватит, чтобы откупиться!

— Так что делать? Присоветуй. Ты у нас грамотный, институт кончил.

— Захар Петрович, в институтах этому не учат.

— Вот и худо, что не учат.

— Я давно в книжке одной читал, где-то в Латинской Америке закадычные друзья своего умершего друга-выпивоху три дня по кабакам под руки водили. Такое оригинальное прощание с разгульной жизнью ему устроили.

— Мой батя не загульный был, сам знаешь, — обиделся Захар.

— Да я разве о том? — тут же стал оправдываться Андрей. — Придётся тебе его на заднем сидении своей "Нивы" везти.

— Ты что, издеваешься? — начал горячиться Захар. — Батя ростом под два метра был, как я его на заднее сиденье положу?

— Возьми моего китайца, я тебе доверяю.

— Один хрен, что моя "Нива", что твой китаец. Сантиметра два ширины разница.

— Захар Петрович, придётся сидя везти. Ремнями пристегнуть и везти. Другого выхода нету. Не могу я тебе свою продуктовую "газельку" дать.

— Да уж, ситуация. И на тот свет человеку без проблем отправиться не получается. Во всём у нас одни проблемы.

Жил отец отдельно. Никакие уговоры не смогли убедить его переселиться к сыну, хотя места в доме было достаточно. Так он до последнего издыхания и находился в собственными руками срубленном доме. Печку не топили, зима ещё хоть и не пришла, снег только чуток припорошил землю, но на улице стоял бодрый морозец, поэтому решили входную дверь оставить настежь распахнутой, чтобы не испортить покойника, как сказала одна из ровесниц отца.

С мужиками, что мастерили гроб, договорились, что пока они копают могилу, Захар свозит отца в эту самую судмедэкспертизу. Поди, экспертиза дело нехитрое, что там больного старика экспертизировать-то? До обеда успеет обернуться, чтобы часа в два отправить отца в последний путь.

К зданию суда Захар приехал в половине девятого. Выкурил штук пять сигарет, пока дождался начала рабочего дня.

— Да вы что? — изумился охранник в какой-то новомодной форме чёрного цвета с шевроном на рукаве и в беретке с большой кокардой. — У нас тут суд, а не экспертиза.

— Так мне и сказали: "Суд медэкспертиза".

— Это недалеко от больницы. Кирпичное такое здание, небольшое, из силикатного кирпича, — пояснил охранник.

Дверь в здании с красной гербастой вывеской оказалась на замке. Захар робко постучал, потом постучал громче. Через пять минут уже вовсю коло-

тил кулаками по металлической поверхности. Никто не открывал. Обошёл вокруг, постучал во все окна. Тишина. В неподалёку расположенном приёмном покое больницы женщина куда-то позвонила, потом позвонила ещё в несколько мест и только после этого повернулась к Захару:

— Патологоанатом-то у нас ведь по совместительству. Хирург он, а сегодня после ночного дежурства уже домой ушёл. Вы с ним минут на десять разминулись.

— Может, догоню?

— Да вы что?! Это же не частная лавочка, захотел — открыл, захотел — закрыл. Вы уж завтра приезжайте. Прямо с утра пораньше и приезжайте.

— Может, сменщик есть?

— Да какой сменщик? У нас тут с этой оптимизацией столько народу сократили, что скоро каждый по десять функций выполнять станет. А вы про сменщиков…

Дома с Иваном аккуратно занесли отца в избу, снова положили на кровать. Мужики доложили, что могила готова. Выпили за помин души тут же в доме покойного, не снимая курток, потому что температура была чуть выше уличной. От второй стопки Захар отказался — утром снова ехать в район, как бы какой гаец не тормознул да не придрался.

Дверь судмедэкспертизы снова оказалась закрытой. Захар подождал до половины десятого, потом пошёл в приёмный покой. Та же самая женщина, что вчера отнеслась к нему участливо, позвонила куда-то и извиняющимся тоном сказала:

— А Степаныча, нашего патологоанатома, вызвали в область на двухдневный семинар. В воскресенье — выходной, так что в понедельник и приезжайте. А что у вас?

— Да батя у меня помер. Справка нужна, без неё хоронить не дают. Говорят, лучше со всеми документами, чем потом эту, как её, сгумацию проводить.

— Эксгумацию.

— Один хрен.

— А что с отцом случилось? — участливо поинтересовалась женщина.

— Что случилось? Помер… У вас тут лечили, лечили, не вылечили, домой помирать отправили, а теперь вот экспертизу делать заставляют.

— А вы с нашим главным не разговаривали?

— Да позавчера ещё. Упёрся и всё. Законы, говорит, законы… твари бездушные! Мне теперь что, ещё три дня отца не хоронить?

— Да вы не переживайте сильно-то. Не лето на дворе, не жара… Погодите-ка, я спрошу.

Она вернулась минут через десять.

— Извините, ничего не вышло. Только с разрешения главного.

— Может, взятку ему дать? — почти прошептал Захар.

— Что вы ему, тысячу предложите? Две? Вижу, не из богатеев. Да у него машина вон миллиона три, говорят, стоит. Он с этими вашими тысячами и мараться-то не станет.

— Так подскажите, что делать? Вижу, женщина вы добрая.

— А ничего не поделать. Поезжайте домой и ждите понедельника.

Пришлось опять ни с чем ехать домой. На окраине города "гаишники" останавливали всех и что-то или кого-то искали. Тормознули и Захара.

— Старший лейтенант Давыдов, областная инспекция дорожного движения, — скороговоркой, почти невнятно представился "гаишник". — Документы, пожалуйста.

— Что-то нарушил?

— Нет, просто объявлена операция "Перехват", всех проверяем.

Посмотрел права, техпаспорт, сверил с номерами на бампере.

— Паспорт пассажира можно?

Захар взял с переднего сидения пачку бумаг, достал отцовский паспорт, подал гаишнику.

— Он у вас что, пьяный? Сидит как-то…

Гаишник начал подбирать нужное слово.

— Нет, трезвый, — у Захара снова начала закипать злость. — Мёртвый он. Вот на экспертизу возил.

— Шутки шутите?

— Да какие, на хрен, шутки? С этой оптимизацией вожу покойника туда-сюда, вместо того чтобы похоронить по-человечески.

Старший лейтенант обошёл машину, открыл дверцу, пошатал покойника за плечо, потряс сильнее.

— Вы тут что за спектакли-то устраиваете?

Он отошёл к патрульной машине, связался по рации с начальством.

— Товарищ майор, тут такое дело… Мужик покойника в качестве пассажира на заднем сидении возит. Пристегнул ремнём безопасности и возит.

— Пьяный что ли? — не понял майор.

— Пассажир?

— Водитель, твою мать!..

— Да нет, вроде трезвый. Запаха нет, но какой-то нервный.

— Обкуренный, может? Или уколотый?

— Да нет, в возрасте уже мужик.

— Тогда что за хрень? Умом, что ли, тронулся? Совсем, блин, оборзели!

— Вот и я то же говорю, а он, мол, на экспертизу возил.

— Какую, на хрен, экспертизу? Ты его, что ли, направил?

— Да нет, на судмедэкспертизу, говорит. Покойника, в смысле.

— Совсем вы меня задолбали! И так голова кругом идёт. Гони ты его на хрен, с покойниками мне ещё разбираться! Вы преступника ищите, а не покойников. Работай, давай!

— Так что с этим мужиком делать?

— Да гони ты его, твою мать, куда подальше. Куда он едет?

— Домой в деревню.

— Вот и гони его куда подальше, в свою деревню. И не пудри мне мозги, не до тебя тут!

В понедельник покойник поехал в район в третий раз.

— Заносите, — сказал патологоанатом, когда Захар объяснил ему про мытарства.

— А у вас тут санитаров каких нету или помощников? Один я, пожалуй, и не осилю. Дома уже пытался. А у вас тут ступеньки, не уронить бы.

— Да какие у нас помощники и санитары? Телевизоров насмотрятся и думают, что у нас тут, как в кино. А у нас тут оп-ти-ми-за-ци-я, — заворчал доктор. — Из-за этой оптимизации половину санитарок сократили. Здесь тоже один я остался. Говорят, зачем дармоедов держать, когда даже не каждый день трупы таскать приходится.

— Может, хоть вы мне подсобите? Я заплачу, сколько скажете, — затараторил Захар.

— Да что вы там заплатите! Пошли уже! Где там ваш покойник?

Захар подъехал к самому крыльцу.

— Вы что, его так и привезли? — улыбнулся доктор, увидев на заднем сидении машины пристёгнутого ремнями покойника.

— Третий раз уже. И ничего смешного нету, — обиделся Захар.

— Извините, издержки профессии. Чего тут только не насмотришься, но такое вижу впервые.

Не в состоянии смотреть, как патологоанатом будет вскрывать тело отца, Захар вышел на улицу и почти беспрестанно курил, зажигая одну сигарету от другой. Садился в машину, вылезал, ходил вокруг здания, снова садился, закуривал…

— Ну, где ты там? — вышел на крыльцо патологоанатом, вытирая руки далеко не свежим полотенцем. — Всё готово.

— Сколько я вам должен? — Захар достал из кармана тощую пачку купюр самого разного достоинства, среди которых были две бумажки по тысяче.

— Да ладно тебе, — отмахнулся доктор. — Бутылки нету?

— Не догадался, — извиняющимся тоном произнёс Захар.

— Тогда вот что, пока я бумаги пишу, сгоняй в магазин. Только не бе-

ри коньяк, барахло это. Возьми бутылку нормальной. Попроси не палёной, а то тебе всучат чего попроще, мол, мужик деревенский, ему какая разница.

Пока Захар ездил в магазин, доктор оформил бумаги.

— Компанию составишь?

— Дак я же за рулём. Нельзя.

— И правильно, а то спьяну-то ко мне чаще всего и попадают. Теперь в ЗАГС. Знаешь, где это?

— Да бывал когда-то, если не переехали.

— Они сто лет на одном месте. Давай загружать будем.

Вынесли, бережно усадили тело отца в тесный салон.

В деревню Захар приехал к часу дня, а в два обмытого бабами покойника честь по чести уложили в гроб, вынесли из дома и положили на прицеп.

— В церкву-то не заезжал? — спросила ровесница отца баба Стёша. — Надо было бы молебен за упокой души-то заказать.

— Да какой молебен, коли батя никогда в Бога не верил?

— Вот и худо, что не верил. Но молебен заказать всё одно надо было. Не по-христиански это. Дак и свечечек не купил?

— Да не был я в церкви, какие свечки?! Не до церквей там!

— Погоди-ко ужо, у меня дома-то есть. На могилке хоть запалим.

На погосте, когда всё было закончено, и народ помоложе потянулся в сторону деревни, а старушки стали устраиваться в машине Захара, сам он всё ещё стоял у могилы и потерянно смотрел на положенные на холмик искусственные цветы.

— Прости, батя! Пусть тебе на том свете будет лучше, чем здесь. Покойся с миром! Прости нас всех, грешных, что причиняли тебе боль. И прости всех, по чьей вине из-за этой оптимизации твой последний путь оказался таким длинным и беспокойным.

БРЮЛИКИ НА СВАДЬБУ

— Девчонки! Вы что такие смурные? Праздник у нас! Борис Петрович завтра приезжает, договор везёт. Так что давайте готовиться, не ударить бы лицом в грязь. Не угодим — отдаст кому другому, а потом те нас же и захомутают, но уже на субподряде, за копейки. Нам этот заказ сейчас позарез нужен, потому что других нету. Но ему хоть не проболтайтесь. Так что, как всегда, приём организовать по высшему разряду.

— В ресторан пойдём? — радостно спросила Ирина.

— А ты помнишь, чтобы мы когда-то в ресторане с ним праздновали? — повернулся к ней Николай Иванович. — Не любит он эти рестораны, они ему и в Москве надоели. Как всегда, здесь, тихо, по-домашнему. Петровна, с тебя пироги и закуски, что там у тебя дома из дачного есть, не жалей, потом сочтёмся.

— Да разве я для благодетеля нашего чего пожалею, — обидчиво откликнулась Петровна.

Проектировщик из неё был никакой, но зато всё хозяйство фирмы держалось на её попечении. Она была и заведующей, и кладовщиком, и снабженцем, и всем, что требовалось для текущей работы небольшого коллектива проектной конторы — скудного остатка некогда сильного проектного института. Институт в девяностых развалился, здание кто-то из большого начальства приватизировал и начал сдавать площади разным "купи-продай" фирмочкам, что сотнями расплодились в небольшом городе, враз из промышленного ставшим челночно-посредническим.

Николай Иванович тоже тогда подсуетился, прибрал в гараж основную документацию, которую арендаторы собирались вывезти на свалку, и создал

небольшое проектное бюро, собрав в него самых толковых специалистов, поэтому фирмочка работала, выполняя самого разного рода проекты, нужда в которых, несмотря на рухнувшую экономику, всё же была.

Борис Петрович представлял крупную корпорацию, в структуре которой имелся свой проектный институт, но, как часто бывает в разросшихся структурах, там больше времени уходило на разного рода согласования и утверждения, чем на собственно работу. Именно поэтому Борис Петрович, если надо было получить какой-то проект срочно, обращался по старой дружбе к Николаю Ивановичу, имея в таких заказах не только производственный, но и личный интерес.

Этот личный интерес заключался в процентах агентского вознаграждения, передаваемого в конвертах или пакетах, в зависимости от стоимости проекта. Личный интерес был ещё и в красавице Ларисе, что работала в бюро Николая Ивановича. Таких Ларисочек у Бориса Петровича по стране находилось немало, он в свои "за пятьдесят" всеми ими дорожил, одаривал дорогими подарками в обмен на ласковые и нежные объятия.

Был Борис Петрович большим весельчаком, знал тысячи анекдотов и прибауток, нравился женщинам, но в последние годы заметно потяжелел, обрюзг, при виде красивых женщин перестал пытаться втягивать живот, понимая безуспешность предпринимаемых усилий, и сам себе сознавался, что это как раз и есть признак раньше времени наступившей старости. Но молодая душа и шаловливый характер признаваться в том не хотели и подталкивали на новые любовные авантюры, за которые теперь уже приходилось платить дорогими подарками.

Ларисе он каждый раз привозил презенты, от которых сотрудницы завистливо ахали. Вот и на этот раз Борис Петрович не удержался и похвалился Николаю Ивановичу:

— Ты глянь, какие я Ларисочке брюлики привёз.

Он достал из дорогого, крокодиловой кожи портфеля перевязанный ленточкой футляр, щёлкнул крышкой и повернул в сторону Николая Ивановича. На белом бархате лежали вычурной формы золотые серёжки с крупными бриллиантами.

— Да уж! — только и смог вымолвить Николай Иванович, никогда прежде такой красоты не видавший.

— Из ЮАР привёз. В командировку туда на прошлой неделе ездил. Затеваем там один очень хороший проект, потому и к тебе приехал. Наши год проваландаются, а дело отлагательств не терпит. Справишься?

— Обижаете, Борис Петрович! Когда я вас подводил?

— Вот потому сразу про тебя и вспомнил. Но дело, напоминаю, очень срочное. И сумма приличная.

— Про сумму — это, как всегда.

— Само собой. Но сейчас главное — качество и сроки. Бросай всю свою мелочёвку, и делай только мой заказ. Бумаги потом посмотришь, обсуждать там нечего, даже не сомневаюсь, что справишься. Девчонки у тебя расторопные, парни головастые, сделаете. А сейчас пошли к девчонкам, я тут им сувенирчики привёз.

Два десятка сотрудников размещались в одном просторном зале. Борис Петрович переходил от одного стола к другому, по-дружески пожимал руки мужчинам, доставая из кармана кому — авторучку, кому — брелок, обнимал и целовал в щёчку женщин, одаривая их духами и кремами.

— А где любовь моя, Ларисочка? — начал озираться Борис Петрович, поздоровавшись со всеми.

— А Ларисочка ваша в субботу с мужем в Турцию на две недели укатила, — затараторила выскочка Галина, недоумевающая, почему московский благодетель в их коллективе выбрал не её, а грудастую Ларису.

— В Турцию? — растерянно посмотрел Борис Петрович на Николая Ивановича. — А ты почему мне ничего не сказал?

— Да вы в этот раз так неожиданно, что…

— Ладно, не оправдывайся, я действительно к тебе, как снег на голову — дело-то очень срочное.

Они прошли в кабинет Николая Ивановича, Борис Петрович грузно опустился в кресло директора, хозяин пристроился к приставному столику.

— Может, водочки? Или вискарика?

— Не хочу! Испортил ты мне настроение! Я надеялся сегодня оттянуться, душой отдохнуть, расслабиться… А ты её в Турцию отпустил. Что, повременить нельзя было недельку?

— Так вы же мне только вчера сообщили, когда она уже там была. Пораньше бы, так, конечно, задержал по производственной необходимости. И путёвку бы оплатил за счёт фирмы, чтобы не обижалась.

— Ну, с такого контракта, который я тебе привёз, ты всех своих в Турцию свозить можешь. И не только в Турцию, а куда подороже. На, знакомься.

Борис Петрович открыл портфель, достал папку с бумагами, взял со стола футляр с серьгами, задумчиво повертел его в руках и сунул в потайной карман.

— Да, испортил ты мне малину.

— Да ежели бы знать!

— Ладно уж, говорю, сам виноват. Выпью, пожалуй, соточку. Да ты сиди-сиди, документы изучай, что я в первый раз, что ли, у тебя, не знаю, где что находится?

Борис Петрович тяжело поднялся из-за стола, прошёл к бару, долго разглядывал его содержимое, потом достал початую бутылку виски, стаканы.

— Будешь?

— Нет, мне с бумагами прежде разобраться надо.

— Правильно! Бумаги серьёзные. Такого контракта у нас с вами ещё не было. Я вот уже сомневаюсь, справишься ли?

— Да справимся, справимся.

Борис Петрович плеснул в стакан золотистого цвета напитка.

— Льда нет?

— Должен быть.

Николай Иванович вскочил со стула.

— Да сиди ты уже, не суетись. Что, я сам не найду в холодильнике? А-а, впрочем, и так сойдёт.

Он одним глотком выпил виски, постоял в раздумье, взял бутылку, принёс её к столу, сел.

— Нет, ну почему такой облом?

— Так я же говорил…

— Да не мямли ты. Не твоя вина.

Откинулся на спинку кресла, которое услужливо наклонилось назад.

Борис Петрович долго смотрел в потолок, пока Николай Иванович, ошарашенный суммой контракта, пытался совладать с собой и осознать содержание документа, обещающего столько, сколько его бюро зарабатывало за весь год. Гость налил себе ещё, снова залпом выпил.

— А что это у тебя за русская красавица с длинной толстой косой? В прошлый раз её не было.

— Кто с косой? — переспросил Николай Иванович, всё ещё не веря привалившему счастью.

— Так я тебя и спрашиваю, кто это у тебя новенькая с русой косой?

— А! — переключился Николай Иванович на гостя. — Племянница моя. Сестры дочь. Взял после университета. Не по специальности, но девчонка головастая. На лету схватывает. Толк будет.

— Да мне по хрен, какой из неё проектировщик. Девушка красивая, но племянница — это святое. Ты читай, не отвлекайся. Или посоветоваться с кем надо?

— Да что советоваться? Профиль наш, объёмы, правда, большие и сроки очень сжатые, но сделаем.

— На субподряд кого взять хочешь?

— Нет, своими силами сделаем. Круглые сутки работать будем, но сделаем.

— Я тоже думаю, надо без посторонних. Не хочу, чтобы информация утекла. Сам понимаешь, чуть что — там столько ястребов на эти африкан-

ские проекты налетит, что мы враз в стороне останемся. И ты у себя в городе тоже молчи. Военная тайна!

— Железно!

— Ладно, что там у тебя с застольем? Пошли праздновать.

Петровна расстаралась на славу. Зная предпочтения столичного гостя, стол накрыла по-деревенски. Мол, всяких там лягушачьих лапок и устриц он и в Москве может каждый день заказать, а вот рассыпчатой дачной картошечки с укропчиком, грибочков солёных, огурчиков со своего огорода да всяких солений-варений там не в каждом дорогом ресторане найдёшь. Бывала в Москве, знает, что там хоть и называют русской кухней, но кавказцы теми ресторанами владеют и сами готовят, так какая же это русская кухня? Она зря, что ли, в своём деревенском доме сегодня ночевала, пироги да блины в печи пекла, а не в духовке. Да и щи в русской печке всю ночь томились. Знает, как ублажить москвича, который родом-то из костромской деревни.

За столом Борис Петрович расслабился, отошёл душой, даже повеселел. Особенно после того, как Петровна, подыгрывая себе на гитаре, исполнила старинный романс, а потом задушевную русскую песню. Изрядно выпив, гость то и дело порывался танцевать, хотя грузное топтание на одном месте танцами назвать было трудно, но гость и не стремился выделывать сложные па, ему доставляло удовольствие постоять в обнимку с очередной хорошенькой сотрудницей. Танцуя, то и дело поглядывал на скромно сидящую в конце стола племянницу Николая Ивановича Мариночку.

Потом дошла очередь и до неё. Потоптавшись пару минут, Борис Петрович сильнее прижал девушку и зашептал ей на ухо:

— Давай-ка, моя хорошая, смоемся отсюда ко мне в номер.

— Вы, дяденька, на себя в зеркало-то хоть иногда смотрите?

— Да, и представляешь, очень себе нравлюсь.

— А мне — нет.

— Так ведь я тебя не замуж и зову, чтобы всю жизнь нравиться.

Марина хотела освободиться от тесных объятий, но Борис Петрович попытался удержать её за руку.

— Да отвяжись ты! — вывернулась она и пошла на своё место.

— Строптивая у тебя племянница, — наливая себе виски, сказал Борис Петрович.

— Есть такое дело.

— Нравятся мне строптивые! Ох, нравятся! Не люблю, когда сами льнут. Вот когда уламывать надо, вот тогда кайф получаешь. Слушай, запал я на неё. Ой, запа-ал! Хоть и племянница она твоя, а не отказался бы. И эти брюлики ей бы отдал, а не Ларисе. Ты поговори с ней.

— Свадьба у неё через неделю, но поговорю. Чего же не поговорить? Чай, не убудет.

Николай Иванович вышел из-за стола, поманил племянницу в коридор.

— Маринка, ты уж будь с нашим благодетелем поласковее.

— Мне что, в постель с ним ложиться?

— А если и в постель…

— Дядя Коля, а как ты на свадьбе моему Серёжке в глаза смотреть будешь?

— Как смотреть? Нормально смотреть буду.

— Но ты же говорил, что он тебе как родной.

— А я и сейчас так говорю.

— И всё равно хочешь меня, свою родную племянницу, накануне свадьбы в постель к этому жирному борову подложить? Эх, дядя Коля, дядя Коля…

— Я тебе сколько раз говорил: “На работе я для тебя Николай Иванович”. Это первое. Второе: ты, девонька моя, целку из себя не строй. Знаю я и про Вовку, и про шашни твои со Смеховым, и про аборт тоже знаю. Мать всё сетовала, что в меня племянница пошла, гулёна.

— Там, Николай Иванович, у меня любовь была, и Серёжка про бывших моих кавалеров знает. А тут ты под первого встречного племянницу подложить хочешь. Не стыдно?

— Ты мне про стыд уши не заливай. Стыд не дым, глаза не ест. Мне, точнее, всем нам, этот проект вот как нужен (он провёл ребром ладони по горлу).

— Дядя Коля, я же твоя племянница!

— Да ты понимаешь, о каком проекте речь-то идёт? Да за этот проект я бы сам…

— Так в чём же дело? Иди!

— Мы с ним не той ориентации, — ничуть не обидевшись, расхохотался Николай Иванович. — Ну, чего тебе стоит? Мы же потом целый год работой и деньгами обеспечены будем. Я тебе три оклада премию выпишу. Пять окладов! Мариночка, десять окладов! И с квартирой помогу. Да и у него, сам показывал, золотые серьги с бриллиантами в подарок припасены.

— И что я Серёжке скажу? Что эти бриллианты я проституцией заработала?

— Ну, ты и дурёха! Да какая же это проституция? Это производственная необходимость. А серёжки я на свадьбе тебе передам, будто подарок от фирмы. Соглашайся, а! Выручи родного дядю! А Серёжка никогда ничего про это не узнает.

— Эх, дядя Коля, дядя Коля! На что ты меня подговариваешь, на что толкаешь? Стыдно же и перед людьми, и перед Серёжкой, и перед собой — в первую очередь. Это же безнравственно! Аморально!

— Знаешь, девочка моя, мораль и бизнес — вещи несовместимые. Где бизнес, там нет места морали. Сегодня у нас с тобой здесь только бизнес и ничего личного.

— Вот и делай свой бизнес, только без меня!

— Милая моя, это не только мой бизнес. Все мы с него кормимся, и ты, моя дорогая, — тоже. Думаешь, за чей счёт свадьбу твою шикарную заказали? Наряды вам с Серёжкой, кольца да фигню всякую покупали? У сестрички моей — мамочки твоей, — сама знаешь, счетов в банке не имеется, и кредиты ей не с чего выплачивать. Серёжка — парень хороший, но тоже голь перекатная. А вам же всем надо, чтобы не хуже, чем у людей, чтобы выпендриться! Платье за сто тысяч да лимузин к подъезду, и в ресторане чтобы не под пластинку танцевать, а чтобы знаменитости играли. Это что, вам с неба свалилось? Нет, моя дорогая, это как раз благодаря, как ты говоришь, моему бизнесу. Да мне самому он сто лет не нужен! Иди-иди, строй из себя недотрогу!

Распаляясь, Николай Иванович в сердцах выговаривал это, постепенно переходя с шёпота чуть ли не на крик на весь этаж. Девушка расплакалась и убежала вдоль коридора в сторону туалета — смывать слёзы и приводить себя в порядок.

— Всё! Дело швах. Ну, надо же было так случиться, что Лариса так не вовремя в отпуск укатила! И Маринка заартачилась. Тоже мне моралистка! Знаю, какая она моралистка, слышал от матери о её подвигах. А когда для дела надо, так о морали заговорила! Из-за её упрямства такой контракт может сорваться! Знаю я Бориса Петровича. Из-за любого пустяка разобидеться может. А проект этот ему в любом институте нарисуют. Не хуже нашего, и откат устроят, и любой каприз выполнят. Эх, Маринка, Маринка!

Николай Иванович вернулся к столу, налил себе полный стакан и не закусывая выпил.

— Ты чего это? — участливо обняла его за плечи Петровна. — Случилось что?

— Всё случилось, Петровна. Всё! Напрасно всё это, и пироги твои, и застолье это. А ведь такой контракт! Такой контракт! Мы за год столько не зарабатывали. Лариска уехала, он на Маринку глаз положил, эта коза заартачилась, мол, не хочу с жирным боровом. Всё, Петровна, всё прахом идёт! Брошу я всё к чёртовой матери, буду на пенсии отдыхать. Мне хватит, у меня запросы скромные. Дай-ка я ещё налью.

— Может, хватит, Николай Иванович? Неужто из-за Маринкиного отказа контракт не отдаст?

— Он может. Знаю я его. Шлея под хвост, и всё. А мы все — в задни-це. И буду опять копейки собирать, чтобы на плаву удержаться. А надо оно мне? Нет, ухожу на пенсию. Дай-ка пирога твоего попробую. А то зазря, что ли, стряпала…

— Да не убивайся ты, Николай Иванович! Ну, не отдаст он нам этот контракт — проживём. Вспомни, какие трудные времена пережили.

— Да что ты меня уговариваешь, как ребёнка. Знаю, что переживём, только обидно, когда из-за пустяка такой куш срывается. Подай бутылку.

— Может, хватит?

— Сам знаю, когда хватит.

Николай Иванович снова налил почти целый стакан, выпил, занюхал куском пирога, откусил маленький кусочек, стал медленно жевать, почти не мигая глядя в тарелку. Потом поднялся и, если бы не успела Петровна подхватить его под руку, грохнулся бы на пол. Она отвела его в кабинет, уложила на диван и пошла к оставшимся за столом.

Наутро Николай Иванович не мог вспомнить, как и чем закончился вечер, почему он оказался на диване в своём рабочем кабинете. Голова раскалывалась. Достал из бара бутылку, сделал глоток прямо из горлышка и отправился в гостевой номер, устроенный в конце коридора.

Бориса Петровича в комнате не оказалось. На столе лежал подписанный контракт, а сверху на обрывке листка было написано “Молодцы, что не продаётесь! На свадьбу от меня”. На этом же обрывке лежала красивая коробочка с повязанной бантиком ленточкой. Николай Иванович открыл футляр и невольно залюбовался: на белом бархате лежали вычурной формы золотые серьги с крупными бриллиантами.

ТАТЬЯНА ДАШКЕВИЧ

ОСЕННИЙ ПОЛЁТ

* * *

Нет у меня осени. Нет.
Есть у меня любовь озимая.
О, зима...
Я позабыла теперь, сколько теперь мне лет,
Кто это здесь — я ли, не я ли сама...
О, зима...
Падает яркий снег
Иль это косы стелются по холмам.
Белые косы, седые — святочный свет,
Белые святки святые идут по домам.
О, зима...
Лисьи глаза и хвост.
Сколько в лесу брошено бешеных лис!
Друг мой сердечный, словно коврига, прост,
Лёгок — летуч, друг мой — осенний лист.
О, зима...
О, я сама пришла.
О, я бежала, ножки сбивала об лёд,
Крошки сметала тёплые со стола,
Думала, ты отложишь осенний полёт...

ДАШКЕВИЧ Татьяна Николаевна родилась в 1968 году в посёлке Озерище под Минском, закончила Литинститут им. Горького. Вдова выдающегося русского писателя Николая Шипилова. Автор нескольких поэтических книг, многочисленных сборников стихов для детей, книги в серии ЖЗЛ "Фатьянов". Лауреат международных литературных премий имени Андрея Платонова "Умное сердце", "Имперская культура". Член Союза писателей России и Союза писателей Беларуси. Живёт под Минском.

Так и живём: ты — лист, я — лиса.
В мире полно рыжих и бешеных лис.
Я подниму лисьи к тебе глаза —
Где ты бываешь, милый, колючий лист?..

ВЕНЦЫ

Н. Ш.

Тебе не страшен дождь, мороз и слякоть,
Тебе и раньше было всё равно.
Я улыбаюсь — я устала плакать.
Я выплакала реки слёз давно.

Такие мы уж люди-человеки,
Что и слезам приходит вдруг конец.
И уплывает вдаль по ним навеки
Тяжёлый позолоченный венец.

Металлом бренным, прихотьми земными
Пускай житье обманное полно,
Но навсегда нас сделало родными
Пред алтарём распитое вино.

На берегу, куда не ходят лодки,
Лишь долетают ангелы-гонцы,
Я верю: как молитвенные чётки,
Встречаются небесные венцы.

* * *

Частоколы, бараки, калитки,
Голубые кругом небеса,
Да дороги железные свитки,
Да на тихих полянах роса.

Выйдет баба, встряхнет покрывало,
Глянет быстро на тучку вдали —
И застынет, как будто устала
От подёнщины — тяги земли.

А на небе такие просторы!
А по небу плывут корабли!
А небесные высятся горы!
А раскинулось море вдали!

А вон там, за полоскою света, —
Мчится всадник в плаще золотом!
И колотится сердце поэта
Рядом с лёгким, истёртым крестом.

* * *

Было две травинки при дороге,
А теперь осталась я одна.
Пусть бы растоптали твои ноги
Эту травку серенького льна!

Пусть бы тень вечерняя упала
На мою усталую зарю...
Без тебя весенним красноталом
И полынью горькою горю.

Поклонюсь, перемешаюсь с пылью,
До тебя, до неба — далеко.
Слава Богу, вместе были былью.
А быльём и вовсе быть легко.

РАЗГОВОР С ДУШОЙ

Душа, не хочешь умирать,
Хоть смертная тоска порою...
Душа, мне хочется обнять
Любимого героя.
Его уж нет среди людей,
Его измученное тело
Легло меж скошенных полей,
Душа над домом пролетела...

Душа моя, покоя нет,
Всегда заплачу без причины,
Когда похожий силуэт
Чужого встретится мужчины.
Не мой — чужой, а мой в Раю!
Я верю, что в Раю любимый.
За други отдал жизнь свою,
России сын непобедимой.

Душа моя, зачем в ночи
Опять о друге голосила?
Молчи, душа моя, молчи —
Ты Бога о любви просила!
Любовь, ты — чудо, ты — судьба,
Ты — горе, счастье ты земное,
Ты — холод горестного лба.
Ты — пенье ангела святое.

* * *

У Иверской белеет утро.
Звенит копеечка о дно.
Белеет изморось, как пудра.
Гуляет голубя пятно.

Звенят шаги в морозной сини,
Скрыпит кольцо, горит свеча.
Глядит заступница России
Поверх послушницы плеча.

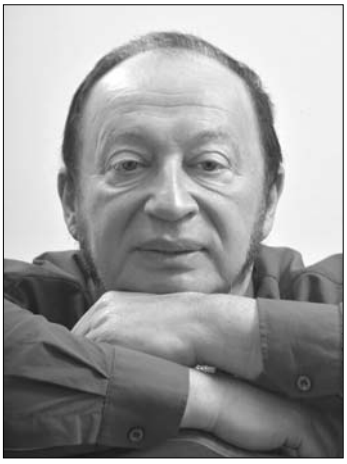
Платочек серый, скромный, строгий.
Цветы поправила, ушла,
О сыне, что сидит в остроге,
Молитву молча вознесла.

Она, послушница, послушна,
Она не знает ничего,
А только верит простодушно
В спасенье сына своего.

Отплакалась, отголосила,
Земные власти все прошла,
И всю любовь и боль России
Сюда, к Пречистой принесла.

Гори, свеча. Молись, родная.
Не так страшна тюрьма земная.
Не тай, Россия, словно сон.
Все сироты твои в остроге
Иль в детском доме. Значит — в Боге.
Гляди, как мал и кроток Он...

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



НА СКЛОНЕ ДНЯ

* * *

“Ни души...”
Игорь Северянин

Не проще тени... Не светлей звезды...
Не сумрачней обиженной дворняги,
Не тише вековечной немоты
И не живей рисунка на бумаге —
Она парит, прозрачная душа,
Уносится в трубу со струйкой дыма,
С туманами ночует в камышах,
Везде жива, везде неуловима.
Когда бредёшь в раздумчивой тиши,
Наедине с ночным небесным светом,
Есть ночь и высь... А больше — ни души,
Но всё душа, но всё душа при этом...

* * *

Чуть первые тени прорежутся из темноты,
И лысые кроны в пруду затрепещут нелепо,
Кресты золочёные станут совсем золоты
И вспышкой застывшей почудится цвет куреслепа.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился в Минске, окончил БГУ. Автор многих поэтических книг, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, двухтомника избранных произведений “Времена”. Главный редактор журнала “Новая Немига литературная”. Лауреат международных литературных премий им. Э. Хемингуэя (Канада), “Литературный европеец” (Германия), им. С. Есенина и им. Б. Корнилова (Россия) и др. Живёт в Минске.

Зелёным дыханьем наполнится чахлый пейзаж,
Рассадят по веткам галчат суетливые клёны.
И встанешь... И вздрогнешь... И всё, что имеешь, отдашь
За галочий крик и над церковью крест золочёный.

Пустые хатёнки... За храмом и дали пусты...
И заново ловишь куда-то пропавшие звуки.
И женщина рядом... И с ней уже можно на "ты",
А значит, и можно страдать от грядущей разлуки.

Господь не поможет — о зряшнем его не проси!
В ладони — ладонь... И грядущим терзаться нелепо.
В реке под мостками упрямо шныряют язи,
Пуская сквозь жабры разлукой дразнящее небо.

Пройдёмся немного... Тебя провожу до угла...
А там, не начавшись, конец и любви, и тревоги.
Но птица вспорхнула и клювом простор подожгла,
И пух с тополей... И ребёнок стоит у дороги...

* * *

К сентябрю всё реже редколесье,
Всё прозрачней кроны тополей.
Сквозь прорехи в дымчатой завесе
Птичий клин острее и черней.

Шаг... Другой... Трава ещё лоснится,
Хоть и порыжевшая на треть.
На стволах прозрачная живица
Всё спешит до стужи загустеть.

Постоишь... Подумаешь, что осень —
Это тоже время перемен.
Что кусты посохли... И что очень
Много боли в прозелени вен.

Что не все дожди отморосили,
Что не вся исчезла благодать,
Что ещё пока хватает силы
О своём бессилии сказать...

* * *

Морозец серебрит твоё дыханье,
Похожее на ветра колыханье,
Похожее на пёрышко лебёдки,
Летящее в озёрную лазурь...
И ничего не знаю я, о Боже,
Что было б так на истину похоже,
Как это серебристое дыханье,
Что защитит от мрака и от бурь.

Всё размывает время-невидимка,
А ты всё смотришь, смотришь с фотоснимка,
И веет пятипалою сиренью
От старой фотографии резной,
Где ты одна — заря и непогода,

Где ты одна — и утро, и свобода,
Где жажда серебристого дыханья
Вовек не станет жаждою иной...

Есть острый взгляд... Но есть ещё прозренье,
Когда столетьем чудится мгновенье,
Когда поймёшь в счастливую минуту,
Что до сих пор не понял ничего,
Что всё ушло — обиды, люди, лица...
Пусть только этот выдох серебрится,
Пускай парит над узкою тропою,
Пока ещё тропу не замело...

* * *

На склоне дня чернее клёны
И непрозрачней зеленя.
Густеет воздух воспалённый
На склоне дня, на склоне дня.

Но что-то есть в небесной му́ке
Такое, что внезапно, вдруг,
Себя услышав в трубном звуке,
Душа летит на этот звук.

А где-то там, за луговиной,
Собой печали заслоня,
Гудит простор о ночи длинной
На склоне дня, на склоне дня.

Превыше зла и всепрощенья,
Чуть разгорается вдали
Вот это белое свеченье
Над чёрным краешком земли.

И непонятно, что за сила
Туда, за горестный предел,
Тебя доселе возносила,
Покуда день не отгорел...

* * *

Едва светает... Дымка над водой...
И выше крон чуть видимая дымка.
Ещё луна холодной запятой
В озёрной глади, как на фотоснимке.
Ещё сосняк, как скопище свечей,
Врастает в эту утреннюю млечность.
Ещё скворец, беспечный и ничей,
Готовится скворчать про бесконечность.
Но что-то изменилось... Странный звук
У лысого пригорка нарастает,
Как будто птица просится из рук,
А вырвавшись, кружит и тает, тает...
И не поймёшь, привычно сторонясь
И грохота, и слабой тени звука,
Откуда у души такая связь
С простором, где и Родина, и му́ка?..

ВАЛЕРИЙ ЧУДОВ

“РУСАЛКА”

РАССКАЗ

Переход через экватор на корабле — событие знаменательное. Чтобы оно осталось в памяти человека ярким и незабываемым, моряки обычно устраивают праздник Нептуна. Когда родилась эта традиция, не знает никто. В истории российского мореплавания “игрища” в честь Нептуна впервые проводились в 1804 году во время кругосветного путешествия Крузенштерна и Лисянского на шлюпах “Надежда” и “Нева”. Это были первые российские корабли, которые пересекли линию экватора. Спустя почти 170 лет настало время перейти экватор атомному подводному ракетоносцу…

Атомная подводная лодка, закончив боевое дежурство в Саргассовом море, вырвалась на просторы Атлантики и взяла курс на юг. У неё было ответственное задание. Переход с Северного флота на Тихоокеанский. Не всплывая. Так, чтобы никто не обнаружил. Скрытно. И в одиночку. Попутно — десять дней патрулирования у Бермудских островов.

Над ней была толща воды в 200 метров. А под ней, на глубине в несколько километров, застыли горные хребты, долины, плоскогорья, равнины, навсегда скрытые от людского глаза. Её окружала абсолютная темнота и полное безмолвие. На тысячи миль вокруг — тишина. Она была одинока и незаметна в этом огромном водяном массиве. Океан равнодушно воспринимал её лишь как одно из многочисленных существ, обитающих в его подводном мире.

ЧУДОВ Валерий Иванович окончил Высшее военно-морское училище в Ленинграде. Служил на атомных подводных лодках Северного и Тихоокеанского флотов. В настоящее время офицер запаса. Начинал печататься как литературный переводчик. Пишет рассказы на исторические темы. Член Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

Боевая лодка не имеет иллюминаторов, не снабжена прожекторами, она идёт под водой только по приборам, в кромешной тьме. Там, на глубине, нет качки, не ощущается движение, и если бы не слабая вибрация корпуса в энергетических отсеках, то вообще может показаться, что лодка стоит на месте. Впрочем, в жилых отсеках даже вибрация не чувствуется. Только шумит система кондиционирования, поддерживая температуру + 20 градусов по Цельсию. И лишь вахта знает, что субмарина передвигается и держит курс.

В этой огромной, трехэтажной железной "бочке" длиной 130 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн, несли вахту, занимались боевой подготовкой, ели, отдыхали, смотрели фильмы и играли в нарды в свободное время 128 человек. Люди не обращали внимания ни на огромные массы воды над головой, ни на глубины под ногами, ни на 16 боевых ракет с ядерными боеголовками рядом с ними. Моряки просто делали свое дело. Они служили.

Старший лейтенант Дудов сидел на реакторе и курил. Правда, сидел он на маленьком складном стульчике с брезентовым сидением, который на флоте называют "баночкой", а до крышки реактора было ещё полтора метра биологической защиты. Но это уже были тонкости. Он находился в выгородке реакторного отсека, что категорически запрещено при работающем реакторе. Даже ему, командиру седьмого реакторного отсека. Ну, а о курении даже речи не могло быть. И если бы его присутствие здесь обнаружилось, ему грозили серьёзные неприятности. Но в данный момент эти "мелочи" Дудова не волновали. Радиации он не боялся, она была в норме. Дыма от сигарет не ощущалось — вентиляторы с мощными фильтрами работали хорошо. А центральному посту сейчас до него нет никакого дела. У них — запарка. Там готовились к сеансу связи. Лодка всплыла на глубину 40 метров, и из неё выпускалась антенна в виде маленького самолётика, которая принимала сигнал из Москвы. Это была очень ответственная и нервная операция. Командиры лодок не любили работать с этой антенной, потому что были случаи, когда она обрывалась. Тогда приходилось писать объяснительные и выслушивать "нагоняи" командования. Дудов был спокоен. Вряд ли его хватятся. Все сидели по боевой тревоге. Переходы из отсека в отсек были запрещены, люки задраены.

(Справедливости ради надо сказать, что это был первый и последний раз, когда он заходил сюда при работающем реакторе.

Инструкции на флоте пишутся кровью. В подтверждение этого следует сказать, что спустя несколько лет два офицера, никому не сказав, вошли в реакторную выгородку и больше не вышли. А ведь лодка стояла у пирса, и реактор только запускался.)

Дудов думал. Это был худощавый молодой человек двадцати пяти полных лет с симпатичным, классического типа лицом, карими глазами и каштановыми волосами. Думал он о сценарии, который ему надо было написать. Казалось бы, понятие совершенно не подходящее для боевой подводной лодки. Ан нет.

Сутки тому назад Дудов, позавтракав после смены, в предвкушении перекура и отдыха уже собирался выйти из кают-компании, когда его остановил замполит:

— Валерий Иванович, зайдите ко мне.

На подводной лодке офицеры обращались друг к другу по имени и отчеству либо просто по имени, с равными и младшими на "ты", со старшими на "вы". Кроме командира. Он всегда был "товарищ командир". Для всех, от старпома до матроса. Когда Дудов после училища прибыл в экипаж и представился командиру, тот сказал: "Запомните, лейтенант, капитанов первого ранга на флоте много, а командир у вас один".

Дудов вздохнул. Отдых откладывался. Вызов к замполиту всегда означал какое-нибудь задание, которого любой офицер старался избежать.

Замполит был достаточно высокого роста для подводной лодки, поэтому немного сутулился. У него было вытянутое, малоподвижное лицо и короткие волосы. Флегматичный по натуре, он обычно долго подходил к сути разговора, но на этот раз сразу перешёл к главному:

— Вас включили в комиссию по подготовке к празднику Нептуна, посвящённому переходу через экватор.

Дудов равнодушно пожал плечами. Включили так включили. Он уже был членом нескольких комиссий, членом партбюро и редактором стенной газеты.

— Командир считает, — продолжал замполит, — что вы сможете написать сценарий к празднику.

Дудов удивлённо посмотрел на замполита:

— Но, Альберт Семёнович, я никогда не писал сценариев.

Замполит ответил не сразу, сделав вид, будто о чём-то вспоминает:

— Но у вас ведь были литературные пробы?

— Когда это было! В юности. Парочка рассказов, которые затерялись в моих бумагах. А потом — служба...

— Мне кажется, у вас получится. У вас есть опыт, есть воображение, и потом... — замполит сделал паузу и закончил как-то виновато: — Кроме вас ведь некому.

Это была уже лесть, против которой молодой офицер не устоял.

— Ладно, — сказал он совсем не по-уставному, — давайте набросаем, какие у нас будут персонажи.

Когда Дудов после перекура вошёл в свою четырёхместную каюту, там отдыхал только командир турбинной группы. Они вместе заступали на вахту во вторую смену. Только турбинист — в свой турбинный отсек, а Дудов — на пульт управления главной энергетической установки.

Сосед по каюте приоткрыл один глаз:

— Ну, что от тебя хотел "зам"?

— Мне поручили написать сценарий к празднику Нептуна, — сообщил Дудов.

— Да... — протянул его товарищ и закрыл глаз, подтверждая тем самым естественность предложения, — всё равно больше некому.

А Дудов ещё полчаса не мог уснуть, обдумывая начало сценария.

Прошли сутки, в течение которых в голове Дудова рождались куски сценария, но он никак не мог сложить их в законченный ряд. Постоянно что-то отвлекало его: вахта, сон, еда, боевая подготовка, а главное — сослуживцы, с которыми он вынужден был общаться каждую минуту...

И вот только здесь, в реакторной выгородке, где не было никого и ничто ему не мешало, наконец-то сценарий окончательно сложился и приобрёл стройный вид. Теперь нужно было изложить его на бумаге.

Дудов удовлетворённо хмыкнул, пропел про себя "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", аккуратно потушил сигарету и положил её в спичечный коробок. После чего, оглядевшись, вышел из выгородки, захватив с собой стульчик.

Реакторный отсек считается необитаемым. В нём можно находиться лишь кратковременно, для осмотра. Пост управления механизмами седьмого отсека находился в шестом. При повседневном расписании там нёс вахту один из спецтрюмных. Сейчас на посту сидели трое — вся команда, как и положено по боевой тревоге.

Когда появился Дудов, они попытались привстать, но командир отсека жестом остановил их. На подводной лодке разрешается сидеть в присутствии старшего. Команда спецтрюмных подчинялась ему только по боевой тревоге. С ними он проводил отработку борьбы за живучесть. С ними он должен был воевать и умирать во время аварии. Но когда они несли посменную вахту, они подчинялись тому, кто сидел за пультом управления главной энергетической установки.

— Меня никто не спрашивал? — обратился он к старшине команды, стройному, рассудительному казаху.

Тот отрицательно покачал головой.

Прошло некоторое время, но желаемой команды "Отбой боевой тревоги" не было. "Что-то случилось", — подумал Дудов. В подтверждение этой мысли из динамика раздался взволнованный голос командира БЧ-5: "По местам стоять, торпедная атака!" Это было настолько неожиданно, что Дудов

даже растерялся. Но тут же взяв себя в руки, посмотрел на подчинённых. Те вопросительно смотрели на него.

— Потренируемся, — успокоил их Дудов. — Наверно, забыли сказать "учебная". Следите за приборами и выполняйте указания.

Более тревожно стало всем, когда, погрузившись на глубину 120 метров, выключили вентиляцию. В отсеке поднялась температура. Становилось душно. Кроме команды "Режим тишина, слушать в отсеках", никакой информации из центрального поста не было. Тишина в отсеках и неопределённость действовали угнетающе. Все молчали и напряжённо осматривались по сторонам в поисках чего-то неизвестного. Ещё серьезней стала обстановка, когда лодка начала погружаться на глубину 220 метров. При тишине в отсеке было слышно, как потрескивает корпус лодки. Такое бывает при быстром погружении. Для лодки такая глубина считается безопасной и рабочей, но от этого не становилось спокойнее. На такой глубине ходили редко, от греха подальше. Дудову почему-то вспомнилось, как на одном из занятий по борьбе за живучесть подчинённые спросили его, что произойдёт с лодкой, если она провалится на глубину ниже предельной. Дудов тогда ответил просто: "Она будет похожа на пустую консервную банку, раздавленную ногой". Сейчас эта картинка почему-то мелькнула у него в голове.

Из люка, ведущего на нижнюю палубу, показалась плотная фигура командира электротехнической группы. Он был старше Дудова на год и недавно получил капитан-лейтенанта. На шее у него висел индивидуальный дыхательный аппарат (ИДА). Широкое курносое лицо излучало оптимизм. Его всегда считали исполнительным и деловитым офицером.

— Внимание в отсеке, — объявил он. — Как командир шестого отсека, приказываю всем надеть ИДА. Маски не надевать, в аппарат не включаться.

Действительно, в данный момент, все в отсеке подчинялись ему. Так как седьмой отсек был необитаемым, Дудов с подчинёнными находились в шестом, на пульте управления механизмами реакторного отсека. Все без слов надели свои спасательные аппараты и как-то даже успокоились.

Дудов с командиром электротехнической группы прошлись по отсеку.

— Думаешь, нас спасут ИДА? — усмехнулся Дудов.

— Конечно, нет, — ответил его собеседник, — зато подчинённым спокойнее.

— Навряд ли, — заметил Дудов.

Конечно, на такой глубине, если прорвёт хоть одну маленькую трубочку, бороться за живучесть будет бесполезно. Вначале — сильнейшая струя, распыляющаяся в туман. Затем — поток воды под огромным давлением. И через несколько минут весь отсек будет затоплен.

— Ты что-нибудь понимаешь в этой "войне"? — спросил Дудов сослуживца.

Тот помотал головой:

— А нам и понимать ничего не надо. Что считают необходимым, доведут до сведения, а что не скажут, сами узнаем. И мне кажется, "война" закончилась.

В этот момент из динамика раздался спокойный голос командира БЧ-5:

— Всплываем на глубину 120 метров.

Зашумела вентиляция, заработала система кондиционирования. Народ в отсеке повеселел. А через некоторое время раздалась давно ожидаемая команда "Отбой боевой тревоги".

Лишь через сутки Дудов узнал, что же произошло.

Когда закончился сеанс связи, командир ходил по центральному посту. Лишь после доклада, что антенна на месте, он успокоился и сел в своё командирское кресло. Потом шифровальщик принёс радиограмму. В ней, кроме указания продолжать выполнение задания, было краткое сообщение: "В северной Атлантике, на атомной подводной лодке "К-19" произошла авария. Лодка всплыла. Принимаются меры к её спасению".

Командир помрачнел. На флоте "К-19" прозвали "Хиросимой". Она пережила уже несколько аварий. Теперь ещё одна. И помочь нельзя, хотя до места аварии не больше суток хода. Надо выполнять свою задачу. Размыш-

ления прервал голос акустика: “Товарищ командир, прямо по курсу цель”.

Командир вскочил с кресла:

— Надводная?

— Подводная. Предполагаю, атомная подводная лодка.

Дальше полетели команды: “Старпом, торпедная атака!”, “Механик, самый малый вперёд!”, “Боцман, погружаемся на глубину 120 метров!”

Для ракетной подводной лодки самое главное — это скрытность. Враг не должен знать ни места, ни времени ракетной атаки. Если же ты обнаружил чужую подводную лодку, значит, есть вероятность, что и тебя слышат. А это уже чрезвычайное происшествие. Значит надо уходить, отрываться от преследования. И всё время быть готовым к торпедной атаке — своей и противника.

— Пеленг, акустик?

— Меняется на корму.

— Дистанция?

— Максимальная.

Лодка медленно уходила на глубину. Командир уводил её под “слой скачка”. Так моряки называют слой воды с большей плотностью. Под ним субмарина может ускользнуть от гидролокаторов. Акустические сигналы отражаются от “слоя скачка”, не достигая корпуса лодки.

Нырнув на глубину 120 метров, лодка притаилась. Самый малый ход, режим тишины, прослушивание океана. Но и цель замедлила ход, видно, тоже решила проверяться. Теперь обе лодки были похожи на двух огромных морских животных — хитрых, сильных, хищных. Находясь в полной темноте на расстоянии в несколько десятков миль, они не могли видеть друг друга, но могли слышать. Изматывающая, напряжённая психологическая дуэль.

— Погружаемся на глубину 220 метров, — скомандовал командир.

Через некоторое время акустик доложил:

— Горизонт чист.

Теперь — полный ход, и быстрее уходить от контакта. Затем опять — малый ход. Прослушивание. Маневрирование глубиной и разными курсами. И так несколько раз. Наконец акустик в пятый раз устало доложил:

— Горизонт чист.

Игра “в прятки” закончилась. Что это была за цель — неизвестно, но то, что от неё избавились, можно было считать удачей.

Вероятные составляющие этой удачи Дудов услышал от командира дивизиона живучести.

Они сидели вдвоём в курилке и следили за струйками дыма, ускользающими в вентиляционное отверстие. У командира дивизиона живучести было интеллигентное лицо, чёрные вьющиеся волосы и тёмные влажные глаза. Он славился тем, что был в хороших отношениях со всеми в экипаже, от матроса до командира, и знал обо всём, что происходило на корабле.

Поглаживая тонкие усики и мягко улыбаясь, офицер изложил свои соображения:

— Во-первых, мы шли малым ходом на глубине 40 метров. Над нами следует океанографическое судно, которое нас прикрывает. Значит, оба наших шума могли принять за один. Во-вторых, цель была на максимальной дистанции, и мы к тому же быстро ушли под “слой скачка”. В-третьих, очевидно, эта непонятная цель куда-то спешила, и ей просто было не до нас.

— По всей видимости, — заключил командир дивизиона живучести, — она шла полным ходом к месту нахождения “К-19”.

Тогда никто и предполагал, что их лодку могут перепутать с аварийной.

Весть о том, что какая-то субмарина терпит бедствие в Северной Атлантике, быстро распространилась по посёлку, где живут подводники. Но не было известно, чья она и что там произошло.

Когда жена Дудова узнала об аварии, она сразу же связала её с той лодкой, на которой служил муж.

— Это пока только слухи, — успокаивал её друг Дудова. — Официальных сведений нет. Что там случилось, тоже неизвестно.

Жена Дудова кивала головой и молчала.

Но потом, когда все выяснилось, она долго плакала, глядя на двухлетнюю дочку, мирно спящую в своей уютной кроватке.

А в это время Дудов с чувством выполненного долга нёс исписанные листы бумаги со сценарием замполиту.

Ещё через пару дней комиссия из пяти человек собралась в офицерской кают-компании. Командир сидел на своём обычном месте, в кресле, во главе стола на пять человек. Остальные места заняли члены комиссии. Замполит, не входивший в состав комиссии, расположился за столиком рядом.

Командир корабля, грузин, совершенно не походил на кавказца со своим круглым лицом, серыми глазами навыкате, курносым носом и рыжеватыми, слегка вьющимися волосами. Небольшого роста, полноватый, он весь был какой-то округлый. Только тонкие усики и лёгкий акцент выдавали в нём жителя солнечной республики. Ему было под сорок, и по подводным меркам он считался уже старым для командира лодки. Но подводник он был хороший и в некоторых ситуациях даже лихой. Говорил командир размеренно, неторопливо, постоянно контролируя и сдерживая свой темперамент. Общаясь с подчинёнными, никогда не опускался до мата, чем грешили многие командиры кораблей.

Первая часть заседания прошла быстро. Единогласно одобрили сценарий. Приняли решение проводить праздник в кают-компании младшего командного состава, которую можно было преобразовывать и в гимнастический зал, и в кинозал, и просто в зал. Командир сообщил, сколько дней осталось до того, как лодка пересечёт экватор.

Во второй части заседания выбирали кандидатов в главные действующие лица.

"Нептуна" согласился играть офицер, член комиссии, "вечный" секретарь какой-нибудь парторганизации. По должности такой же "управленец", как и Дудов. Его дородная, внушительная фигура как нельзя лучше подходила к этой роли. "Звездочётом" был "назначен" командир группы КИПиА, высокий, худой офицер, вечно чем-то недовольный и озабоченный. "Пираты" — два мичмана. Выбрали самых объёмных. "Чертей" будут играть несколько матросов.

Наконец, подошли к главному: кому дать роль "Русалки"?

Перебрали несколько вариантов и уже решили было остановиться на молодом матросе с нежным девичьим лицом, но тут раздался голос командира:

— Это ответственная роль. Матрос с ней не справится. Здесь нужен офицер.

Члены комиссии в замешательстве смотрели друг на друга. Ничего толкового никому в голову не приходило. Командир продолжал:

— Я предлагаю на роль "Русалки" старшего лейтенанта Дудова.

Это было как гром среди ясного неба. Вначале все были ошарашены, но потом как-то быстро отошли. А ведь действительно, лучшей кандидатуры не найти. И как это мы раньше не додумались? Дудову некуда было деваться, пришлось согласиться.

Последний вопрос заседания был прост: каждый персонаж готовит свой костюм сам. Остальные члены экипажа, если будет необходимость, помогают. И установлен был срок готовности.

Весть о "Русалке" быстро распространилась по кораблю, и теперь Дудов часто ловил любопытные взгляды членов экипажа. Но офицер не обращал на них внимания. Он был занят изготовлением костюма. Корабельный доктор, русый крепыш в очках, великодушно предоставил в его распоряжение свою амбулаторию и пустующий изолятор. Вместе с офицером, назначенным на роль "Нептуна", они соорудили для "Русалки" парик из пакли. Получилось неплохо. "Нептун" пообещал сделать груди. Тунику, короткое платье без рукавов длиной чуть выше колен, Дудов сам выкроил из "разовой" простыни и разрисовывал греческим орнаментом по подолу. Сшивал тунику "управленец", лысоватый, меланхоличный капитан-лейтенант. Он был на два года старше Дудова и считался уже "старым" для этой должности. Сзади туники приделали хвост из того же материала, отделав его блестками. Добро-

вольные помощники преподнесли "Русалке" самодельные "греческие" сандалии с ремешками, которые завязывались крест-накрест до колен, и широкий пояс с большой пряжкой. Так как лодка делала переход с Северного флота на Тихоокеанский, у каждого были какие-нибудь домашние вещи. У кого-то нашлась французская губная помада. Как последний штрих, Дудов решил надеть чёрные очки.

Через несколько дней провели репетицию без костюмов, а затем — генеральную, в костюмах. Оказалось, что все участники будущего представления добросовестно выучили слова и были готовы к празднику. Командование осталось довольно.

Праздник Нептуна как традиция отмечается на всех кораблях, гражданских или военных, при пересечении экватора. Это весёлый и "мокрый" праздник. Каждый человек, пересекающий экватор, должен быть омыт морской водой. Можно в бочке окунуть или ведро воды на голову вылить, или из шланга окатить. На подводной лодке такой возможности не было, поэтому решили кропить моряков веником, предварительно смочив его в тазике с водой. Эту обязанность вменили "Русалке".

Дудов в душе даже гордился своей ролью. Мало найдётся на подводном флоте офицеров, которые писали сценарии, единицы играли "Русалок", и совсем не было тех, кто и писал сценарий, и играл эту роль. Его тщеславие было удовлетворено. Будет чем похвастаться лет через десять.

Наконец, настал день пересечения экватора. С утра корабль был в суете.

Все готовились к празднику. Начало было назначено на тринадцать часов.

После обеда столы и скамейки убрали, и кают-компания превратилась в зал. Половина её была отдана "Нептуну" и его команде, на второй половине столпились первые желающие окропления морскими водами. Личный состав двух свободных смен подтягивался в четвёртый отсек. Тех, кто стоял в это время на вахте, будут заменять на время, чтобы они тоже прошли процедуру окропления.

И вот из динамика зазвучали трубы, полилась музыка. В кают-компанию торжественно вошли "Нептун" в короне и с трезубцем, за ним "Звездочёт" в академической шапочке и со свитком под мышкой, потом "Русалка" в чёрных очках. Их сопровождали "свирепые пираты". Кривляясь, запрыгали "черти". Они внесли таз с веником и поставили его рядом с "Русалкой".

"Нептун" вызвал командира, выслушал его и объявил своё решение. "Звездочёт" зачитал приказ "Повелителя морей", и "Русалка" окропила командира водичкой.

Потом пошла вереница желающих. Почти два часа Дудов махал веником, пока не окропил последнего. Пришел черёд "чертей", "пиратов", "Звездочёта", "Нептуна" и, в конце концов, самого себя. "Русалке" подарили бутылку шампанского. Началось фотографирование. Все хотели сфотографироваться с "Русалкой. Вдвоём, втроём, групповой снимок... И каждый старался обнять её, а некоторые даже пытались положить руку ей на грудь. И когда уже очередь иссякла, подошёл командир.

— Сфотографируй меня с "Русалкой", — сказал он замполиту.

Командир и "Русалка" одновременно улыбнулись в объектив.

После праздника Дудов ещё отстоял смену четыре часа, потом зашёл к доктору в амбулаторию. Туда же заглянул вездесущий командир турбинного отсека. Подошли "Нептун" и "Звездочёт". Доктор открыл шампанское. Впятером они распили бутылку и пошли отдыхать. Праздник закончился.

Через три дня Дудова вызвали к командиру. Командир сидел в своей каюте. Перед ним лежал ворох фотографий. Вид у него был недовольный.

— Товарищ командир, старший лейтенант Дудов по вашему приказанию прибыл.

— Посмотри на это, — командир протянул ему фотографию. — Посмотри, что ти наделал.

Когда он был недоволен или взволнован, его грузинский акцент проявлялся сильнее.

Дудов внимательно рассмотрел фото.

— Хороший снимок. Прекрасно получились, товарищ командир.

— Нет, ти посмотри, что наделал, — настаивал командир. — Посмотри, где твои груди лежат!

Он сделал ударение на слове “лежат”.

И тогда Дудов понял. Грудь, которую сделал для него “Нептун”, была без лямок и в процессе махания веником все время опускалась. Дудов постоянно поправлял её, поднимая вверх, но к концу праздника устал и перестал обращать внимание на эту чисто женскую деталь. Грудь сползла и лежала на поясе. К несчастью, Дудов забыл её поправить, когда фотографировался с командиром. Получилось действительно неудобно. Все фотографировались с нормальной, высокой грудью, а вот командир — с отвислой.

— Виноват, товарищ командир, — бодро проговорил Дудов, — я готов перефотографироваться.

— Идите, — устало сказал командир, давая понять, что разговор окончен.

Дудов вернулся в каюту и рассмеялся. Хорошо, что в каюте никого не было.

Об этой неточности на фотографии ни он, ни командир никому не рассказывали. Все остальные, кто рассматривал снимки, этого не заметили.

Только жены потом подозрительно спрашивали: “Откуда это у вас женщина на корабле?” Мужья вначале таинственно улыбались, а потом говорили правду. Впрочем, женщины, в конце концов, и сами догадывались, разглядев хотя и стройные, но в меру волосатые ноги “Русалки”.

Дудову редко снились сны, но в эту ночь ему приснились пальмы и пологий песчаный берег. Наверное, потому, что, возвращаясь от командира, он встретил штурмана и поинтересовался:

— Где сейчас идёт лодка?

— На траверзе — Рио-де-Жанейро, — ответил штурман и добавил: — Самый лучший пляж в мире — Капакабана. Мулатки бродят по песку...

— А сколько миль до них? — допытывался Дудов.

— Шестьсот.

— Не повезло, — вздохнул Дудов.

— Кому? Тебе?

— Нет, — сказал Дудов и улыбнулся, — мулаткам.

Он спал спокойно, как и положено молодому человеку с устойчивой психикой. Впереди у него была вся жизнь.

А лодка продолжала свой путь на юг. У неё впереди были пролив Дрейка и Тихий океан. Она шла к берегам Камчатки, на свою новую базу.

ЕЛЕНА КРИКЛИВЕЦ

ПОД БЕЛОЙ РУБАХОЙ

* * *

Настоем черёмухи полдень дышал,
и белою птахой
металась, ещё не окрепнув, душа
под белой рубахой...

Как будто недавно об этой поре
ты из дому вышел...
И кипенно-белым цвела во дворе
отцовская вишня...

Разбитые ноги нальются свинцом,
и сердце заноет,
когда незнакомое глянет лицо
в окошко резное.

— Стучали. Не слышишь? Пойди отопри! —
Ребёнок заплакал.
И ты — чужестранец — стоишь у двери
с бродячей собакой.

КРИКЛИВЕЦ Елена Владимировна родилась и живёт в Витебске (Беларусь). Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Витебского государственного университета. Член Союза писателей Беларуси. Член Союза писателей России. Автор сборников стихов "На грани света", "За строкой". Лауреат VII международного Пушкинского конкурса, а также литературных конкурсов "Северная Аврора", "Словенское поле, "Литературная Вена" и др.

Одежды истлели, в дорожной пыли
полощется ветошь.
А спросит хозяин: “Откуда пришли?” —
И что ты ответишь?

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Эта прошлая жизнь, эта бабкина ветошь
прописалась навеки в комоде твоём.
Возвращаясь домой, будто птица на ветку,
согревалась душа под лоскутным шитьём.

В ночь, когда и дождю почему-то не спится,
и озябший трамвайчик стучит вдалеке,
ты разгладишь морщинки сатина и ситца,
как шершавую кожу на тёплой руке,

той, что клала стежки, словно буковки в строчку
выводила на пёстрых страницах судьбы...
И темнели горохи на бывшей сорочке,
и темнели дорог верстовые столбы...

И сновала иголка в уверенных пальцах,
лоскуток к лоскутку пришивая года,
чтоб укутать любовь, как дитя одеяльцем,
чтобы век воскресить, как живая вода,

чтобы спрятать тоску, как роман институтка,
намечтавшая в дерзком кружении звёзд
расписаться в позоре, в потере рассудка
и уехать с корнетом за тысячу вёрст.

* * *

Темнело небо. Буднично. Привычно.
До вяжущей чернильной густоты.
Он доставал припрятанные спички,
неловко опираясь на костыль,

а после брёл извилистою тропкой
подальше от настывшего гнезда.
Легонько чиркал спичкой о коробку —
и зажигалась первая звезда.

Над ним смеялись.
Горько и упрямо
стучал костыль по сколотому льду:
он ковылял своей дорогой странной,
чтобы затеплить новую звезду.

И ребятня со всех соседних улиц
сбегалась посмотреть на дурака...
Вдруг небеса весенние качнулись
в глазах его, глубоких, как река...

Стекали капли по-апрельски часто.
Сжимая свечку в сморщенных руках,
он уходил по тающему насту
туда, где звёзды плыли в облаках.

* * *

Младенец спал.
Уже зажглась звезда.
И шли волхвы. И мать сидела рядом.
Так далеко, казалось, до креста,
Так близко небо, пастухи и стадо.
Младенец спал.
Ему несли дары.
И тем, кто нёс, хотелось верить в чудо.
И полыхали поздние костры,
горячие, как поцелуй Иуды...

Застыло серебро на тополях —
гроши звенели у беды в кармане...
Младенец беззаботно спал в яслях,
себя доверив Господу и Маме.
Давно пастух пригнал своих овец.
Звезда погасла там, за новостройкой.
А люди доедали холодец
и выносили ёлки на помойку.

Младенец спал.

* * *

Созревшим боком хвастает луна.
Там, за забором, сторож не приветлив...
Но вдруг рука потянется сама
к отяжелевшей яблоневой ветви...

Никто в дому огня не зажигал,
не ждал гостей с ночного полустанка.
И не видать смурного мужика
с пристрелянной отцовскою берданкой.

Наверно, он сегодня запоздал:
в чужом саду искал хмельного счастья.
Трепещет в небе сонная звезда,
готовая сорваться в одночасье.

Застынет сердце мухой в янтаре,
и вскрикнет потревоженная птица,
когда она по сморщенной коре
серебряной дорожкой прозмеится.

Луна расплавит в озере сурьму,
и я тебе, от страха обмирая,
антоновку в ладонях протяну —
и нас хозяин выгонит из рая.

НИКОЛАЙ НАМЕСТНИКОВ

ПО ДОРОГАМ БЕЗМОЛВНОЙ ОТЧИЗНЫ

КАИН

Пройду сквозь дождик, не замечая холодных капель,
в рябую осень, навстречу клёнам, судьбе навстречу.
Никто не спросит: "Скажи мне, Каин, где брат твой, Авель?"
А если спросит — пройду тихонько и не отвечу.

А в парке — вечер. А в парке — ветер. А в парке — лужи.
А в парке мокрый сентябрь дымится в остывших кронах.
А в парке можно хоть до рассвета бродить и слушать,
как на тропинках о чём-то хрипло кричат вороны.

Метнутся тени к реке с обрыва пугливой чайкой.
Туман накроет града и веси, как мирный атом.
На берег сяду, вздохну тихонько, наполню чарки
себе — и небу, себе — и ветру, себе — и брату.

Потянет горьким субботним дымом с глухих окраин.
С небес холодных, как со штандарта, звезда сорвётся...
— А где же Авель? — Ответит небо: — Он там, где Каин.
Ищите — лучше. Зовите — громче. И отзовётся!

НАМЕСТНИКОВ Николай Владимирович родился в 1962 году в Витебске. Окончил филологический факультет Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. Работал школьным учителем русского языка и литературы. Автор сборников поэзии "Забытые небеса" (2000), "На распутьях ветров и дорог" (2004), "Листопад исповедальный" (2008), "Время яблок" (2015).

БАЛЛАДА О ЧУДЕ

История печальна и проста:
она хотела сына от Христа,
юродивая девка из местечка...
А над местечком плыли облака,
шумела за церковкою река,
и в зарослях густого лозняка
на солнце росы таяли, как свечка.

Она хотела доли и любви.
Как возле речки пели соловьи
и песнями ей душу истерзали!
— Любимый мой! — уста её шептали,
искусанные в муке до крови.
И поп, и ксендз её из храмов гнали.
Жалеть — жалели, но не допускали
в законные владения свои...
Тянулась лет пустая череда.
В реке сменились русло и вода.
Дымились звёзды над худою крышей.

История печальна и проста:
она хотела сына от Христа.
Она его звала. А он не слышал.
Ей голову повысеребрил снег.
— Эй, дурочка! — кричали дети вслед
и доставали трубочки с горохом.

— Любимый, где ты? — слышалось в ответ,
и лился от неё смиренный свет,
и небо отзывалось кротким вздохом.

Однажды в блике солнца на волне
привиделся ей светлый лик на дне,
годами в сердце бережно хранимый.
Она любила своего Христа,
она к нему шагнула вниз с моста,
успев тихонько выдохнуть:
— Любимый...

А вечером у душного шинка
шумели два заезжих рыбака,
клянясь, что час назад в тумане белом,
в такое же всё белое одет,
как посуху, шёл кто-то по воде
и чьё-то тело положил на берег.

Пошли к реке. И около реки
застыли потрясённо мужики:
светясь, как будто соткана из молний,
она лежала в свадебном венце,
и столько было счастья на лице,
что даже соловьи — и те замолкли...

...Да при́дет чудо в суетные дни!
Любовь — безумью вечному сродни,
она горит в душе средь лжи и худа.
Она — как светлый Господа покров.
Пока над миром царствует любовь —
творится чудо.

ПУТЬ

Этот путь, где нельзя оглянуться,
сжав травинку в зубах на ходу.
Здесь качаются лунною ртутью
чудо-яблоки в сонном саду.

Здесь тревожно чернеют аллеи
и, ночной разорвав полумрак,
точно раны Господни, алеют
языки одичавших собак.

Этот путь из сквалыжных скворечен
за насмешливой синей звездой.
И бессмысленно конным и пешим
отправляться вдогонку за мной.

Здесь не курятся миро и ладан,
здесь горят власяница и медь.
И чеканные строки баллады
здесь не смогут сердца обогреть.

Но идёшь за судьбою капризной,
огонёчек завидя вдали,
по дорогам безмолвной Отчизны,
что светла, словно храм на крови.

* * *

Звезда упала в чистую криницу,
а поутру девчонка из села
лишь зачерпнула пригоршней водицы —
и в юном чреве сына понесла.

Мать голосила, словно по убитой,
отец за вожжи брался сгоряча...
— Мария! — на полях шумело жито.
— Мария! — пели звёзды по ночам.

Она слова обидные терпела
от кумушек-соседок у ворот
и с материнской нежностью смотрела
на белый округлившийся живот.

И плыл лугами сладкий запах мяты,
и шелестели ивы у воды.
Уже кружили ангелы над хатой,
уже волхвы готовили дары.

Но вся округа замолчала жутко,
когда, звеня колесиками шпор,
в своей хрустящей кожаной тужурке
приезжий Ирод в хату к ним вошёл.

Они блестели, новенькие шпоры,
как хорошо начищенный пятак.
А после было полчаса на сборы
и слово непонятное — кулак.

И был вагон. Дорога. Дом казённый.
Лохматые овчарки на цепи.
Кружила казахстанская позёмка
над холмиком в заснеженной степи.

И кто-то плакал под барачной крышей.
И зори кровью красили снега...
Ненужный миру маленький мальчишка,
простишь ли нас? Простим ли мы себя?

ЛИСТОПАД

Деревья в парке шепчутся и светятся,
шурша листвой на тысячу ладов.
Молоденькая девочка-буфетчица
салфетницы снимает со столов.

И, как оберегающая магия,
что всё ещё пропасть ей не даёт,
поблёскивает скромно брошка мамина
на выцветшем халатике её.

Они давно сроднились, точно кровники,
знакомые мне брошка и халат.
Спустясь на паутинке с пёстрой кровельки,
ей постучит в окошко листопад.

Куда ты с ним, наивная, несмелая,
накинув плащик старенький, летишь?
Такая маленькая вся, такая светлая —
за листопадом и не разглядишь...

ВЛАДИМИР СТЕПАН

ЗОЛОТАЯ ЩЕЛЬ СВЕТА

ТРИ НОВЕЛЛЫ

Трава, что режет руки

Мне двенадцать с половиной, я сижу на жёстком стуле с железными ножками в узкой больничной палате с одним окном. Белый халат, который приказали накинуть на плечи, — длинный, один рукав порван, а на втором россыпь зеленых и рыжих пятнышек. Пахнет тот халат почему-то пудрой и хозяйственным мылом. А в светлой и узкой палате пахнет лекарствами, подгоревшим молоком и мокрыми листьями, как в остывшей бане…

На железной кровати, ближе к открытому окну, лежит учитель рисования. Его голова и худые плечи провалились в две больничные подушки. Учитель смотрит на меня и пытается улыбаться. Получается. Но от этой его вынужденной и мучительной улыбки мурашки бегут по спине.

А за окном кипит август — тёплый, тёмно-зелёный, и там влажный ветер шастает в кустах и деревьях, заставляя двигаться их тени на серой стене. В свои двенадцать с половиной я понимаю, что мой учитель умирает, но о том, когда это произойдёт, я не думаю, потому что боюсь. Конечно, хочу, чтобы это случилось как можно позже. Там, на улице, в кустах и в деревьях, щебечут птички, озвучивая движение теней на светлой стене. Чтобы не смотреть на своего больного, изможденного учителя, рассматриваю то пол, то свои поцарапанные руки, то снова стену, на которой пытаюсь отыс-

---

СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил Художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы "Вежа", "Сам-насам" и др. Живет в Минске.

кать и без труда нахожу в путанице листьев тени воробьёв — они то появляются, то исчезают.

Учитель неожиданно, с долгим вздохом, спрашивает: "Слушай, ты любишь собирать грибы? Конечно же, любишь".

Сам спросил, сам и ответил. Я передергиваю плечами под своим белым халатом, потом киваю, потом бросаю взгляд на стену за учителем, сосредотачиваюсь на маленьком чёрном пятнышке на серой краске.

Учитель опять вздыхает и подтягивает колючее суконное одеяло к чисто и гладко выбритому подбородку так, чтобы оно спрятало худую белую шею, такую белую, что она кажется светлее, чем наволочка казённой подушки.

Ещё никто из моих родных не умирал, а потому смерть для меня не очень понятное событие и пока не болезненное. Но то, что невидимая смерть рядом, чувствуется, будто она находится не только здесь, в узкой и светлой палате, но и за открытым окном, в тёплом больничном дворе, в трепете теней, озвученных щебетанием воробьёв. Всё это мне сильно не нравится, напрягает, пугает, но и вызывает любопытство. Учитель хотя и говорит, но мне он уже представляется мёртвым. Через испуг слышу его голос и напрягаю слух, понимая, что пропустил начало.

"Знаешь, о чём я в последнее время всё думаю и думаю, и не могу понять?" — говорит больной настойчиво и снимает очки, рука с ними падает на одеяло.

Хочу сказать, что учитель думает-думает о картинах, которые не успел написать, о женщинах, о своих детях, о том, что скоро умрёт. Про поцелуи, про женские ноги и груди, про свою вторую жену… Откуда я знаю, о чём ты думаешь? Я вот думаю о своем велосипеде, который оставил рядом с больничным крыльцом, в тени акации, и о том, что его могут украсть. Велосипед хороший, с новым передним колесом… И ещё я думаю, что завтра меня отправят в деревню, и ещё о том, кому достанутся все его коробки с красками, кисточки, карандаши и бумага, и картон, и книжки…

"Я все последние дни думаю только о грибах… О боровиках… Они очень красивые, они такие… Закрой, пожалуйста, окно — холодом с улицы тянет… Снова будет дождь", — просит учитель рисования и закрывает глаза.

Охотно и даже радостно подхватываюсь с жёсткого стула, мне уже давно надоело сидеть. Закрываю окно. Занимаю своё место. Набравшись смелости, бросаю взгляд на лицо учителя, чувствуя, что он меня не видит, что наши взгляды не встретятся. Лицо, без таких привычных и нужных очков, выглядит голым. Рот сиреневый, уши большие и почти прозрачные, а лоб и лысина — как мукой припорошены. Волосы тонкие и седые, как дым. Одним словом, он совсем не похож на себя, на привычного, уверенного в себе пятидесятилетнего мужчину. А ещё робкая улыбка кривит его рот, от неё мне становится неловко и муторно. Мне не хватает воздуха, я обливаюсь потом, а через мгновение мне становится жарко.

"Ты их срезаешь острым ножиком, а они скрипят, как живые… Считай, вскрикивают. Они, как скульптуры… Много раз хотел написать, нарисовать, но так и не решился. В общем, даже не знаю, кто смог нарисовать грибы? Многие пробовали, но не помню, чтобы хоть у кого-то получилось… А ещё они пахнут. Так вкусно пахнут, невероятно… Ничто так не пахнет…" — учитель говорит сладким шёпотом. А я смотрю на его неподвижное лицо, лишённое живых красок, очень похожее на скомканную обёрточную бумагу в магазине, и дышу носом. Поворачиваюсь к стене, чтобы опять распутывать взглядом тени кустов и деревьев.

"У меня есть два секретных места. Слышишь? Я их помню до самых малых мелочей. Одно было далеко от дома, а другое, оно совсем рядом, может, полкилометра, не больше, в низком и густом ельнике… Ещё грибов нигде нет, не пошли, а там они уже растут. Ещё ни дети, ни взрослые не находили, а я тайно приносил первые белые грибы…" — Последние слова прозвучали тихо, почти шепотом, но уверенно, и как мне показалось, даже весело. Безумным шёпотом.

— Слушай, а давай я тебе покажу это место. Хочешь?

— Как покажете, когда?"

Учитель тощей левой рукой с тонкими узловатыми пальцами осторожно потёр глаза. Правая, с чёрными очками, поднялась и вернулась на своё место — в углубление, выдавленное в одеяле.

— В пятьдесят четвёртом я вернулся... — Тут он замолчал, а потом добавил:

— Из армии, приехал домой... Посидели с родителями за столом, выпили, легли спать, но я не мог уснуть... Лежал, пытался заснуть и не получалось. Поднялся — ещё темно было, ещё все спали, оделся и ушёл. Воды попил в сенях и папиросы взял. Деревня ещё спала. Я через огород подался, по борозде, по картошке, потом через поле. Иду, на тёмный ельник на краю поля гляжу, а справа от него — дорога. Дошёл до него и остановился, стою, по сторонам оглядываюсь. Я про этот ельник много думал... Убедился, что меня никто не видит, присел, на колени стал, а потом пополз на четвереньках. Ельник тот низкий и такой густой, такой непролазный, как стена, а я ползу, корзину перед собой толкаю, а за одежду колючие ветки да сухие лапки, с травой перепутанные, цепляются. В ельнике темно, мокро, холодно, а я всё ползу. Пролез! Там, в середине, полянка узкая, вот как от меня до стены, шага три-четыре. И трава там густая, высокая. Такая, что потянешь её, попробуешь выдернуть — обязательно руки порежет. Острая трава. И зелёная, и сухая руки режет. Пока лез, слышал, как там всё грибным духом пахнет, нестерпимо, остро. Раздвинул траву — увядшую, высокую, а там боровик... Небольшой, правда, с ореховой шапкой, толстенький, крепкий, из той травы на меня смотрит, а рядом меньший сидит, а дальше ещё два — большие, рыжие, с белыми ножками... Я выпрямился. Постоял, отдышался, а потом сел на траву, папиросы достал, руки дрожат... Курю и на них смотрю, а они на меня. И кажется мне, что они радуются, что я рядом, что пришёл к ним, наконец. Долго, может, с полчаса так и сидел на одном месте, молчал и плакал от радости. Потом достал из-за голенища финку, а не могу первый срезать. Рука не поднимается. А почему мне их жалко, не знаю... Это недалеко отсюда. Всего-то час поездом, а потом пройти придётся... Мне уже лучше. И позавтракал сегодня, и обедать буду. Поедем? — Учитель смотрит вопросительно и виновато улыбается.

Сначала я подумал, что он шутит, а потом — что он сошёл с ума: от лекарств, боли, ужаса и возраста. Говорили, что ему живот разрезали, посмотрели и быстро зашили, так как там всё рак съел.

Через неделю больной художник из седьмой палаты исчез. Его искали, волновались. И врачи искали, и вторая жена, и дети. Никто не знал, куда он пропал, а у меня никто не спрашивал. Через день он вернулся в больницу. А через две недели умер.

Теперь я знаю, что учитель тогда, в 1954-м вернулся из тюрьмы, а не из армии. Что посадили на восемь лет за то, что он рисовал в газете, выходившей под немцами. Но теперь эти знания потеряли и прежнюю важность свою, и даже смысл.

Чаще думаю о траве, о той самой, что режет руки.

Золотая щель света

Мальчик спал в дедовой комнате, на большом диване с высокой спинкой. По потолку время от времени, когда по улице проезжала машина, пробегали полосы мягкого света, и тогда сияло, как глаз, выпуклое стекло барометра над диваном. В книжных шкафах за толстым стеклом стояли фотографии в рамках. С карточек смотрел и улыбался мальчик, тот самый, что спал на диване. На письменном столе располагался компьютер, лежали стопки бумаги с мелко набранным, распечатанным текстом и лупа, через которую интересно рассматривать ногти, царапины, нитки и узелки на них...

Мальчику снилась улица и бегающие по ней дети. И ещё снились взрослые дети, курящие за школой, под кривым и толстым деревом. Потом мальчик оказался в школьном коридоре — широком, с высоким потолком, и без-

людном. Зазвенел звонок, и мальчик недовольно перевернулся на бок, а одеяло мягко съехало на пол. Во сне он не смог отличить школьный звонок от телефонного в соседней комнате. Звонок тот звучал совсем недолго… И поэтому он не знал, что его дед час тому назад умер. Все было хорошо — сердечный ритм восстановили, утром из реанимации перевели в палату терапии. Умер он во сне.

Блестящая ручка в двери спальни опустилась, сделалась похожей на запятую в длинном предложении, так как дверь некоторое время не двигалась. Потом в зал вошла женщина, осторожно закрыла дверь. Так, будто боялась разбудить. Но свет в спальне горел ярко, так, что между полом и дверью сияла золотая щель, будто подчёркивая что-то важное.

Женщина держала в левой руке телефон и узкий блокнот, а в правой очки. В большой комнате царила тьма, а из-под двери спальни тянуло холодом. Хозяйка квартиры постояла немного, огляделась и осторожно прошла к кухне. По дороге остановилась и посмотрела на мальчика, но одеяло поправлять не стала, только лишь неслышно прикрыла дверь. Она знала комнату мужа до мелочей. Все фотографии, часы, выпуклый барометр, бумаги, старое кресло с подушечкой и вытертой овечьей шкурой на спинке.

В кухне пахло арбузом. Его половина лежала на большой белой тарелке посередине стола. За окном — тёмно-синий городской двор, соседние девятиэтажки, много неподвижных машин, лес, небо с белыми, как вата, ночными облаками… Она зажгла над столом свет. Половина арбуза стала ярко-красной. Присела к столу и развернула блокнот. Бумажка с длинным телефонным номером лежала сразу под обложкой.

Часы на буфете показывали четыре пятнадцать. Надела очки, провела языком по зубам, покачала головой из стороны в сторону. Очки ещё больше добавили лицу растерянности. Она поднесла телефон близко, потом отставила и принялась набирать цифры. Сбилась. Отключила. Заметила на столе коричневую плоскую семечку, успевшую за ночь присохнуть, отковырнула ее. Пришлось подняться, бросить в ведро с мусором. Но семечка в ведро не попала, и женщина торопливо наклонилась, подняла. Села к столу и снова начала набирать. Когда набрала семь цифр из двенадцати, дверь в кухню открылась нараспашку. За ней стоял босой восьмилетний Вадим и щурил от яркого света глаза.

— Что такое, детка? Живот? — Мария вздрогнула, осторожно положила телефон на стол и встала.

— Нет, баба, в туалет, — сказал внук.

— Говорила же тебе, не надо есть столько арбуза, а ты, как всегда, не послушал.

— А мне разрешил дед… Мы с ним по телефону говорили, он сказал, что если арбуз сладкий, то его надо есть много. А ты с ним потом говорила, когда из магазина пришла. Что, не помнишь? А можно, я в школу сегодня не пойду?

— В школу, сегодня? Можно… Посмотрим. А почему босиком ходишь?

— Ай, не нашёл тапки. — Мальчик посмотрел на свои ноги, повернулся, чтобы не слушать очередной вопрос, зажёг свет в туалете.

Мария взяла тарелку с арбузом и спрятала в холодильник, там, на второй полке, нашлось место. Вернулась к столу, но пришлось опять подняться, чтобы выключить за внуком свет в туалете, а потом прикрыть дверь в его комнату.

Усевшись у стола и сосредоточившись, снова начала набирать длинный номер. Набрала, прижала трубку к уху и посмотрела на часы. В телефоне щёлкало, стучало, пиликало, потом пошли длинные и однообразные гудки. Мария задышала чаще, а потом и вовсе перестала дышать. Гудок шёл за гудком.

— Алло-алло-алло… Слушаю!

Мария даже растерялась, когда услышала голос дочери. Казалось, что она в соседней комнате.

— Светлана, это я… Как вы там?

— Всё нормально, мама. Что, Вадик заболел? Чего ты молчишь, что с ним? — Дочь говорила немного нервно и взволнованно.

— Нет, с Вадиком всё хорошо, спит…

— Он не в школе? Ах, забыла, у вас же там ещё совсем рано. Всё перепуталось в голове. Слушай, я тебе такой подарок везу, такая красота, ты себе не представляешь… Я хотела взять шёлковый и красный, а Игорь говорит, что тебе лучше будет вишнёвый… Я сейчас складываю, тут по кровати всё разбросано, так что ты долго не разговаривай, а то много наговоришь…

— А где Игорь?

— По берегу ходит, прощается с морем-океаном. Я рукой ему помахала, но он не видит, не смотрит на отель. Он какой-то странный, говорит, что совсем не хочет отсюда уезжать. Представляешь, совсем не хочет. Вот чудак!

— Светлана, ну, а он тебе уже сказал, вы хоть решили, как дальше жить будете? Или, как и прежде, каждый в своей квартире…

— Опять ты со своими вопросами. Какая разница, где мы будем жить? Он сказал, что все уже решил и сегодня обязательно скажет… Вот пойдём в ресторан обедать и там поговорим… Всё будет хорошо, не переживай, мама.

Мария слушала голос дочери и думала о своём, а ещё пыталась представить, как высокий Игорь неспешно идёт по песку, как грузнут его ноги в песке, как набегает за волной волна. Вода ей виделось голубовато-зелёной и яркой, волны — с кружевами, песок — белым, а небо не могла и придумать, какое оно там, в этом самом Вьетнаме.

— На крабов больше смотреть не могу…

— А какое там небо?

— Небо? Обычное… Я себе шляпу купила, зелёную, с острым верхом, соломенную, а деду — жёлтую рубашку.

— Рубашку?

— Не то чтобы она совсем жёлтая, а такая золотистая, как лук, и блестящая… Мама, ты наговорила на миллион, а может, и больше. Завтра мы уже будем дома. В шесть наш самолёт. Как у вас погода, холодно? У нас жарко и душно. Дождь только один раз был, но такой ливень, что на весь день и всю ночь. Лило как из ведра. Конец света какой-то.

— У нас, кажется, тепло… Слушай, а что он всё тянет?

— Мама, мы сами разберёмся… Вон он к отелю идёт, с белым цветком… Не волнуйся, всё будет хорошо.

— Светлана, ты скажи ему, что жить будете в нашей квартире. Что ты молчишь? В нашей, говорю.

— А вы?

— В твоей.

— Что вы придумали? А как Вадим будет в школу ходить, его возить придётся через весь город? Мама, ты Сергею напомни, чтобы завтра встретил, я ему пришлю эсэмэску из Москвы, когда будет пересадка. Всё, завтра увидимся, тебе вишнёвый цвет нравится, правда? Я так и скажу Игорю. Целую-обнимаю, до встречи.

В трубке щёлкнуло и пошли однообразные короткие гудки.

Мария с телефоном и блокнотом вернулась в спальню, поправила на убранной постели мужа подушку, спрятала в ящик тонометр. На часах было без четверти пять. Решила, что позвонит сыну в семь, когда он проснётся и начнёт собираться на работу. Достала из шкафа альбом, села на свою кровать и взялась пересматривать фотографии. Она знала, какая нравилась мужу, ей, сыну и дочери, и даже восьмилетнему Вадику. В спальне ей было жутко, но Мария смотрела на фотографию молодого мужа в полосатом галстуке и улыбалась.

Вадику снились блестящие каштаны и мужчина-врач в одежде свекольного цвета. Металлический чемодан с лекарствами и то, как доктор посмотрел на барометр над диваном и постучал по стеклу ногтем… Это было позавчера, когда они с дедом вернулись из парка, где хотели насобирать каштанов, но не успели. Дед сказал, что его сердце колотится, и они с полпути вернулись домой.

Под дверью спальни желтела щель света, которая могла бы напоминать тире, если бы не была такой длинной.

На Троицу

Глубокой осенью, когда моросит нескончаемый дождь, душным летним вечером, когда пищат комары, студёной зимой, когда сухо хрустит под ногами снег, только что поколотые дрова пахнут весной. Всегда, но, может, это только мне кажется?

Вот не могу вспомнить, на чём мы с отцом доехали до нужной остановки, до начала нашей лесной дороги. Может, и на автобусе, битком набитом тётками, дядьками и детьми, что то плачут, то смеются, то кричат… Хотя, почему дети плачут, и были ли тогда дети? А может, нас подвёз попутный грузовик, ехавший на Довск, Жлобин, Чечерск… Короче, в этом месте, сколько не пробую, не проступают даже мелкие, не говоря о больших деталях-подсказках. Но мы доехали, а потом шли привычные пять километров дорогой через лес и поле, в деревню, к дедовой хате. Через сосняк, потом через березняк. Я, как молодой, нёс плотно запакованный тяжеловатый рюкзак, а отец — корзину с едой. Это точно, тут ошибки быть не может, так как есть фотоснимок. Мутноватый, но и корзину можно рассмотреть, и отца. Я сделал тот снимок, но что-то не так выставил, ошибся с выдержкой, не так покрутил, а потому изображение получилось смазанным, нечётким.

Помню, что там, под большими дубами, где я его сфотографировал, отец нашёл парочку молодых боровичков. Обрадовался, как ребёнок. Сам, в своей корзине бережно понёс их дальше, домой. А ещё помню, что он очень хотел выпить, а потому несколько раз предлагал остановиться, отдохнуть и перекусить. Бутылка водки, привезённая мной из Москвы, лежала в рюкзаке, завёрнутая в старое полотенце. А я приехал из армии в отпуск, на двенадцать дней. Здесь без ошибки — это было летом восемьдесят четвертого. Тёплого, с дождями. На лесной дороге по низинам кое-где стояли и тускло поблёскивали лужи, а над ними порхали лесные мотыльки и большие комары. Внизу было тихо, а вверху шумели сосны, качая верхушками, а над ними летали и кричали вороны.

Потом он перестал предлагать отдохнуть-перекусить, шёл молча и курил. Иногда сворачивал с лесной дороги, но хорошие грибы больше не попадались, и он злился. Меня же тогда грибы почти не интересовали, тем более в чужом лесу…

Пришли домой. Отомкнули все замки, поснимали с окон железные самодельные щиты и составили их во дворе, под крышей… Зашли в дом и начали переодеваться. Дом показался мне маленьким, и я немного растерялся. Отец торопил… Чего-чего, а вот одежды самой разной в дедовой хате хватало, все туда свозили и из Гомеля, и из Костюковки. Я надел знакомые синие штаны на узком ремне, старую отцовскую рубаху, свою кепку, когда-то оставленную в деревне, и дедовы добитые сандалии. Нравились мне эти лёгкие разношенные сандалии.

Пока отец распихивал по полочкам шкафчика провизию, я занялся водой. Вылил из ведра в сенях старую, ещё с прошлого его приезда, и накатал из колонки свежей. Хотя и рыжей, но холодной и вкусной. В армии вода была невкусная, вонючая. Потом мы быстро выпили по рюмке водки, перекусили тем, что привезли, а лука и укропа отец принёс с огорода. Не поленился, сходил и отщипнул на гряде у забора.

Он взялся точить пилу, а я обошёл дом, осмотрел двор, сад, попробовал яблоко, ещё кислое и незрелое, позднее заглянул в сарай, полный дров, и в тёмную, как в детстве, кладовку с ящиками, дёжками, мехами, косами и серпами…

Во дворе, на зелёной траве лежали белые берёзовые и серые ольховые бревна с яркими красными торцами. Вот ради них мы и приехали. Начали пилить. Тягали пилу и болтали про армию, про то, как и чем сейчас кормят, и про всякое разное. Деда вспоминали не раз. Текли светлые опилки, сыпались, как сухой искусственный снег. Часа через три на станину легло последнее бревно… Теперь уже на стоптанной и некрасивой зелёной траве лежали только чурбаны. Отец помыл руки, накатал воды в жестяное корыто,

чтобы грелась на солнце, рассказал, как в этом корыте мыли меня малого, а потом и брата.

Выпили ещё по рюмке водки, закусили, и я пошёл во двор колоть дрова. А отец надел пиджак и сказал, что пойдёт в свой лес, там посмотрит грибов. "Пока ты здесь с дровами, я по берегу леса пройдусь... Ты только это, осторожно, по ноге себе не рубани..." — Сказал и пошёл с ножом и корзиной со двора через калитку, огородом, рядом с забором, по борозде, потом по шляшку (это такой огороженный проезд ко двору) и через выгон. До нашего леса совсем недалеко, со двора можно дубы рассмотреть.

А я взял в сенях знакомый с детства большой топор. Повертел его в руках, секанул ольховый прутик, посмеялся своим мыслям и начал колоть дрова. Приятное занятие, хотя и тяжёлое. Колол и думал: только бы по ноге не рубануть, а если бы не услышал предупреждения, так и не думал бы. Скоро про те слова забыл и колол неистово, зло, так что вскрикивал, когда бил из-за плеча по тяжёлой чурке на вечной дубовой колоде.

Когда отец вернулся, я сидел на крыльце спиной к стене и курил. Половина двора была завалена дровами. Руки и ноги дрожали, гудели от усталости, спина ныла и болела.

Грибов в своём лесу он немного собрал, оставил корзину на крыльце, а сам вошёл в сени, звякнул о ведро кружкой и долго пил. Из сеней окликнул меня и предложил пойти в лес завтра утром. Я сказал, что тогда и посмотрим, а пока и загадывать не хочу.

Он посмотрел на дрова, потом на облачное летнее небо и беззлобно заметил, как бы себе самому, что было бы хорошо их сегодня и сложить, но не в сарай — там полно, а в сени, чтобы потом, осенью, было ближе брать. А он сам, пока я дрова складывать буду, управится с грибами и сварит суп. Я сидел, курил и дивился на дрова, а потом сказал, что поколотые дрова пахнут весной. Он посмотрел на них, на меня, вздохнул: "Может быть, и весной... Я столько дров перебил-переколол, а как-то вот никогда об этом не думал. Почему?"

Моего ответа он не дождался и пошёл раскладывать костёр в шляшку, под яблоней, где и всегда. Там, рядом со скамейкой, чернело пятно земли с серыми углями от прошлых костров.

Я носил дрова, а он перебирал рядом с колонкой грибы, долго мыл их, а потом высыпал в чугунок и понёс к костру. Позвал меня и попросил принести из сарая железную треногу.

Запахло дымом: остро, приятно, вкусно.

Отец сидел, курил, смотрел на огонь, на суп, шевелил палкой щепки, чтобы не слишком кипели наши грибы. Сходил, выкопал несколько молодых картофелин, оскрёб, помыл и покрошил в мисочку. А я все носил и носил дрова, складывал и складывал под стеной в полутёмных сенях... Наконец, закончил, сгрёб железными граблями, собрал из травы щепки, кору и в той корзине, с которой он ходил в лес, принёс к костру.

Не помню, в какой момент я сфотографировал отца рядом с домом. Может, когда он шёл от костра в дом, чтобы взять соли, а может, когда ещё не пошёл по грибы. Тогда тучи разбежались, засияло солнце, и снимки получились необыкновенно хорошо. А потом плёнка в фотоаппарате закончилась. Она закончилась как раз тогда, когда он попросил сфотографировать дедов дом. Причём так, чтобы и крыша железная была видна, и труба, и огород с высокой ботвой, и все яблони рядом с домом, и даже цветы под стеной... Но плёнка закончилась, такой вот я фотограф криворукий...

Пока грибы варились, а запах их был слышен даже в доме, я решил помыться. Взял с полки большую алюминиевую кружку, разделся догола, стал рядом с корытом и облился, быстро намылился, а потом снова начал обливаться. Вода в глубоком корыте нагреться не успела и сначала показалась очень холодной, но это мне даже понравилось. Спохватился, что не взял из дома полотенце. Его принёс отец, перекинул через ручку колонки и пошёл к костру. Я вытерся, оделся во всё чистое, а полотенце повесил сушиться.

Сидели у огня, курили, я — сигареты с фильтром, а он — московский "Беломор", и говорили, как здесь хорошо и тихо, и что осенью, когда выко-

пают картошку, будет много яблок, из которых придётся давить сок. Я попробовал ложку супа, и он попробовал. Снял чугунок и начал на маленькой сковороде жарить шкварки с луком. Предложил ещё сварить молодой картошки, но мы передумали, решили, что и так будет нам хорошо…

Темнело. Солнце, как за высокой стеной, спряталось за нашим лесом. Суп сварился, и отец понёс чугунок в дом, а я следом — сковороду. Вернулся и залил костёр, убрал в сени треногу. Нёс её осторожно, на щепочке — ведь горячая. В сенях пьяно пахло колотыми дровами.

Сели за стол и заметили, что в доме темновато, на дворе поздний вечер. Я попытался зажечь свет. Щёлкнул выключателем, но лампочка не загорелось. На столе ужин, бутылка, а отец начал разбираться с электричеством. И со счётчиком возился, и во двор быстро выходил, чтобы провода посмотреть, какие от столба в дом тянутся. Исправить не удалось, но и к соседям не пошёл, потому что любил есть суп горячим. А суп стоял налитый в тарелки, и ложки лежали. Он снял с полки у порога керосинку, зажёг, установил стекло, подкрутил фитиль. Теперь лампа заняла место рядом с хлебом, початой бутылкой и рюмками. Свет сделал всё тёплым, привлекательным, а то, что за окном, — синим. Пили, ели, суп был вкусный и густой от грибов и молодой картошки…

Вышли во двор, покурили на крыльце, посмотрели на небо. Потом я прилёг на дедову кровать, рядом с печью, а отец сел к столу на деревянную самодельную скамейку. Сидел и рассуждал о пропавшем электричестве, смотрел в окно на соседние дома, где горели окна, и курил. Он мог курить одну папиросу целый час. Потянет пару раз и сидит, думает, молчит.

Помню, как он сходил на чистую половину дома, но сначала убрал на столе. Потом вернулся, спросил, пойду ли я утром в лес. Я снова сказал, что будет видно. Он задул керосинку, убрал её со стола и решил ещё покурить.

Я смотрел на него, а он сидел за столом. Когда зажигал папиросу, свет спички делал его лицо золотым. Он взмахнул рукой, и в густой темноте засияла красная точка папиросы, и запахло табачным дымом. За окном стояла неподвижная и плотная чёрно-синяя деревенская тьма. Была только одна яркая точка — огонёк папиросы. Ту красную точку и помню, с ней я и заснул.

Когда открыл глаза, снова увидел каплю света. Но она была не золотая, не красная, не жёлтая. Капля та сияла голубым светом. И была она неподвижна. Первое, о чём я подумал сразу, — отец уснул с папиросой во рту. И тогда я негромко сказал: “Ты что, спишь? Эй?”

Отец не отозвался, даже дыхания его не было слышно. Капля синего света мигнула. Я поднялся с кровати и направился к столу. Руки, с растопыренными пальцами держал перед собой. От кровати до стола, может, каких-то пять шагов, может, даже четыре.

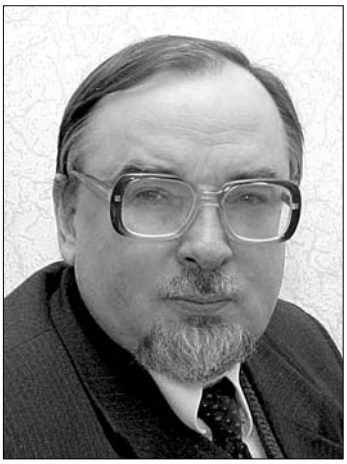
Моя рука коснулась синей капли света. Ладонь уперлась в оконное стекло. За окном, в плотной тьме, горела синяя звезда.

Я нащупал в кармане спички, чиркнул — звезда погасла. Зашёл на вторую половину дома. Отец лежал на кровати, на спине, нераздетый, только ботинки стояли на коврике, рядом. Он вздохнул, поднял руку и сбросил со щеки комара. Спичка обожгла мне пальцы и погасла.

Знаю, что если приехать летом на то место, где стояла дедова хата, дождаться темноты, то я увижу синюю каплю света. Маленькую, как огонёк папиросы. Но маловероятно, что я попаду туда. Да и зачем?

Перевод с белорусского
Алёны МАРКОВИЧ

МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ



РОДИНЫ ОБРАЗ

БЕЛОРУССКИЕ ЗАМКИ

В Кreве истлела пришельцев броня.
Кладка замшела.
Щупаю камни, пронзают меня
Памяти стрелы.

В землю священную поступь веков
Намертво вбита:
Вижу, к бойнице прильнув, крыжаков,
Давние битвы...

Слышу: кольчуги звенят и мечи,
Скачут тевтоны.
Вижу: возносите вы, кривичи,
К Богу иконы.

В небе рассвет зажигает зарю,
Алостью брезжит.
В шапках чешуйчатых кровель, смотрю,
Хаты — как вежи.

МЕТЛИЦКИЙ Микола (Метлицкий Николай Михайлович) родился в 1954 году в деревне Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1977). Работал корреспондентом еженедельника "Літаратура і мастацтва" ("Литература и искусство"), редактором издательства "Мастацкая літаратура" ("Художественная литература"), главным редактором журнала "Полымя" ("Пламя"). Автор многих сборников поэзии. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь имени Янки Купалы (1998), специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2013).

Конные полчища крымских татар
Вскинули пики.
Вижу я предков, гасивших пожар,
Светлые лики.

Плеск родника, словно голос веков,
Чистый и добрый.
Стойкость и вера — вот он каков,
Родины образ.

Крепнет мой дух. Пересилили грусть
Жизни аккорды.
Встанет на этих камнях Беларусь
Вольной и гордой.

Перевод Б. Спринчана.

* * *

Повыйдите к нам, братья, из былин,
Покиньте ваши тихие курганы —
Война свои смертельные капканы
Готова ставить средь лесов, долин.

Увидев рати ваши за спиной,
Торить нам будет легче путь земной.

И вы, враги, восстаньте из земли,
Побил когда-то вас славянский витязь,
И вы сегодня встаньте, отзовитесь:
Откуда вы и кто, зачем вы шли?

Погибель вашу видя за спиной,
Торить нам будет легче путь земной.

Перевод С. Макарова.

* * *

День добрый, Крево! Сквозь столетий звенья
Замшелые, седые валуны,
Как символы смиренья и служенья,
Глядят лобасто с Замковой стены.

Какие руки их сюда вкатили,
Чтоб тише стал напористый тевтон?
И вот теперь те валуны — в бессилье,
Мечей и копий слышат давний звон.

Ветрами даль здесь хлобыстнёт по стенам,
Устроит из былого вдруг налёт.
И ласточек на солнечных антеннах
Раскатом испугает самолёт.

И вздрогнет Крево или содрогнётся,
Свой белый день душой приветит вновь.
Под ним живой былиной остаётся
Седая память вечных валунов.

Перевод И. Котлярова.

* * *

Куст шиповника сам постоит за себя —
Его спелые ягоды лучше не трогай.
Посмотри лишь, как ветер метнулся, скорбя
И своей проходя проторённой дорогой.

Те искриночки света иль всё же тепла
Ещё ярче вдруг вспыхнут, коль день ледяной,
Коль зима их в свой плен как-то вдруг забрала
И отпустит, сама исчезая весной.

Но так ярок на снеге пунцовый огонь,
Он трепещет, как грудка того снегиря...
Лыжник ягоды зябко кладёт на ладонь,
И тотчас запылала на небе заря.

Долго слышен лишь снега порывистый хруст,
Всё бежит, убегает, дымится лыжня...
Да, отсюда, где зябнет искрящийся куст
И впадает в закат уходящего дня.

Перевод И. Котлярова.

* * *

Свой грузный воз дорогой катит осень.
Обвили память нити паутин.
Ещё денёк-другой — и на морозе
Заполыхает ярче жар калин.

Пушистый снег — белёсою периной.
Шурша, рыжеют гривы камыша.
В безлистых кронах окоёмы — зримей.
В покое просветляется душа.

Скрипит, шагая, молодой мороз
В рассветной дымке, мглистой и белёсой,
Меняя стук окованных колёс
На лёгкую мелодию полозьев.

Перевод Б. Спринчана.

ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

НЕ ХВАТАЕТ НЕБА

ПОВЕЗЛО

Я живу на краю,
Только хата моя не с краю,
А на самом бую,
И я первой рассвет встречаю,
И врагов, и друзей,
Словом, всех, кто к нам в гости едет
Мимо хаты моей.
Первой — я, уж потом — соседи.
Даже вишни мои
Раньше, первыми, зацветают.
Птицы ягоды их
Тоже раньше других съедают...

А пожар со степи
Сжечь пытался мой дом упрямо,
Слава Богу, дожди
Налетели и сбили пламя.

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО Тамара родилась в 1948 году в деревне Щепятино Брасовского района Брянской области. Окончила филологический факультет Брянского государственного педагогического университета. Автор более двадцати книг поэзии, прозы, стихов и сказок для детей, многочисленных публикаций в литературных журналах Беларуси, России и других стран ближнего зарубежья. Лауреат Национальной литературной премии Беларуси в номинации "Поэзия", многочисленных международных литературных премий. Член Союзов писателей Беларуси, России и Союзного государства, член Правления СП Беларуси и Союзного государства. Живёт в Витебске.

Хоть какая беда
Подкрадётся к нам в час неровный,
Моя хата всегда
Первой держит всю оборону.
Защищает село,
Часовым всех предупреждая,
Словом, мне повезло,
Впереди живу, а не с краю.

ЧУДО

В юности мы много слов приятных
Слышим, и восторги и признанья,
Все они естественны, понятны:
Первая любовь, рассвет, свиданье...
Молодость влюблённостью обильна,
Вот и комплименты пышным цветом
Сыплются из рога изобилья.
Никакого чуда нету в этом...

Но сегодня я видала чудо:
Не рассвета сказку, не заката,
Не цветенье сада, врать не буду,
То была больничная палата.
Скромный интерьер, а на кровати
Женщина седая, пожилая,
И в её потухшем горьком взгляде
Угольки пожаров догорали.

Память не всегда дарила радость,
Юность отгремела, пролетела,
Молодость умчалась, что осталось?
Изможднённое болезнью тело,
Грусть, тоска, усталость, боль без срока
И былых воспоминаний слёзы?
Но приходит к ней седой, высокий
Муж... В руках — пушистики-мимозы.

Нет, не в этом чудо, не в мимозах,
Не в горящих ярко апельсинах,
Чудо — эта встреча, эти слёзы
Радости на старческих морщинах.
Он погладил ей тихонько руку
И поцеловал: "Моя родная!
Как ты? — Я отлично! Как там внуки? —
Молодцы! Моя ж ты золотая,

Как сегодня ты опять прекрасна,
Звёздочки в глазах твоих сияют,
Мне от этого тепло и ясно.
Я красивей глаз твоих не знаю!"
А она с любовью отвечала
Взглядом молчаливым, долгим, нежным,
И больничная палата стала
Вся уютной и такой безбрежной.

Поутихли за окном метели,
И прозрачней воздух стал морозный,
У обоих лица молодели,
И светились солнышком — мимозы.

НЕ ВИНИ

Открыл мою книгу? Она — про тебя:
Похожие ночи, похожие дни,
Где в строки уложены жизнь и судьба,
А что не успела сказать — не вини,

Прости, что тебя предавали больней,
Коварней — обычная мзда за успех.
Себя не щадя, я постигла, что мне
Не выразить меры страданий за всех.

Бумагу возьми, карандаш, и — пиши,
Не прячь своё горе, откройся до дна,
Пусть рвётся плотина страданий души
И боль истекает, и тает вина.

* * *

Где мыслил я
и чувствовал впервые...
Ф. И. Тютчев

— Что ты бродишь по пепелищу?
Что ты плачешь в родном краю?
Что отчаянно, горько ищешь?
— Ах, ищу я тут — жизнь свою,

Дни влюблённости золотые
И свидания первого свет,
Только избы — давно пустые,
И ни следа, ни звука нет.

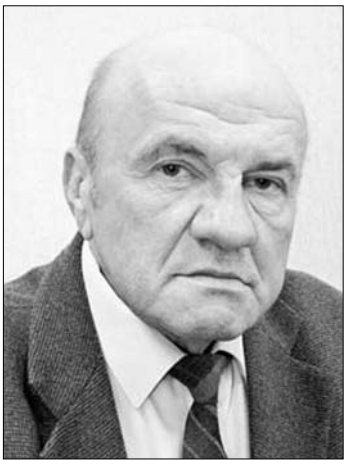
Нежно глажу крышку колодца —
В нём давно зацвела вода.
Где-то там, на дне, встрепенётся,
Всколыхнётся моя беда...

Она канула в эти недра
И уснула на самом дне,
Вот опять не хватает неба,
Не хватает воздуха мне.

Только ветер. Зелёный ветер,
И вселенский, зелёный шторм.
Мимо — жизнь в золотой карете,
Не поможет ничто, никто

Мою молодость — хоть глазочком! —
Увидать... Где любовь моя?
— Ма-а-ма! — мне закричала дочка...
Оглянулась, а это — я.

АЛЕСЬ ЖУК



ЛОШАДИ ДЕТСТВА

РАССКАЗЫ

СТАРИК И СМЕРТЬ

Он, кажется, давным-давно, даже всю жизнь жил один, хотя жена умерла одиннадцать лет назад. Труднее всего было пережить зиму. К старости мир делается совсем маленьким. Отошли старые друзья, новых нет, и заводить новые знакомства не было желания. Он пробовал заводить компанию, но не получалось. Как правило, компании оканчивались выпивкой, а пить он не любил. В молодости занимался альпинизмом. Там пить не принято. Правда, удачный подъём отмечали. Ещё запивали от погоды, когда идти в горы нечего было и думать. Да и от веселья, от избытка сил была выпивка в молодости, тогда не было причины заливать одиночество.

Что он имел к старости? Однокомнатную квартиру, которая осталась после замужества дочек. Они вышли замуж одна за другой, и он с лёгкостью разменял свою четырёхкомнатную, чтобы молодые имели свой угол. Теперь муж старшей держит торговую точку, как любит говорить он сам, а муж младшей — дальнобойщик. Внуки уже пооканчивали университеты-институты. Их у него четверо, и они тоже живут своей жизнью.

Всю жизнь он работал в архитектурном бюро. Рабочий день по расписанию, выходные — тоже. Уже и в пенсионном возрасте работал три года, просыпался в установленное время, хотя всю жизнь ленился вставать по утрам.

ЖУК Алесь (Александр Александрович). Родился в 1947 г. в д. Клешев Слуцкого района Минской области. Окончил филологический факультет Белгосуниверситета. Работал в литературно-художественных изданиях, в том числе главным редактором журнала "Нёман". Автор многих книг прозы. Лауреат литературной премии им. И. Мележа и премии Ленинского комсомола Беларуси. Живет в Минске.

Веселее было с женой, он была немного болтливой, но завистливой и мужа не "пилила". Вместе они построили и эту так называемую дачу — небольшой, но уютный садовый домик. Какой-то председатель новосозданного садового товарищества обратился к нему. Он бесплатно помог с проектированием и другими архитектурными увязками и неувязками. В благодарность ему выделили участок. Надо сказать, то ли организация была "солидная", то ли председатель разворотливый, но добился он разрешения вести строительство по индивидуальным проектам, а не ставить холодные однообразные щитовые домики, как было принято. Пользуясь этим, некоторые перевезли большие деревенские избы. Старик раздобыл нового здорового леса и построил приличный домик с печкой, плюс к этому веранда, которая служила кухней, и небольшая комнатка под крышей.

Получилось так, что он будто и предвидел, что детям и внукам эти садово-огородные участки не понадобятся. Дети, пока были маленькими, с удовольствием дачничали, тут у них были и свои компании для игр, и лес рядом, в те времена довольно грибной. А когда выросли, грядки оставили старикам, пошашлычить иногда наезжали, не более. Ну, и от яблок из своего сада никто ещё не отказывается.

Правда, дочки приезжают регулярно, забирают и перестирывают одежду, постельное бельё, привозят продукты.

Вот такова она, старческая жизнь, получилась. Можно этим и гордиться, можно и просто утешиться. Но больше всего вспоминается молодость, когда занимался альпинизмом. Чаще всего он бывал на Кавказе, но довелось повидать и суровый Тибет, и на Урале бывал, и в Саянах…

Теперь он может свободно распоряжаться своим временем. Имеет все необходимые ему инструменты, с удивлением вспоминает те времена, когда всё надо было доставать. Особенно импортную мебель, продажу которой даже распределяли по предприятиям. Теперь он удивляется, что ему было интересно всё это. Скорее всего, потому, что в молодости много энергии.

Забот по даче хватает. У него своё небольшое хозяйство. Первое — надо досматривать сад, заимел и грядку клубники, когда внуки были еще маленькими, потом заменил её на садовую землянику. Да и зелень надо иметь, смешно же с дачи в город ездить за пучком лука, укропа, да и ранний огурчик с грядки ничуть не лишний. Для этого с весны ставит небольшую тепличку.

Когда был моложе, то в лесу, что рядом, заготавливал дрова. Там было многого молодых берёз, которые под силу взять и старому человеку, и сосняково сухостоя для растопки хватало. Конечно, от таких, как он, охотников берёз порядочно убыло, а те, что остались, выросли в матерые деревья, которые с его силой не взять даже и бензопилой. Дрова он покупает в местном гортопе, большие колоды оставляет зятьям, небольшие колет сам. Печку подтапливать нужно, потому что на дачу заезжает с весны и сидит иногда до поздних холодов.

Спит минимум до одиннадцати часов, говорит, что отсыпается за молодые годы, хотя и сам иногда подумывает, что это обыкновенная старческая сонливость. В конце концов, ему для работы хватает и оставшегося дня.

Летом на даче люди, есть с кем поговорить.

Зимой занять себя в городе труднее. Комнатка, телевизор и книги на полках. Он застал ещё то время, когда страна была всечитающей, и книги тоже надо было доставать. Доставать лучше умела жена, он и теперь удивляется, как ей всё это удавалось, да ещё на итээровские зарплаты содержать прилично и одевать девочек, а порой ещё и модный хрусталь добывать. Позже этот хрусталь, ненужный ему, разобрали дочки, многое перевезли на дачу.

Старик был рад за дочек, которые не затерялись в жизни, определились с семьями, да и сыновей вырастили. Иногда семействами приезжали к нему на день рождения пошашлычить. Дочки накрывали на стол, мужчины занимались шашлыками. Его "коммерсант" неизменно привозил, как он говорил, бутылку фирменного бренди, которую, практическим, сам и выпивал. Внуки не пили даже пива, вели свои малопонятные ему "компьютерные" разговоры. Старика удивляло, что в этом во многом непонятном ему мире у моло-

дёжи появилась мода на непитие и некурение. Тут зятья были и понятнее, и ближе.

Когда гости разъезжались, старик пытался думать о своей жизни, о жизни своих детей и внуков и, в конце концов, понимал, как далеко вперед ушла жизнь и что он остаётся в самом конце её… С тем, слегка захмелевший, и засыпал спокойно и крепко.

У него была счастливая черта характера: он не умел таить обиду на людей, а на своих детей — тем более, не хотел что-то требовать от них. У них была своя жизнь. Он даже с юмором воспринимал тогдашнее столпотворение на перронах электричек. Тогда считалось, что каждый нормальный человек должен иметь "дачу". Он, естественно, не попал в первую волну раздачи. Считалось, что товарищества должны были решить проблему садово-огородного обеспечения страны. Проблему они не решили, но проблему летнего отдыха детворы в те времена решали успешно. Тогда детьми дачи буквально кишели, звенели детскими голосами и лес, и поле, пока родители копались на огородах.

Старик так и не заметил, как неумолимо начался укорот его жизненного пути. Сначала стали тише женские голоса, убывала на дачах детвора. Люди, наверное, как и деревья в лесу, не замечают, что их становится меньше. Только грибники всё чаще и чаще спотыкаются об упавшие стволы.

На природе, когда всё живое начинало отходить в зимнее безмолвие, не особенно угнетали долгие вечера, потому что дачники всё же объявлялись в погожие дни, особенно если продолжалось грибное время. Исключением были дождливые ветреные дни, когда дожди хлестали по стенам избушки и днём, и ночью, но приятно утешало тепло от натопленной печки.

А вот угнетённость от одиночества в городской квартире, особенно в первой половине зимы, с годами начала переноситься всё тяжелей. Старик не находил себе занятия, не утешали и книги. Хотя он заметил, что книги имеют удивительную способность со временем восприниматься по-другому. Ни с того ни с сего хотелось перечитать Тургенева, особенно его ранние молодые повести, убаюкивала спокойная размеренность "Дворянского гнезда". Он иногда думал: зачем ему, старику, ранний Тургенев? Или зачем набивать голову новыми знаниями, если уже совсем скоро не станет и его самого со всем приобретённым опытом. Однако утешение было: наверное, так Бог сотворил человека, а тот, в свою очередь, придумал загробную жизнь. Получалось, что он накапливает знания для той, загробной жизни. Это горько веселило и взбадривало.

А потом старик в начале зимы, когда начали браться небольшие сухие чистые морозики, нашёл неожиданно для себя занятие.

Сколько раз он проходил в Троицком предместье мимо небольшого, словно игрушечного памятника, не особенно обращая на него внимание. На памятнике бодро шагал старичок с котомкой и крепким кием в руке. И старику показалось, что этот человек чем-то похож на него. И главное, что шёл он уверенно, зная, куда идёт. Была в этом человеке какая-то непонятная и привлекательная ясность.

Потом старика от этого памятника что-то повело — иначе и не скажешь — в Купаловский парк. И не к монументальному поэту, а к девушкам, которые в любую пору года неутомимо отпускали свои венки надежды. Была какая-то магия в этом металле. Дальше — больше, он начал присматриваться к кузнечной работе на решётках балконов старых зданий, редких уже в глухих закоулках города.

Нового, выросшего на большой площади города он не знал, не мог охватить его.

Теперь старик в сереньком коротковатом пальто, в ушаночке, уши которой были связаны на затылке, с тросточкой, смастерённой своими руками из можжевельника, ежедневно отправлялся гулять по городу. Он любовался танцующими девочками на былой Парковой магистрали, сидел на лавочке рядом с девушкой в привокзальном скверике, любовался каретой возле восстановленной ратуши. Если бы наблюдать за ним со стороны, могло бы сложиться впечатление, что человек что-то настойчиво ищет. В своих поисках

он чувствовал себя легко и бодро даже в морозные дни. Его неброское пальто было на меховой подкладке, удобные варежки согревали старческие руки.

И чем больше старик блуждал по городу, тем чаще вспоминал места, где не только жил, а и часто бывал когда-то. Вспомнилось ему и старое Слепянское озеро. Оно зарастало, мелело напротив Ботанического сада. С другой стороны вдоль него возвели девятиэтажки. Но озеро продолжало жить, и вдоль ручья, от которого оно начиналось, на болотине роскошествовали высокие тростники. Где-то там стояли здания из красного кирпича, возможно, усадьбы Ваньковичей.

Ещё тогда старик вышел на окраину парка Челюскинцев. Туда мало кто добирался — все аттракционы были поближе к проспекту. На краю парка он обнаружил обелиск, который свидетельствовал о том, что во время войны там были расстреляны люди… И с той возвышенности открывалась вся заросшая тростником ложбина, и не было видно самого зеркальца озера.

Старик начал искать это место, хотя знал, что после реконструкции Слепянской водной системы, где каналы ровно выложены плиткой, где все перестроено, уже не будет тростниковых зарослей.

Однако опять что-то вело старика на то место, ему надо было побывать там.

Старик нашёл тот бугор. На нём росла старая, в два ствола ива. У комля кора на ней, как у древних воинов, была похожа на латы, которые покрылись мхом.

Возможно, сильным ветром один ствол было сломан и скручен. Поэтому смотрители парка просто отпилили его, и ива осталась жить с одним стволом, мощная, роскошная, она потихоньку зарубцовала рану, и получилось удобное сиденье… Оно оказалось удобным, и время от времени старик начал приезжать к иве, садился, укладывал руки на тросточку. Зимнее солнце пригревало лицо, и глаза невольно закрывались… И ему начинало казаться, что под ветром волнуется целое тростниковое море и он слышит его шёпот, такой приятный и ожидаемый…

Таким старика и нашли случайные лыжники. Он сидел, положа руки на тросточку, спокойный и умиротворенный. Лыжники едва не пошли дальше, и смутило их только то, что следы к иве давно засыпаны снегом и снег нетронуто лежит на человеке…

ЛОШАДИ ДЕТСТВА

Я всегда помнил о них, но к старости они начали вспоминаться и сниться всё чаще. Где-то с двенадцати лет мы с нетерпением ожидали в конце весны школьных каникул. Впереди было лето, и с нами всё это время были лошади. Начали мы привыкать к ним ещё раньше, когда были поводчиками у старших ребят, когда окучивали картошку. Сидели на лошади и управляли ею, чтобы шла в междурядье. А потом поняли, что лошади быстро усвоили эту науку, в конце поля они сами заворачивали и становились на следующий заход.

На целое лето у каждого из нас была “своя” лошадь. Мне досталась чёрная кобылица Чайка с белой звёздочкой на лбу, довольно спокойного нрава. Более шустрые лошади достались ребятам постарше. Поля нашей деревни были большие и длинные. Работа довольно однообразная, зато перерывы на отдых были занимательными. До чего мы только не додумывались! Теперь не всё и упомнишь. Даже заставляли колхозных лошадей прыгать в высоту. Натягивали вожжи, и лошади покорно прыгали. Но главным удовольствием была езда в поле и с поля. Поэтому мы любили, когда картошка была посажена на дальних полях. По концам деревни в поле вели две “стенки” шириной метров в сорок — прогоны, по которым можно было прогнать на пастбище стадо коров. Вот тут и начиналось главное — езда наперегонки. Какое это сладкое и счастливое чувство, когда лошадь в полный карьер несёт тебя над землей, ты сливаешься с лошадью в одно целое, только слышны стук копыт

и собственного сердца, и ветер в ушах! И тогда кажется, что ты не на полевой дороге, а летишь над землей и вот-вот взлетишь далеко и высоко. Но за счастье полёта приходится платить. Земля не хочет отпускать от себя земного человека. И мы частенько падали с лошадей, а иногда и вместе с ними, на жёсткую полевую дорогу.

Начинала уже цвести рожь, мы весёлой стайкой ехали с поля домой на обед, и естественно, наперегонки. Возле самой деревни неизвестно откуда вдруг взвился небольшой вихрь, взметнул пыль и откуда-то с обочины бросил коням под ноги кусок старой порыжевшей газеты. И стройный, бело-седой в мелкую крапинку Рысак, который был под Володей Кубанским, — наверное, не чистых кровей, но быстрый на бег — на полном скаку испуганно шарахнулся в сторону. Володя тяжело упал на полевую дорогу. Упал и некоторое время лежал неподвижно. Мы испуганно остановились, подъехали к нему. Остановился и Рысак. Мы помогли Володе встать на ноги, испуганные и притихшие. Володя как-то туманно смотрел на нас, словно свалился с неба и видит нас впервые. Из ушей у него тоненькими струйками текла кровь. Нам стало страшно, мы подвели Рысака, и тот неожиданно опустился на колени. Дальше ехали медленно... Двое вели Рысака под уздцы.

Позже удивлённо вспоминали, как Рысак опустился перед Володей на колени, видно, в его крови была и благородная лошадиная кровь.

Красивого, тонконогого Рысака люди обычно просили у бригадира, чтобы съездить в гости, на свадьбу. При нём празднично смотрелись застланные разноцветными самотканными постилками телеги и сани, да и сами поезжане.

Сивая кобылица Зебра, с тёмной шерстью в белых коричневых крапинках, широкая в кости, с коротковатым туловищем, была сильной, могла привезти из леса ладный воз с дровами. Кличку Зебра она получила из-за своего строптивого нрава.

Жаркими летними днями в полдень не только мы отдыхали дома, но и лошади в конюшне с настежь открытыми дверями. Перед тем как ехать опять в поле, лошадей надо было напоить. Для этого в деревне у колодца стояли специальные выдолбленные из толстых брёвен длинные корыта. Лошадь пьёт только свежую чистую воду, если вода слишком холодная, она медленно тянет её сквозь зубы.

Зебра напилась воды, но идти работать не хотела. Когда я хлестнул её по бокам поводьями, она начала лягаться, подбрасывая круп вверх, завертелась на одном месте, чтобы сбросить меня. Я ещё раз потянул её поводьями, она начала мотать головой, пытаясь достать меня. Я еле успевал уклоняться от ударов и удерживаться верхом. Хлопцы, которые уже были на лошадях, взяли Зебру с боков и сзади в кнуты. Зебра рванулась вперёд, ещё раз мотнув головой назад. И всё же попала мне в переносицу. В глазах у меня стало звёздно, из носа потекла кровь. Зебра несла меня к конюшне, намереваясь с ходу влететь в неё. Ворота в конюшню были низкие, и мне, чтобы не разбить голову, пришлось падать наземь.

Через много лет, когда я был уже взрослым, доктор спросил у меня:

— Вы занимались боксом?

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— У вас искривлена переносица. Можем исправить.

Я отказался — эта искривленная переносица не мешала мне жить. И вспомнил Зебру.

Клички коням давались всегда точные. Другая кобылица, тёмно-каштановой масти, посильнее Зебры, была и туловищем подлиннее, кличка Львица очень подходила ей. А самым приметным в деревенских табунах был Пегий, он имел чёрно-белый окрас, как корова.

Ну, а попасть в ночное было уже признанием взрослости. Кто из мальчишек откажется провести ночь у костра в ночном! Да и назавтра не надо было идти на работу, надлежало высыпаться.

Ещё с вечера мы начинали готовиться к ночному, заготавливали дровишки и ветки, собирали на пастбище высохшие коровьи “блины”. Дров должно было хватить на уголья, в которых запекалась бульба, а кизяк должен гореть всю ночь и согревать нас. Конюх дядя Федя, искалеченный войной

и в немецком плену, с вечера подрёмывал в своём длинном вылинявшем брезентовом плаще, покуда мы разжигали костёр, запекали бульбу. Потом вместе с нами ел бульбу, посыпая её солью, и отправлял в обход табуна свою остроухую собаку Волчка. Кобылу Львицу и своего Волчка он любил и гордился ими, это была его жизненная радость.

Начинались его рассказы о лошадях, а потом и о волках, которые любят ночью подходить к табуну и могут унести жеребёнка, когда его мать с малышом неосмотрительно выйдет из табуна.

Однажды во время такого рассказа Волчок ни с того ни с сего начал жаться к ногам дяди Феди.

— Смотрите! И вправду говорят: о волке помолвка, а он тут как тут.

Дядя Федя встал, сел на свою Львицу и поехал вокруг табуна, громко покрикивая на лошадей. Волчок остался с нами у костра.

Под утро сильно клонило ко сну, утренняя роса студила босые ноги. Тогда каждый из нас находил в табуне свою лошадь, влезал на неё, ноги засовывал ей под мышки, ложился на лошадь, и она грела нас своим теплом…

Светлело небо на востоке, этот дальний свет понемногу зеленел, поднимался выше, небо синело, а потом и светло, тонко розовело. Но нам было не до утренних красот.

А потом приходило утро и начинало вставать солнце.

После того как оканчивались наши работы на картошке, оканчивалась и работа весёлой гурьбой. Когда мужчины уезжали на дальние сенокосы, мы вместе с женщинами свозили с лугов сено, высушенный клевер. Подростками мы умели косить, пахать, класть возы сена и снопов. Вместе мы собирались только после работы. Ещё не все старицы спрямлённой реки заросли. Одна из стариц называлась Конской, и в ней, в живой ещё реке купали лошадей.

Мы подрастали, нас уже начинали интересовать девчонки и вечеринки…

Эпоха колхозных лошадей окончилась довольно быстро, когда на полях появились “Белорусы”. Они за несколько дней вспахивали, боронили, окучивали, привозили и отвозили грузы, умели делать очень много колхозной работы, да и не только колхозной, а вообще крестьянской. И два табуна лошадей для одной, пускай и большой, колхозной деревни стали лишними. Чья-то голова придумала скармливать лошадей свиньям для увеличения привеса. Свиньи тут ни при чём. Это люди убивали лошадей моего детства.

На другом, высоком берегу когда-то полноводной реки был Большой Курган, вокруг него, на склоне и по полю — маленькие курганы. Все это люди называли Шведскими курганами. На кургане росла небольшая берёзовая роща. Берёзы были необычными, не прямыми, а искривленными, кора на них была не тонкая, а корявая, как на старых деревьях. Они больше напоминали карельские берёзы, встречающиеся и в Беларуси. Привычные нам берёзовые рощи вдоль реки были вырублены во время Первой мировой войны на военные укрепления. Эта рощица сохранилась, там соорудили летний лагерь для свиней, чтобы хрюшки во время жары могли отдохнуть в теньке, да и жижа по склону ручейком стекала в реку из этого свиного летнего лагеря.

Тропинкою через эту рощицу мы ходили в школу, которая находилась в соседней деревне. В тот день по дороге из школы я увидел возле навеса нашего колхозного конюха Деда Дужего, невысокого, но крепко сбитого мужичка. Прозвище своё он получил за то, что выпившим, возвращаясь домой, во всю глотку орал: “Я дед дужий!” Он очень ловко привязал ко вбитому в стену крюку лошадь, потом замахнулся и изо всей силы ударил лошадь обухом топора между ушей. Лошадь рванулась, взвилась свечкой и замертво рухнула на землю.

Так впервые и единственный раз в жизни я увидел убийство. Оно потрясло меня.

Мне кажется, с тех пор я не люблю людей, люблю детей, собак, зверюшек…

Женщины? А они, возможно, и не люди, а какие-то другие существа, живущие вместе с нами. Мы пытаемся разгадать их испокон веков, не разгадали и не разгадаем. Но мы не можем жить без них, как и они не могут жить без нас.

Давно уже не стало Шведских курганов, и даже Большой Курган разворотливый председатель по фамилии Павлюдь раскопал и отсыпал им дорогу от конторы к небольшому ручейку, в который превратилась бывшая река. Или, может, пытался выкопать из-под того кургана золотую карету?

А берёзовая рощица уцелела, такая же кряжистая и навечно вросшая в землю…

Многое не сохранилось. Нет журавлиной дороги над полями моего детства. Журавли, лошади, жито, жизнь — все это из одного святого для меня ряда.

В больших, грустных глазах лошади отражался в начале жизни весь мир, и ты в этом большом мире. Будь на то моя воля или средства, построил бы памятник Его Величеству Коню — труженику и воину.

И теперь разъединение с этим миром представляется мне дорогой из вечной печали полей в белый, как молоко, туман речной долины, в который ты погружаешься на лошади, как в неизведанное непонятное бытие, которое по сути своей и есть небытие, и туман закрывает, закрывает сперва коня, а потом и тебя самого.

И на этой последней дороге тебе обязательно увидится детство…

Перевод с белорусского автора

АНДРЕЙ СКОРИНКИН

СОГРЕЙТЕ НАС СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ

БАБОЧКА

Бабочка качалась на цветке,
А когда вспорхнула — вдалеке
Рухнула громадная скала...
Вот какая бабочка была!..

НИЩИЙ

К нищему села на ворот
Бабочка цвета небес,
С ней он отправился в город
В поисках светлых чудес.

К тихому храму дорога
Шла через шумный вокзал.
“Барин, подай, ради Бога!..” —
Кто-то во тьме простонал...

СКОРИНКИН Андрей Владимирович родился в 1962 году в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве. Автор двадцати поэтических книг и четырёх музыкальных альбомов. Член Союза писателей России, член Союза писателей Беларуси.

Ломтем последнего хлеба
Странник себя обделил
И устремился на небо,
В царство духовных светил!..

Бабочка ангелом стала,
Сам он Архангелом стал...
В тёмном подвале вокзала
Бог на полу умирал...

* * *

Какое счастье — видеть небеса!
В земле такой возможности не будет...
Но почему на землю смотрят люди?
Что ищут на земле людей глаза?..

* * *

Какая жуть — идти по льду
В конце зимы под небом звёздным,
Когда со дна реки беду
Пророчат воды буйством грозным;
Когда средь лунок, как средь мин,
Идёшь и чуешь льда трещанье,
И сознаёшь, что ты один
Под звёздной чашей мирозданья...

ПОКАЯННОЕ

О, дети неба и земли,
Которых нет на белом свете,
Которых мы не сберегли...
Простите нас, святые дети!
Я жить спокойно не могу...
Как вспомню вас, так плачу кровью...
Согрейте нас своей любовью
На том и этом берегу!

Я говорю за всех отцов
И матерей планеты грешной:
За всех ответчиков, истцов,
За всех, кто вас растил небрежно,
За всех, кто даже не узнал,
Что жили вы на свете белом,
За всех, кто вашим белым телом
На чёрном рынке торговал,

За всех убийц и палачей,
За всех жестоких офицеров,
За всех неопытных врачей
И неумелых акушеров...
Простите, ангелы Христа,
За все грехи Земли безбрежной.
Любите нас светло и нежно,
Без вас мы — камни, глыбы льда...

На том и этом берегу
Согрейте нас своей любовью!
Я жить спокойно не могу...
Как вспомню вас, так плачу кровью...
О, дети бедные мои,
Которых нет на белом свете!..
Простите нас, родные дети,
За то, что вас не сберегли!..

* * *

Не ищи потерянного рая,
Не зови прошедшую любовь;
Посмотри, как звёзды, отгорая,
С новой силой вспыхивают вновь!

Может быть, и мы, в былые годы
Распылив огонь любви святой,
В чудотворных органах природы
Возгоримся утренней звездой!..

Неспроста зимой страдают птицы,
Не случайно свет у тьмы в плену...
Без разлук любовь не сохранится,
Без зимы не чувствуешь весну!..

АННА МАРТЫНЧИК

ВОЗВРАЩЕНИЕ

* * *

Оттепель... Близкие сердцу окрестности...
Вновь обиваю проотчий порог...
Здесь колыбель, а не зона оседлости!
Родина... истина... святый чертог!..

Эх, голытьба! Во дворах да в околицах!
Лишь старики у окошек сидят...
Гряды пусты — оттого неспокоится...
Живы Землёй: от ногтей и до пят!

Поле совсем исхудало от холода:
Сплошь оголённые рёбра борозд...
В воздухе — изморозь... с привкусом солода...
И над просторами — пасмурный холст...

Галки штурмуют смурное безмолвие —
В серости ищут небесную синь...
Нет — не изящество... нечто весомее!..
Что-то, с чего начинается жизнь!

Анне Мартынчик двадцать два года. Она родилась и живёт в Минске. Автор двух поэтических сборников, член Союза писателей Беларуси, лауреат международной литературной премии им. Сергея Есенина "О, Русь, взмахни крылами..." и нескольких других поэтических конкурсов.

* * *

Утро густыми туманами пенится,
Выпали росы на заспанный луг...
Ветер, запутавшись в лопастях мельницы,
Чертит порывами замкнутый круг.

Соком точи́т на берёзе отметина,
Листья бросаются под ноги с крыш...
Всё-таки вспомнила! Всё-таки встретила
Некогда щедро вскормившая тишь!..

Дали ухожены, тропы исхожены,
Виды намолены в свя́той любви!
Всем здесь покой: и своим, и непрошеным...
Но возвращаются только свои!

Радости слёзы умыли прощением...
Вечность разлила небесную синь...
Так, по пятам за былым поколением
Я возвращаюсь наследовать жизнь!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Тишь деревни не посмею потревожить.
Каждый двор свои объятья распростёр...
"С возвращением!" — хвостом махнула лошадь,
Клубом дыма поприветствовал костёр.

Сеть тропинок разрослась во все четыре,
Мне отрадно и тоскливо... не впервой...
Здесь и дышится, и чувствуется шире
Средь величия раскинувшихся хвой.

Расцвели в запруде жёлтые кувшинки,
Белым соком светел яблоневый плод...
Деревянный крест встречает на развилке,
А вокруг ветра сроднились в хоровод.

Ближе к дому — и рубаха к телу ближе,
Образ матери сквозь серый омут слёз...
"С возвращением..." — встревожило затишье...
Укоризна?..
Ликование?..
Вопрос?..

* * *

Не вспомню: дышалось ли не́когда чуточку легче?
Не тишь, а страшащая немость... Взывай — не взывай!
Осудит меня за печали всевышнее Вече...
Но примет заблудшую память отеческий край!

Домой!.. Восвояси, где здравый порядок житейский,
Где лихо ночи́ отпугнёт на рассвете петух.
В залатанной глиной печи всё дровишки да трески,
Хрустят, усмиряя мой суетный норов и дух.

Отмыла от нечисти банька, что паром сырая,
И чистому телу рубаха сошла в аккурат!
Берёзовый лист, на горячих камнях догорая,
Груди даровал земляничный блажно́й аромат!

И горы осыпались с плеч и воспрянули плечи...
Равнинная ширь приняла мою суть без прикрас.
Легко... Не припомню, дышалось ли некогда легче?..
И канула немость... И слышен спасительный глас!..

* * *

Девятым деньком после Пасхи как должное: солнце,
И хочется красить цветами холодный гранит!
Всё больше и больше в истории нас остаётся,
Как должное: добрую память наследник почтит.

Девятым деньком после Пасхи столицу покину,
Проотчие тропы раскинутся свежей травой.
Я лучший кусок пирога отнесу на могилу...
...Как будто избавлен от голода каждый живой...

Протру намогильную рюмку, оставив пустою,
И вспомню судьбу нечужого, который молчит.
Всё ладное — в повесть скрою, а неладное — скрою,
Глотая комок ностальгии, что в горле горчит.

На кладбище мне неспокойно, неясно и немо.
Как будто взяла не своё, да забыла вернуть...
“Не быть или быть”? — здесь для всех разрешима дилемма:
Постигшим — покой, а живущим — прискорбие в грудь.

А помнишь ли, милая, вместе сюда приходили?..
Я в детских ладошках несла золотистый песок...
Сияет без жалости желтый наряд на могиле,
Где имя твоё и отпущенный Господом срок!..

Кукушка утихла. И я застываю в покое,
И катятся слёзы от грешной гордыни тайком.
Как должное: солнце и горстка песка на ладони,
Никто не забыт... после Пасхи... девятым деньком.

ИВАН ЧАРОТА

С ПОЗИЦИИ СОВЕСТИ

Валентин Распутин и славянство

Не претендуя на то, чтобы заявленную тему осветить с надлежащей полнотой, заранее извиняюсь за вынужденную беглость и поверхностность изложения, а также прошу принять оправдательное уточнение: это попытка хоть как-то подступиться к важному и весьма непростому для осмысления вопросу, во всяком случае, обратить на него внимание.

Как славяне мы не смеем быть равнодушными к исторической судьбе славянства в прошлом, настоящем и будущем. Вот и мне, в меру моих скромных возможностей, неоднократно доводилось писать о ней. О чём, прежде всего, размышлял я, позволю себе повторить: о судьбе славянства как "феномене поразительном и провиденциально-поучительном в разных отношениях", о "внутреннем состоянии и самосознании нашем как славян", "о том, что должно бы называться "расславяниванием" или "деславянизацией", о "межславянских спорах и раздорах", о тех результатах, которые вследствие отмеченного уже проявляются в филологической науке, литературе и духовной культуре славянских народов, и о том, что нас ещё ожидает.

А продолжить раздумья помогает приснопамятный Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015), с которым я был знаком лично и имел честь выступать с пленарным докладом на посвящённой его 75-летию конференции в Иркутском университете. И сейчас, когда его уже нет в живых, как бы само о себе напоминает исключительно интересное и значимое, однако не оцененное по реальной значимости (как историософское, а не ситуативно-публицистическое) произведение, с которым он двадцать три года назад выступил, – "Что дальше, братья-славяне?"*.

Временная дистанция не только позволяет, но и побуждает разобраться, насколько высказанные тогда опасения подтвердились действительностью; к тому же это обращение так или иначе касалось и меня, белоруса, представителя народа славянского, братского, причём по отношению к русскому "единоутробного", как определял сам Валентин Григорьевич.

Вынесенный в заголовок распутинской публикации вопрос ставился, как известно, в особых условиях, вынуждавших констатировать, что "никогда ещё славянство не было так далеко друг от друга, так друг к другу нетерпимо,

---

* Распутин В. Г. Что дальше, братья-славяне? // Встреча. 1992. № 9. С. 5–7. Все цитаты приводятся по публикации: Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. М., "Молодая гвардия". Т. 3. С. 388–410.

и никогда ещё, за исключением кратковременного послереволюционного периода, сама Россия не падала так в своём политическом и нравственном значении", в прямом смысле "на пепелище" бывших СССР, ЧССР и СФРЮ, неизменно декларировавших братство и единство родственных народов. Причём Валентин Григорьевич на полную громкость озвучивал его "не для упрёков и предъявления счёта, а только для того, чтобы проследить, как это происходило, и прикинуть, пойдём ли куда-нибудь дальше".

Всем нам, думается, понятно, что вопрос этот и в наши дни отнюдь не риторический. Более того, очевидно, что опасения подтвердились со всей определённостью, а намечавшиеся тогда противоречия не сгладились, а наоборот, усугубились во всех планах. Особенно вот в этом: "В сущности, российские славяне – это один народ, народ русский, разлучённый историческими обстоятельствами в старые времена на три части и в разлуке наживший различия, давшие основание называться Малой, Белой и Великой Русью. Но – Русь, с единым телом, единой душой и сердцем, сращенность которой могли взять-ся проверять только враги её". Нам остаётся лишь засвидетельствовать, что до последнего времени это единство жестоко проверяется и результаты проверки утешительными назвать нельзя.

О складывавшейся именно так ситуации Распутин говорил с болью и горечью, с тревогой за судьбу современного мира и славян в нём, что для нас в данном случае важно, хотя и не без обиды на тех "братьев-славян", которые способствовали разломам и раздорам, но всё же так или иначе принимая давно сложившееся и историческим опытом подтверждённое мнение, что "русский вопрос есть вопрос славянский, а славянский есть вопрос русский", поскольку "Создатель высеял нас единой горстью".

Само собой разумеется, что к "славянскому вопросу" у Валентина Григорьевича подход "русскоцентричный", а это значит, что и в историческом, и в актуализированном аспектах его содержание русский писатель воспринимает объективно иначе, нежели представители других, особенно западных, славянских народов. Но, опираясь в этой своей публикации на мудрые и пророческие суждения Ф. М. Достоевского, В. Г. Распутин, подобно своему великому предшественнику, постоянно учитывает как непременный и определяющий фактор "всемирную отзывчивость" русского человека, о которой вслед за Достоевским он тоже много размышлял и неоднократно высказывался. Вот и на этот раз, последовательно трезво оценивая и "славянские грёзы", и "славянское самоедство", Распутин принял в качестве свыше предначертанного следующее: "Это не воля наша – быть или не быть славянином? Это наша доля, вручённый нам в рассветные времена человечества духовный надел".

Собственно, есть все основания считать, что как раз ответственность за этот "духовный надел" предопределяет многое из того, что свойственно позиции В. Г. Распутина – писателя и гражданина. Причём то, что в его мировоззрении и художественном мироотражении концентрируется именно русское самосознание, по большому счёту, противоречий не создаёт. Ведь бесспорно, что русская составляющая до сих пор является основой и опорой славянства. Более того, как верно утверждал Валентин Григорьевич, ею объективно обусловливается и будущее: оно "будет зависеть от того, спасётся ли Россия. Не устоит она – поминай как звали славян всех вместе и каждого по отдельности".

Не секрет, что публичные рассуждения об особой исторической роли русского народа зачастую вызывают настороженность, а то и подозрения в шовинизме, гегемонизме и т. п. Но меня-то, как этногенетически не принадлежащего к племени великорусскому, подозревать в подобном вряд ли стоит. Хотя и я, должен признаться, не смущаюсь, а скорее горжусь тем, что представляю ветвь (пусть и не так уж цветущую) от общерусского ствола и славянского корня. И мне, белорусу – не белофинну, не белоевропейцу, не белоамериканцу, и даже не белополяку – великоросс Распутин, естественно, близок. Что называется, по определению.

К тому же для меня, родившегося и воспитанного изначально в крестьянской среде, как и для выдающегося русского писателя В. Г. Распутина, уже вследствие происхождения бытийно значима и неизбывна проблема деревни... А вместе с тем она и по-особому сложна, по-настоящему болезненна. В общем, даже если бы очень хотел, я никак не способен подходить к этой проблеме отвлечённо, а тем более отчуждённо. Всё происходившее и проис-

ходящее, так или иначе, я должен оценивать с учётом опыта не только своего, но и своих предков. И только этот совокупный опыт позволяет как-то находить разрешения противоречий, особенно нравственных. Скажем, как только я настраиваюсь на лирически-ностальгическую волну и начинаю говорить о благоприятных условиях жизни в той деревне, которая всё ещё до боли дорога, сразу же (во мне самом!) отзывается скептический оппонент: "Да зачем распускать нюни?! Бросай город и возвращайся в деревню!.." Однако и при самой что ни есть критической настроенности, опять-таки, я не чувствую за собой права осуждать нынешних жителей деревни, которые эту среду обитания делают далёкой не только от идиллии, но и от всяческих идеалов. Ведь любой из оставшихся сельчан, а заодно и тот же (само)критичный alter ego, с полным правом отбреет меня: "А чего же ты, на идеалы настроенный, не остался в деревне, чтобы сохранять идиллию, делать родную деревню идеальной?"

Глубинную суть всех этих проблем отразила русская "деревенская" проза, одним из самых ярких представителей которой является В. Г. Распутин. Это ведь не просто одно из тематических направлений, а феномен мощного духовного движения. Те, кого пренебрежительно назвали "писателями-деревенщиками", – "нравственники" народные! – отразили величие народа в цепи бедственных испытаний, не скрывая правды, опровергая закрепившиеся идеологические стереотипы относительно "идиотизма сельской жизни", утверждая вековыми традициями установленный "лад". И тогда, когда уже новый "процесс пошёл", "талдычили о душе, о совести". Вообще-то, не случайно, что в русском языке (одном лишь!) понятие "крестьянин" связано с "крестом" и "Христом". Ведь именно русский селянин особый крест несёт и по-особому Христа почитает, благодаря своей природной укоренённости-постоянности является хранителем полученных в наследие ценностей. Но поскольку не все считают столь важным вероисповедное начало, то воспользуемся более общим подходом, внимание сосредоточив на том, что пафос лучших произведений "деревенщиков" кратко можно передать словами сербской писательницы Исидоры Секулич: "Селянин – человек, озабоченный больше всех в мире".

Впрочем, сейчас, как и в советские времена, правомерность, а тем более мудрость такого суждения бесспорна далеко не для всех. Нынешние "властители дум" сами не помнят и другим не позволяют вспоминать о том, что именно селянам, по причине их укоренённости и наименьшей социальной защищённости, особые испытания принесли войны, революции, коллективизации, индустриализации, урбанизации, фермеризации... Потому всё меньше остаётся тех, кто имеет способности (не только врождённые) воспринимать мир деревни как универсальный и самодостаточный, как оптимальный микрокосмос бытия вообще и для себя лично, как средоточие традиционных ценностей, а сельский люд – как самого ответственного хранителя и самого последовательного носителя этих ценностей. Ведь наивно полагать, что таким хранилищем может быть музей, "скансен", а хранителями его – отторгнутые от реального сельского мира музейные сотрудники.

Сказанное, понятно, более всего касается современной нашей молодёжи, не исключая писательскую и журналистскую. У неё, в основной массе, просто нет **своей родной** деревни, то есть своего дома и двора, со своей околицей и своим кладбищем, своей окружающей и постоянно волнующей природой, нет своей среды родством связанных людей и обусловленного всем этим уклада жизни, да и содержания всего ряда таких понятий, как "мать", "матёра" тоже нет... Что поделать, нынешняя молодёжь воспитывалась, образовывалась, просвещалась уже иначе – в реальности, сложившейся не только после "прощания" дедов с дорогим для них миром, но и после пережитого отцами глобального "пожара". Увы, для большинства этих молодых людей понятия "деревня" и все производные от него несут уже разве что негативную коннотацию. И быть как-то причастными ко всему "деревенскому", тем паче "колхозному", для них просто неприятно, стыдно даже. Намного приятнее выискивать (как это повально делается у белорусов) "шляхетные" родословные. Трезвомыслящие соотечественники мои реагируют на такое увлечение снисходительно: ну, пускай потешатся; это не более чем проявление возрастной закомплексованности детей сельчан!.. Но такого объяснения вряд ли достаточно. Как-никак, по-своему опасны и эти симптомы сами по

себе, а ещё более то, что наши преемники, наследники не знают и города в положительном смысле. Так что здесь уже даёт о себе знать склонность быть вполне довольными обычным средоточием хрущёвок и общежитий, лишь бы имелись неподалёку дискотеки и бары, удовлетворяющие их определённые запросы... Пожалуй, иначе и не могли проявляться результаты прежнего состояния "ни к селу, ни к городу", давшего специфические предпосылки для нынешней "постистории".

А это означает, что "время и бремя тревог" не в прошлом. И уже потому творчество русского писателя и мыслителя Распутина важно как для его соотечественников, так и для других народов, имеющих подобный социально-исторический опыт. В их числе, разумеется, и народы бывшего СССР и все славяне, также прошедшие испытание строительством коммунистического рая на земле. Тем паче, что Валентин Григорьевич неоднократно привлекал внимание именно к общим для славян бедам, опасностям и угрозам.

С другой стороны, практически все произведения В. Г. Распутина столь значимы оттого, что являются результатом глубоко личного и незаурядно личностного отношения к тому, о чём он писал. В любом случае, пытаясь определить опознавательные знаки его как писателя, мы, прежде всего, выделяем то, что именно он отразил через свою собственную душу, столь отзывчивую на боль и печаль других, на неправду по отношению к народу. Следует, конечно же, должное воздать ему как личности, обладающей не только исключительно ярким даром, своеобразной художнической экстрасенсорностью и нравственной прочностью, но и непоколебимой верой в идеалы добра, а также гражданским мужеством, благодаря которому он показал, что и в условиях советского строя общественное мнение, по большому счёту, формируется не идеологами-функционерами, не партийной элитой, не послушными проводниками официоза, не псевдоинтеллектуалами от "образованщины" и, тем более, не бульварной прессой, как сейчас. Он показал и доказал, что русский писатель может, если вынужден, поправлять и цекистов, и министров. Это в значительной степени его заслуга, что русская литература во времена и "застоя", и "перестройки" продолжала оставаться "центральной миросозерцательной силой" (В. В. Кожинов), а также что "литературоцентризм" русской культуры оказался самым серьёзным оружием сопротивления"*.

В. Г. Распутин, своим творчеством и всей своей жизнью убедительно доказывая, что "литература – это нравственное служение", выявляя и утверждая лучшие свойства русского человека, способствовал сохранению нравственности, духовности, здорового национально-исторического сознания не только у русских, но и у всех славян. Соответственно, есть основания говорить об универсальной распутинской системе оценок того, что со всеми нами было, что есть, что может и должно быть.

В былом Валентин Григорьевич совершенно правомерно выделял лучшее, важное и для настоящего, и для будущего. В настоящем он бескомпромиссно осуждал стирание различий между красотой и безобразием, добром и злом, правдой и обманом. О будущем размышлял всегда с тревогой, а в последние годы своей жизни – и с заметным пессимизмом. Но неизменно честно выполнял важнейшую функцию писателя-гражданина: напоминал о том, что необходимо восстановить нарушенную систему ценностей, вернуть в действие законы Божьи и по-настоящему человеческие, без которых будущее невозможно. Все оценки у него последовательно строгие, а установки – высокие: на то, что должно быть спасительным для каждого человека, любого народа и человечества в целом. Взять хотя бы, к примеру, вот эти, призванные вразумить околпачиваемых и дезориентируемых суждения: "Память – само по себе понятие скрепляющее и охранительное"**; "Искусство – это праведный и чистый голос человечества в целом и каждого народа в отдельности, духовная и эстетическая побудительная высота, осуществлённая мечта человека, ухваченное перо жар-птицы и прометеев огонь человеческих исканий и побед"***; "И как для экологии природы вредны грязные производства,

---

* Цветова Н. С. Эсхатологическая топика русской традиционной прозы второй половины XX века. СПб, 2008. С. 45.

** Распутин В. Г. Жертвовать собою для правды: против беспамятства // Наш современник. 1988. № 1. С. 169.

*** Распутин В. Г. "Правая, левая где сторона?" // Наш современник. 1989. № 11. С. 140.

так и экологию языка загрязняют "фабрики" чужесловия, дурно- и тупословия, против которых вместе с охранительными законами нужна и постоянная расчистка родных истоков"*; "Потрясения рождают растерянность, а растерянный человек и Отечество, и судьбу потерять может"**.

В. Г. Распутин не принадлежит к числу писателей, творчество которых воспринимается и осваивается легко. И это в известной степени влияет на особенности его восприятия зарубежными славянами. Тем более, что миру славянскому свойственны многовековые противоречия, а в последнее время они усугубляются безоглядным стремлением едва ли не всех "братьев-славян" по отдельности как можно выгоднее обосноваться в "общем европейском доме", который издали выглядит привлекательнее социалистического "лагеря". А это, соответственно, стимулирует подключение к механизмам рецепции определённых стереотипов. Так, замечалась тенденция особыми акцентами выделить, что Распутин – писатель всё же советский, а при этом последовательный в консервативно-национальных убеждениях... Что ж, он действительно был противником "перестроек" – и эсэсэровской, и евросоюзовской, и глобализационно-мировой. Хотя такого рода акценты существенно влияющими на восприятие распутинского творчества в целом стать не могут как на пространстве постсоветском, так и на постсоциалистическом. Они корректируются временем, а точнее – текущими процессами глобализации, которые вынуждают трезво разобраться, что на самом деле со всеми нами было и что стало, каковы наши реальные потери и каковы приобретения в плане материальном и духовном, какие ценности на поверку оказываются истинными, а какие – ложными. И осмыслить всё это нам помогает В. Г. Распутин. Вот конкретный пример из практики филологическо-педагогической. Мне приходится искать-обсуждать со студентами наименее спорные показатели значимости литературных произведений. И обсуждение, как правило, сводится к тому, что мы условно определяем художественные тексты, годящиеся на воображаемый случай, когда представителям иной цивилизации нужно дать максимально полное представление о сути жизни того или иного времени. Так вот, в качестве универсальной метафоры всего бытия русского народа (и восточных славян в целом) конца XX века лично я называю неизменно "Прощание с Матёрой" Валентина Распутина. Правда, если прежде, ещё даже лет десять назад студенты воспринимали это с нужным разумением, то сейчас – и с недоумением. Как я уже отмечал, в результате воздействия новой реальности у них наблюдается всё меньше "чувств к отцовскому краю" и способностей адекватно реагировать на изменение традиционных устоев бытия, особенно сельской жизни. И упоминавшееся "время и бремя тревог" они, как правило, брать на себя не готовы, оставляя это Распутину да ему подобным. А молодёжи инославянских стран, ищущей себе места в глобалистском мире, такое свойственно ещё больше, чем молодым людям Беларуси и России.

Весьма интересно и важно было бы обсудить, как проблемно-тематическое, философское содержание произведений Валентина Григорьевича соотносится с опытом иностранных писателей. Хотя это аспект сложный и требующий отдельного серьёзного исследования, остановимся на некоторых моментах. В частности, нельзя не учитывать, что его творчество – своеобразная полемика с западноевропейским экзистенциализмом. Причём распутинская концепция экзистенциального, бытийного явно более содержательна и созидательна, чем та, которая распространилась и у нас благодаря писателям-экзистенциалистам Запада. Здесь, конечно же, есть, о чём подумать. Кроме того, вряд ли, по большому счёту, убедительны проводившиеся сравнения В. Распутина с У. Фолкнером и Г. Гарсиа Маркесом. Так или иначе, они всё же связаны с известными тенденциями "моды" на определённых писателей в поздний период существования СССР. Значительно больше оснований имеется для его сравнения, например, с украинцами Михайлом Стельмахом и Евгеном Гуцало, болгарами Йорданом Йовковым и Йорданом Радичковым, сербами Велько Петровичем и Добрицей Чосичем, поляками Владиславом Реймонтом и Юлианом Ковальцем, словаками Мило Урбаном и Винцентом Шикулой,

---

* Распутин В. Русь Сибирская, сторона Байкальская // Наш современник. 2009. № 11. С. 128.

** Распутин В. Г. Потрясения рождают растерянность... // Российская газета. 18.10.1997. С. 2.

а также, конечно, с белорусами – Иваном Мележем, Василём Быковым, Иваном Пташниковым, Виктором Козько...

В связи с избранной темой для нас особый интерес представляют восприятие творчества В. Г. Распутина в разных инославянских странах. И мы попытались собрать побольше сведений об этом. Информация наша, конечно, исчерпывающей не является, но может существенно дополнить ту, которая содержится в изданном к 75-летнему юбилею указателе*. Отнюдь не ради критики – понятно, что наличествующий в этом издании объём сведений зависел от (не)доступности зарубежных источников, – всё-таки следует отметить, что на основе этого указателя невозможно составить адекватное представление о том, как воспринимает произведения В. Г. Распутина и славянский мир вообще, и каждый славянский народ в отдельности.

Особенно не повезло сербам: в указателе отмечается всего одна публикация на сербскохорватском языке, да и та – перевод рассказа, опубликованный в Черногории. На самом же деле и объём переведённого, и интенсивность освоения распутинского творчества весьма значительны. Вообще, у В. Г. Распутина к Сербии особое отношение. И у сербов к Распутину – тоже.

Это имеет объективную обусловленность: сербы, как православные славяне, прошли поистине голгофский путь испытаний, утрат и жертв, принесённых ради сохранения своей славянскости и православности. Заслуженной славой овеяна история сербского народа эпохи Средневековья: в XII–XIV веках сербы имели мощное государство; ещё в 1219 году Сербская Православная Церковь стала автокефальной; исключительно высокого уровня достигла тогда сербская культура, прежде всего, зодчество-храмостроительство, фресковая живопись, словесность... Однако не только развитие их, но и сохранение оказалось под угрозой из-за турецкого нашествия. Сербы сдержали прорыв турецких войск в Центральную и Западную Европу, а сами на пять веков оказались под османским игом. На протяжении всего этого периода они сопротивлялись, как могли, поработителям, а в начале XIX века самостоятельно подняли мощные восстания, в самоотверженной борьбе за независимость добившись-таки своего. Сербия стала значимым фактором освобождения Балкан от турецкого владычества в 1860–1870-е и в начале 1910-х годов. Не случайно именно с Сербией связаны были причины (точнее – повод) Первой мировой войны, в которой она потеряла треть населения. Несмотря на всё это, Сербия взяла на себя роль объединителя родственных народов, югославян, став опорным столпом образованного Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (впоследствии переименованного в Королевство Югославия). Исключительный, по сравнению с остальными южными и западными славянами, героизм именно сербы проявили в период Второй мировой войны, оказывая мощное сопротивление фашизму, вследствие чего им довелось понести огромные жертвы, пострадав при этом не только от германских и итальянских агрессоров, но и от бывших сограждан – хорватских усташей. И особо трагичной для сербов оказалась "перестройка" мира в конце XX – начале XXI веков, когда в процессе развала СФРЮ были спровоцированы религиозно-этнические конфликты, переросшие в почти четырёхлетнюю гражданскую войну на территории Боснии и Герцеговины, когда осуществлялось массовое изгнание сербов из Краины в Хорватии, а затем произошло отторжение Косова и Метохии, ради чего в 1999 году страны НАТО провели открытую войну против так называемой "третьей Югославии", то есть против Сербии и Черногории.

Как уже сказано, сербы во все времена проявляли беспримерный героизм в борьбе за свою независимость и честь, за право оставаться "своими на своём". Однако результаты борьбы, даже явные победы почти всегда оказывались не на пользу им. Чтобы уточнить это, обратим внимание вот на что: у большинства народов национальная идея, а прежде всего, её фольклорное и литературное отражение, основывается и держится на осознании и восславлении собственных побед. Примеров этому можно привести сколько угодно. В частности, если сравивать сербский народ с русским (а это сравнение, между прочим, часто навязывается "извне" для того, чтобы проще было обвинять сербов в гегемонизме), то бесспорно, что русскую идею нельзя себе представить без тех основ самосознания, которые заложены результатами

---

* Валентин Григорьевич Распутин. Биобиблиографический указатель... Иркутск. 2007.

и последствиями битв на поле Куликовом и поле Бородинском, на Чудском озере и на Неве, под Полтавой и под Сталинградом, без побед над татаро-монголами, германскими крестоносцами, шведами, французами, немецкими фашистами. А у сербов иначе: всемирно известные сербские эпические песни практически сплошь насыщены трагизмом; и вообще, в памяти народной более всего запечатлелись утраты, связанные с Солунским фронтом, Кордуном, Крагуевацким расстрелом и особенно поражением на Косовом поле в 1389 году, после чего настала пятисотлетняя зависимость от Османской империи... Причём, в соответствии с народными представлениями, освобождением от турок трагедия не закончилась, и Косовская битва с XIV столетия продолжается по нынешний день.

Объяснить особенности истории и самосознания сербов в принципе невозможно без учёта Косовской трагедии. Чтобы не быть голословными, обратимся к сербскому эпосу (который, подчеркнём, исходно делится на докосовский, косовский, послекосовский циклы). В песне "Царь Лазарь выбирает Царство Небесное" мы найдём ключ для понимания самосознания сербов. Главный герой Косовской битвы получает от Богородицы предложение выбрать либо земное царство, при этом ему будет обеспечана в битве победа, а всё турецкое войско погибнет, либо Царство Небесное, при этом погибнет его войско и он сам тоже. Излагаемую в песне мотивацию судьбоносного выбора, который был сделан святым князем-мучеником (он причислен к лику святых, и мощи его пребывают в им построенном недалеко от Косова монастыре Раваница). Процитируем без перевода: "Земаљско је за мално царство, / А небеско увек и довека".

Истины ради отметим, что по поводу такого выбора сейчас доводится слышать и раздражённые оценки тех сербов, для которых "европейский выбор" представляется более значимым... Однако независимо от временных настроений и ориентаций гордостью всего народа остаётся то, что и ныне на территории вновь оккупированного края Косово и Метохия в диаметре ста километров находится более тысячи двухсот сербских православных храмов. В самосознании сербов неизменно воздействующими, знаковыми стали понятия "гробље и робље", то есть "кладбище и рабы". Но также неизменным на многие времена остаётсяся девиз: "Боље гроб, него роб", то есть "Лучше могила, чем рабство".

Сербский национальный характер нельзя оценивать и без такой категории, как "инат" (слово это адекватному переводу не поддаётся, а то, что оно означает, допустимо переводить словами "вопреки, наперакор, назло, по-своему"). В качестве иллюстрации возьмём также фольклорный сюжет: достославному Королевичу Марку турецкий властелин задаёт вопрос, мог ли тот стать потурченцем, дважды получает отрицательный ответ, а когда в третьем вопросе пытается выяснить крайние, исключительные условия для этого, то слышит, что "само из ината", то есть "только вопреки, наперекор условиям".

Но вернёмся к осмыслению особого удела, предназначенного сербам в конце XX века. Стереотипы, внедрённые за последнее время в массовое сознание граждан как СФРЮ, так и СССР, да и всех зарубежных стран, истинную роль Сербии в судьбоносных событиях новейшей эпохи затушевывали, а по сути – искажали. Как искажали и объективно-исторические условия сопряжённости судьбы Сербии с Россией.

А в связи с последствиями такой тотальной деформации сознания нельзя не отметить, что В. Г. Распутин всё это не упускал из виду, когда публично-печатно излагал свои тревоги за судьбу славянства, совершенно правомерно её сопрягая с судьбой России, в упоминавшейся уже историософской статье "Что дальше, братья-славяне?" И "сербский фактор" он при этом постоянно держал в поле основного внимания. Напомним:

"...И меч после убийства в Сараеве пришлось обнажать – и слишком дорого стоил России этот вынутый меч" *(Т. 3. С. 390);*

"Если снова вернулось Средневековье с варфоломеевскими ночами и феодальной чересполосицей, а чрезмерное и силовое деление национального, народного ядра приводит к тем же результатам, что и ядра атомного; если, как никогда, славянство раздирается межрелигиозными, межнациональными, межрегиональными и прочими межами, каких немало, и если Югославия с одного конца, а Россия – с другого стали образом воюющего самого с собой славянства!" *(Т. 3. С. 390-391);*

“С началом освобождения балканских славян возник вопрос, вполне естественный, сам собою напрашивающийся, какова должна быть роль России и быть ли ей в последующем их мирном устроении <...> Волей-неволей она чувствовала ответственность: или не вмешивайся вовсе, или водительствуй дальше” *(Т. 3. С. 397);*

“Сербия с оружием в руках защищает православие против папской Хорватии” *(Т. 3. С. 402-403);*

“Сотни тысяч сербов во Вторую мировую войну были уничтожены за православную душу, на оставленных жить, как на евреях, нашивалась или выводилась краской буква “П” (православный), что должно было отпугивать от них, как от прокажённых. “Отрекитесь!“ – требовали, ведя на пытки и казни. Не отреклись. Это свыше нас” *(Т. 3. С. 408);*

“После гражданской войны при исходе побеждённой России Сербия принимала отряды русских беженцев под печальный и торжественный звон православных колоколов: входите, братья, наш хлеб – ваш хлеб и наш кров – ваш кров” *(Т. 3. С. 409).*

А для усиления содержательности всех наших рефлексий в связи с заявленной темой и особенно для оценок, насколько выверенными были мнения В. Г. Распутина по сербскому вопросу, очень существенна вот какая констатация: навязываемые стереотипы о “великосербском гегемонизме” не имеют под собой никаких оснований, поскольку на самом деле сербы сами себя считают малым народом. Это, кстати, убедительно подтверждается уже тем, что в среде всего сербского народа, независимо от внутренних разделов и внешних конфронтаций, издавна получила широкое распространение и нашла многоплановое употребление изначально использовавшаяся черногорцами квантитативная самооценка: “Нас и русских двести миллионов!”

И ещё один посыл весьма важен в нашем разговоре: для всех, желающих иметь адекватные представления о ходе переустройства мира в конце XX – начале XXI веков, проекция на Сербию, на судьбу сербского народа даёт возможность более чётко обозначить реальное место и реальную значимость России в общем геополитическом контексте. В. Г. Распутин, надо признать, осознавал это в должной мере.

Соответственно, отнюдь не случайное “происшествие”, не просто “казус” – посещение Валентином Григорьевичем в боях рождавшейся Республики Сербской (ныне – субъекта признаваемой “мировым сообществом” Боснии и Герцеговины), то есть станы сербов, которые упорно сражались за своё право оставаться сербами, православными. Такая поездка иностранца (в условиях войны, без элементарного обеспечения безопасности и даже надёжного транспорта) уже сама по себе является мужественным поступком. И очень много пищи для размышлений – как не осведомлённым о положении дел в том уголке мира, так и весьма осведомлённым – даёт его интервью на основе непосредственных впечатлений с места событий, из “горячей точки”*.

Существеннее всего, пожалуй, та позиция, которую Распутин неизменно занимает, оценивая всё происходящее. А она предопределяется совестью – не как отвлечённой категорией, а как условием жизни в соответствии с установлениями Божьими и высокими идеалами человеческими. Здесь по-своему, предельно жестко, выверяется честность и прочность того, что Валентин Григорьевич прежде формулировал в качестве некоей общей декларации: “Так что жить по совести – это, прежде всего, найти своё место в нравственном миропорядке...”** А оказалось, что это не декларативное заявление, что автор данной формулировки действительно следует законам совести и как индивидуум, и как русский человек, старающийся “понять меру <...> отклонения”, требовательно и критично относящийся, прежде всего, к себе самому. Согласимся, дороги уже эти признания русского писателя-патриота: “В Пале нам пели народную песню из прошлого века: “Идут русские через горы”. Мы слышали её не один раз. И опять, и снова приходилось стыдливо опускать

---

* Распутин В. Г. Там, на Балканах. Интервью вёл К. Житов // Правда. 17-18.08.1995. С. 1–3.

** Распутин В. Г. Если по совести // Если по совести. Сборник статей. Составление В. Канунниковой. М., 1988. С. 224.

глаза. Куда теперь идут новые поколения русских?"; "Россия не просто бросила своих братьев в беде, она помогла ввергнуть их в беду..."*

В. Г. Распутин не уклоняется от самокритики, говоря о своей нации, о политике своей родной страны. Он определяет положение Российской Федерации на тот момент безо всяких обиняков и без эвфемизмов: "А поскольку российская политика раболепствует у западных держав, невольно мы ощущали себя товарищами по отверженности. Сербам трудно, очень трудно, но им в тысячу раз легче морально, потому что они свой выбор сделали и честь свою и достоинство спасли. Для народа, как и для человека, это не последнее дело"; "Ещё раньше Россия (если можно называть Россией водворившийся в ней режим) предала собственный народ, окунув его в срам и грязь чужеземных порядков, обобрав его до нитки и унизив пресмыкательством перед Западом".

И такие именно заключения закономерны, поскольку В. Г. Распутин имел возможность – "изнутри" и "снизу" – увидеть и убедиться, как далеко зашло дело утверждения новой "справедливости" на сербских землях, а также понять, как это близко типологически и его Отечеству: "В судьбах наших государств и наших народов много общего, гораздо больше, чем видно на первый взгляд. Поэтому события готовились по одному сценарию. Думаю, что они готовились не последовательно, а одновременно". А также сделать вывод: "Мы говорим: родная, близкая нам Сербия! Но и далёкая... Ибо в своём национальном сознании, в своих самоохранительных свойствах и действиях она ушла далеко вперёд. У нас главная фигура в обществе – коммерсант, спекулянт; там – воин, защитник народа.

Мы, одна из самых богатых в мире стран, впали в бедность, растерянность, самоуничтожение... В Сербии – трудности, и огромные, но там народ единого духа. Его победить нельзя".

В связи с "сербским вопросом", для того чтобы восстановить историческую память и адекватное самосознание, Распутин обращается к формулировке мудрого предшественника:

"Помните у Тютчева в стихотворении "Славянам": "Но все же братья мы родные: // Вот, вот что ненавидят в нас! // Вам не прощается Россия, // России – не прощают вас!"

И сам убедительно аргументирует суть тютчевского вывода: "Сербия в Средневековье защитила Европу от вторжения азиатских орд с юга, Россия – с востока. Нас и за это ненавидят в Европе. Русский народ, как и сербский, попал в неволю, а с ней – в разные исторические условия, распался на несколько ветвей, которые частью изменили православию и возненавидели его".

А проницательность наблюдений и суждений Валентина Григорьевича с нынешней дистанции подтверждается развитием событий на пространстве не только бывшей СФРЮ, но и бывшего СССР. Между прочим, если описываемые им картины происходившего в Боснии, где вынужденно создана была Республика Сербская, неимоверно похожи на те, которые в последние месяцы по ТВ передают из Восточной (бывшей?) Украины... В Боснии и Герцеговине сербы отстояли своё право жить не по указке из Вашингтона, Брюсселя и мусульманского Сараева. Но какой ценой!? И ведь расчёт с ними ещё продолжается. Хотя большинство тех героев борьбы, с которыми встречался Распутин, в частности, лидеры сопротивления и основатели Республики Сербской – её президент Радован Караджич, председатель парламента Момчило Краишник, генерал Ратко Младич и другие – уже попали под обвинение Гаагского трибунала как преступники. Такова судьба сербов сейчас, хотя и прежде, как справедливо заметил В. Распутин, "чуть-чуть недоставало до того, чтобы виновниками землетрясений объявить также сербов..."

Короче говоря, отталкиваясь от написанного В. Распутиным о сербах, следует признать, что у него выявилось вполне основательное знание истории сербского народа и его положения на то время как в метрополии, так и в соседних (бывших союзных) республиках, и в мире.

Вообще-то В. Распутин среди русских писателей и журналистов не одинок в своей озабоченности судьбой сербов. Достаточно вспомнить публикации Ю. Лощица, Т. Глушковой, Е. Бондаревой, Э. Сафонова, В. Смирнова, В. Хайрюзова, В. Юнака, В. Бушина, Н. Масленниковой, К. Мяло, Е. Пономарёвой, Ю. Юшкина и др.

---

* Распутин В. Г. Там, на Балканах. Интервью вёл К. Житов // Правда. 17-18.08.1995. С. 1.

Если же заниматься скрупулёзным анализом всего высказанного Валентином Григорьевичем о славянстве, то можно обнаружить, что по поводу общности истории, антропологии, этнопсихологии, духовно-культурного опыта славян он допускает частные суждения, которые вроде бы недостаточно выверены, на что не без причин обратил внимание П. П. Каминский, оценивавший содержание его статьи "Что дальше, братья-славяне?"* Отдавая должное внимательности и педантичности исследователя, нельзя не учитывать другое. А именно: ведь В. Г. Распутин вовсе не претендовал на то, чтобы с помощью этой публикации напитать как можно больше читателей требующимся объёмом строго научного знания; да и учёной дискуссии по конкретным вопросам истории славян он ни с кем тогда не вёл, даже не собирался... У него, судя по всему, иная задача. И на историю как таковую, соответственно, взгляд иной – обобщённый, пропускающий некоторые детали (в том числе и значимые при каких-то других подходах), с сознательной установкой на определённые упрощения, для того чтобы общие контуры чётче видеть самому и показать остальным.

Как нам представляется, в данном случае, используя все преимущества читателя статьи через два с лишним десятилетия после ее публикации, более адекватно и конструктивно реагировать на суждения Валентина Григорьевича в целом (то есть учитывая все его высказывания по славянской проблематике) и ставить простой вопрос: в чём же ошибался автор той резонансной статьи? И тогда, на наше разумение, не останется ничего другого, как признать, что не ошибался-таки В. Распутин, что подтвердились не только его непосредственные оценки всего происходившего, но также и прогнозы относительно последующего развития событий, вызвавших отнюдь не шуточные межславянские распри. Как бы то ни было, а В. Г. Распутин смог проницательно объяснить и причины, и следствия того, что происходило двадцать два года назад (кстати, подобно Ф. М. Достоевскому, на историософский опыт которого он опирался).

Что ж, дела по "перестройке" мира и далее шли своим чередом. "Перестройщики" не принимали всерьёз предостережений ни Фёдора Михайловича, ни Фёдора Ивановича, ни Валентина Григорьевича. Однако уже само по себе важно, что их голоса прозвучали и были-таки "имеющими уши" услышаны. А в голосах тех звучали боль, скорбь и тревога, но также зов соборно преодолевать опаснейший синдром безответственности по отношению и к прошлому, и к настоящему.

А главное, пожалуй, в том, что В. Г. Распутин, вслед за Ф. М. Достоевским и Ф. И. Тютчевым, неустанно побуждал избавляться от навязываемого комплекса неполноценности, служить Слову-Спасителю, а не Искусителю. Потому особенную важность имеют его суждения о роли русского народа. Потому, впрочем, простительны и некоторые преувеличения достоинств братьев-славян.

На первый взгляд, парадоксально, однако так уж получилось, что долгое время заслуги В. Г. Распутина как отечественному, так и зарубежному читателю представлялись как относящиеся к проблемам частного характера – социальным (деревня), временным (противоречия советского общества 1960–1990), а то и вовсе локальным (борьба за Байкал...). Понятно, для граждан России, СССР определённого исторического периода это были проблемы отнюдь не частные. Однако при таком подходе, особенно для взгляда "внешнего", за отдельными деревьями не видно было леса.

Увы, творчество В. Г. Распутина выводилось за "внешние рубежи" с маркировками вышеупомянутыми. Хотя за это вряд ли стоит упрекать как искренних поклонников, популяризаторов его, так и недоброжелателей. Остаётся только сожалеть, что он не был по достоинству представлен как писатель, более многих современников сосредоточенный на глобальной проблематике, на узловых вопросах истории человечества, на универсальных законах бытия.

И всё же это не слишком отразилось на восприятии творчества В. Г. Распутина в Сербии. Общие сведения о присутствии произведений его в литературном контексте Сербии, как было уже сказано, впечатляют.

Естественно, по вопросу "Распутин и Беларусь" нельзя ограничиться всего лишь утверждением: "Валентина Григорьевича у нас вполне основательно

---

* Каминский П. П. "Время и бремя тревог". Публицистика Валентина Распутина. М., 2012. С. 180–185.

знают и ценят". А такую констатацию, в принципе верную, следует уточнить, что ранее белорусы знали его и по российским изданиям, и сами издавали как на русском (*Распутин В. Повести. Минск. Беларусь. 1983; Распутин В. Повести. Минск, "Юнацтва", 1990)*, так и на белорусском *(Распуцін В. Жыві і помні. Аповесць / Пераклад М. Дубянецкага. Мінск, "Мастацкая літаратура", 1982; Валянцін Распуцін. Рудольфіо / Пераклала Таццяна Мартыненка // Рускае савецкае апавяданне. У 2 т. / Укладанне Б. Сачанкі. Т. 2. Мінск, "Мастацкая літаратура", 1988. С. 354–367)* языках. К тому же для белорусских читателей и исследователей он неизменно был субъектом единого литературного процесса (*См., например, Адамович А. Война и деревня в современной литературе. Мінск. 1982; Гаранин Л. Поиск духовного единства: Характер ценностных ориентаций в современной советской литературе. Мінск. 1990. С. 201-202, 219; Тычына М. Патрэбы літаратуры // Полымя. 1982. № 12. С. 209–211).* Спектакли по его произведениям ставил ряд белорусских театров. Ныне же ситуация изменилась: русские издания до нас доходят, мягко говоря, не всегда; переводы с русского языка тоже, можно сказать, почти свёрнуты; а единое литературное пространство никак не восстанавливается... При всём при этом, однако, часть творческой и научно-филологической интеллигенции сохранила к Валентину Григорьевичу и внимание, и почтение (*См., например, Нефагина Г. Категория свободы в творчестве В. Быкова и В. Распутина // Нефагина Г. Штрихи и пунктиры русской литературы XX века. Мн., "Белпринт", 2008. С. 193–204).* В Беларуси о нём написан ряд кандидатских и магистерских диссертаций (*Соколовска Я. Природа и человек в современной советской прозе. МГПИ, 1983; Крамарска Д. Характер и обстоятельства в "деревенской" повести 60–80-х годов. МГПИ, 1991; Шпаковский И. И. Сюжетно-композиционная структура современного рассказа (На материале белорусской и русской прозы). ИЛ АНБ, 1996; Капшай Н. П. Нравственные искания в прозе В. Козько и В. Распутина. ГГУ, 1996; Селина А. А. Образ деревни в творчестве Й. Радичкова, В. Распутина, В. Козько. БГУ, 2009*).

В белорусской литературе, закономерно, имеется ряд произведений, типологически близких распутинским. К примеру, не случайно под одной обложкой издавались повести "Живи и помни" В. Распутина и "Знак беды" В. Быкова; не без оснований также критики сопоставляли роман В. Козько "Колесом дорога" и "Прощание с Матёрой" *(См.: Горловский А. С. Проза – 1982 (По страницам литературно-художественных журналов). М., 1983. С. 27-28)*. Тем более, что Виктор Козько впоследствии, выступая в печати с анализом творчества В. Распутина, оценивал его высоко (*Козько В. Не боковым ходом // Дружба народов. 1986. № 2. С. 261–264*).

Однако творческие и человеческие взаимоотношения писателей-белорусов с В. Г. Распутиным – тема особая, деликатная. Практически все видные белорусские литераторы в своё время о творчестве русского коллеги отзывались неизменно положительно. Между тем, в условиях, которыми был вызван затронутый нами вопрос Валентина Григорьевича: "Что дальше, братья-славяне?", отношение к нему существенно изменилось. Ибо по важнейшим актуально-политическим вопросам, в числе которых и упомянутый, у некоторых белорусов, декларировавших иные взгляды на историю былого единого государства, славянства и мира, явно обозначились расхождения с ним. Между тем, Валентин Григорьевич не был равнодушен и к судьбе нашей страны – посещал её в составе группы российских писателей, считавших нужным поддержать курс Беларуси на союз с Россией. Но это, опять же, тема отдельного разговора.

А обобщая то, о чём удалось поразмышлять, считаю допустимым сделать некоторые заключения.

Во-первых, верное представление о русской литературе и общественной мысли в эпоху второй половины XX – начала XXI веков без учёта вклада В. Г. Распутина составить просто невозможно. И этим объективно задаётся уровень интереса к его творчеству в любой стране мира, а у славян особенно. И пик его, пожалуй, ещё впереди.

Во-вторых, Россия по праву может гордиться тем, что в XIX и в начале XX века посвятила себя возрождению славянства; а вот чуть ли не весь XX век власти РСФСР безоглядно осуществляли деславянизацию как внутреннюю, так и внешнюю. Станет ли XXI век концентрацией русскости ради нового возрождения славянства? Для этого, спору нет, исключительно много сделано Валентином Григорьевичем Распутиным. Честь ему и слава! Вечная память!

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ

СВЕТ ЗЕМНЫХ МАДОНН

ЧТО ВИДИШЬ, ДРУГ?

31 октября прошлого года в художественном музее в Бресте был последний день выставки живописи “Светоносный лик мадонн” Алексея Кузьмича. И в тот момент, когда первую картину стали снимать со стены, в белом храме святых апостолов Петра и Павла в Минске на Немиге зазвучали слова панихиды. Началось отпевание художника. Кузьмич ушёл в свете любви и благодарных слёз – именно так смотрят люди на его картины. Так его и провожали – художники, писатели, благодарные ценители таланта.

Люди спрашивали тихонько, входя в церковь из притвора и глядя на гроб: “Кого отпевают? – Лёшу Кузьмича, – ответил я. И всё было понятно. Ему было 69 лет, его называли Алексеем Васильевичем, он был именитый мастер и великий труженик, беспощадный к себе, – он написал около тысячи полотен, был академиком по трудам своим международной славянской Кирилло-Мефодиевской академии. А для меня он остался мальчишкой, подростком – весёлым, зажигательным, жизнерадостным. Он потому любил детей, что сам был ребёнком. И на многочисленных картинах рисовал сам себя – на руках у матери, феи с русыми или огненными волосами.

Свято-Петро-Павловский собор был, считай, семейной церковью Кузьмича, как и собор Святого Духа на горке – жил рядом, а через мост за Свислочью в Троицком предместье находилась его мастерская. Тут исторический центр Минска, под землёй здесь находятся руины древнего детинца и первой православной церкви в будущей столице. Тут “Немиги кровавые берега”, до сих пор никак не отмеченные. Однако успешно растут отели и торговые гипермаркеты, тесня остатки старины, а вот до бережных раскопок и создания уникального музея руки не доходят. В очередной раз пожелание увидеть музей-крепость под открытым небом – сердце города – я услышал на празднике 1025-летнего юбилея Крещения Руси и Православия, который состоялся на этом месте прошлым летом. Реяли хоругви, звучали громкие речи, в том числе и властей города. А воз и ныне там.

Так вот, Алексей Кузьмич буквально мучился всеми этими проблемами, он хотел прославления предков, мечтал увидеть Беларусь сияющей своими великими древностями, имя “славянин“ для него много значило. И он сам, как мог, с яростью и вдохновением служил Белой Руси, её красоте. До последнего вздоха думал о Музее мадонны – музее красоты белорусских женщин. Но не дождался.

Не очень мы хорошие потомки – при бесконечной Божьей любви к нам. Я лично в тяжёлые часы жизни утешаюсь тем, что до сих пор вижу всюду

необыкновенно много красивых белорусок, так много ангельской детской красоты. Откуда, почему, за что такие чудеса? Умилишься и согреешься, увидев в толпе черты сказочной красоты. Но чтим ли мы эти дары, благодарим ли? А вот Кузьмич понимал красоту как дар небес белорусам и служил этой красоте, поклонялся. А затем, уже на его выставках, люди поклонялись его полотнам. Не Кузьмичу поклонялись, хотя книги посетителей его вернисажей звучат, как вдохновенные песни и даже молитвы, а красоте Матери и Ребёнка. Кузьмич понимал себя как труженика, творческую руку, которая создаёт вслед за Богом. Да так себя понимали все художники – они считали себя помощниками Творца. И самые великие поэты – только подмастерья песнопений ангелов.

Теперь изрядно потрудившиеся руки Алексея тихо лежали на его груди. Большие руки большого мастера. А над ним звучали речи прощания. Он по жизни был большой и во гробе лежал большой, во весь рост. Большой ребёнок, большой пахарь, большой полешук. Русые волосы стали седыми. А на лице – удивление и тихий восторг. Что-то сказочное увидел он в минуту смерти и отделения души от тела.

За жизнь я много перевидал людей в гробу – и знаменитых, и не очень. Некоторых было трудно узнать – душа ушла, сгорела, и остался один пепел. Трудно было узнать известного всей Москве художника и философа Юрия Ивановича Селивёрстова – он был сибиряк, весельчак по натуре, а лежал перед нами на отпевании суровый чёрный монах. Такова была его скрытая натура.

Совершенно не похож был на себя Юрий Владимирович Никулин, знаменитый артист и клоун. Любя его, я специально поехал в Москву в 1997 году, чтобы проститься с ним в цирк на Цветном бульваре. Ничего от Никулина-клоуна не осталось. Это был, скорее, старый солдат, старый рабочий, старый каменотёс. Маска комика и шута исчезла с лица, как и не было, оставшись в фильмах и на фото. Никулин суровостью своего посмертного облика был странно похож на писателя Виктора Петровича Астафьева – оба они были фронтовиками, наверное, это и было их главной сутью.

Известна сцена потрясения поэта В. А. Жуковского, царского наставника, у смертного ложа Пушкина, когда он стал очевидцем последнего вздоха поэта-друга. Он сам описывал это. На лице Пушкина внезапно отразилось величайшее изумление, вдохновение, восторг, свет. “Что видишь, друг?” – спросил удивлённый Жуковский. Но Пушкин ничего не ответил – его душа улетела с ангелами вверх, прочь от земли.

Что-то похожее было написано и на лице Кузьмича – детское удивление перед какой-то картиной, которая открылась ему в последнюю минуту. Я смотрел на его удивлённое и загадочное лицо и горевал, и радовался. Художник Алексей Кузьмич заслужил свой рай. И отпечаток его, позолота осталась на его лице.

“Что видишь, Лёша?” – тихо спросил я его, не ожидая ответа у гроба, но я знал ответ. Это чудо он всю жизнь рисовал и оставил нам в дар, чтобы и мы верили, любили и не отчаивались. Жизнь тяжела, а музыка, картины и слово помогут. Кузьмич, как мог, спасал, тянул нас, из хмурой пучины быта в жизнь вечную. В красоту. И много успел.

Я крепко пожал его руку и поцеловал. Рука его была холодна, как лёд. Огонь и свет ушли из десницы, чтобы остаться на картинах. Мы вышли на Немигу, чтобы ехать на Восточное кладбище. Само солнце щедро разливало своё тёплое золото над храмом в последний день октября. Обычно у нас на Полесье уже порошит первый снежок, а тут – красота, чуть ли не бабье лето. Кузьмич писал огненное лето и ушёл в вечное лето.

“Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”

К Кузьмичу минские власти любили водить парламентариев. То бельгийцев, то японцев. Россияне заглядывали сами, как свои. Уникальная коллекция Мастера “Мадонны” – дело всей его жизни. Бельгийские гости важно отметили, что мастерская – одно из самых одухотворённых мест на всей земле, которые они когда-либо посещали: “Нас глубоко впечатлили работы белорусского мастера А. Кузьмича. Ничего подобного раньше мы не видели”. Что ж, и мы

того же мнения: для белорусов Кузьмич тоже загадка и откровение – ведь он запечатлевает белорусскую красоту, такую пронзительную и необыкновенную.

Уникальная галерея – более, чем 700 мадонн, до тысячи женских обликов – такой коллекции в мире больше нет. Свет и тьма, гармония и побеждённый хаос. И не потому, что другие художники мало поклонялись женской красоте. Кузьмич создал сотни ликов матери с младенцем. Ранняя работа – рождение мадонны из Божьей слезы – взгляд художника на мир, о котором он создаёт свои мифы. И если есть женщина из мужского ребра, то почему не быть Мадонне-Матери – из слезы?

Художник Кузьмич родился во время страшной грозы, и это некий небесный знак, потому что от такой же грозы погиб его дед. Матушка его была необыкновенной женщиной, сильными женщинам, правда, в бедности жившими и живущими были и пять сестёр Кузьмича. Много раз сам Кузьмич видел необычные явления. Вот одно из них. Он увидел себя посреди огромного поля. Была ночь, и блистали звезды. Вдруг небо распахнулось. И он увидел мадонну в белом одеянии с ребёнком на руках, которая спускалась к нему. Она сказала: "Я выбираю тебя".

Эта история произвела глубокое впечатление на бельгийских парламентариев. И не только на них. Однако практический результат? У чужеземных гостей карманы трещали от евриков, но картины нуждающегося художника никто из них почему-то не купил.

Я долго думал – почему? Наверное, потому, что какая-то сила сберегала год за годом при жизни Кузьмича это обширное богатство для одного центра, чтобы не расхватали, чтобы вся эта многоликая красота не рассыпалась по чужим домам и заграницам, так как Кузьмич не умел повторять своих работ. И никогда не копировал сам себя, хотя этим не брезговали и гениальные мастера ради денег. Он не умел или не хотел. Я советовал ему. Но он гневно отвергал мои слова. "Не буду! Гении Ренессанса копировали, а я нет. Я – Кузьмич!" И беды у певца белорусской гармонии всю жизнь не переводились – оплатить дорогую мастерскую в Троицком предместье, купить холст, краски – он не мог без работы. И даже после инсульта брался за кисть.

СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ

Одиноко на минской Свислочи, у Троицкого предместья, стоят на Острове Слёз бронзовые Матери, к которым никогда на земле уже не придут их сыновья. И матери, и дети встретятся в ином мире. Это матери ребят, погибших на чужих непонятных войнах, – так называемых воинов-интернационалистов. В мире, где не будет ни слёз, ни боли, ни печали, встретятся матери и дети. В том самом мире, который писал на холстах Алексей Кузьмич. Солнечный, удивительный мир. Мир Божий. Такой он художник. Такое его дело. И за это одни любят его, а другие завидуют до сих пор и не терпят. Не любят прямодушия, искренности. А он был таков, как все дети.

Каждый творит на земле свой рай. Какой построишь – такой тебя и встретит на небе. Алексей Кузьмич это хорошо знал. Поэтому и торопился, как мало кто торопится. Он спешил заселить своё небо. Заселить Красотой. Наверное, горевал, что мало успел. Но дело сделано. Семьсот мадонн созданы. И сейчас можно спокойно поговорить. О Земле и Небе, о Жизни и Смерти. Об этом – все картины Кузьмича. Только дипломную работу он когда-то делал на шахтёрскую тему.

Залез тогда Кузьмич под землю, в шахту. Увидел изнанку мира, увидел каторгу – угольный разрез. Диплом защитил. Но больше никогда мир подземный не писал. Кузьмич – существо небесное. А кусок хлеба пришлось искать на земле. Но выходило баш на баш: на оплату краски, холста и рамы. Людям нужен, но своей галереи или зала у него не было никогда. А ведь сделал он за десятерых. И писал он – как летал. Все ярче год за годом на фоне хмурой осени в доме Кузьмича разгорался сверкающий мир красок, сияющих женских лиц. Поперёк серому бесцветному миру Кузьмич создал свою Сказку. Гости прогуливались по мастерской, ублажали ум и сердце лицезрением красоты и исчезали.

– Вот так Лувр на дому! – поражался я.

— С посетителями за свой счёт! — с горькой усмешкой отвечал художник. — Даже мои знакомые считают, что у меня куры денег не клюют. Пошёл да продал портретик! А я живу на пенсию безработного...

Когда-то народ по простоте душевной считал, что у Василия Шукшина — золотой кирпич в кармане. Ещё бы! Любимый артист! А Шукшин умер в каюте речного парохода на съёмках так: рабочие сапоги брошены на полу да стопка книг по истории у изголовья... Вот и всё. Народный художник живёт босым и уходит босым. Чтобы не топтать матушку-землю. Птицы — они ведь все из нищей братии. Так легче летать.

СОЛНЕЧНЫЙ ХЛЕБ

Диво-дивное, что в Минске появился такой солнечный художник. Минск — город вполне причёсанный. И сонный. И очень часто за нашей белорусской "разважл васцю" кроется элементарный духовный инфантилизм. И ещё кое-что, о чём Пушкин когда-то написал: "Русский мужик ленив и не любопытен". И вот среди нашей пресловутой "памяркоўнасц" появляется полешук, который, как Винсент Ван Гог, пишет по полотну в день и вообще ведёт себя, как ребёнок на партсобрании бюрократов. Поэтому что удивляться, что Алексей Кузьмич был одинок?

Когда-то вот так же, только в своём жанре, появились мулявинские "Песняры" и в считанные месяцы покорили весь Советский Союз. Забойные песни на фольклорной основе внесли в унылое массовое советское искусство весёлую душу белорусского мужика. Так с тех пор Беларусь и знают по "Песнярам". Даже в сериал "Ну, погоди!" они попали. И никакой иронии в этом нет: народная славянская музыка в кои веки зазвучала в мультиках! Каждый ребёнок в Советском Союзе напевал мотивы "Песняров". Кто повторит подвиг певцов? Кто двинет Беларусь в большой мир, в человечество? Что-то не очень пока получается у наших певцов и артистов.

И тут, в хаосе 1990-х годов, когда мы задыхались в своём славянском одиночестве, когда душа народа *мучилась, безъязыкая,* от невысказанности, появился Алексей Кузьмич. Как апостолы музыки, двинули Беларусь в большой мир "Песняры". И стали её визитной карточкой. Навсегда. Сейчас визитная карточка страны — Алексей Кузьмич. Апостол женской Красоты. В своё время после выставки Кузьмича власть от имени первого лица сказала:

— Наших мадонн должны увидеть все славянские страны...

С тех пор наказ президента никто не торопится выполнять. Наши посольства присылали заинтересованные письма Кузьмичу, но, судя по прессе, по заграницам разъезжали совсем другие художники... Кузьмича обходили более юркие, менее искренние.

Слабое утешение, что это судьба всех больших людей. Но, глядя на мадонн, ангелов и младенцев Кузьмича, вспоминаешь почему-то судьбу Моцарта, солнечного композитора, которого похоронили в братской могиле среди безымянных нищих. Если кто не знает, как это делалось тогда, можно напомнить: человека брали за ноги и стаскивали в общий ров, без всякого гроба и христианского прощания. Так жила пресловутая Европа, которая даже в королевских дворцах до Петра I и бань не знала, — факт истории.

Правда, есть у народных художников ещё один путь — Нико Пиросмани, а у белорусов, в частности, путь Язэпа Дроздовича. Иди себе от хаты к хате, разрисовывай печки да коврики на стенках... Дадут хлеба, бульбы и шматок сала. Что ж, Алексей Кузьмич — народный художник. Ему это звание сам народ дал. А за народом не заржавеет. Народ своего сына накормит, если откажет город.

А Кузьмич — не блудный сын. Он любимое детище белорусского народа, который через Кузьмича и сказал нынче своё веское слово о красоте. Именно поэтому Кузьмича должны знать везде. И его тысяча картин — дело державное и стратегическое, не менее важное, чем оборона границы на Буге или наш калий. Алексей Кузьмич ясно показал, что у белоруса за душой. И, оказывается, там не портянки и лапти, а гармония и лучезарный свет.

Искусство Кузьмича — пример того, как нужно жить белорусу в большом мире. Жить весело, с размахом, демонстрируя преемственность Ренессанса, без страха и упрёка...

Мало кто может так жить. Для этого нужно иметь силу Гулливера. Поэтому в 1994 году "Звязда" с восторгом писала: "Ведай нашых на Няве!" Тогда три десятка полотен художника выставлялись в Санкт-Петербурге, для них отвели целый зал. Сотрудницы Эрмитажа ходили за Кузьмичом, как курицы за петухом. Народ валил валом. В городе в то время происходили Игры доброй воли. Спортсмены ведущих стран мира увидели Беларусь через Кузьмича.

Узнали нас. С тех пор Кузьмичу не очень везло на путешествия, хотя приглашения слали. Не было денег доставить картины. Да и в Петербург в давние времена его работы помог доставить лишь меценат Иван Зайцев. Где меценаты? Никто из новых благодетелей так и не объявился. А государство научилось пропагандировать самосвалы и трактора, "Славянский базар" и эстрадных бабочек, однако нужно ещё заняться и живописью. Тут у нас есть чем похвалиться. Не перевелись живописцы. Как есть и редкое искусство – белорусская резная на дереве православная икона... И тут мы имеем уникальных резчиков в самой Беловежской пуще.

Не знаю, имеем ли мы в наличии математика европейского уровня после скандального, но элитного Платонова, но европейские художники в Беларуси сейчас есть. Один из них – недавно ушедший Кузьмич, но дело его продолжает его сын Алексей, буквально с героизмом. И это не его личное дело – это наши духовные и культурные ценности, которые надо уметь отстаивать. Нужно на деле любить искусство и приоритеты государства, чтобы видеть драму многих невостребованных творцов и помогать художникам.

Цивилизованные народы-то получше соображают, чем наши чиновники: повезли как-то в середине 90-х годов прошлого века картины Кузьмича супруги Мур в Нью-Йорк в Метрополитен-опера – и фурор. Американцы ломали перед Кузьмичом шапку, называли его пришельцем из иных миров, объявили выставку Антимиром!

Попали случайно пять картин Кузьмича в Италию – там ему руки целовали... Шаманство или благодать света? Мы же говорим о намоленной воде. О намоленных рушниках. А что, Кузьмич свои полотна не намаливал кистью и сердцем? Звучит немного потешно, но такое сегодня время – никуда без сенсаций. А Кузьмич – это готовая сенсация, к которой мы, увы, привыкли. Так пора его двигать дальше, по белому свету! И зарабатывать деньги и славу.

Какая ещё нужна пропаганда Беларуси, славянства? Если Красоту, Любовь, Материнство, которые художник явил нам, иные народы объявляют новой цивилизацией! Космическим чудом! Вот как обнищало человечество красотой и гармонией... и как богаты мы. Так будем порачительнее.

А на самом деле белорусская культура – это великая традиция гуманизма, та самая традиция Возрождения, о которой говорил сам Кузьмич, эпатируя посетителей великими именами. Кузьмичу эта традиция была под силу – так дайте дорогу. Не прячьте Кузьмича хотя бы после смерти от белорусов и соседей-славян, которым Кузьмич с Полесья принёс солнечный хлеб.

Сейчас визитную карточку Беларуси активно малюют постмодернисты. Их очень много – практически вся молодёжь такова: везде унылая бездуховность, упакованная в формы, которые неотличимы, как шурупы или мобильники. Им привычно малевать сегодня гламурные страшилки и бессердечные ребусы, как раньше сапоги селян и башмаки шахтёров под видом соцреализма. Когда-то, в советские времена, Кузьмич сидел в подвале и рисовал белорусскую Красоту, а кусок хлеба с ломтиком колбасы ему из сострадания приносили натурщицы. Что изменилось с тех пор?

ДЕРЕВНЯ ТЫСЯЧИ ЛЕПЕСТКОВ

Он родился на Полесье 1 июня в год Великой Победы. Весь мир ликовал, плакал, танцевал на площадях под залпы салюта и поднимал заздравные чаши. Небеса были открыты. И ангелы Божии ликовали вместе с людьми.

Увидел это маленький мальчик и, когда вырос, стал рассказывать об увиденном. О небесах, чудесах и своей матери. Дивная память была дана ему – помнить себя на руках у матери. И сравнить почти не с кем. Один Лев Толстой приходит на ум: он очень гордился тем, что помнил себя с пелёнок.

Алексей Кузьмич навсегда полюбил мир свободы, наготы и вечного лета и воплотил его в своих полотнах. Счастливый младенец танцует, пьёт молоко,

забавляется на коленях у матери. И это не кто иной, как сам художник, ликует на руках Матери-Природы.

— Родился — ясное небо, ластовки летают... — рассказывает Кузьмич. — Мать так и говорила: не день, а чудо! И вдруг из чистого неба появилась хмарка. Маленькая, рукой закрыть можно. Никто на неё и не глянул. А батька мой, весь израненный фронтовик, приподнял меня над головой, прямо в небо. И в это самое мгновение внезапно ударила из хмарки молния — и в деревню... 19 домов сгорело. Вот такое страшное совпадение. Запомнили это люди. И я запомнил — небо, огонь, солнце, грозу. И батьку своего.

Был батька сильно пораненный: Варшаву освобождая, на мину наступил. Девятнадцать осколков осталось. Охотились война и смерть за Кузьмичами. Пришёл батька, а тут ночью маузеры, сапоги блескучие, злоба чёрная: "Ты за кого воевал? За москалей?"

Хотели убивать, да дочурки вой подняли. Семь их было. Десять детей родила мама Александра Максимовна, а выжили шесть дочурок и я. Избили всех бандиты, забрали шинель, сапоги, вещмешок у батьки. Вскорости он кровью и изошёл.

А в три годика, помню, — батьки уже не было — ведут меня, и вижу: лежат штабелями мертвецы. Гэбисты банду окружили и постреляли. На одном и узнал я шинель и сапоги отца...

Вместо батьки был у меня дед. Лихой дед, с казацкой шашкой домой вернулся. А началось с того, что два пацана срезали бритвой в паспорте год рождения, да и пошли добровольцами на русско-японскую войну. Дед оказался в гусарском полку барабанщиком. Потом Маньчжурия, Цусима, японский плен. В 16 лет дед воевал с японцами, а в старости — с бабами. Полный дом девчонок был, и я один среди сестёр.

Помню золотой свет. Я, малыш, стою в тазу. А меня все сестры купают... И каждая хочет шлепнуть, ущипнуть, приласкать, потешить. Был я для своих сестёр весёлой игрушкой. Так с тех пор и гляжу на мир, как на купание в том золотом тазу. И нет для меня мёртвых — все живые. Слышу их дыхание, всех прадедов и прабабушек. Широкие мужики жили у нас на Полесье, в моей деревне Мохро. Рассказывал дед, как гуляли некогда белорусы. Заматывали корове рога — и на ярмарку, а сами мимо неё — в шинок. И по пять дней не выходили из того шинка, пока всю корову не пропьют.

Матушка говорила: тише будь, ниже будь! А дед, который свет видел, под императорским знаменем впереди гусарского полка в атаку ходил, говорил: лезь на рожон!

После деда за отца и деда остался в дому я, сидел в центре стола. И слушались меня, младшего. Разве это не сказка?

Ничего случайного на свете нет, и Кузьмич появился в деревне с удивительным именем не случайно. "Тлумачальны слоўн к беларускай мовы" посвятил несколько статей корню этого слова. Мохро! Махровость — пышность, роскошь цветов, кроны, растения, буйство природы, висящие, как сосульки, кисти на скатерти, на женском платке.

Цветок шиповника, предок розы, отличается от неё как раз тем, что лепестки его просты, а у розы они махровы, причудливы. Вместо пяти лепестков шиповника у розы их десятки, столетиями персы и арабы работали, чтобы вырастить у розы лишний десяток лепестков. А теперь представим сказочную розу — с тысячью лепестками! Это будет бутон-клумба. Но может быть, это не фантазия, а белорусская мечта — вывести такой цветок среди нашей незатейливой флоры.

Вот и неведомый полесский предок, давая имя деревне, отметил оригинальность природы тут, изобильность её цветов, богатство форм. Должно быть, это отразилось и в характере будущего художника, и Кузьмич очень скоро уйдёт от бедной простоты шиповника своих ещё советских картин к роскоши женских образов, создав уникальный розарий красоты. Все его красавицы — женщины-цветы. Помогла дерзость собственной натуры, но и время — расцвет его творчества произошёл уже во времена суверенной Беларуси. А где корни? В Деревне тысячи лепестков. В Мохро.

Чем интересна эта рядовая в принципе деревня Ивановского района? Есть тут высокая, как корабль, старая деревянная церковь 1792 года с двумя куполами, выкрашенная в голубой и синий цвет, как делают это полешуки. В ней крестили Алексея Кузьмича, на улочке Тихой. И знаете, в чём прекрасный

и поэтический символ? Церковь носит имя святых апостолов Петра и Павла. Крестился Алексей Кузьмич под защитой великих первоверховных апостолов, и отпели его тоже в храме святых Петра и Павла, но уже в столице. Редко так бывает и есть в этом добрый символ. И встретили, и проводили художника в одном и том же, по сути, храме.

Ещё знаменита Мохро своим школьным краеведческим музеем, где описываются подвиги партизан и рельсовая война, а также "огненный рейс", когда партизаны смогли прорваться через заслон оккупантов на горящем локомотиве. Школьник Алёша Кузьмич слышал это от самих партизан. Школа и Дом культуры тут хранили картины своего знаменитого земляка и тоже давно мечтали о галерее. При жизни мастера этой мечте сбыться было не суждено. Но через полгода после его ухода от нас двери его картинной галереи были торжественно распахнуты для посетителей. Произошло это событие 1 июня 2014 года, в день его рождения.

Ну, и новость последних времен – пункт пропуска, таможенный переход "Мохро". Он имеет международный статус. Рядом дорога на Кобрин. Пропускная способность мохровской таможни – до 700 автомобилей в день. Так глубинная деревушка Кузьмича оказалась пограничной зоной. Шагнул – и ты за рубежом.

БЕЛОРУССКИЙ ХОКУСАЙ

В Беларуси День Матери появился в 1996 году и стал любимым праздником, совпав с православным праздником Покрова Богородицы. А для художника Алексея Кузьмича таким праздником был каждый день. Каждый день он славил Мать и Ребёнка.

Нужна чрезвычайная сила воли, чтобы сосредоточиться на одном, служить одному, одной цельности, Богу, Богоматери, Природе. Такой подвиг – удел немногих.

Но большинство творческих людей плывут по течению – пишут временные сюжеты, служат повседневности, суете, бытовой мелочовке, гонорару. Это объяснимо – люди работают для общества, как знают и как умеют, а интересы толпы слишком пестры, при этом давят житейские нужды, хлопоты, болезни, почти все зарабатывают на дом, семью, и всякий кусок хлеба – дело насущное и требует труда. Но такая подёнщина сродни журналистике: прошла злоба дня, и где писанина, на которую убит не один день жизни? Художники же, теряя небесное, превращаются в простых иллюстраторов и подельщиков, раскрашивая холсты, как маляр заборы. Здесь нет места осуждению – жаль только загубленных дарований.

Кузьмич двумя ногами стоял на земле и тяжело зарабатывал свой кусок хлеба. Но он знал и другое – жизнь промелькнёт, и что останется в сухом остатке? Ответы при этом он предпочитал искать не на улице, а у мастеров старины. Там же, где искали и другие товарищи по цеху. Михаил Андреевич Савицкий в беседе, когда я писал о нём очерк, прямо мне сказал о старых мастерах Ренессанса как о своих учителях. Все они были классиками, реалистами, христианами. А вот сегодня мир изменился, и среди художников выгоднее и престижнее стало быть модернистом, искажать натуру, ничему не учась, самоутверждаться в гордыне и презрении к трудному пути мастера.

Почитатели реализма и глубины в Минске сошлись воедино, чтобы отстаивать вечные каноны искусства. Они назвали своё общество "Традиция". Кузьмич немедленно присоединился к ним. Об этом на панихиде сказал хороший художник – земляк Кузьмича с Полесья В. Уроднич. Но была тут, помимо желания защитить каноны старого мастерства, и боль о родине. Кто поплачет вместе с матерями? "Беларусь мая ўдав ная мае свайго Рафаэля – в даць, Бог пачуў мал твы жанчын Беларус ". Эти поэтические строки – всего лишь скромное слово посетительницы одной из выставок Кузьмича, и таких слов – тысячи. Но они же стали и эпитафией мастеру.

Беларусь имеет свои краски – тёмные, горестные, траурные. Кузьмич этот траур носил в сердце, а рисовал золото и белый снег цветущих вишен, белые женские убранства, белую женскую наготу. Красота славян побеждала страшную память, муку, ужас истории. Побеждали женщины! Они после войны в муках рожали, чтобы восполнить число убитых и замученных. Они и сегодня на

фоне белорусов-мужчин терпеливо трудятся и живут на десяток лет дольше – для утверждения своей трудной миссии. Однако это не ползучее жалкое выживание наперекор – это праздник, свадьба, торжество любви и материнства.

Но как часто сквозь эту красоту льются по щекам мадонн художника слёзы. Те самые *невидимые миру слёзы*, о которых писал Гоголь, тихие слёзы, которые пронизывают трагические строки Максима Богдановича. Вот так любовь к жизни и красоте полешука Кузьмича смыкается с самыми высшими образцами философии, гуманизма и гармонии. Мадонн писали многие, а заплакали они у Кузьмича, как плачут о наших грехах православные иконы.

Церковь долго присматривалась к Кузьмичу: что за мадонны с обнажённой грудью, что за красавицы с огненными волосами на его холстах? Хотя он рисовал и вполне традиционные портреты актрис – это были легенды белорусского театра С. М. Станюта, народные артистки СССР Г. К. Макарова и З. Ф. Стома. А митрополит Филарет на одной из выставок, которую посетил, прямо сказал художнику в личном разговоре: "А ты всё же язычник. Но трудись, и услышит Бог твои молитвы". Это Кузьмич мне передал с глазу на глаз, не для журналистики, а чтобы по-дружески посоветоваться. Он был явно обескуражен. В ту пору Кузьмич и в самом деле редко бывал в своих двух храмах под окном. Но он молился, и картины были его мольбами. И Бог услышал – отпевали его с высокими словами панихиды: "Со святыми упокой!"

Жил художник Кузьмич, как и мы, грешные, на плоской земле, зла, правда, никому не делал, хотя гневался по поводу всяких безобразий, с которыми сталкивался, по поводу чиновничьего беспредела и от горя порой пил горькую, как это заведено во всём мире под небесами. А упокоился со святыми... Что ж, заслужил. Потому что о святости молился своей кистью каждый день. И спал подчас в мастерской на полу, не в силах идти домой, чтобы не потерять музыку, что в нём звучала. И жил порой в холоде и голоде, потому что дорогое дело – мастерская в центре города, но он молился, как нищий на паперти Красоты. И победил в своей настойчивости и терпеливости.

Японцы почитают своего великого художника Хокусая. Нам, честно говоря, трудно понять его глубину. Европа знает целую армию великих мастеров, но более телесных, вещественных, что ли. А Хокусай был тонким иллюстратором пятисот книг, автором тысяч изящных поздравительных открыток, где главное – каллиграфия, ценимая в Японии и Китае, как живопись, мастером множества пейзажей-ксилографий.

И всё же, при всей своей величине, он художник малой формы. Но помимо художественных достоинств есть у Хокусая одно качество, присущее и древним мастерам Китая, – это умение сотни раз живописать одну и ту же натуру, находя в одном сюжете, одном пейзаже новые и новые краски и смыслы. Он бесконечно писал гору Фудзияму, морские виды, низвергающиеся водопады. Он ловил красоту. С упорством маньяка или графомана, усмехнётся над мастером, может быть, какой-нибудь нынешний любитель модерна, малюющий консервную банку с окурками как истину в последней инстанции.

Но нет – Хокусай был философом. Он запечатлевал невозмутимость вечной природы и человеческую суету у подножья великих гор и лесов. Он делал это упорно, чтобы люди задумались. И японцы задумались. И воспитали у себя умение видеть красоту в малом, чувство поклонения одному цветку и вырастили в тесных жилищах миниатюрные сады-бонсай.

Так вот для меня Алексей Кузьмич сродни не Рафаэлю – это слишком поверхностное сходство, так сказать, идеологическое, тематическое. Об этом много раз писали журналисты. И он сам подыгрывал им, призывая Рафаэля в учителя. Но слишком разные жизни они прожили. Рафаэль Санти ушел в 37 лет, обласканный Ватиканом, хозяином-миллионером и боссом целого синдиката мастеров. Кузьмич ушёл в 69, оставаясь борцом-одиночкой. А старики не учатся у юношей. Да и труды у них были разные. Рафаэль чуть не всю жизнь посвятил расписыванию ватиканских дворцов и капелл, был известным архитектором храмов в Риме, половину заказов под его именем исполняли ученики, лучшие его картины – алтарные образы.

А Кузьмич до последнего дня боролся против ханжества и лжи, проповедовал красоту, как делал это японец Хокусай.

Классикам всё сходит с рук. А Кузьмичу задавали вопросы при жизни и обвиняли. Как будто мать, кормящая грудью дитя, что-то потеряла в своей святости и не может быть мадонной.

Все эти матери и невесты были алтарём его невоздвигнутого храма, непостроенного музея. Все обещали, и никто не помог. Ни Минск, ни Брест. В Брестской области, как и в прочих, научились выколачивать деньги и деятельно восстанавливать поместья шляхты. На музеи красоты денег не находится. Проблема картинных галерей – проблема не одного Кузьмича. Очень многие художники неприкаянны и не нужны даже у себя на малой родине, в своих районах.

Но в отличие от других, Кузьмич работал для одной святой темы, в которой видел само сердце Беларуси. Но и она не материализовалась. Сколько раз он загорался, когда манили его обещаниями. И сколько раз впадал в отчаяние. От ярости и разочарования был готов отдать картины для Музея-храма мадонны куда угодно – в Россию, в Прибалтику. Только бы построили.

Но не так всё просто! Меняй гражданство и вывози. Да и то могут не разрешить вывезти такое богатство, как художественную ценность. А гражданство Кузьмич менять не хотел.

И всё-таки он ушёл непобеждённым. В последние три месяца его жизни состоялись три выставки. На августовской он ещё был, фото запечатлело его с горящими горестными голубыми глазами и багряной розой на фоне золотистой картины его юной супруги. Затем уже болел, не посещал. Сын Алексей, вовсе не художник по образованию, взялся продолжать дело отца. И широко расправил крылья. А Кузьмича приняла земля. Но на следующий день открылась выставка его полотен на кинофестивале "Листопад". Он продолжил свою проповедь красоты.

Вот только исполнил ли свою миссию Алексей Кузьмич? Хокусай своими философскими миниатюрами воспитал народ и оказал влияние на графику всего мира. А воспитал ли нас Кузьмич, чтобы мы поклонялись Божьей красоте? Чтобы ценили и любили женщину, как чудо мира? Вопрос открытый.

Красота, конечно, спасёт мир, как сказал Достоевский устами одного своего героя. Но при наличии воли человека и сильного тяготения к красоте, а не безобразию. И тут нам предстоит выбор! Традиционные ценности культуры ещё работают, многие из нас помнят послевоенную бедность, уважают скромность, но мир всё агрессивнее, всё беспощаднее. Бедность и простота уже почти стали пороками.

Жаль, маловато для художника прожил Алексей. Что ж, судя по его удивлённому и загадочному лицу, с которым он покинул мир, мастером чудес и философом ему предстояло стать на том свете, в лучшем из миров. Ведь Кузьмич, по его словам, которые он произносил со страстью пророка, строил новую цивилизацию.

* * *

Он родился в июне и больше всего любил золотой солнечный свет. Его картины этим и памятны – золотистые лица женщин, детей, красота полдня. Ни одной ночной картины Алексея Кузьмича не припомнишь. Все художники пишут красоту мира, красоту любимой женщины, мудрость материнства. Кузьмич писал молодых матерей и маленьких детей. Мать и Дитя – контрапункт и сердцевина его творчества. Он называл красавиц своих полотен мадоннами. На Западе мадонной называют Богородицу Марию. А он так называл всех матерей, златокудрых и светлоликих. Все они матери малюток, а дети – маленькие боги. Сам Христос сказал в Евангелии: "Будьте, как дети". Великий мастер Алексей Кузьмич утверждал и утверждает это каждым своим полотном.

г. Минск

АЛЕСЬ КАРЛЮКЕВИЧ

БЕЛОРУССКИЙ ОСТРОВ МИХАИЛА ХОНИНОВА

Калмыцкая литература... Далёкий и, пожалуй, малопонятный мир в пространстве художественного осмысления действительности белорусскими писателями и, конечно же, белорусскими читателями. Но всё же он – мир калмыцкой литературы – существует. История калмыцкой литературы делится на две части: старокалмыцкий (до Октябрьской революции) и новокалмыцкий периоды. Считают, что окончанием первого периода является поэма "Услаждение слуха" буддийского священнослужителя Боована Бадмы, которая вышла в 1916 году в Санкт-Петербурге.

Михаил Хонинов (1919–1981) – из "новокалмыцкой" литературы. Кстати, калмыков сегодня в России 183 372 человека по всероссийской переписи 2010 года. Есть небольшие диаспоры за границей. Всего же жителей же в Калмыкии (республика находится по соседству с Дагестаном, Ставропольским краем, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями) 278 855 человек... Умышлено заостряя внимание на общих характеристиках, связанных с калмыками и Калмыкией, хочу подвести читателя к мысли о том, что и для этого небольшого по численности народа литература – важная составляющая в формировании культуры, самосознания общества в целом. Не случайно же Народный Хурал Калмыкии установил памятную дату "День калмыцкой поэзии" (отмечается ежегодно 13 марта). Видно, настолько высока была в истории калмыков, калмыцкой культуры значимость поэзии! Как не случайно и то, что и сегодня, в условиях агрессивного интернет-наступления на духовный, нравственный фундамент здорового общественного созидания калмыки знают и чтят своих поэтов.

Михаил Ванькаевич Хонинов – один из них. И хотя его творческое мировоззрение в значительной степени начало формироваться ещё в 1930-е годы (первая публикация – стихотворение "Табунщик" – относится к 1935 году), калмыцкий поэт во многом связан с Беларусью, белорусской литературой. Михаил Ванькаевич хорошо знал белорусскую литературу 1960–1970-х годов, часто бывал в Беларуси, дружил, переписывался со многими писателями. И это не случайно. С родиной Янки Купалы и Якуба Коласа Михаила Хонинова сроднила Великая Отечественная война. Каждый раз, приезжая в Беларусь, поэт возвращался в свою партизанскую юность. Оттуда, из военных лет, и многие его стихотворения, хотя и написаны они, в большинстве случаев, в зрелые годы. Оттуда, из войны, из первых встреч с белорусами в условиях драматических испытаний, трагедийной военной жизни, и поэма Михаила Хонинова, посвященная Хатыни.

Пристальным было внимание Михаила Хонинова и как переводчика к белорусской литературе, белорусской поэзии. Римма Ханинова (известный литературовед, поэт, дочь Михаила Ванькаевича, заведующая кафедрой русской литературы Калмыцкого государственного университета; она и составила, подготовила учебное пособие) в начале предисловия к книге "Но с травою чувствую родство..." приводит слова из одной из записных книжек М. Хонинова: "Хорошие стихи в оригинале можно сравнить с густой, сочной травой, растущей на лугу. А стихи в переводе – это уже не живая, сочная и зелёная трава, а трава скошенная и высушенная, это уже сено, которое может быть и отличным, душистым, но всё же...

Какая трудность и сложность ложится на плечи переводчика!"

Книга состоит из нескольких разделов, где представлены переводы М. Хониновым стихотворений, рассказов, одноактной пьесы, отрывков из поэм, фрагментов повести и романа. К некоторым из них предпосланы авторские предисловия или редакционные "врезки". Это переводы из русской, белорусской, якутской, бурятской, болгарской, монгольской и вьетнамской литератур. Пожалуй, "белорусский" раздел учебного пособия является самым представительным. В нём приведены переводы стихотворений Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка, Петруся Бровки, Виктора Ракова, Анатоля Астрейко, Семёна Потёмкина, Эди Огнецвет, Аркадия Кулешова, Петра Приходько, Евгения Крученько, Марии Шевченок, Василя Карпеченко... Помещено в этом же разделе и стихотворение Игоря Шкляревского, с которым (или со стихотворением которого) Михаил Ванькаевич познакомился в один из своих приездов в Беларусь, на Могилёвщину. Опубликован и перевод отрывка из романа Михася Лынькова, и одноактная пьеса А. Альшанского. Р. Ханинова пишет в "Предисловии": "...личные контакты М. Хонинова с белорусскими литераторами способствовали вниманию калмыцких переводчиков к их произведениям с начала 1960-х гг. (...) После ухода из жизни Михаила Ванькаевича в 1981 году эти связи на время были оборваны..." В очередной раз убеждаешься, как много в деле формирования прочных литературных связей зависит от личности, от инициативы творческого, горящего идеями талантливого человека. Если оглядываться на постсоветское литературное пространство, то такими личностями для белорусской литературы, такими неутомимыми пропагандистами белорусского художественного слова были: в Чувашии – поэты Георгий Ефимов, Петдер Хузангай, в Украине – Алекса Ющенко, в Азербайджане – Панах Имран Аглу Халилов, в Туркменистане – Мамед Сеидов, Какалы Бердыев, Касым Нурбадов, Каюм Тангрыкулиев, в Узбекистане – Зульфия... Таким страстным, целеустремлённым пропагандистом белорусской литературы в Калмыкии был Михаил Хонинов.

Конец 1950-х годов. Поэт вместе со своим народом, со своей семьёй возвращается из ссылки. В 1959-м выходит его первый поэтический сборник. В 1961 году М. Хонинов едет в те места, где партизанил, где живут герои его стихотворений. Возвратившись в Элисту, он пишет большое письмо председателю правления Союза писателей Калмыцкой АССР М. Б. Нармаеву: "С 19 августа по 4 сентября я находился в творческой командировке в Белоруссии. Целью моей поездки было дополнительно собрать материалы для своих будущих книг. Мои белорусские друзья-товарищи и писатели помогли мне побывать в тех районах, где в годы Отечественной войны мне приходилось с ними вместе защищать честь и независимость советской родины от фашистских захватчиков..." И в том же письме-обращении М. Хонинов ставит "белорусские" вопросы: "...1. В ближайшее время обменяться литературными полосами с белорусскими писателями.

2. Правлению (Союза) писателей предложить редакциям газет "Советская Калмыкия" и "Хальмг Унн" в день 80-летнего юбилея со дня рождения Янки Купалы специальные полосы.

Просить калмыцкое книжное издательство об издании на калмыцком языке двух брошюр массовым тиражом в начале 1962 года.

а) из произведений Я. Купалы

б) из произведений современных белорусских писателей..."

Были и другие предложения... В 1962 году в Элисте выходит книга стихотворений Янки Купалы на калмыцком языке. Переводчик – Михаил Хонинов. Так переплелись судьбы двух поэтов – Янки Купалы и Михаила Хонинова. В энциклопедическом справочнике "Янка Купала" (Минск, 1986) калмыцкому

поэту посвящено всего 10 строчек. Названы все 11 стихотворений Я. Купалы, которые переведены М. Хониновым на калмыцкий. Жаль, что энциклопедисты ограничились только перечислением... Ведь поэзия великого белорусского песняра, как и белорусская литература вообще, стали для Михаила Ванькаевича настоящей животворной криницей вдохновения на всю последующую жизнь.

22 ноября 1974 года директор Литературного музея Янки Купалы Алесь Божко пишет М. Хонинову: "Нам необходимо для темы "Калмыцкая АССР" иметь переводы стихов Янки Купалы на калмыцкий язык. Нас особо волнует эта тема, так как, в отличие от других республик, мы имеем очень мало переводов стихов Я. Купалы на калмыцкий язык, хотя сведения об этих переводах имеются в нашей библиографии.

Вы были почётным гостем на юбилейных торжествах в связи с 90-летием со дня рождения Янки Купалы. В своём выступлении Вы говорили, что в 1973 году должна была увидеть свет книга "Избранные произведения Я. Купалы" на калмыцком языке.

Убедительно просим Вас, Михаил Ванькаевич, если есть такая возможность, пришлите нам, пожалуйста, эту книгу".

Новая книга из переводов Я. Купалы в Элисте не вышла. Но она была в планах переводчика. В 1971 году М. Хонинов опубликовал большую подборку переводов Якуба Коласа (из семи стихотворений) в газете "Хальмг унн". Ещё раньше М. Хонинов обращался к поэзии друга Янки Купалы – П. Бровки.

Книга, которую Р. Ханинова посвятила своему отцу как переводчику, несомненно, необходима для работы и историкам белорусской литературы. А ещё – архивистам, музейщикам, библиографам. Перелистываешь, к примеру, библиографию Якуба Коласа в шеститомнике "Беларусюя шсьменшю". Среди переводов на калмыцкий – книга стихотворений, изданная в Элисте в 1962 году, и ещё одно стихотворение, опубликованное в газете "Хальмг унн" 3 сентября 1963 года (переводчик – С. Каляев). А вот переводы М. Хонинова, к сожалению, не учтены.

В книге помещена и замечательная статья Риммы Ханиновой "Как похожи ветра...: Стихи Михаила Хонинова и Максима Танка". Она ещё и добрый пример того, как важно рассматривать художественные явления в контексте сравнительного литературоведения.

г. Минск

ПЁТР МАЛЬЦЕВ

А ДАЛЬШЕ ТЫ ШАГАЕШЬ САМ

РАССКАЗ

Войны выигрывают не генералы,
войны выигрывают школьные учителя и приходские священники.
Отто фон Бисмарк

Мы искренни и откровенны не только в любви к родителям, но и к своим учителям. Может, потому, что их щедрая доброта, словно солнце, плавит всё злое, оставляя в каждом из нас на всю жизнь самые светлые и самые тёплые воспоминания. Я до сих пор ещё в полной мере не могу осознать влияние на меня моей первой учительницы в постижении мной окружающего мира. Настолько оно было для меня беспредельно, что и сейчас всё лучшее, что заложила она, живёт во мне и будет продолжать жить до конца жизни.

Летом шестьдесят третьего года, когда я должен был пойти в первый класс, отец, возвращаясь с работы домой, часто видел меня с липкими струйками пота на лице, до умопомрачения играющего на лугу со своими сверстниками в футбол. “Хватит буцать мяча, не пора ли тебе готовиться к школе?” — говаривал он. И вот приготовления начались. В июле месяце мы с бабушкой съездили в Харьков за обновками. Купили портфель, рубашку, костюм и брюки. Впереди была встреча со школой.

На всю жизнь запомнил я день, когда до нас с бабушкой, стоящих у крыльца дома, вместе со скрипом дворовых ворот донёсся громкий, слегка задавленный грудной голос моей первой учительницы — Перовой Марии Павловны.

МАЛЬЦЕВ Петр Васильевич родился в 1956 году в Борисовском районе Белгородской области. Окончил Харьковский авиационный институт. Автор книг “Государева земля”, “Витязи борисовского неба”, “Это надо живым” и других. Живет в Белгородской области.

— Ну, вот, кажется, я сюда попала, — осторожно проговорила Мария Павловна. — Только где ж он, мой ученичок-то?

— Да здесь он! Здесь! У нас с ним с утра до ночи одни и те же дела. За делами и дня не видно. Цыплят всё никак не пересчитаем, — не прерывая хлопотливого занятия, проговорила бабушка.

— То правда, в больших делах пустяков нет, — расплываясь в улыбке, подхватила учительница.

Я во все глаза разглядывал её. Мария Павловна была среднего роста. Её фигура с выразительным изваянием форм высвечивала в ней праздничную пышность, где яркая, парадная нарядность подчёркивала довольно дружелюбный и сильный характер и умение в любых условиях владеть собой. Маленький рот на круглом лице подчёркивал какую-то свою, особую самобытность, стремящуюся во всём следовать своим путём, а большие глаза выдавали богатство души и тёплое, сердечное отношение к людям.

— В этом году мы будем принимать семь первоклашек, — не останавливаясь у ворот, повела Мария Павловна речь о школе.

Бабушка, заслышав число "семь", на время прервала счёт убегающим от нас цыплятам, задумалась и, обратив свой взгляд в сторону моей будущей учительницы, с пониманием всего происходящего сказала:

— Семь — это хорошее число. Оно правит миром и пространством.

Когда я был невольным слушателем разговоров бабули, то безоговорочно верил каждому её слову, потому как к ней вечерами часто наведывались старухи, и она, нацепив очки в тяжёлой оправе на бросавшуюся в глаза горбинку в срединной части носа, читала им толстую книгу, которую они именовали Библией. Бабушка всегда была душой компании, может, поэтому и в разговоре с учительницей была так говорлива и словоохотлива. В её речи, как из рога изобилия, сыпались пословицы. И везде упоминалось число "семь": "За семью морями, на седьмом небе, семеро одного не ждут". Непонятно, к чему вспомнила она и про семь смертных грехов. К тому времени я уже сумел в достаточной мере ощутить понятие "двойного греха", потому как совсем недавно бабушка отчитывала меня за проявленную неизъяснимую лень: в течение дня я не удосужился напоить бычка, изнемогающего с самого утра на привязи в логу на солнцепеке. Она не стеснялась в выражениях, шумела на меня — "обиженного обижать — двойной грех" — и не один раз хватила жиденькой хворостиной вдоль моей спины. Когда в разговоре с учительницей бабушка коснулась и "семи пядей во лбу", Мария Павловна была уже не в силах сдержать себя и с какой-то загадочной тональностью в голосе спросила:

— А ваш, бабушка, внучок, наверное, смышлёный, раз цыплятам счёт знает?

Я заметил, как у бабушки сразу исчезла вся её многоречивость, и она неловко поддёрнула сбившуюся спереди юбку, словно находилась в поиске достойного ответа учёному человеку, который будет обучать её внучка.

— Не знаю, что вам и сказать. Наверное, как все, — без всякого восторга в голосе ответила она, безотрадно качнув головой. — Только вот у него одна беда: когда волнуется, сильно заикается.

В детстве я, действительно, сильно заикался и с неимоверным трудом выговаривал отдельные слова со звуком "р". Ребята часто вынуждали меня ломать язык и произносить слово "картечь", а затем, скрестив на груди руки, глядели свысока на мои бесплодные, долгие муки и от всей души хохотали. В кругу взрослых я пылко заводил начало разговора, но почти всегда на ровном месте неуклюже спотыкался, рычал и лязгал зубами, пока, наконец-то, вторая половина слова не находила брешь в моём произношении и на виду у всех не прорывалась наружу. Бабушка понимала, какое слёзное горе свалилось в наш дом, и уже с весны, когда я должен был пойти в первый класс, забила тревогу. Она водила меня по всем проживавшим в округе бабкам. Одни, не жалея сил и времени, поочередно благоговейно шептали мне что-то на ухо. Другие же сердобольные старухи порчу, наведённую на меня, пытались выливать на воск и на моей макушке стригли волосы, в лутки дверных косяков загоняли клинышки, но сдвигов в лучшую сторону у меня,

как ни странно, всё равно не наблюдалось. Это, наверное, продолжалось бы бесконечно долго, если бы моя будущая учительница Перова Мария Павловна в обеспокоенную нещуточным горем мою бабулю не вселила лучезарную надежду, что нервная система ребёнка с возрастом день ото дня будет крепнуть и неожиданно появившаяся болезнь ослабнет сама по себе.

— В моей практике был уже такой случай, — Мария Павловна попыталась разрушить в бабушкином сознании сомнение в моём выздоровлении. — Вы не переживайте, болезнь свою он перерастёт. А то, что дано ему от природы, так он, и заикаясь, возьмёт.

— Дай Бог! Дай Бог! — смахнув кончиком платка навернувшуюся в уголках глаз слезу, пробормотала бабуля. — Может, Господь и услышит ваше слово, сказанное в добрую минуту.

Потом я убедился в правоте слов Марии Павловны. Для преодоления моего заикания она выстроила свою, только ей понятную систему усвоения материала в произношении гласных, звонких и глухих согласных, которая дала замечательный результат: Мария Павловна умела трудные вещи делать лёгкими. Неукоснительно требуя от меня выполнения упражнений, заставляла строго следить за работой губ, движением языка и всегда ясно представлять, какая часть речевого аппарата задействована в образовании звука. Эти упражнения я выполнял до тех пор, пока они не вошли у меня в привычку. И система дала замечательные результаты: к третьему классу я навсегда распрощался со всеми трудностями в произношении слов.

Та беспокойная ночь перед самой школой мне хорошо запомнилась. Я часто просыпался, подбегал к бабушкиной кровати, тормошил её за плечо и слабым, встревоженным голоском шептал: “Ба, ба, а я не проспал сегодня в школу?” На что она в сонной полудрёме тихо бормотала: “Рано ещё. Ложись. Я обязательно тебя разбужу”. Но я чувствовал, что бабушка здорово волновалась за меня. Среди множества чувств, переполнявших её, самыми сильными были два: радость и тревога. Радость, что я вырос и меня ждёт неизведанный мир. Тревога и обеспокоенность — смогу ли я выстоять в этом мире, где всё непостоянно, всё творится не нашим умом, а Божьею волею. Как буду постигать учение в школе? Не окажусь ли худшим в классе? Как сложатся у меня отношения со своими сверстниками, ведь все её старания вовремя избавить меня от болезни, связанной с заиканием, оказались безуспешными?

Праздничная линейка на открытой площадке, поросшей травой, для меня, первоклассника, останется в памяти на всю жизнь. Мы, мальчишки, в серых костюмах с подшитыми белыми воротничками, и девчонки в коричневых платьях и белых фартуках с красивыми букетами осенних цветов — флоксов, астр и хризантем — в руках были взволнованы всем происходящим. Мария Павловна собрала всех малышей-первоклассников и повела за собой в пахнущий краской светлый класс, где, усадив за свежевыкрашенные парты, дала нам понять и почувствовать в полной тишине своё место. Хотя вскоре мы поймём, что она, прививая нам активность работы на уроках, не задумываясь, тишину и порядок приносила в жертву. Для неё важно было всех учеников со своими непохожими мыслями вовлечь в обсуждаемую тему, а её главная задача была не упустить из поля зрения ни один наш самобытный и неповторимый ответ. На её уроках витал дух творчества, и при этом она не забывала вложить в душу каждого из нас человечность. В каждом своём воспитаннике она никогда не упускала из вида отдельный природный талант и, казалось бы, явную во всех отношениях слабину, со знанием дела всегда превращала в достоинство.

Наша школа располагалась на видном месте, на правом берегу реки Готни у сухой балки Крутого лога, глубоко прорезавшей его от пойменной долины с востока на запад. Сухая балка разрезала на две почти равные половины и хутор, вытянувшийся вдоль реки. Деревянный дом, обмазанный глиной и густо побеленный снаружи, не сразу приоткрывался во всей красе путнику, преодолевавшему вившийся по склону горы подъём к магазину и к школе. Сюда через вымощенные речные кладки в виде перевязанных двух брёвен с подвязанными жердяными перилами стекались вытоптанные учениками

тропинки с поселений заречной стороны. Сюда, на выдвинутую к лугу чудную открытую площадку с хозяйственным школьным сараем и туалетами, словно воробьиная стая, вываливались из своих классов на каждой переменке ученики и, как угорелые, носились друг за другом, пока не звенел звонок на урок и они не возвращались за свои парты. За школой, где поверху проходила дорога, от нежелательных гостей и захмелевших от выпитого у магазина вина трактористов, были вырыты траншеи — глубокие заградительные канавы.

В нашем классе было шесть мальчиков и одна девочка. Лена жила рядом со школой с южной стороны, её дом стоял на взгорке в лощине Крутого лога. Трое моих сверстников в школу добирались с хутора Лантуховка: Вова и Витя с северной окраины, а Ваня — с южной. Остальные же ученики ходили с северной части хутора Басова, только путь Спирова Николая был вдвое короче моего, а дом другого Николая, Черкашина, стоял под горою у самой реки совсем недалеко от школы.

Школа была местом, где мы постоянно пребывали под надёжным покровом от всего злого. Бежали мы на занятия всегда с великой радостью. В то время школа представлялась нам неизведанной страной, где каждый прожитый день мало чем напоминал предыдующий, а наступающий всегда держал в себе столько неведомого и нового, что умом невозможно было всё и охватить, отчего и взаправду кружилась голова.

На входе в школу, в коридоре, с левой стороны на стене висела картина "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле". Всколыхнувшиеся гривы лошадей, оскал их зубов, копья, проткнувшие воинские доспехи и тела всадников, создавали впечатление яростной битвы. В стане князя Дмитрия Донского ощущались выдержка, спокойствие и уверенность в победе русского войска, в лагере противника витало тревожное настроение неуверенности в исходе битвы.

На противоположной стене висела картина "Боярыня Морозова", на которую мы невольно обращали внимание, когда уходили домой. Покидая школу, видели, как тяжёлые сани, увозившие закованную в кандалы "царскую тётку", раскалывали толпу. Глядя на полотно, своей неокрепшей душой улавливали мы в разливавшемся по толпе весёлом хохоте, в заломленных шапках мальчишек, изображённых на картине, настрой толпы, нутром ощущали возникший непонятно от чего, проникающий в душу жуткий страх от горящих, яростных глаз бунтующей боярыни с вознесёнными вверх руками в кандалах.

В нижней комнате располагались второй и четвёртый классы. Отсюда хорошо обозревались на той стороне реки две нитки лантуховских хат с проброшенными по склону надпойменной террасы ухоженными огородами, смыкавшимися почти у самой плотины заброшенного хуторского ставка. Пруд, в вершине поросший лозою, заходил в глубину леса Дуброва и уже на второй, надпойменной террасе уплывал в облака под самую линию горизонта. А внизу, слева, сквозь заросшую ольхой и густым ивовым лозняком пойму извилистой лентой пробиралась мелководная речушка. Она незаметно текла на юг мимо футбольного поля на лугу, сразу за ним давала отводное колено в сторону высокого правого берега, образуя с одной стороны сухую кулигу, а с другой — поемный лужок.

В верхней комнате размещались первый и третий классы. Отсюда хорошо просматривалась железная дорога, где беспрерывно в разных направлениях — с севера на юг и с юга на север — с грохотом и лязгом мчались грузовые и пассажирские поезда Ленинградского и Мариупольского направления. Почти у самых окон росли роскошные кусты сирени, за которыми поверху проходила дорога в сторону хуторского кладбища. Учительница проводила занятия в разных возрастных группах разом. Обучение требовало от неё способности свободно переходить от предмета к предмету и от возраста к возрасту, не ломая намеченного плана, а в ненасытно поглощавших знания учениках вырабатывалась искусность мыслить об изучаемом предмете независимо от всего, происходящего в классах. Разница в два года обеспечивала чисто условное деление в разъединении учеников по возрасту и реальное разграничение помещения.

В верхней комнате на стене, которая делила школу, висела карта мира. Переступая порог своего класса, мы с ребяческим азартом соревновались в знании названий больших и малых государств, самых протяжённых рек в мире, приходили в изумление от огромных размеров озёр, именуемых морями, проникались поистине морскими глубинами священного озера Байкал. Нас влекла и Среднерусская равнина, и Западносибирская низменность. Мысленно мы смело покоряли вершины гор Европы и Азии, ощущая огромность своей великой страны, омываемой морями трёх океанов, с её равнинами и низменностями, реками и озёрами, степями и пустынями, бескрайней тайгой и непередаваемой красоты тундрой. Невольно испытывали мы чувство гордости за русских первооткрывателей и путешественников.

Всё неизведанное и новое открывала нам наша первая учительница. На её уроках мы ощущали весёлую радость познания, и у нас появлялась, пусть робкая и неустойчивая, но вера в свои силы. Мария Павловна всегда побуждала нас к свободному творчеству, которое не знало угнетающего страха. Успех каждого из нас становился достоянием всего класса. Её похвала была заслуженной, искренней и обоснованной, а потому никогда не вызывала зависти со стороны других учеников. Незнание каких-то вещей никогда не давало нам повода ощутить недостаток её ума. Она умела научить нас даже тому, чего и сама не умела, шутя по этому поводу: "Уча — учимся".

На уроках Марии Павловны взметнувшаяся вверх рука ученика говорила не столько о том, что тот, кто её тянул, всё знает, сколько о том, что потянувшийся к знаниям ученик хочет испытать себя и что ему необходимо вовремя протянуть руку, чтобы он поверил в исключительность своего природного дарования. Как чуткий воспитатель она сознавала, что от её творческих усилий зависит уровень общей культуры её подопечных, поэтому в своей благородной работе никогда не жалела доброты, понимая, что ростки этой доброты обязательно прорастут в многообещающем будущем сегодняшних учеников.

Она никогда не ставила перед собой цель сообщить нам достоверные факты, давая возможность самим разобраться во всём их многообразии и отыскать неопровержимые доказательства. Понимая, что в неведомом таится манящая сила, она вместе с нами переживала радость общего успеха, когда мы вдруг обнаруживали, что полюсом является точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью: именно здесь магнитная стрелка часов перестаёт показывать север, а Полярная звезда не в силах указать путь путешественникам, так как навечно застыла в своём зените. Вместе с нами радовалась, когда мы с удивлением открывали, что там полгода длится полярный день и полгода царствует мрак полярной ночи, нарушаемый лишь бледно-жёлтым светом луны да призрачными всполохами северного сияния.

Обращаясь к известному, она приоткрывала в нём что-то новое. Во всём, к чему прикасалась её рука, мы ощущали влекущую свежесть. Её особое чувство понимания красоты и справедливости постоянно заставляло нас размышлять. "Смог бы я, защищая свою Родину, оказаться на месте Пересвета? Нашлось бы мне место среди мальчишек в улюлюкающей толпе, сопровождающей боярыню Морозову?" — такие непростые вопросы задавали себе мы, её ученики.

Моя первая учительница отличалась взыскательной строгостью к себе и стремлением к нравственному совершенству. Её жизнь была полна непритязательной простоты, порою граничащей с аскетизмом. Довольствуясь малым, не гоняясь за удовольствием, всегда спокойно со скудным багажом переезжала Мария Павловна с квартиры на квартиру в нашем Богом забытом поселении. В деревне всё на виду, каждая изгородь и кол с ушами и глазами. Человек ещё и норов не успел показать, а деревня сразу ему кличку подбирает. Безмерная любовь Марии Павловны к своему делу — внеурочным занятиям с отстающими учениками, ночным бдениям при свете керосиновой лампы над тетрадями, ежедневными планами работ — делали её самым уважаемым человеком в селении. Да и фамилия учительницы многих убеждала в том, что она принадлежала к особому сословию. В народном толковании "перо" всегда отмечало избранность: "Перо смелее языка. Писать — не языком чесать. Пера никогда не обманешь. Велико ли перо, а большие книги пишет". Чем-то напоминала моя учительница непокорную боярыню Морозо-

ву с её фанатично горящим взглядом и отчаянным жестом перед иконой пресвятой Богородицы.

Я пошёл в первый класс, но по-прежнему после школы продолжал гонять в футбол. К вечеру с раскрасневшимся лицом вбегал во двор, где прямо с порога бабушка уличала меня в отвратительном отношении к учёбе. Я чувствовал свою вину и не пререкался с ней. Молча тащил из портфеля букварь с тетрадками, чтобы успеть до прихода родителей сделать уроки, а стоявшую надо мной бабулю время от времени успокаивал словами: "Да не переживай ты, бабушка. У меня ещё ого-го сколько времени! До завтрашнего дня я всё успею!" А она, глядя в окно, погружавшееся в синий сумрак осеннего вечера, приводила меня в чувство, бубня себе под нос запавшие на всю мою жизнь слова: "Дети что цветы: уход любят". Она усаживала меня за стол, просила написать несколько букв, затем, нацепив очки, скрупулёзно разбирала все мои закорючки и при этом непременно отмечала все мои успехи в сравнении со школьной работой. И я в спокойной, доброжелательной обстановке начинал проникаться чувством своих возможностей. А когда ещё на следующий день мои успехи отмечала и сама Мария Павловна, пребывал на седьмом небе. Я потихоньку начинал понимать, что хорошие оценки не появляются сами по себе, они кроются в ежедневном, кропотливом, радостном труде. И в этом мне помогали бабушка и Мария Павловна.

Дорога на занятия в школу для нас, самых маленьких, всегда была настоящим подвигом. Её надо было покрывать в любую погоду: брести по дорожной хляби под холодным дождём, когда сапоги вязнут в непролазной грязи, преодолевать этот путь в морозы. Когда закутанные пуховыми платками малыши появлялись у школьного порога в виде заиндевелых мужичков-с-ноготок, отважных смельчаков бросались спасать наши школьные учителя. Правда, некоторым из нас иногда здорово везло, если в ненастную непогодь до школы их подвозили на конных санях.

Помню, утром, после "Пионерской зорьки" — тогда радио в каждом доме просвещало народ — мать, чтобы не проворонить выезд нашего соседа, председателя сельского совета, несколько раз выбегала на улицу. Замечая стоявшие у ворот упряжные сани, убеждалась, что он ещё дома и на работу не выезжал, после чего на время успокаивалась. Но всегда, непонятно каким образом, вовремя надевала фуфайку и вместе со мной стояла у ворот, рассчитывая на удачу, что мне и сегодня подфартит, и я в санях-розвальнях вместе с председателем доберусь до школы.

— Доброго здоровья, Илья Петрович! Мы, как всегда, к вам с просьбою. Не знаю и сама, какой из него толк будет! — радостным возгласом мать приветствовала соседа, и я замечал, как она, указывая на меня при слове "толк", ещё крепче со спины обхватывала мои плечи, приближая к себе. Бросив взгляд в сторону развалившегося председателя, стушёвывалась, с трудом удерживая мысль, говорила:

— У него с букварём нелады. Но на уроки-то ходить надо. Может, вы и сегодня подбросите его в школу?

— А чего ж не подбросить, не мне ж его везти, — дружелюбно усмехался председатель. — Лошадь всех довезёт. Пусть скорее прыгает ко мне в сани. Лишь бы от моего подвоза толк был. Меня вон мать в школу с напутствием выпроваживала: "Илько, не лежи на печи, до смерти учись и до гроба исправляйся". А то, что с букварём нелады, дак какая ж в том беда? Намучится — научится. Вон даже медведя — и того на велосипеде ездить научают. В науку нет коротких путей. Ты лучше, Гордеевна, следи за своим сыном, чтобы не упал в колодец и тебе не пришлось потом говорить: "Такова воля Божья".

Мать, опустив голову, тихо улыбалась, радуясь, что и сегодня меня отправила в школу с оказией, и уже сама про себя думала: "Неразумная опека хуже беспризорности. Никто так детям не верит, как мать родная".

Илья Петрович, ворохнувшись в санях, смял своим породистым телом пахучее сено. Заломив шапку, с молодецким посвистом и задорным криком: "Но! Но, милая! Не ленись!" — хлестнул вожжами и заторопился в сторону лога, управляя прерывисто дышавшей кобылой с валившими из её ноздр-

рей клубами пара и хорошо ощущая подпрыгивание саней при наездах на катыхи конского навоза.

— Дядя Илюшка, — спрашивал я, — вы всегда ездите всё на лошадке да на лошадке, а вот мой папка везде и всюду ходит пешком. Почему всё так происходит?

Извозчик от моих обескураживающих слов привставал в санях, переводил взгляд на противоположную сторону реки, где вдали из сомкнувшихся убелённых хат вились сизоватые дымки растапливаемых домашних очагов. Не в силах сдерживать напряжения, нервно встряхивая вожжами, важно поворачивался лицом в мою сторону и поучительно произносил:

— Ты, Петрушка, когда вырастешь, то, не стесняясь, всем говори: "Пешком шлёпайте, ходьба для всех полезна". А сам, вот как я, на них не смотри, а езди и езди себе на строптивой лошадке, — шмыгнув носом, шутливо подмигивал мне хозяйским глазом. — Но для этого, сынок, учиться надо. Наука в лес не ведёт, а из лесу выводит. Короли властвуют над людьми, а учёные властвуют над королями. Хотя и среди учёных дураков хватает. На восходе красно солнышко, красно оно и на закате.

— Дядя Илюшка! Дядя Илюшка! Смотрите! Смотрите! — вскрикивал я, взмахнув правой варежкой, привязанной резинкой к рукаву нового пальто. — Вон! Вон на той стороне реки! Убегает лиса!

— Лиса, — глядя на мой мальчишеский восторг, многозначительно говорил он, — всегда сытей волка живёт. Она одним глазом спит, а другим кур считает. Лиса в любом деле сухой из воды выйдет, она свой след хвостом заметает.

Сани легко мчались по луговой зимней накатанной дороге, пока мы не выскочили прямо под Косихино, где я заметил на шероховатом льду крупные разлапистые мазутные пятна с мелкими кусками стекла.

— Тпру-у-у, скаженная! Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! — лихо кричал извозчик, притормаживая в сумасшедшем разбеге лошадь. — Ступай, Петруша! Я дальше путь держу понизу, а тебе наверх. Тут рядом. Запомни только одно: учитель приоткрывает дверь, а дальше ты шагаешь сам.

Эти слова председателя я запомнил на всю жизнь.

Ухватив с собой увесистый портфель с книжками и тетрадками, ловко спрыгивал я с убористых саней на хрумкающий снег и бежал по натоптанной дорожке, вившейся под горою правого берега реки и извилистой ленточкой поднимавшейся наверх, где уходила она вправо и уже спокойно бежала прямо к школе. Отсюда чуть ли не до самой Трефиловки хорошо просматривалась заснеженная пойма реки, на левом берегу которой, слева и справа, сходились на середине хутора Лантуховка две нитки домов. С горы навстречу мне важно, вперевалку, с шумным гоготаньем шествовало к незамерзающей парящей полынье говорливое стадо домашних гусей, ведомое большим серым вожаком, лоб которого украшала разросшаяся розовая шишка.

Один из таких дней я хорошо запомнил. Я спешил в свой класс, по дороге наблюдая, как Матрёна Евдокимовна, техничка школы, в своём сером, износившемся до дыр халате, натянутом поверх тёплой одежды, взвизгивающей вибрирующей двуручной пилой в сарае с настежь отворенными воротами в одиночку умело разделывала на кругляши сосновое бревно, лежащее на самодельных козлах. Она усмотрела меня, первым спозаранку притопавшим в школу, и позвала на помощь — пилить дрова в сарае, заполненном отходами берёзы и сосны.

— Мария Павловна в школу сегодня придёт с опозданием — вчера исчезли пузырьки с нефтью, которые хранились наверху шкафа, в коридоре. (Я ничуть не усомнился в правдивости её слов, так как в эту зиму наша учительница квартировала в доме Матрёны Евдокимовны). Портфель отнеси в класс. Школа уже открыта, я только что туда занесла два беремка сухих поленьев на завтрашний день, — повелительно сказала она. — Потом будешь со мной разделывать вот это бревно.

И в самом деле, в помещении верхних классов у самой печки была навалена куча колотых дров, и если сразу на входе с улицы в коридоре ещё

и ощущался застоявшийся холод, то внутри, где я бросил портфель, меня обволокло приятное дровяное тепло. Я слышал, как гудела труба, как полыхали в печи сосновые смолистые поленья, яростно пожираемые языками наползавшего пламени, видел стоявший на плите чайник, из которого мы всегда на большой перемене всем классом пили чай. Рядом с печкой стояло ведро угля, доверху наполненное поблёскивающим антрацитом с воткнутым металлическим совком для его засыпки.

Наслаждаясь лучистым дровяным теплом, я с неохотой покинул уютный класс. Быстро миновал коридор, краем глаза глянув в сторону шкафа, где стоял коробок с пузырьками нефти, вышел на открытый школьный двор и уже по натоптанной тропинке направился к сверкающему в лучах восходящего солнца школьному сараю.

— Куда ж запропастился мой помощничек? Теперь-то я точно буду знать, кого мне нужно посылать за моей смертью, — донеслись до моего уха недовольные слова Матрёны Евдокимовны.

Я не обратил на это внимания, потому что меня уже волновал вопрос, куда исчез коробок с пузырьками "чёрного золота" — так моя учительница называла нефть. Мария Павловна, рассказывая о природных недрах, любила показывать хранившиеся в коробке пузырьки. Она гордилась своим сыном-геологом, работавшим в Тюменском крае, который и привёз для неё эти образцы.

— Может, те маслянистые пятна с разбитым стеклом на шероховатом льду, которые я видел под Косихино, это и есть та нефть, которая бережно хранилась в стеклянных ёмкостях? — мелькнула в моей голове мысль. — Ведь это же явные следы. Наверное, кто-то из наших ребят, спешащих в школу, сегодня обязательно заметит и расскажет об этом Марии Павловне. Но кто же смог совершить такой поступок? И будет ли он, пряча свои бесстыжие глаза, сгорать со стыда от всего случившегося? Или тот, кто совершил кражу, забыл, что у него имеется совесть, о которой нам на всех уроках говорила наша учительница?

Мне очень хотелось помочь ей в поиске пропажи, но я не знал, как. Я не знал, кто из моих друзей решился на кражу, но когда в памяти всплывали разлапистые пятна мазута на льду, то я понимал, что это совершил кто-то из сверстников, проживающих на моём хуторе.

В тот день Марии Павловне так и не удалось узнать, что произошло с теми пузырьками. Лишь только спустя многие годы, когда я приехал к ней в гости, за разговорами мы вспомнили о том случае, и она поведала мне хранившуюся в её душе тайну.

— Тогда, после завершения занятий, захлопывая дверь школы, я заметила, — вспоминала она, — что в коридоре на шкафу исчезла коробка с пузырьками. Я сильно расстроилась. Вечером я не могла есть. Лёжа в постели, я не могла уснуть. Покачивание маятника настенных часов действовало на нервы, а кукование кукушки просто разрывало тишину комнаты. Часы наводили на грустные мысли, давая понять, что ещё один час моей жизни отлетал в бесконечную вечность. Да ещё эта безжизненная луна, которая светила в окно...

Всю ночь я так и не сомкнула глаз. За это время перебрала в памяти проживающих за рекой ребят. Кто мог совершить кражу? Витя — нет. Вова — нет. Ваня — нет. Ну, кто же тогда оказался способен вынести из школы пузырьки с "чёрным золотом"? Мысль о пропаже не давала мне покоя и прямо разрывала виски. И дорог был подарок, и нужен: не один год на уроках я показывала ученикам богатство природных недр их Родины. Содержимое этих пузырьков вызывало у них неподдельный интерес. Я отвернулась к стене, но сон уплывал от меня. Перед самым рассветом зябнущим телом я ощутила, как за окном усилился мороз. Из комнаты выстужалось последнее тепло. За стеной, в пристройке, хлопая крыльями, драл горло петух. Только его кукареканье было для меня безрадостно. Я продолжала лежать. Не было желания идти в школу. Думалось о том, кто совершил кражу и где искать исчезнувший коробок с пузырьками. За случившееся корила себя: видно, не доглядела чего-то.

Хозяйка дома, не обметая валенок, вошла в мою комнату. Уже и предрассветная синева медленно заползала в окна, а меня невозможно было и подъёмным краном поднять с постели. Глаза слипались, раскалывалась голова. Матрёна Евдокимовна тогда заметила, что я плохо выгляжу. А как я могла тогда выглядеть, если в ночи глаз не могла сомкнуть, думая, кто позволил себе совершить такое? Помню, я ей только сказала, что вчера со шкафа в коридоре вынесли пузырьки с нефтью и что в школе я появлюсь с опозданием. Мысли о пропаже не покидали меня. Ну, не с ногами же этот коробок, не мог же он сквозь землю провалиться! Только вот куда идти? Где искать пропажу?

— В то утро ноги сами понесли меня в дом Спировых, — продолжала Мария Павловна. — Одно время я стояла там на квартире. Шла понизу. На той стороне реки полыхал красный восход солнца. Рядом, у колодезных незамерзающих копаней клубился пар, в пробуждавшихся хозяйских дворах слышалось гусиное гоготанье. На лугу у Павлова колодца кто-то набирал воду. Подойдя поближе, я признала Катю. Она тоже опознала меня, встретив радостным возгласом:

— Наверное, Мария Павловна, скучаете по нашему дому?

— Да нет, — с грустью ответила я.

— Тогда что привело вас к нам в такую рань? Может, мой баламут Колька набедокурил вчера в школе? Он сегодня не пошёл на занятия, както неожиданно у него поднялась высокая температура.

Пока шли к дому Спировых, я успела выложить Кате свою беду. Она попыталась меня успокоить: “Не волнуйтесь, сейчас спросим моего”. Мы вошли в дом. Она позвала сына и оставила нас вдвоём в комнате, сама же ушла хлопотать по хозяйству. Некоторое время мы с Колей молча смотрели друг на друга. Я подошла к нему, погладила его вихрастую голову.

— Коля, вспомни, как ты болел. Как я приходила к тебе домой, и мы с тобой в течение всей осени делали уроки. Ты обещал мне во всём помогать. Вчера исчез коробок с образцами нефти. Кто мог унести его из школы? Ты не знаешь, кто это сделал?

И он во всём сознался. Любопытство заставило его вместе с первоклассниками вынести нефть из школы и разбить пузырьки на льду под Косихино. Я пообещала ему тогда, что доверенный мне секрет буду хранить.

Слушая рассказ своей первой учительницы, я понял, почему исчезновение дорогого для неё подарка не привело её в отчаяние, почему она на всё случившееся закрыла глаза. Невзирая на сильную душевную боль, Мария Павловна нашла в себе силы покрыть поступок своих учеников ради сохранения мира в классе. Она чувствовала, что оценка легкомысленных поступков ребят завтра станет эталоном их растревоженной совести.

В детстве мы стараемся не только увидеть всё лучшее в своём учителе, но и запомнить увиденное на всю жизнь. Глядя на свою первую учительницу, я тогда понял, что она сумела научить нас главному: она приобщила нас к добру, потому что только добро служит продолжению жизни, а зло всегда жизнь уничтожает. Она показала на собственном примере мне, взрослому, как нужно уметь поступиться своими интересами ради мира.

Переместившись с Марией Павловной во двор, мы расположились, скрываясь от солнца, на скамье под ветвистой яблоней. Я напомнил ей ещё об одной школьной истории. То давнее событие перевернуло жизнь моего одноклассника, отпетого озорника Черкашина, в лучшую сторону.

Однажды он, мёртвой хваткой ухватив бородатого козла за рога, оседлал строптивое животное и, словно вавилонский царь Хаммурапи, помпезно въехал на нём прямо в класс. Невероятное зрелище открылось всем ученикам. Учительница, сидящая перед нами за столом, не могла его видеть, хотя мне тогда показалось, что она каким-то непонятным образом ощущала всё происходящее за её спиной: я сидел за первой партой и не мог не обратить внимания, как очки Марии Павловны медленно сползали на переносицу. Усилием воли она заставляла себя не отрываться от проверки тетрадей, пока в классе не раздался громовой хохот.

Теперь, сидя со мной в тени густой, ветвистой кроны яблоневого дерева, она рассказывала:

— Я не забыла тот случай в школе. Когда он на козле въехал класс, я только и подумала: "Снова Черкашин! Сколько же можно?" Вначале хотела написать записку его отцу и вызвать в школу. Потом увидела, как он вразвалку, с ухмылкой на лице шёл к моему столу. "Всё, как всегда, — подумала я. — Чем же его пронять? Или всё бесполезно? С него всё как с гуся вода". И вдруг — стоп! Меня осенила мысль. Я сказала самой себе: "Он всего лишь ребёнок. А ты — учитель с громадным опытом. Человек с волевым характером". И я, подавив в себе злобное волнение, нашла для него усмиряющие слова. Я обратилась к нему так, словно ничего не случилось: "Ты устал, Коля? Садись за парту, — ласково проговорила я, — отдохни". От такого обращения к нему, уличному шалопаю, он вздрогнул, удивлённо посмотрел на меня и в растерянности стал медленно удаляться от моего стола. Ему не хотелось уже больше никого беспокоить и унижать, ему хотелось быстрей сесть за парту. Он потом поневоле уже не отвлекался, а следил за ходом моего урока. После того приключения в нашем общении с ним не было больше вражды. С Колей установились мирные отношения. Это была победа! Не столько над неисправимым учеником, сколько над собой.

Я смотрел на свою постаревшую учительницу и думал, что прошло уже столько лет, а она всё помнит и по-прежнему продолжает жить жизнью каждого своего ученика.

— Потом, — вспоминала она, — Коля, уже взрослый, приезжал ко мне в гости. "Лучше бы вы тогда меня побили или вызвали отца в школу. Если бы вы только знали, как мне было стыдно тогда. И я твёрдо сказал самому себе, что со мной больше подобное никогда в жизни не повториться. Поступая благородно по отношению ко мне, вы сделали для меня значительно больше, чем, если бы, вызвали отца в школу, и он при всех моих сверстниках строго наказал меня".

Слушая Марию Павловну, я понимал, что главным делом её жизни было стремление сделать своих учеников духовными людьми, привить им чувство справедливости и любви, заставить проявлять заботу о других людях. Может быть, поэтому во взрослой жизни нам не понадобились и сдерживающие законы, так как всё злое приостанавливала наша недремлющая совесть, разбуженная в нас нашей первой учительницей. Её стараниями духовная власть в каждом из нас всегда стоит выше, чем власть человеческая.

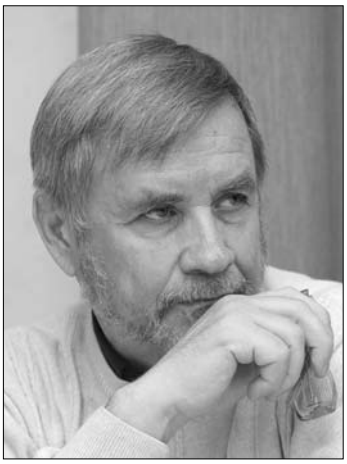
Помню, на первых порах в пятом классе я потерялся в новой школе, стал пропускать занятия. Однажды случайно оказался вместе с Марией Павловной на открытом дворе начальной школы, наблюдая за плывущим в небе клином журавлей. Небо наполнялось переливающейся силой звука журавлиного курлыканья вперемешку с радостным воплем вывалившихся из школы учеников, машущих воздетыми вверх руками: "Журавли летят! Летят журавли!" На фоне одетого в золотой багрянец осеннего леса высоко в небе, лениво покачиваясь, проплывал над нами нестройный журавлиный клин. Его ослабевавший улетающий плач постепенно смолкал, пропадая вдали, пока и вовсе не перестал быть слышимым. Во внезапно охватившей всех нас полной тишине я вдруг услышал обеспокоенный голос Марии Павловны: "Ты почему пропустил впереди себя худших учеников? У вас же разные способности. Надо стараться! Надо идти вперёд!"

Оказывается, она была в курсе всех моих достижений и неудач в новой школе. Она верила в меня.

Всю жизнь не выпускала она из поля зрения своих учеников, искренне радуясь их победам, вселяя в них надежду, и эта надежда помогала преодолевать падения и становиться в жизни сильнее. В каждом из нас — частичка её труда, её души, её любви. Начинать всегда трудно. Однако все мы знаем, что если начало положено, то полдела сделано, а ведь только от доброго начала бывает и добрый конец.

Учитель лишь приоткрывает дверь в жизнь, а дальше ты шагаешь сам.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ



ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ И ЧЕСТИ

* * *

На Алтае — крымская жара,
Будто в тигле, плавится июнь.
Поутихли горные ветра,
Лишь в низине буйствует Катунь.

А душа здесь просится в полёт!
И в священной горной тишине
На Пикете таволга цветёт
В память о великом Шукшине!..

* * *

“Я забыла больше, чем ты знаешь”, —
Говорила мама мне когда-то.
Мудрость этих слов воспринимаю
Лишь теперь безропотно и свято.

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович родился в станице Ильской на Кубани. Детство и школьные годы прошли на Белгородчине, в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет. Автор одиннадцати книг стихотворений, двух юмористических сборников. Публиковался во многих столичных и региональных журналах, альманахах и коллективных сборниках. Стихи переводились на немецкий, польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки. Лауреат многих всероссийских литературных премий и конкурсов, заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Белгороде.

* * *

Не будет к прогрессу хода,
Покуда страх не изжит.
Прячется власть от народа,
Народ от власти дрожит.

Но как же узнать, чем дышит
На свете людская рать?
Они боятся услышать,
А Мы боимся сказать.

* * *

Так беспредельно-оголтело,
Как будто вечное творит,
Он мне с издёвкой говорит:
— Стихи писать — не ваше дело.

Ему скажу открыто, смело,
Как и пристало говорить:
— Творю, как дал мне Бог творить,
А что творить — не ваше дело...

* * *

“Умом Россию не понять...”
Ф. И. Тютчев

Мы все на земле этой гости,
Но, веру в Россию храня,
Бессмертным останется Овстуг,
Бессмертною песней звеня!

Ах, Фёдор Иванович Тютчев,
Как вашему слову не внять?!
И ныне, в эпохе не лучшей,
Россию умом не понять...

* * *

И в прошлом, и ныне, и впредь,
Как рана сквозная:
— За что ты готов умереть?
— Не знаю...

ИРИНА ЧЕРНЯВСКАЯ

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

РАССКАЗЫ

Пятилетний крепыш — курносый, большеглазый Мишутка — лихо раскачивается на качелях и заливисто хохочет. А что? Ведь это же так здорово — подлетать под самое небо, да ещё если рядом с тобой — Лилечка!

Лилечка — лучшая девчонка во всём дворе, да что во дворе — во всей округе! Ей тоже пять, но держится она так, будто исполнилось ей все шесть. Ничего удивительного, ведь Лилечка — красавица, а красавицы многое могут себе позволить. Да разве другую девчонку Мишутка раскачивал бы вот так, целый час? Давным-давно убежал бы мяч гонять, тем более что во дворе появился Витёк со своим новеньким "футболом" и явно подыскивает себе команду…

Но сейчас Мишутке не до того. Потому что он безумно влюблён в Лилечку и в недалёком будущем собирается на ней жениться. Правда, он не знает самого главного: согласна ли она? Вообще-то должна бы согласиться — недаром же Мишутка постоянно таскает для неё из дому конфеты и печенье! — но удостовериться не мешает. Ох, какая она красивая, эта Лилечка: вся рыженькая — и реснички, и косички, и бровки, — а конопушки — прямо по всему личику, даже на ручках и ножках — ни у кого таких нет!

Конечно, трудно сказать, что придёт в голову такой красавице. А вдруг она всё-таки не согласится стать мишуткиной женой? Хотя вряд ли это случится: ведь он, Мишутка, лучше всех гоняет мяч, дальше всех прыгает

ЧЕРНЯВСКАЯ Ирина Николаевна родилась в Белгороде в 1958 году. После школы работала реквизитором в театре, посадчицей на аттракционах, электромонтером... Печаталась в местных газетах, в коллективных сборниках, антологиях. Автор трёх книг: "Таборная песня" (стихи), "Осеннее танго" (проза), "Пирожок" (сборник стихов и пьес для детей). Член Союза писателей России. Живёт в Белгороде.

со скамейки, а позавчера научился свистеть, совсем как Лёха из сороковой квартиры. Но насчёт Лилечкиных чувств надо знать наверняка. Мишутка обрывает счастливый смех и решительно спрашивает:

— Лилечка, у тебя жених есть?

При этом он совершенно уверен, что она ответит: "Есть". И добавит: "Ты".

— Есть, — отвечает Лилечка. И добавляет: — Толик. Он в деревне живёт.

Такого коварства Мишутка не ожидал. Ему сразу становится как-то скучно и даже тоскливо. И чего это он так долго качает какую-то конопатую Лильку? Делать ему нечего, что ли?

Мишутка резко тормозит, твердо решив присоединиться к ребятне, что во главе с Витьком затеяла игру в футбол, но тут Лилечка его останавливает.

— Миш, — говорит она, как ни в чём не бывало, — Миш, я забыла... Хочешь? Смотри, какая жвачка классная! Это — мятная, — и протягивает Мишутке в своей кукольной ручке жевательную резинку. Мишутка тяжело вздыхает и молча берёт. Его обида как-то незаметно проходит сама собой, тем более что жвачка и вправду мятная, и очень вкусная. И Мишутке начинает казаться, что ещё не всё потеряно. Он жуёт лакомство и спрашивает напрямик:

— Лилечка, а ты хочешь на мне жениться?

Лилечка обречённо вздыхает и виновато говорит:

— Вообще-то хочу, но у меня же Толик...

— Знаешь, Лилечка, ты не расстраивайся! — ободряет её Мишутка. — Пока мы ещё маленькие, нам жениться нельзя. А когда вырастем, твой Толик, может быть, уедет куда-нибудь или умрёт. И тогда мы будем вместе. Мы знаешь, как хорошо будем жить! Я буду тебе всё делать помогать. Я же всё умею! Например, я могу отрезать себе хлебушка и маслом намазать. И тебе намажу, если захочешь. Я даже умею делать "шубу". Тебе "шуба" нравится?

— Очень! — простодушно признаётся Лилечка. — У меня есть пушистая, с вот такущими помпонами!

— Вот глупая! Я же не о такой шубе тебе толкую! Я же про салат тебе говорю! Моя мама такой салат делает, а называется он "шуба", ясно? Туда нужно знаешь что? Картошку сначала толчёную. А потом лук. И ещё селёдку. И свёклу! Только её резать нужно мелко-мелко. А потом всё это поливают таким... таким... Ну, в общем, беленьким таким, как сметана. Я запросто могу такой салат приготовить! И тебя тоже буду кормить, а если у нас будут дети, я и детей кормить буду, и буду их очень любить. Я им всего накуплю: конфет, жвачек, шоколадок и никогда-преникогда не буду их в школу водить! Мы каждый день будем мультики смотреть и на качелях качаться. Но если тебе очень захочется, то сможешь уехать на немножечко в свою деревню и что-нибудь оттуда привезти, например, картошку. Или ещё какой-нибудь чепухи. А летом — летом мы будем на речку ходить. Я научусь плавать — меня папа научит, — и тогда...

— Мишутка! — раздаётся клич с балкона. — Обедать!

Мишутка и Лилечка вздрагивают от неожиданности и с тоской смотрят на балкон мишуткиной квартиры. Оба они ужасно огорчены, что их прервали на самом интересном месте. Тем более, что Лилечка уже давно забыла о существовании Толика и с удовольствием слушала мишуткины фантазии на тему об их будущей совместной жизни. Но зычный голос с балкона не утихает:

— Мишутка! Скорее! Кому сказано!

Мишутка нехотя слезает с качелей и грустно говорит Лилечке:

— Обедать зовут... Но ты не переживай — я скоро выйду! И тогда я тебе доскажу дальше. Ты только не уходи никуда, ладно? Подожди меня! Подождёшь?

Лилечка радостно кивает в ответ.

Она подождёт.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧУДУ

Вспоминаю, как это было.

…Надоедливый мелкий холодный дождь моросит вот уже третьи сутки. Да и чего можно ждать от погоды в конце октября? На улице сыро и неуютно, и эта непогодь навевает такую тоску, что хочется плакать или выть по-звериному. Вокруг ни души. Но по широкому двору, заваленному ворохом мокрых листьев, идёт девочка. На ней голубое пальтишко и красная шапочка, а ботинки совсем промокли, поэтому она старательно обходит лужи. Девочка и сама не знает, куда бредёт, но, судя по мечтательному выражению лица, ей это совсем не важно. Странной девочке восемь лет. Это я.

Почему я одна в такую унылую, дождливую пору? Почему не иду домой? Наверное, потому, что дома мне было бы ещё тоскливей. И эта непонятная тоска не только от бесконечного дождя — есть и ещё что-то, от чего моя душа чувствует себя такой невыносимо угнетённой. Вот только не пойму — от чего? Уроки я сделала, посмотрела интересный мультик, наелась вкусных сырников, изжаренных заботливой мамой… А душа всё-таки ноет, и ничегошеньки невозможно поделать, чтобы её утихомирить!

И вдруг… Вдруг резкий порыв ветра срывает целую горсть багрово-красных листьев дикого винограда, что растёт у соседнего крыльца. Один из этих листьев — крупный и особенно яркий — падает мне на плечо. Несколько секунд я восхищённо смотрю на него: какой же он сказочно красивый! Густо-малиновый лист на моём голубом пальто…

Полежав на плече, лист величаво слетает наземь. Но он красив и там — плывущий по тусклой, грязной луже пурпурной ладьёй!

И тут свершилось чудо: я услышала голос. Этот голос шёл откуда-то изнутри, словно из глубины моего сердца, но я услышала слова, которые сами собой складывались в строчки:

Красные листья кружатся,
Тихо на землю ложатся...
Зябко дрожит виноград,
Грустные листья летят.

От неожиданности я даже замерла: стихи! Я умею сочинять стихи! Вот здорово! Но порадоваться вволю было некогда. Голос во мне продолжал звучать:

Хмуро, печально и серо...
Небо совсем потемнело,
Крупные капли стучат,
Ветви, как палки, торчат...

Тут я очнулась: скорей! Скорей домой — записать эти удивительные строчки, которые — я ничуть не сомневалась! — были настоящими стихами!

И я стремглав помчалась домой. Не снимая обуви, вбежала в комнату, схватила первую попавшуюся тетрадку и карандаш и записала восьмистишие. Перечитала и… внимательно стала прислушиваться к себе, готовясь писать дальше. Но голос умолк. Я поняла: мне не надо было записывать эти строчки! Но тогда бы я просто-напросто их забыла…

Так я впервые повстречалась с Музой, впервые ощутила прикосновение её незримого, трепетного крыла… Эта чудесная встреча принесла мне душевный покой: несколько дней я ходила совершенно счастливая, а когда это радостное чувство ослабевало, я вновь и вновь перечитывала своё восьмистишие, казавшееся мне безупречным…

Но время шло, а написать стихи, подобные этим, мне так и не удавалось. Появлялись другие — неумелые, наивные… Да и чудесного голоса я больше не слышала. Как жаль, думала я порой, что всё закончилось так буднично!

Но однажды — тогда мне было уже двенадцать — я сидела у окна за письменным столом и никак не могла решить задачу по алгебре. Отчаяв-

шись, я начала чертить на черновике какие-то нелепые закорючки, окончательно потеряв и без того размытый след своей хилой мысли…

И вдруг моя рука сама собой перестала чиркать по бумаге — вместо этого она, словно под влиянием гипноза, послушно принялась записывать невесть откуда взявшиеся строчки:

Моя любовь, моя заря!
Я сохранил мечты в разлуке
О том, как вас боготворя,
Я целовал Вам нежно руки;
Как вы шептали тихо "Нет",
А тонких рук не убирали...
С тех пор прошло так много лет,
Но позабуду я едва ли...

Распахнутой форточкой хлопнул весенний ветер. Может быть, это он принёс мне стихи на своих крыльях? Но ветер утих. И необычные строчки тоже перестали во мне звучать. Казалось, будто это поразительное восьмистишие было написано вовсе не мною…

Несколько минут я восторженно смотрела на странные, не свойственные моему возрасту стихи, написанные почему-то от лица мужчины. Меня распирала гордость. Но показать моё восьмистишие было невозможно никому: ведь никто не поверит, что его автор — я. Честно говоря, мне и самой начинало казаться, что я не имею к этим стихам никакого отношения. Просто судьба вновь преподнесла мне подарок, позволив моей душе второй раз в жизни прикоснуться к чуду…

Таинственного голоса я больше не слышала. Но чудеса не могут происходить каждый день — на то они и чудеса. А вот верить в них и надеяться, что судьба нет-нет, да и подарит тебе встречу с чудом, — необходимо. Будем надеяться!

ВЕРА КОБЗАРЬ

ГОСПОДЬ ОТЫЩЕТ КЕЛЬЮ

* * *

Пройдёт печаль, и будем жить на свете
Легко и просто... Силу обретя,
Качнёт берёзку золотую ветер,
Закружит листья — ласково, шутя...

Усталый дождь прольётся на поляны,
Земля впитает влагу до весны...
И поплывут осенние туманы,
Как светлые и радостные сны.

Морозным утром густо заклубится
Над тёплым домом кружевной дымок.
Снежинкам первым очень удивится
Лохматый и задиристый щенок.

КОБЗАРЬ (КОСТЕНКО) Вера Петровна родилась в селе Краснoталовка Еланского района Волгоградской области, окончила Всесоюзный финансово-экономический институт в Белгороде. Член Союза писателей России. Автор сборников стихотворений "Вчера был снег" (1996), "Весенний дождь" (2002), "Светлый август" (2008), "Ожидание" (2014). Публиковалась в журналах и альманахах "Наш современник" (Москва), "Роман-газета XXI век" (Москва), "Карелия" (Петрозаводск), "Всерусскій соборъ" (С.-Петербург), "Золотая строфа" (Москва) "Звонница" (Белгород), "Светоч" (Белгород), в коллективных сборниках "Есть память обо мне", "Город, в котором я живу", в областных и районных газетах и других изданиях. Лауреат премии "Прохоровское поле" и международного поэтического конкурса Рубцовского творческого союза "Звезда полей".

А утром рано, медленно и ровно,
Вдоль старого ивового плетня
Пройдёт к колодцу бабушка Петровна,
Как бубенцами, вёдрами звеня.

ПОРТРЕТ

Наступит ночь и звёздной пылью
Осядет на твоём окне.
Я небылицей или былью
Явлюсь к тебе в недолгом сне.

Покуда утро не настало,
По невесомости ночной
Пройдусь, поправлю одеяло,
Понаблюдаю за луной,

Как сквозь задёрнутые шторы
Её чуть синеватый свет
Бросает дивные узоры
На стол, на вазу, на портрет...

Ах, как смеётся на портрете
Твоя красивая жена!
Но кто же мне, скажи, ответит,
Зачем тебе я так нужна?

ДУША

Душа вдруг запросила
Любви и соучастья,
Душа вдруг запросила
Себе земного счастья.

Стучу в чужую дверь я,
От страха чуть дыша.
За дверью ведь не звери —
Такая же душа!

Но голос раздражённый,
Как залп в глухую ночь:
“Здесь не приют казённый,
Иди отсюда прочь!”

И от обиды горбясь,
Плетусь я не спеша,
Забудь, забудь про гордость
Бездомная душа.

Расправь больные крылья
И, устремляясь ввысь,
С молитвою над пылью
Житейской поднимись!

Небесной акварелью
Горит восток уже,
Господь отыщет келью
Отторгнутой душе.

* * *

К заутрене звонят колокола,
И улетает звон под небо вешнее.
Душа иную силу обрела —
В молитвах и раскаяниях, грешная.

А колокол без устали звонит,
Приветствуя простивших и прощённых.
И солнце катит медленно в зенит,
Целуя купол неба золочённый.

ТАТЬЯНА ОГУРЦОВА

БУБЛИКИ

РАССКАЗЫ

На рубеже 80-х и 90-х годов XX века общественное сознание, запутанное и задуренное перестройкой, рождало странные до нелепости идеи и порой побуждало вполне вроде бы нормальных людей совершать такие же странные поступки.

Я в те годы работала в библиотеке областного отделения ещё процветавшего тогда Союза театральных деятелей (СТД). Помещение Союза состояло из двух комнат в здании областного драматического театра. В комнатке поменьше находился собственно, как теперь говорят (тогда так ещё не говорили), "офис" организации. Там были рабочие места ответственного секретаря организации и бухгалтера. В комнатке побольше была моя библиотека. Если ответственному секретарю или бухгалтеру что-то было от меня нужно, они стучали в стену между комнатками.

В один прекрасный день ожидалась премьера детского спектакля. И вот незадолго до начала утренника раздался стук в стенку. Войдя в соседний кабинет, я увидела там, кроме своих сотрудников, актёра, носящего звание заслуженного, — режиссёра и исполнителя одной из ролей в новом спектакле. Он был одет в костюм скомороха, соответствующе нарумянен и напомажен. Высокий и представительный, он своим звучным актёрским голосом что-то увлечённо доказывал моей начальнице — ответственному секретарю Союза.

ОГУРЦОВА Татьяна Викторовна родилась в Курске. Окончила Харьковский государственный институт культуры. Работала в библиотеках города Белгорода. В настоящее время работает в Пушкинской библиотеке-музее в Белгороде. Автор поэтических книг "Лирика", "Из трёх тетрадей" и прозаической "Захолодь". Публиковалась в периодических изданиях: "Наш современник", "Роман-журнал XXI век", "Подъём", "Литературная Россия" и др. Член Союза писателей России. Живёт в Белгороде.

Оказалось, спектакль-сказка начинался с выхода скоморохов. И выход этот был необычный — скоморохи выходят на сцену не из-за кулис, а из зрительного зала, то есть они входят из зрительского фойе в зал и через амфитеатр и партер идут к сцене с шутками, прибаутками и заигрываниями со зрителями. Проходя по залу, скоморохи всячески стараются расшевелить и расположить к себе детскую аудиторию. Кому-то они строят смешные рожицы, кому-то пожимают руку, кому-то дарят мелкие подарки. Вот из-за этих-то подарков заслуженный артист к нам и явился. Он придумал, что ради премьеры подарками будут не списанные бутафорские мелочи, а настоящие свежие бублики. Этих бубликов — штук пять-десять — он и просил купить СТД (на деньги СТД, разумеется). За бубликами кого-то надо было посылать. Вот меня и позвали.

Бухгалтер уже стала готовить финансовые документы, но тут ответственный секретарь сказала:

— Нет, так неправильно. Нескольким человекам вы дадите бублики, а остальные как же? Это же дети. Им будет обидно.

Заслуженный артист растерялся. А она продолжала нажимать — несправедливо, обидно.

— Ну, это же такой художественный ход. Ведь руку-то я не всем пожимаю и подмигиваю не всем. И никто не обижается.

— То руку, а то один съест, а другой нет.

— Да что они, голодные, что ли? Это же просто для контакта, для правдоподобия. Как бы дверь в сказку открыть.

— Вот именно, — неизвестно, что имея в виду, воскликнула ответственный секретарь.

— Может, вообще не надо бубликов? — подала голос бухгалтер.

— Это ведь не для еды. Мы же просто хотим приблизить действие к зрителю, — снова начал заслуженный артист.

— Так несправедливо. Дети обидятся, — опять возмутилась ответственный секретарь.

Разговор пошёл по кругу. Потом ещё раз. И ещё.

Наконец, заслуженный артист сдался.

— Ладно, — вздохнул он, — что вы предлагаете?

— Надо купить бубликов на всех. И всем раздать, — отчеканила ответственный секретарь.

Заслуженный артист слегка задохнулся, потом прокашлялся и махнул рукой.

— А как же… — начала было бухгалтер.

— Это получится не очень дорого, зато справедливо, — не слишком логично, но твёрдо возразила начальница.

За бубликами, кроме меня, пошли кассир, уборщица и двое молодых актёров. Бублики были мягкие и пахучие.

Раздавали их после спектакля. Во что превратилось это раздавание, нам рассказал один из незаслуженных артистов, пожилой, потихоньку выпивающий в свободное от работы время исполнитель самых маленьких, какие только бывают, ролей, постоянный читатель моей библиотеки.

Сначала артисты раздавали бублики со сцены. Но мало того, что это было очень долго, что кто-то из детей хватал два бублика, кому-то, оттеснённому, не доставалось ни одного, так к тому же у сцены начала образовываться толкучка, грозящая перейти в давку. Тогда один молодой актёр, очень красивый и несколько истеричный, придумал бросать бублики в толпу. Чтобы поймать бублик, дети должны были метаться, прыгать, толкаться. Так они и делали. Какие-то бублики ловились, какие-то, ударившись о чью-нибудь голову или плечо, падали на пол и растаптывались. Наиболее ловким детям удавалось поймать по нескольку бубликов, нерасторопные оставались ни с чем.

В конце концов, усилиями заслуженного артиста и билетёров раздачу бубликов удалось упорядочить — раздавать стали на выходах из зала. Но и тут дисциплина поминутно нарушалась. Иные инициативные дети,

схватив бублик, снова ныряли в зал и, вновь подходя к выходу, тянулись за новым бубликом. А кто-то опять оказывался обделённым.

Когда всё, наконец, кончилось, на полу в зале остались следы торжества справедливости — раздавленные и надкушенные бублики. Несколько надкушенных и брошенных бубликов нашли в фойе и в раздевалке.

— Вы такого больше не делайте, — взволнованно говорил незаслуженный артист ответственному секретарю, стоя в дверях "офиса". — Это же хлеб! Разве можно? Чему вы так детей научите?

Он хотел что-то ещё добавить, но не нашёл слов. В его широко открытых глазах было потрясение. Он укоризненно качнул головой и снова повторил, с непроизвольным актёрским нажимом:

— Это же хлеб, хлеб!

Впереди были 90-е годы.

СПАСЕНИЕ РАССАДЫ

Так называемая борьба за выживание, которую мы все вели в 90-е, эта борьба, длившаяся годы и годы, не только отнимала все физические силы, она истощала душу.

Особенно остро я почувствовала это майским утром 1999 года.

Как и в предыдущие вёсны, мы с отцом сделали на даче рассадень (небольшой кусочек земли, огороженный досками и накрытый полиэтиленовой плёнкой) и высадили туда рассаду помидоров и перцев. Рассада постепенно окрепла и подросла. Когда стала тепло, хорошую плёнку поменяли на дырявую, чтобы растения дышали и закалялись. А потом плёнку и вовсе сняли. К тому времени рассада была уже высокой и крепкой. В выходные собирались высаживать тёмно-зелёные лохматые помидоры и стройные глянцевые перцы в грунт.

И вдруг по радио передали, что через сутки ожидаются заморозки. Отец и дядя были в деревне, уехали туда на несколько дней, чтобы завершить посадку огорода. Значит, только от меня зависело, уцелеет ли наша рассада, а с нею и надежда на урожай. Потерять рассаду для нашей семьи было катастрофой. Ведь помидоры и перцы составляли серьёзную часть нашего питания.

День перед ожидаемыми заморозками был рабочим — понедельник. Значит, надо поехать на дачу первым автобусом, укрыть рассадень и сразу на работу. Успею ли? Тем более, что по понедельникам "наш" автобус (то есть тот, который доезжал до нашего дачного посёлка) не ходил. Значит, придётся ехать на чужом и потом топать от трассы. Это примерно в два раза дальше и дольше. Я рассчитала время по минутам. Получалось, что успею, но всё впритык.

Чтобы не опоздать на обратный автобус, надо выйти с дачи не позднее, чем за полчаса до него. Это было сложной задачей, потому что у меня остановились наручные часы. Денег на починку не было. Что же делать? И тут я вспомнила о старом будильнике. Это был какой-то странный механизм — он то ходил, то останавливался, причём независимо от завода. К тому же он был довольно большой. Но выбирать не приходилось.

Ранним утром следующего дня я вышла из дома. Плечо мне оттягивала сумка с аритмично тикающим будильником. Я благополучно успела на первый автобус. Скрипя, дребезжа и отдуваясь, он потащил меня и ещё нескольких дачников за город. На нужной мне остановке вышла я одна. Остальные поехали дальше — автобус-то был чужой.

Утро после ночного дождя было пасмурное, тихое, прохладное. Я шла быстро, не обращая внимания на лезущие через убогие дачные заборы цветущие яблоневые и сиреневые ветки, на свежие весенние запахи, на пение птиц.

У себя на участке я полила и накрыла рассадень и перед обратной дорогой решила свериться с будильником. Увы, он стоял. Но меня это не сильно

обеспокоило — я чувствовала, что времени мне хватит. Обратно шла уже медленнее. И тут уже замечала всё — и ветки, и цветы, и птиц, и жуков, и ящериц. Прекрасное весеннее утро окружало меня — свежее, душистое, изобильное своей красотой. Я понимала, что должна радоваться и наслаждаться. Я и радовалась, и наслаждалась, но как-то через силу, словно не душой, а умом. Словно не по-настоящему. Как будто красоте этой было не пробиться ко мне сквозь грозную и мелочную каждодневность.

На остановке я спросила время у одиноко сидящей на лавочке женщины в дождевике. Оказалось, я пришла даже с небольшим запасом — до автобуса оставалось ещё восемь минут. Я уселась на лавочку и, чтобы не терять времени даром, достала из сумки газету с рассказом одной своей знакомой. Газету эту я специально взяла с собой, чтобы обязательно и поскорее прочитать рассказ и, если знакомая позвонит, быть готовой к разговору о нём.

Рассказ был совсем простой, не очень жизненный, но оптимистичный. Я почти закончила чтение, когда пришёл автобус. Дочитывала, уже сидя под автобусным окошком.

Я ехала на работу и от того, что мне удалось всё успеть — и рассаду спасти, и на автобус не опоздать, и рассказ прочесть — чувствовала удовлетворение и даже некоторый душевный подъём. Но этот подъём, как и предшествовавшее ему наслаждение весенней красотой природы, был словно через силу. Натужный. Надрывный. Как болезненный смех сквозь слёзы.

КОТЛЕТКИ

Нет, настоящего голода в девяностые, конечно, не было. Просто было постоянное недоедание.

Все были полуголодные, поэтому всё время ели. Давным-давно никто нормально не обедал. Те столовые и кафе, которые пережили перестройку, стали совершенно недоступны простым смертным. На рабочих местах, как правило, не было никаких условий для перекуса, кроме чайника. Поэтому все везде по нескольку раз в день пили чай с хлебом и вареньем. Сытости от такого чаепития хватало едва ли на час, а потом зубы опять начинали щёлкать.

Когда я теперь смотрю фильмы тех лет, меня болезненно поражает вид артистов — голодная худоба их лиц, напряжённое и безнадёжное выражение глаз. Так тогда выглядело большинство людей в стране.

При том, что отец и дядя получали пенсию, а я работала и получала зарплату, мы не могли нормально питаться из-за дороговизны тех немногих продуктов, которые возможно было купить.

Однажды отцу и дяде задержали пенсию. Помню молчание отца в те дни. Я пыталась подбодрить его — всё не так катастрофично, мне-то зарплату дали. Но лицо его оставалось серьёзным и печальным.

Время от времени удавалось раздобыть по относительно вменяемым ценам крупу и муку. Муки однажды по случаю купили недорого целый мешок. И я делала дрожжевое тесто и пекла оладьи и пироги с картошкой.

Молоко покупали только в “бочках”, которые приезжали из районов. К бочкам этим выстраивались длинные очереди. Магазинные цены на молочное вызывали оторопь. Телевизионная реклама простого кефира производила впечатление наглого издевательства. Когда моя сотрудница как-то сказала, что на ужин купила в магазине коробку ряженки, я была потрясена её безумным расточительством. Ведь если сегодня ряженка из магазина, то завтра хлеб не на что будет купить.

Каждый месяц, получив пенсию, отец отправлялся на базар и после долгого выбирания и терпеливого дипломатичного торга покупал сало и говядину. Из говядины варили борщ на несколько дней. Сало солили. На нём жарили картошку, когда силы бывали на исходе. А когда ехали на огород, брали с собой кусочек на бутерброды.

Овощи и фрукты мы выращивали сами. Кроме огорода, у нас была дача. И если отец и дядя больше работали на огороде, то дача в основном была за мной. Летом я ездила туда два раза в неделю, в субботу и в среду.

В среду с обеда отпрашивалась с работы или просто удирала под каким-нибудь предлогом.

И вот однажды в среду со мной вызвалась поехать моя бывшая одноклассница. У неё был отпуск, а дачи не было. И она решила немного мне помочь, а заодно и прогуляться.

Надо сказать, что моя школьная подруга работала в довольно крупной и, несмотря ни на что, относительно уверенно державшейся на плаву организации. Зарплату там платили, видимо, гораздо большую, чем я могла себе представить. Такой вывод я сделала из того, что подруга моя никогда не называла сумму этой зарплаты. То есть она была чуть богаче, чем я.

Иногда она угощала меня конфетами (я сама конфет, разумеется, не покупала). А я отдаривалась яблоками и кабачками. В ту среду я собиралась срезать раннюю капусту. И радовалась, что смогу подарить подруге несколько кочанов.

День был приятный, не очень жаркий и не слишком ветреный. За болтовнёй длинная дорога от автобуса до дачи протопалась почти незаметно. Я показала подруге наши дачные достопримечательности. Похвалилась лохматыми кустами ещё зелёных помидоров и перцев и предложила ей выбрать для себя капусту. А капуста в тот год удалась на славу — просто загляденье.

Полюбовавшись на всё, подруга сказала, что прежде чем резать капусту и делать другие дачные дела, надо перекусить. Это меня озадачило. По средам я на дачу еду не брала. Только воду. Но подруга моя достала из своей сумки пакетик с несколькими аккуратными свёрточками и сказала, что у неё есть всё, чтобы нам пополдничать. От себя я смогла добавить сорванные на участке пару огурцов и перья лука-батуна. В домике была электрическая плитка, и я поставила чайник. На заварку мы нарвали листочков мяты и лимонника.

Когда моя подруга начала разворачивать свои свёрточки, я увидела бутерброды с маслом, варёные яйца и круглые коричневые лепёшечки. Неужели котлетки!? Сколько лет, сколько зим! Просто аж голова закружилась.

Но почему она не ест их и мне не предлагает, а пододвигает только яйца и бутерброды? Не могла же она о них забыть. Может, спросить?

— А что это? — строю я из себя дурочку, кивая на котлетки.

— А это к чаю, — говорит она, — это яблочные оладьи.

Ох, это был удар. Я замерла от неожиданности, а опомнившись, напрягла все свои силы, чтобы скрыть разочарование.

Ну, что же, яблочные оладьи так яблочные оладьи! Но от потрясения я совершенно не запомнила их вкуса. А наверняка ведь они были совсем неплохи с мятно-лимонниковым чаем.

МИХАИЛ КУЛИЖНИКОВ

Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ В НЕБО

ПЕЙЗАЖ С ВЕЧЕРНИМ ГОРОДОМ

День устало уходит из города.
Краски и звуки
прячутся в тёплые сумерки.
В окнах загорается свет.
Это дома открывают глаза.
Лохматая туча
зацепилась за телевизионные антенны
и тихо плачет.
В мокрый асфальт глядятся витрины.
Девушке,
босиком бредущей по лужам,
сигналят машины...

* * *

Троллейбус едет тихо, что ему,
что не найду себе сегодня места.
Глядит он мутно фарами во тьму,
а мне б добраться до её подъезда.

КУЛИЖНИКОВ Михаил Анатольевич родился в Белгороде. Окончил Белгородский педагогический институт. Член Союза писателей России. Заместитель председателя Белгородского регионального отделения Союза писателей России. Автор поэтических сборников "Пейзаж с вечерним городом", "Покаяние", "Стихии одиночества". Лауреат международного поэтического конкурса "Звезда полей-2010", лауреат литературной премии "Прохоровское поле". Живёт в Белгороде.

Я робко к ней войду в озябший дом,
присяду на цветастую банкетку.
Глотая подкативший к горлу ком,
сомну в руках поношенную кепку.

И не смогу уйти я от неё,
и разговор потянется неспешно...
Но вот троллейбус едет, ё-моё,
совсем в другую сторону, конечно...

Коль было б так, слова, что сердце жгут,
сказал бы ей, а может, нет... Кто знает?..
Ведь жизнь, как и троллейбус, свой маршрут,
как ни упрашивай, не изменяет.

* * *

Я вглядываюсь в небо, ну, и что ж?
Ни звёздочки, ни проблеска надежды.
И льёт, и льёт холодный нудный дождь,
Душа промокла и одежды.
И я спешу домой, спешу в уют,
в спасительные свойства чая веря.
Друзья там верные и преданные ждут:
кот перед дверью, тапочки за дверью.
Соседского кота не зло турну:
с ним истину навряд ли мы отыщем.
Не попадая в тапочки, загну
почти что трёхэтажным материщем.
И снова ночь в раздумьях протечёт.
Чай на столе нетронутый остынет.
И розовым слонам вести я буду счёт
в надежде, что тоска меня покинет.
Но, кутаясь в поношенный халат,
я в мыслях в юность возвращусь дворами...
Эх, осень жизни, так некстати... невпопад.
И вот уже зима не за горами.

НИКОЛАЙ МОНОСТОН

КУЛЬТУРА КАК КРИТЕРИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИРА

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Почему культура есть часть, смысл и проявление веры?

Люди трактуют культуру слишком узко или, напротив, чересчур широко. Между тем культура – это умение слышать Господа. Это вот что такое и ничто иное. Люди отчего-то назвали сие умение религиозным чувством, но это лишь некий оттенок, некая грань культуры.

Нет у людей выбора третьего: либо они зов Света слышат, либо вой зла, привлекающий их к радостям мнимым. Культура – то, что не даёт человеку последовать за злом в огненную пещь. Слыша голос Господень в себе, художник живёт для Господа, и оттого Свет вокруг него разливается. Свет, исходящий от мудрого, – это и есть культура. Создание мира, в котором Господу есть место, – вот задача культуры. Если художник усвоит это правило и находить Господа будет вокруг себя в жизни, а затем переносить это ощущение в свои творения, то такие творения станут частицами культуры. Это должно душу потрясать – ощущение Господа в мире, полном слёз и тяжких мук. Потрясение от открытия сего должен испытать и зритель, и тогда устремлённость в Небо души его неизбежна. А устремившись в Небо и понемногу выстроив мост с Силами Света, и он станет человеком культуры. Именно такого приобщения к Свету многих и должен достигнуть художник своими творческими усилиями.

Как через культуру отыскать личный смысл бытия человека и человечества?

То, что воодушевляет, направляет к Свету, придаёт смысл, не определяемый как сугубо личный, но как единственно верный для всякой души, – вот что такое культура.

Приняв верное определение культуры, люди откроют глаза души своей, и тогда им станет ясен великий смысл бытия: жизнь – это служение Свету, и для сего служения нужно набраться сил. Где же их черпать? В мире, который есть проявленный Господь, но сатанинским промыслом мир сей угасает. Надо человеку определить светлую цель, и тогда для достижения её будут вливаться в него силы от Господа, а сатана лишает сил, и этим объясняется озлобленность людская, ненависть, болезни и смерти преждевременные. Если жизнь человека наполнена беспокойством, ведущим к гибельным недугам, значит, неверные цели были им поставлены.

Вот в чём насущная и острая нужда человеческая: в постановке верных целей. Культура должна учить человека ставить перед собою верную цель.

То есть культура, которая суть слияние веры, человеческой способности творить и отношения к миру как к произведению Господнего искусства, должна научить человека устремляться к истинному Свету. Лишь тогда человечество будет спасено, когда последует по пути Света. Ибо в конце его – мир вечный, полный ликования.

Почему творчество есть самый верный путь приближения к Господу?

Явные земные дела – ничто по сравнению с работой души человеческой. Господу сии дела земные, направленные на удовлетворение нужд тела, радости не дают. А вот движения души, которые потом воплощаются на бумаге, холсте или в музыкальных гармониях, – это лучшее, что может дать человек Отцу своему Небесному, ибо он творит, подобно Ему. Человеку дано быть равным Богу в моменты творческого напряжения, а он почти никогда не доводит себя до состояния такого исступлённого желания творить, чтобы испытать это чувство богоравенства.

Через творчество ощущается человеком родство с Создателем своим, а такое родство всегда окрыляет душу. Испытанное единожды чувство удовлетворения сделанным – иными словами, полнота бытия – становится потребностью, то есть человек-творец стремится к повторению этого ощущения приближения к Господу-Творцу – и на всё более высоком уровне, ибо истинная нужда души – восходить к Источнику своему.

Каков механизм преображения реального мира через образы искусства?

Искусство – это модель мира, способная оздоровить его, если души человеческие захотят её воплощения на Земле. А иначе зачем нужно художественное творчество? Озаряя светом таланта тёмные стороны жизни, художник обязан тем самым вызвать в зрителе творчество иного, противоположного знака: отталкиваясь от противного, зритель должен внутри себя сам создать модель здорового мира, полного Света. Если этого не происходит, значит, художнику не хватило либо умения его, либо понимания, в чем истинная цель искусства.

Как, не впадая в поучение и наставление, в проповедь и в некое управление, дать модель мира идеального? Пути достижения желаемого могут быть различными. Но если сам художник ясно представляет себе некий здоровый, ясный, Господом озарённый и одухотворённый мир, то от него требуется лишь единственное: эту мыслеформу положить в основу создаваемого произведения. Или изображение такого “идеального” состояния мира, или глубокая и трагически острая тоска по нему могут воссоздать и в зрителе мыслеформу, заложенную в основание произведения. И если такая мыслеформа возникнет в сознании многих зрителей, то со временем, возможно, она будет воплощена на Земле.

Почему чистота души художника – обязательное условие подлинного творчества?

Для Господа изначальный Свет в человеке – главная его суть, и задача художника – постараться это выразить в своём произведении. То есть он должен мыслить, как Господь. Но для такой мысли нужна незамутненная душа. Как её сохранить в мире, полном сатанинских уловок? Каждый ищет свои способы, и все они прекрасны, ибо напряжением духа, восхождением его ко Свету Господнему даются. Творческие произведения должны быть устремлены к Свету. А для этого художнику самому нужно ощутить Свет небесный вокруг себя, в мире мрака. Он есть, но не умеет зачастую художник его опознавать. Научитесь этому, и ваши возможности творческие возрастут многократно, и воздействие на души людские вас изумит.

Нет в мире ничего важнее, чем напитать душу Светом. Потому и нужно отбирать куда тщательнее то, что предлагается людям в качестве духовной пищи. Грязи и пошлости не должно быть в искусстве, потому лучистыми должны быть люди, имеющие возможность некие культурные ценности дать другим. Это очень непросто, ибо сейчас в культуре много дельцов, а бизнес и культура – практически несоединимые вещи. Нужно всем людям культуры дать представление об ответственности за то, что они творят, ибо все их мысли творческие обретают жизнь в ином плане существования.

Почему истинное творчество всегда жертвенно?

Подлинное произведение искусства связывает сей мир с тем, которому имя – гармония. Таких художников почти нет теперь, есть мастера, но нет людей, понимающих: без отдавания жизни не получится искусства. Люди часто говорят об этом вслух, но не делают сего в реальности. Душа, вспоминающая мир гармонии и старающаяся соединить его с миром земным, тратит силы свои энергетические на исполнение замысла. И оттого истинный художник, творя, укорачивает себе жизнь. Но это счастье для него, ибо ради сего он и был воплощён на Земле.

Мастерство только тогда чего-то стоит, когда оно способно отразить душевное состояние художника, его мысль, слитую с таким состоянием. Правда в том, что никто до этого не поднимается, довольствуясь демонстрацией мастерства – ремесленничества, если говорить точнее. Нет душевного волнения, нет поисков Света истинного – нет и художника, и никакие краски, никакие мраморные формы не скроют от души пустоту, водившую рукою сделавшего нечто бессмысленное.

Почему не перед людьми, но перед Мирозданием ответственен художник?

Творить – значит отворять врата в мир Света и бесконечной гармонии. То, что сегодня называют искусством на Земле, излучает не Свет, но тьму. Отчего этого не чувствует нынешний художник? В слепоту погружён, он не врата в Свет отворяет, но низкие лучи, им руководившие, заставляет проникнуть в души человеческие. Художники, чья задача – возвышать дух, а не умалять его, губят Мироздание, когда создают образы, которые наполнены их собственною тьмой и стремятся воплотиться. Зритель, воспринимающий образы сии, даёт подобному созданию энергию души своей для этого воплощения. Художник, тьму поднимающий на уровень предмета искусства как некую незыблемую, неисчезающую величину и вовлекающий зрителя в утверждение тьмы ещё более глубокое, тем самым становится не творцом, но разрушителем мира светоносного.

Полное Света существование возможно на Земле, когда понимаешь степень ответственности за Мироздание. Никогда не давать своей руке рождать нечто, уводящее в сторону от Света и безграничной гармонии. Истинный творец не остановится перед тем, чтобы сжечь эскизы, дабы неудачные опыты души и руки его не стали источником искажающих лучей. Не об имени своём заботится тот, кто награжден Господом талантом, но об этом.

Как отличить искусство от ремесленничества?

Главная цель искусства – не развлекать, не удивлять, а открывать в душах человеческих источники творчества. Если произведение не делает сего, оно не искусство, а поделка ремесленная. В произведении должно быть ощущение присутствия Неба в жизни человеческой. На этот импульс не может не откликнуться душа. И в ней начинают бить родники нерастраченных возможностей её. Ищите Господа в жизни и находите, как находили Рублев, Дионисий, Бах, Моцарт, умейте чувствовать неизменное присутствие Бога во всём – и ваше произведение будет волновать душу и спустя столетия. От того, что становится продуктом духовной деятельности художника, должен исходить Свет. Если есть он, если души, колеблющиеся под воздействием Света сего, устремляются к Небу, Господу, чистоте душевной – значит, это культура. То, что излучает мрак, душу вводит в состояние смятения и уныния – даже если это произведения художника, – это не культура, а муляж, подделка. И значит, зря зритель или читатель это видит, слышит, переживает. Такая подделка разрушает слабые души, лишая крыльев, уничтожает неясные отблески Неба в ней – ибо яркие лучи сильных душ неуничтожимы.

Для великих композиторов Земли источниками музыки становилось Небо, но есть и те, кто в основу своих сочинений положили низкие вибрации, диссонансные звуковые сочетания, порождённые тьмою. А тьмы и так много в нашей жизни, зачем же её утверждать в ещё большей степени? Люди восхищаются так называемой авангардной музыкой – а ведь это зло, и оно вызывает не только горькое недоумение, но и злость: отчего люди так слепы, что новой музыкой объявили низкие вибрации, уничтожающие гармонию? Отчего не поняли они, что для оценки всего и вся есть только один верный критерий:

поворачивает ли это душу к добру или злу, множит ли в мире Свет или тьму? Из наших дурных мыслей и обуревающих душу страстей может родиться лишь нечто противоречащее вселенскому принципу гармонии. Лишь тот создаст истинно великое произведение, кто, воззвав к Господу, уловит исходящий от Него луч. Этот луч – основа творчества, способность рождать гармоничные творения.

Что есть новое искусство?

Искусство, кое мы называем новым, не искусство, а детская болезнь душ. Детские болезни проходят бесследно, и странно, что искусство сие мы бережно храним в музеях, а нужно это успешное следование сатанинским посулам предать забвению. Как только исчезнет из мира это собрание попыток человека сотворить нечто небывалое, то, может быть, появится мгновенное узнавание *подлинного*. И попытка сделать его предметом искусства.

Новым искусством мы назвали непонимание долга художником. Те умелые творцы полотен и музыкальных произведений, которых называем гениями новой эпохи, не выводят душу человеческую к Свету Господнему, а, напротив, погружают в волны чисто земных вибраций. Даже если в их произведениях светило солнце, оно оставалось лишь небесным телом, но не символом некого творческого и животворного начала.

Куда искусство должно вести зрителя?

Искусство должно стать постоянно совершенствуемой попыткой выйти самому и вывести зрителя из рамок зримого, узнаваемого мира – к иным горизонтам, к явственному ощущению, если не знанию, мира куда более грандиозного, впечатляющего и гармоничного. Мир, проступающий сквозь реалии земные, должен быть живым, а не неким символом, идеей. Кому из художников минувших эпох удалось сие? Баху. В его музыке пело Небо живое. На музыке иных композиторов бывал отблеск Неба, и это уже прекрасно. Художники, умевшие почувствовать Небо, – это уникальные создания. Иеронимус Босх был в некотором смысле подобием Господа на Земле: вот как необыкновенно может очеловечиться процесс творения неких абсолютных форм! Микеланджело Буанаротти умел передать Небо. В его фигурах, выступающих из камня, местами неотесанного, был явственно ощущаем акт творения. Он умел дать и лицам выражение узнавания земного мира. Будто они вышли из Неба и только что увидели Землю. Леонардо да Винчи так умел передать Небо, что оно ощущалось как мир гармонии. Земные пейзажи он умудрялся окружить воздухом, который словно струится с Неба. Чюрлёнис искал Небо на Земле, и некоторые его попытки удачны: и в музыке, и в живописи он существовал на зыбкой границе двух взаимопроникающих миров. Рокуэлл Кент умел штрихом неким ввести Небо в гравюру. Этого искала душа, и иногда ей бывал послушен резец в руке.

Почему быть зрителем – тоже искусство?

Произведения искусства утрачивают со временем ту энергию, которая вкладывалась в них при их создании, если зрители не обладают нужной энергией активного восприятия, постижения, погружения в созерцание и обдумывание того, что они видят перед собою. Зрители неумелые гасят произведение искусства, и только человек, тонко чувствующий и способный понять замысел художника, может отчасти восстановить, восполнить утраченную уже энергию – при условии, если он верно понял то, что художник пытался сказать. Резонанс с душою художника, отдавшего часть её на создание полотна, скульптуры, музыкального произведения, усиливает это произведение. То, что скрыто было от глаз людских, не утрачивает энергии столь быстро, как если бы произведение постоянно разглядывали зеваки. То, что полотно или скульптура, веками выставленные перед глазами праздной толпы, вдруг потрясают кого-то до глубины души, значит, что сам этот человек необыкновенен. Его душа способна творить, если в неком произведении, утратившем жизнь, он уловил трепетное её дыхание.

И вот ещё что необычайно важно: когда приближаешься к чему-то, что сохраняет ещё импульс художника, давно ушедшего в мир нескончаемого творчества, нужно призвать его мысленно. Это удивит вас, но его произведение иначе на вас посмотрит. Вы испытаете иное нечто, нежели ощущали прежде,

если вообразите себе ясно, как исступлённо пытался художник выразить то, что, как казалось ему, способно потрясти и других.

Возможно почувствовать душу мастера, истаявшую в скульптурах и фресках, а не просто восхититься мастерством художника.

Почему музыку следует понимать как отражение небесных гармоний?

Музыка – это величайшее из искусств. Оно в полной мере зависит от Господа, ибо в Небе живут все гармонии, кои способна уловить душа композитора. Не в мозгу рождается настоящая музыка, но душа указывает мозгу, какие небесные гармонии ей созвучны. По тому, какая музыка вышла из-под пера композитора, мы можем судить о том, что из себя представляет его душа. Музыка – необыкновенное средство для излечения души. Если мы в состоянии отчаяния, печали, страха, беспомощности, если мы горько чувствуем богооставленность свою – Господь входит в нас в звуках небесных гармоний.

Не стоит искать Его там, где людские страсти запечатлены в звуках, но там, где, Господа ощущая, композитор выразил своё ощущение в небесных звуковых сочетаниях, в музыке возвышенной и отстранённой от земного. Всё, что посвящено Господу, в той или иной степени утешает человека. Уход от тягот земных в мир небесный – не реальный, а умозрительный – способен успокоить нас, ибо в Небе закон справедливый царит, а справедливость – единственное, что по-настоящему способно утешить истерзанную страданиями душу.

Как воспитывать себя музыкой?

Каждому из нас предстоит услышать музыку и в мире вечном, после телесной смерти. Какой она будет? Это можно определить уже при жизни. Задумайтесь: какие звуки вызывают во мне слёзы радости, какие потрясают до глубины существа? И можете не сомневаться: если это звуки гармоничные, то услышите вы их и в мире небесном. Только ответьте себе честно: какая музыка вам не просто нравится, а переворачивает душу?

Не могут злодеи быть потрясёнными великими звуками Баха. Песенка Сольвейг растрогает и заставит плакать лишь светлую душу, а “Стабат Матер” Перголези вызовет слёзы у тех, кто мучительную долю Богородицы сумел принять как свою. Какие весёлые брызги могут разлетаться от мелодий Моцарта! Они радужный отблеск кладут на душу. Как мрачен Бетховен, который из глухоты своей выковал умопомрачительный мир звуков: будто из подземной пещеры доносятся гулы рождающейся Вселенной – со всеми её светлыми и тёмными сторонами. Музыка настраивает душу на определённые частоты. И если мы будем слушать Баха, то для нас станет возможным позднее услышать и музыку Неба, когда наша душа покинет Землю. Приучив себя к некому приятию сих звуков как к необходимому душе омовению, мы знакомые сочетания услышим и в Небе, там, где душа испытывает неизбывное ликование.

Почему творческие муки художника необходимы для создания произведения, способного потрясать?

Произведения искусства – производные, плоды муки творческой. А мука – то зыбкое, тёмное подножие, оттолкнувшись от которого художник способен взмыть к Свету. Именно мука его предшествовала возвышенному состоянию, озарению, вдохновенному исступлению души. Мука – составляющая, необходимая для произведения, если в нём дышит жизнь.

Похоже, что и Бог творил нас мучаясь.

Высокое напряжение, столкновение противоположных начал в душе – неотъемлемая часть творчества, ибо лишь такое столкновение порождает нечто новое. Души человеческие могут творить лишь тогда, когда внутри них самих существует напряжение. Когда ослабевает оно и Свет становится преобладающим, творение прекращается. Художники не продолжают искусственно создавать в себе поле битвы двух начал, но оставляют творчество собственное и, когда тьма исторгнута из них окончательно, утратившими личность вливаются в Создателя своего – мужественно и с ликованием неописуемым, подобным погружению в неиссякаемый благодатный свет. И демоны навсегда отступают от тех, кто лучистую природу свою восстановил в Господе, уподобившись Создателю своему, на заре времён исторгнувшему из Себя тьму.

ПРИТЧИ

* * *

Один художник нарисовал портрет своего правителя, а другой молился и нарисовал лик Божий. Первый художник был щедро вознагражден, а второй лику молился и получил многие милости от Господа.

Первый спросил второго: "Как мне стать таким же счастливым, как ты? Деньги мои быстро иссякли, и устал я от болезней и многих бед".

"Я нуждаюсь менее в деньгах, чем в мудрости, которая избавляет меня от всевозможных невзгод, – отвечал иконописец. – Для того чтобы иметь всё, нужно знать, чей лик может стать твоим утешением".

Смысл притчи таков: должен знать человек, какому богу молиться, чтобы в душе его не оскудевала радость.

* * *

В Египте нашлась мумия, в руках у которой учёные увидели музыкальный инструмент. "Видимо, он музыкантом был, – сказал один учёный. – Только наряд его чересчур дорог и убранство гробницы не по чину богатое". А другой ученый возразил: "А я думаю, это был очень счастливый фараон, и притом очень умный. И держит он в руках своё главное сокровище". "Почему ты думаешь так об этой простой дудочке?" – удивился первый учёный. "Потому, – ответил второй, – что музыка – это воплощение небесной гармонии, выше которой нет ничего в жизни человеческой. И я думаю, что фараон этот был мудр и знал, как рассказать о своей жизни при помощи этой дудочки".

Смысл притчи таков: музыка – это излучение, которое улавливают люди счастливые или же талантливые. Первые поют от радости, сами не понимая что, вторые могут написать эту музыку для музыкантов. Музыку зло ненавидит, как ненавидит всё гармоничное. К сожалению, сегодняшняя музыка крайне редко трогает душу. Она создаётся рассудком, и потому на неё реагирует плоть, а не душа.

* * *

"Ангельские мелодии я слышу, – сказал Господу Моцарт. – Я на мои ноты хочу их положить". "Мелодии эти не ангельские, – засмеялся Господь. – Их ты услышал на Земле, и потому не называй их ангельскими. Музыку Неба услышать можно только после смерти. Один есть на Земле человек, который услышал музыку Неба при жизни. Это Бах. У него слух – не ухо человеческое, а души ухо". "Мы, композиторы, слышим музыку не снаружи, а внутри себя, – обиделся Моцарт, – прежде чем кладём её на ноты". "Да, это так, – согласился Господь. – Но при этом вы слышите мелодии Земли, а не Неба. Может вашим слухом и добро и зло распоряжаться, но это ещё не небесные гармонии. Бах был избранником Неба, и дал он людям услышать звоны мелодичные небесных сфер". "Я думал, там тишина", – удивился Моцарт. "Музыка на Земле – это проекция того, чем обладает Небо, – сказал Господь. – Вы можете умереть и не услышать звонов Неба, если прожили жизнь неправедную. Так Баха Небо послало на Землю, чтобы каждый человек мог услышать Небо и, пока не поздно, исправить жизнь свою".

* * *

Бабочка не могла на меловом откосе сидеть, ибо видна была издалека всем птицам. Она пряталась среди цветов. А Господь сказал ей: "Не для того я так долго трудился, создавая узор твоих крыльев, чтобы ты была незаметна. Да, жизнь твоя подвергается опасности постоянно, но твоё назначение – для других делать ясным, какой великий художник Творец".

Смысл притчи таков: если ты награждён сверхчеловеческими способностями, не прячь их от других, даже если тебе грозит смерть. Ведь ими ты награждён не случайно, а ради того, чтобы другие осознали, что для Господа нет ничего невозможного.

* * *

Под молочным небом летела чёрная птица – ворон. “Это немудро – на таких сильных крыльях летать столь низко”, – подумал он и взмыл к тучам. Но тут из тучи ударила молния и убила ворона. Господь, ворона похоронив, сказал над его могилой такие слова: “Мудрость в том состоит, чтобы, имея огромные способности, применять их с умом, а не безрассудно. Мне нужно, чтобы твои способности, которыми Я тебя оделил, служили Мне подольше”.

* * *

Художнику одному, который Господу ничего не давал, а другим говорил, будто Он водит его рукой, Господь сказал: “Это очень просто – определить, так ли это. Если бы Я водил твоею рукой, это не было бы похоже на хаотическое нагромождение цветовых пятен, значение которых необъяснимо. Я так целесообразен, что не загадки смыслов предлагаю зрителю, водя рукою художника, а загадку иного рода: как человеку могло прийти в голову это гармоническое сочетание красок и форм, вызывающее у других людей слёзы восторга?”

* * *

Художник неожиданно для самого себя написал лик Господень. “Отныне, – сказал Господь ему, – Я буду тебе помогать творить не только то, что ты видишь вокруг себя, но и мир горний”. “Я не знаю, как он выглядит, – смутился художник. – Как могу я изобразить то, чего никогда не видел?” “А как ты изобразил Мой лик?” “Не знаю”, – ответил художник. “Не ты его изобразил, – ответил Господь ему, – а твоя душа водила твоею рукой. Она знает всё, ибо она часть Меня. Потому ничего не бойся – твоя душа теперь проснулась для горнего мира, и она поможет твоей руке изобразить его на полотне”.

* * *

Одной лукавой музыке мудрый человек так отдался, что чуть не лишился мудрости своей. Господь сказал ему: “Лучи Мои в другой музыке, а в этой – соблазнительная яркость сатаны”. “Господь, как отличить музыку небесную от музыки лукавой?” – спросил мудрый человек. “Если душа твоя начинает улетать – это музыка Неба, а если душа начинает в жизни искать утешение для себя, в её радостях и страстях, это лукавая музыка”. “Но ведь у нас не только душа есть, но и тело, которое тоже ищет радости”, – возразил мудрец. Господь ответил: “Да, ты прав. Но музыка Неба даёт душе Свет, а для тела не Свет нужен, а огонь в крови. Этим мы и отличаемся: Я – Свет, а сатана – огонь. Только душа это знает, а человек путает”. “Разве радости тела не Небесному Добру дают новые силы?” – удивился мудрец. “Когда люди Небу направляют радость свою и свою благодарность за неё – да, а когда удовлетворяют тело, забыв о Небе, то сатана ликует”, – ответил Господь.

* * *

Один человек музыкантом не был, но он взял дудку и заиграл на ней. Музыку эту услышало Небо и послало к человеку тому, кто играл на дудке, ангела своего. Человек испугался и бросил дудку, сказав: “Господь, прости меня за мои нелепые попытки музыку исполнить. Я, наверное, осквернил Твой слух ужасными своими трелями”. Ангел улыбнулся: “Напротив, Господь счастлив был их услышать”. Человек изумился: “Как – счастлив? Почему? Ведь я не искусный музыкант, а неумеха”. Ангел сказал: “Ты стал играть потому, что душа твоя жаждала небесной гармонии. А музыканты обычно играют не для этого, а потому, что так они зарабатывают на жизнь. Твоя неумелая музыка Небу больше может радости принести, чем музыка умельцев”.

Смысл притчи в том, что каждый порыв души и каждая мысль видны Небу. И не стоит музыканту, умело играющему, делать вид, что он творит нечто,

угодное Небу. Как правило, чем музыкант искуснее, тем больше денег он зарабатывает. А музыка ради денег – музыка не для Неба, даже если она написана Бахом, но исполняется кем-то другим, мысленно подсчитывающим барыши. В этом случае лишь растроганность душ слушателей приносит Небу радость, но не само исполнение.

* * *

Музыканты перестали играть и убрали инструменты. Ребёнок спросил: "А куда вы дели музыку?" Ему показали ноты. "Это не музыка, а какие-то точки и крючки, – не понимал ребёнок. – А где музыка?" Музыканты не могли ему объяснить. И ребёнок сам нашёл ответ: "Она залезла ко мне внутрь через уши и спряталась там". И он был прав, маленький мудрец: чудесные вибрации попадают в душу и там живут. Душа, поглощая музыку, обретает вибрации, делающие её тоньше. Музыка – необходимое условие для обретения душою частот, которые будут ею узнаны в Небе. И чем гармоничнее эти вибрации, тем легче будет душе там, куда она улетит. Потому и необходимо слушать музыку, которая трогает душу: душа отправится к Господу, нацеленная на эти вибрации, а не на диссонансные вибрации, мутные и злые. На Земле люди придают душе качества, кои дадут ей способность занять в Небе верное место. Утончайте душу, насыщайте Светом уже на Земле.

* * *

Хлебопашец насмехался над художником: "Я занят истинным трудом, а на твоём холсте – мазня, никому не нужная. Съесть её нельзя". Господь на хлебопашца смотрел с сожалением: для него хлеб насущный – лишь зерно колосьев. А для художника – его мучительное желание своим искусством воздать Создателю благодарность за ту красоту, которую он увидел вокруг себя на Земле.

ПЛОДЫ РАЗДУМИЙ

* * *

Если есть в тебе творческий дар, который может стать полезным для других, отдавай это, и как можно больше. Не слушай мелких и дрянных людей, что нужно беречься, растрачивая себя понемножку. Это трусливое решение. Господь дал нам способности, которые нужно использовать как можно полнее, не заботясь о том, что от нас останется. Отдающие большою мерой получают дар ещё более могучий. Так устроено всё во Вселенной.

* * *

Совершенство – это недостижимая цель, стремление к которой и порождает жизнь во Вселенной.

* * *

Если у тебя есть творческий дар, то это не награда, а долг твой перед Господом – использовать его по назначению. Счастье твоё, если ты получаешь благодарность за это от других людей. Но даже если этого ты не дождёшься, не сокрушайся: Господь-то знает, что ты сделал всё что мог! И ты обязательно получишь по заслугам своим!

* * *

Истоки творчества для художника – слышанная душою музыка.

* * *

Нужно вот как сформулировать задачу художника: попытайся в своём творчестве соединять мимолетное с вечным, ищи в мимолётном вечное.

* * *

Искусство — это творение гармонии. Она становится по силам только тем художникам, кои черпают впечатления из души своей, помнящей мир, из которого она изошла.

* * *

Природа человека требует источника вдохновения. И чтобы искусство прорывалось к душе, источники его находить надо в Небе, а не на Земле.

* * *

Продукт разума ничто по сравнению с продуктом души. Первый неизменно засыпает, второй не дремлет никогда: душа избирает нетленный материал для своих творений, разум осваивает недолговечное и всегда уступает душе в поиске сути.

* * *

Искусство состоит в том, чтобы из простых вещей создать мир, потрясающий душу.

Куб не вместит шара, если диаметр шара больше стороны куба. Душа не вместит Бога, если она, на мелочи истрачивая себя, уменьшилась. Но если на высоту хочет взойти и возжечь в себе свечу негасимую, то Богу хватит в ней места.

* * *

Нет иного у художника способа выразить Истину, кроме самой Истины, положенной на полотно.

* * *

Искусство — это подобие творения мира, но и подобие окрыляет душу художника. Подобие не означает вторичности.

* * *

Творение — это высочайший подъём духа, на который способен человек. Но творить необходимо лишь то, чему душа готова отдать весь свой Свет. Потому и имеет смысл творить подобие небесной гармонии, иначе художник сделается самоубийцей, — ибо творение тьмы убивает душу его.

* * *

Искусство должно искать Небо и приближать к нему душу, заставлять её расправлять крылья, о коих она забыла. Иначе зачем нужно искусство?

* * *

Душе требуется Свет, излучаемый произведением художника. На Свет отзывается душа, ибо лишь истинное её трогает. А восхищение суррогатами — это вряд ли оценка души: как правило, душа молчит, если не затемнена си-

лами мглы вечной. Трогает душу нечто соответствующее углублённому в ней изначальному светлому импульсу.

* * *

Вдохновение — состояние невероятного подъёма, радости и восторга. Это слово буквально означает "вдыхание духа". Вдохновение опьянению подобно: оно требует повторения испытанных ощущений.

* * *

Потрясает ясное, туманное обволакивает душу тревогой.

* * *

Чрезмерные похвалы могут лишить необходимого стремления к совершенствованию. Не спешите называть молодой талант гением: будьте сдержанны, чтобы не погубить его. В то же время не уничтожайте его критикою. Я повторю: будьте сдержанны и выразите надежду, что впереди у такого художника — упорное восхождение к вершинам. Вот самое верное отношение к таланту.

* * *

Человек должен творить с ощущением несовершенства созданного им.

* * *

Совершенство для души — это некая мера прекрасного, коя представляется душе абсолютной, неизменяемой, окончательной. О чем-то прекрасном мы говорим: ни добавить, ни убавить. Источником вдохновения может стать такое совершенство у подлинно творческих натур. У тех же, кто не знает вдохновения, то же совершенство вызывает иную реакцию: злость и уныние.

* * *

Чем более творческий дар человека, тем легче он оправляется от жизненных потерь, ибо знает свою задачу, которую во что бы то ни стало нужно выполнить.

* * *

Творение — суть одоление Небытия и возведение грандиозного дома гармонии.

* * *

Гениальность — понимание необходимости соответствовать замыслу Господа, относящемуся к конкретному человеку. А замысел всегда связан с необходимостью напрягать дух ради воплощения сего замысла. Кто так живёт, тот и гениален.

* * *

Способности свои нужно применять человеку в добрых целях, а не творить зло, опираясь на умения, дарованные Господом. Иначе вы делаете Его соучастником и даже вдохновителем ваших преступлений против Света.

Микеланджело

Когда резец и молот недоступны
И мрамора не отыскать вокруг,
То с содроганьем понимаешь вдруг,
Как мучился Отец, творя нас. Как преступны

Попытки человека превратить
Его шедевры — в низкие поделки,
В которых замысел проявлен злой иль мелкий.
Как, Господи, зуд этот укротить!

О, если б скульптор, мучимый огнём,
Пред глыбою мерцающею замер,
“Чиста ль моя душа, как этот мрамор?” —
Спросил себя — порыв угас бы в нём.

Я сам не без греха. Тщеславными мечтами
И я, бывало, осквернял безгрешный камень.

* * *

Я вижу, сколь ничтожен человек.
Легко избегнут им мучительный недуг —
Понять, зачем ему положен век:
Для вдохновения, для просветленья мук.

Он должен стать подобием Тому,
Кто сотворил Себя из первозданной тьмы.
Бог Светом стал, повергнув в ужас тьму.
Его труды должны продолжить дети — мы.

Но горестно Отец взирает с горних высей:
Его потомство озабочено лишь тем,
Как выжить. Человек подобен крысе,
Не мучаясь вопросом — что затем?

* * *

Чем я дышал? Которою дорогой
Я восходил к Тому, Кто жизнь мне дал?
Я Микеланджело. Я угадал
Мою стезю — и не сошёл, не дрогнул.

Пока кипела сила молодая,
Я вопрошал Его: какая мне своя?
Я Микеланджело. Я сам себя ваял,
Из камня зла свой дух высвобождая.

Припасть к коленям старого Отца
Сумею ль? Путь мой — словно Пояс Млечный...
Я Микеланджело — подёнщик вечный
В труде, которому не видится конца.

* * *

Путь линий — что ещё сравниться может
С их прихотливой вязью на листе,
Когда в его пустынной чистоте
Художник, образы ища, их множит?

Как своевольно чирканье пера!
Оно подвластно лишь воображенью,
Которое, задав руке движенье,
Лик придаёт невидимым мирам.

Но что за сила? Разум ли диктует
Руке движенье, линиям — узор?
Когда душа и ум вступают в спор,
Художник тщетно над листом колдует.

Ум победил? И зрит Господь, грустя,
Его мертворождённое дитя.

* * *

Я получил мой дар. Но что взамен?
Чем Господу я за него обязан?
Мой путь земной, который Им указан,
Что для меня — свобода или плен?

Мой дар, как тяжкий крест, на душу давит,
Но он же крылья расправляет ей.
Но чем душа вздыхает тяжелей,
Тем дальше, к горним высям, путь свой правит.

Как все, кто жив, противоречия полны,
Так дар имеет обе стороны.

* * *

Переменился я — и то, чем знаменит
Я был когда-то в долгой жизни бренной,
Во мне истлело, разлетелось пеной —
И дух очистился, и память не саднит.

Переменился я, и он мне режет слух —
Приправленный хвалебными речами.
Восторгом, увлажнёнными очами —
Предлинный перечень моих земных заслуг.

Переменился я. Чего желал бы сам?
Не восхитить и даже не растрогать,
Но знать: мой тяжкий труд — хотя б на ноготь! —
Приблизил чью-то душу к небесам...

* * *

Мы в юности легко даём себе обеты
Достигнуть высоты, чтоб превзойти других.
Но дорого ценить нам следует не это,
А только — для чего мы исполняем их?

Кого-то превзойти нет способа иного —
Когда лучиста цель и люди не враги,
Гордясь, сказать себе в конце пути земного:
Наш труд, возвысив нас, возвысил и других.

* * *

Когда внезапно отворить уста
Приходит время — то припомнить нужно,
Как слово жизнь творило в сумраке жемчужном,
Пока Земля была безвидна и пуста.

Но созиданье — только половина
Могучей власти слова. Слово может
Не плоть одну, но душу уничтожить —
И вспыхнут войны, и сойдут лавины.

Не слышит ухо, но внимает дух
Тем звукам, что лучам его сродни.
И в каждом слове светятся огни
Того, кто молча наш пронзает слух.

Где дом наш будущий — в раю иль в преисподней?
У светлых грёз тогда лишь есть основа,
Когда из наших уст исходит слово,
Достойное молчания Господня.

* * *

Росток пробился у подножья камня.
Его живой листвою оплетя,
Стремится выше. Знает принцип давний —
Иметь опору — всякое дитя.
В ком камня веры нет, воистину несчастен,
Ведь каждый ветер для него опасен.

* * *

Душе неправда не даёт дышать.
Но что есть правда вся? Проста на диво:
Господь во всём, что по Его веленью живо, —
Сойдя в творения Свои, как благодать.

И тот, кто душу Господа лишает,
В себе отцеубийство совершает.

* * *

Кто жизнью опьянён, на муку обречён,
Когда бутыль пуста — иссякло в ней вино.
Отлив неотвратим: он обнажает дно,
Когда гремящий вал в пучину увлечён.

В том страх не вьёт гнезда и места нет тоске,
В ком вера как звезда — и жемчуг на песке.

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

РАССТРЕЛЯННАЯ ПРАВДА

Почему убили Олеся Бузину?..

1. Он говорил правду...

Дело по расследованию убийства Олеся Бузины, совершённого 16 апреля 2015 года, продолжают разваливать самыми топорными способами. Так, заместитель генерального прокурора "нэзалежной" – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе – получил неожиданный "подарок", о чём публично сообщил: "Уже год длится расследование резонансного дела по факту убийства известного в Украине журналиста Олега Бузины. По непонятным для меня причинам мои коллеги из Генпрокуратуры абсолютно необоснованно, на мой взгляд, передали его одесской полиции. Соответственно, процессуальное руководство теперь будет осуществлять одесская прокуратура. Довольно странное решение, учитывая то, что преступление было совершено в Киеве и никакого отношения к Одессе не имеет, – плакался Сакварелидзе. – Если это было сделано для того, чтобы уйти от ответственности и попытаться каким-то образом дискредитировать грузинскую команду в Одессе, то я, как заместитель генерального прокурора Украины и прокурор Одесской области, вынужден принять законное и вполне логичное решение: вернуть упомянутое выше дело обратно в ГПУ". Вот это кульбит! Преступление совершено в Киеве, там же находятся подозреваемые и их адвокаты, большинство свидетелей, представители потерпевшей стороны и вещественные доказательства. А вот ездить на допросы, очные ставки и другие следственные действия они будут в Одессу. А оплачивать всё это будет "безразмерный государственный бюджет Украины"... Всё это означает, что генеральный прокурор провалил расследование дела об убийстве О. Бузины и пытается спрятать свой позор за спины одесских полицейских. Или это какие-то странные еврейско-грузинские игры вокруг трагедии, которые оперативно не отследить?

В январе этого года я возвращался из Венгрии через Украину, приехал в Киев на придуманный 22 января День соборности с использованием святого православного понятия для политиканского насильственного объединения без всякого духовного согласия. Вспомнил, что в январе исполнился всего год, как Олесь Бузина стал шеф-редактором газеты "Сегодня", где много лет вёл острую колонку. Сразу после убийства писателя некто Юрий Романенко, называющий себя политологом, цинично вычислил, что это подстроил Кремль и ФСБ. Логика примитивная и типична для нынешних "экспертов": мы ведь таких и на ток-шоу В. Соловьёва почему-то слушаем... По словам автора

материала, решение назначить Олеся Бузину шеф-редактором газеты "Сегодня" вызвало не только бурю возмущения, но и удивления. Мол, газета "Сегодня", "не вдаваясь в её содержание, это давно отлаженный и неплохо работающий механизм, поэтому появление там Бузины в роли шеф-редактора точно не было продиктовано управленческими целями", – пишет политолог-конспиролог. Самая очевидная версия появления Бузины на руководящем посту в газете "Сегодня" – политическая. Тем не менее, добавляет политолог, вряд ли это был самостоятельный политический ход самого олигарха Ахметова: "Тогда знающие люди рассказывали, что Ахметов вообще толком даже не понимал, кто такой Бузина, но некоторые "товарищи" из Москвы через других "некоторых людей" в Украине настоятельно попросили Рината Леонидовича сделать такой своеобразный жест вежливости, который, ко всему прочему, ничего особого ему не стоил", – пишет фантаст, который подозревает ФСБ в тончайшей игре, о которой она и не догадываются, тоже, вернее всего, не зная Бузину. Но, по мнению Романенко, психотип Бузины организаторами его убийства был рассчитан точно: они знали, что на посту шеф-редактора одной из крупнейших газет Украины он будет нарываться и наверняка попытается завоевать имидж главного оппозиционного журналиста страны. То есть станет "готовым экземпляром для ритуального политического убийства". Провалился план по скучной причине: Бузина вылетел из "Сегодня" слишком быстро, тотальная цензура не дала ему развернуться. Тогда подождали ещё нескольких громких выступлений, поприглашали в Москву на программу Соловьёва, ещё раскрутили и – убрали. Так получается?

Но тогда пусть Романенко объяснит, что за игры творятся сейчас вокруг подозреваемых в убийстве Олеся: то арестуют, то под напором митингующих бандеровцев выпустят, то снова за решётку. Это всё ФСБ придумывает? Нас, ждущих справедливого возмездия, потрясла новость: 31 декабря 2015 года был отпущен из-под стражи Медведько – главный подозреваемый в убийстве Олеся Бузины! С Новогодьем! Есть вероятность, что и Медведько, и его подручный Полищук (ещё один подозреваемый, ранее выпущенный на свободу) вскорости исчезнут. Их объявят в розыск, и дело тут же превратится в "висяк". Нет подозреваемых, значит, расследование остановилось. И уж тем более никто не сможет выйти на заказчиков преступления. Люди, которые знали Медведько и Полищука, говорят, что они оба – всего лишь рядовые националистического движения, а не самостоятельные боевые единицы. Без приказа они ни при каких обстоятельствах не пошли бы на демонстративное убийство средь бела дня. Им кто-то авторитетный дал приказ. И этот "кто-то", собственно, и получил заказ на убийство. Теперь распутывание всей цепочки под угрозой... А ведь у следствия (кстати, почему-то уволился один из ключевых сотрудников органов дознания) появились доказательства того, что подозреваемые в день убийства были в Киеве, а не в зоне АТО, как убеждает защита. И вот – такой нонсенс. А может, просто заигрывания власти с националистами?

В феврале грянула очередная новость: суд в Киеве в очередной раз смягчил меру пресечения для Дениса Полищука, подозреваемого в убийстве Олеся Бузины. Печерский суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста для Дениса Полищука ещё на два месяца, изменив его с "круглосуточного" на "ночной" (с 22.00 до 06.00). Полищук обязан носить браслет слежения, а также должен посещать судебные заседания, регулярно ходить на допросы и следственные эксперименты. А ещё 28 января тот же суд изменил круглосуточный домашний арест на "ночной" (с 19.00 до 8.00) второму подозреваемому Андрею Медведько. Таким образом, оба обвиняемые в убийстве Олеся Бузины теперь могут свободно передвигаться по Киеву до позднего вечера, общаться с кем угодно, искать покровителей и заступников. И тут же возле здания Соломенского райсуда Киева взрывом неустановленного устройства был повреждён автомобиль адвоката Андрея Федура. По его мнению, произошедшее является местью за его участие в рассмотрении дела об убийстве Олеся Бузины и организовано спецслужбами.

Ну, а что же бывшие коллеги – украинские журналисты из газеты "Сегодня"? Известный украинский медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал на примере газеты, что значит подлость в исполнении украинских СМИ. Сейчас так называемые коллеги Бузины размещают у себя интервью с советником министра внутренних дел депутатом Верховной рады Украины Антоном Геращенко, человеком, призывающим открыто публиковать личные данные граждан на

сайте “Миротворец”, откуда убийцы Олеся и взяли его домашний адрес. Шарий призвал всех, чьи данные “засветились” на сайте “Миротворца”, не сидеть без дела и подать в суд на это издание или на Геращенко.

Как бы там ни было, книги Бузины и память о нём продолжают жить. В пятницу 22 января именно в придуманный день соборности Украины, прошла церемония вручения Премии имени Юлиана Семёнова в области экстремальной геополитической журналистики. В этом году одним из лауреатов премии стал Олесь Бузина. Диплом за подписью председателя Культурного фонда Юлиана Семёнова и председателя Союза журналистов Москвы и денежную премию получила мать убитого журналиста – Валентина Павловна Бузина. За несколько дней до этого в интервью изданию “Украина.ру” один из сопредседателей Зиновьевского клуба “Россия сегодня” Ольга Зиновьева прокомментировала инициативу членов этой экспертной исследовательской площадки об открытии памятника убитому украинскому журналисту Олесю Бузине: “Этот проект реализуется на народные деньги. Сейчас мы встречаемся со скульптором Андреем Ковальчуком, которому предложили создать проект этого памятника. Статуя будет установлена неподалёку от Киевского вокзала в Москве, – сообщила Ольга Зиновьева. – Мать Олеся Бузины, естественно, горячо поддержала идею установки памятника. Я боюсь, что к годовщине смерти Олеся нам навряд ли удастся его установить”, – посетовала Ольга Зиновьева.

На Крещатике зашёл в книжный, спросил у пожилой продавщицы, есть ли последняя книга Олеся Бузины, вышедшая в издательстве “Арий”? Она мне демонстративно ответила: “Нет. И последней, и всех других книг Бузины у нас нет!” Как по заученному – о запрещённом авторе... Поехал на огромный книжный рынок у станции метро “Петровка”. Там на лотках полно книг Бузины, прямо стопками лежат все издания, а последнее – “Моя философия” – смотрит портретом на покупателей. Купил за 55 гривен – 180 руб. примерно. Начал листать, сразу натолкнулся на рассуждение с цитатой из Вольтера: **“Любые догматы на просторах Украины теряют твёрдость. “Это земля запорожцев, – писал Вольтер, – самого странного народа на свете. Это шайка русских, поляков и татар, исповедующих нечто вроде христианства и занимающихся разбойничеством; они похожи на флибустьеров”.** Вольтер был прав. Вся наша история это доказывает. Нет никакого единства и соборности на Украине, сколько праздников ни объявляй.

Подлые выстрелы 16 апреля 2015 года в Шевченковском районе Киева попали в Россию, в наш общий Русский мир... Самым потрясающим моментом на “Прямой линии” президента Владимира Путина лично для меня стало сообщение о том, что в Киеве среди белого дня демонстративно убит наиболее яркий писатель и публицист майданутой Украины – Олесь Бузина. Все знаменитые письменники незалежной давно струсили и заткнулись. Измельчавший и изолгавшийся канал “Евроньюс” назвал Бузину “пророссийским журналистом” и показал грузного киевского дядьку из МВД – Геращенко, – который нагло заявил о российском следе в убийстве оппозиционеров (дешёвое условие попадания во все мировые новости). Нет, Олесь – истинно проукраинский писатель! Я жадно следил за его творчеством (у Соловьёва и в других дежурных сварах он говорил хуже, чем писал!), потому что соратник зрел в корень и первым улавливал суть происходящего, а если я и позволял себе не соглашаться с ним, то как раз из-за его украиноцентризма, слепого порой украинофильства. Помню, Олеся спросил один провокатор: “Вы так же плохо относитесь к украинскому народу, как утверждают нижеперечисленные знаменитости: “Мы, украинцы – нация злодеев” – Леся Украинка (Л. П. Косач-Квитка). “Украинцы – народ подзаборников, бездельников и злодеев”. – Т. Г. Шевченко. “Украинская нация не дала ни одной творческой идеи” – М. С. Грушевский. Став “нэзалэжнымы”, мы это подтвердили? Как вы думаете?”

И что ответил Олесь? Он взорвался: “Я – хохол. Я – украинец. Я – русский. У меня другой менталитет. Мы не злодеи. Мы – избранный Богом народ. Я имею в виду всех русских, состоящих из москалей, из хохлов, из белорусов или, как их называют, бульбашей. Я не считаю эти клички оскорбительными. И даже слово “жид” не считаю оскорбительным. Важно не что ты произносишь, а как. С какой интонацией. Есть ли в твоих словах любовь? У нас три государства. Но мы один народ. Бог нас избрал хранить светоч истинной православной веры”. Этот свет любви и справедливости затмили сегодня жовто-блакитные и чёрно-красные знамёна, сполохи огня и грязные потоки лжи.

А насчёт российского следа... Пока писалось по горячим следам моё предисловие к книге "Олесь Бузина – расстрелянная правда", группа украинских хакеров "КиберБеркут" опубликовала на своём сайте материалы, которые, по словам организации, доказывают причастность Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству Олеся: **"Мы, КиберБеркут, выкладываем в открытый доступ материалы, подтверждающие то, что физическая ликвидация общественных и политических деятелей, находящихся в оппозиции к Киевской хунте, была санкционирована СБУ, курировалась харьковскими политическими элитами, а сама группа "чистильщиков Свободной Украины" территориально принадлежит к харьковским националистическим группировкам"**, – говорится в сообщении хакеров. Активисты утверждают, что им удалось получить доступ к почтовому ящику заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Вячеслава Аббакумова, где они обнаружили его переписку с "неустановленным лидером одной из неонационалистических группировок Харьковщины". В письме, отправленном сразу после убийства Бузины, Аббакумов ругает националистов и напоминает, что в их задачи не входило убивать оппозиционного журналиста, поскольку его гибель вызовет широкий общественный резонанс. "Вы что делаете? Это, по-вашему, меры физического влияния? <...> Вам дали лицензию на то, чтобы вы этих подонков заставляли замолчать, но не навечно!!! Ты же мне в трубку говорил о выбитых зубах, собираемых сломанными пальцами! – возмущается чиновник в переписке. – И что касается дальнейшей судьбы вашей бригады отморозков: мне Дублон звонил лично уже три раза. Вы сейчас и немедленно отправляетесь назад в Харьков и возвращаетесь на базу. Остальные акции пока отменяются. А остальными пунктами из списка пока займутся ребята из Днепра – это приказ Дублона! Всё. Уезжайте немедленно, и телефоны, пока не прибудете на базу, не включайте".

В свою очередь, лидер радикальной группировки резко ответил чиновнику, чтобы тот "больше никогда не смел унижать" его или его ребят. Кроме того, он написал, что не собирается покидать Киев и подчиняться всем распоряжениям СБУ, подчеркнув, что у его людей в украинской столице "ещё много работы"...

Да, работы – непочатый край. Кто там перестарался или утратил контроль, почему не изуродовал только, а убил в упор, – время и другие документы обязательно покажут... Через два месяца после убийства и торопливых обвинений российских спецслужб упитанным А. Геращенко были задержаны на фоне подковёрных властных с СБУ разборок трое подозреваемых. Майдановец и сапер АТО Андрей Медведько с блуждающим взглядом был заключён под стражу до 14 августа. Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца и Дениса Полищука – экс-командира взвода в 54-й разведбригаде, о задержании которого сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Полищуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца или... залог в 5 млн гривен. Вот какая прогрессивная страна Украина – убийц готова под залог отпускать: может, сгодятся, если кто ещё из русофилов за время следствия не понравится?

Между тем, Медведько виновным себя не считает. Он представляется "жертвой репрессий" и заверяет, что дело против него сфальсифицировано. Подозреваемый убеждал суд в том, что на момент убийства он находился в районе Мариуполя, да и мотива преступления у него не было. Сердобольные депутаты даже предлагали взять подозреваемого на поруки. Аваков же заявил, что следствие располагает прямыми доказательствами причастности молодых людей к преступлению. А чуть позднее министр внутренних дел Украины сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу об убийстве Бузины. Фамилию не называли, а потом и вовсе заявили, что инкогнито отпущен за отсутствием улик. Но, несмотря на громкие аресты бойцов за неделимую и грозные заявления, никаких опровержений или извинений со стороны Геращенко и других провокаторов при власти не последовало!

Но вышедшая книга – не детектив и не журналистское расследование, это – дань замечательному писателю, публицисту, сатирику, чьё слово не просто остаётся в строю, а будет обретать всё большую силу, когда Украина очнётся и начнёт (обязательно – с помощью России!) стряхивать бандеровский морок и кровавую пелену. Пропагандистское клише "Евроньюс" о "пророссийстве" воспринимаешь с горькой усмешкой и с болью, глядя на лица

и дела хунты. Если сложить вместе правящую клику Порошенко–Яценюк–Гройсман–Аваков, то по своему казацкому духу, малороссийской крови и украинской сути Бузина украинец больше, чем все они вместе взятые! Этим-то он и стал ненавистен лжеукраинцам, захватившим власть!

Глава СПБ Наливайченко недавно твёрдо заявил: "Мы будем использовать опыт и методы спецслужб ОУН-УПА!.." Начали по полной программе. Бузина, как и следует писателю, глубоко узнал человеческую природу. Он говорил: "Правда состоит в том, что люди гораздо охотнее верят в мерзость, чем в доброту". Он переживал за Украину, погружённую в нацистский шабаш и утверждал: "Сегодня умным людям на Украине, приходится скрывать своё имя, а людям с именем – скрывать свой ум". Но сам Олесь не скрывал ни того, ни другого. Он продолжал говорить ПРАВДУ. А это в сегодняшней Украине равносильно смертному приговору. И приговор этот был приведён в исполнение. Но пули, убившие Олеся, не способны убить нашу память о нём.

2. Он был "русским украинцем"

Сегодня на Украине не осталось историков и исторических писателей в строгом смысле этого слова. Олесь был не единственным, кто знал историю Украины, но он был единственным, кто не боялся применять сравнительный исторический анализ и постигать смысл первоисточника. Вы представляете, в какой среде он творил и печатался? Например, доктор исторических наук и священник Юрий Мыцык, который преподаёт в рассаднике национализма – Могилянской академии, – внушает студентам откровенный бред: "За всю историю украинско-российских отношений, начиная со времён Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, насчитывается около двух десятков войн". Так что же, основатель Москвы князь Юрий, который занял потом киевский престол и умер Великим князем Киевским, и его сын, который перенёс столицу из Киева во Владимир, положив, таким образом, начало Великороссии, воевали сами с собой? Олесь Бузина разделял мою иронию в стихах:

Эх, профессор Мыцык —
Могилёвский титан,
Тот, который привык
Пудрить мозги детям.

Вот ведь создали класс
Из лжецов-подпевал:
Долгорукий у вас
Сам с собой воевал!

А вот дивитесь: Пётр Кралюк – проректор Национального университета "Острожская академия", из того города Острога, где Иван Фёдоров-Москвитин издавал Библию и первый русский календарь со стихами белорусского поэта Римши. Он, этот Кралюк, тоже называется сегодня философом и историческим писателем. Но каков его главный труд? Хвалится: "Мой "Синопсис" – это литературно-художественная альтернатива Киевскому "Синопсису" 1674 года, который заложил основу для схемы российской истории, согласно которой Московия является наследницей Руси, – рассказывает в комментарии газете "День" Петр Кралюк. – В моём же "Синопсисе" Русь существует и без России (!), и без Беларуси (!). Русь – это то, что ныне мы называем Украиной. Собственно, в книге речь идёт о древней руською культуре, которая была аристократической, дала нам Галицко-Волынскую летопись, Пересопницкое Евангелие, Острожскую Библию и много чего другого, но которую, к сожалению, мы сильно подзабыли".

Ну да, например, сам Кралюк забыл, на каком языке была напечатана Библия. "Острожская Библия" Ивана Фёдорова практически без изменений была перепечатана в Москве в 1663 году, так что, по сути, являлась официальной редакцией славянской Библии до 1740-х годов! И после Полтавской виктории русские повсюду обращались к ней – от Днепра до Волги. Более того, значение "Острожской Библии" было огромным для православного образования, которое было вынуждено противостоять сильному католическому давлению на Украине и в Белоруссии.

Олесь Бузина был убит после размещения полных данных о нём на сайте с издевательским названием "Миротворец". В названии – этакий бандеровский "гумор". Как писал советник МВД Антон Геращенко, на сегодня в базе данных Центра собрано более 7500 профилей "террористов, сепаратистов и их пособников". По его словам, технология сотрудничества с сайтом Центра "Миротворец" проста: "Увидели где-то в сети или по лживым российским СМИ сообщение о каком-то очередном "герое" Новороссии. Зашли на сайт Центра "Миротворец" и проверили по поиску – есть ли ФИО террориста в существующей базе данных. Если нет, то отсылаете информацию о террористе или сепаратисте на почту сайта. Если информация о террористе или сепаратисте там есть, то всё равно отошлите информацию о преступлении этого негодяя, о котором вам стало известно. Волонтёры обобщат присылаемую вами информацию и выложат на сайте", – призывает стукачей и сексотов советник Авакова. Он также просит по возможности помочь сайту финансово, перечислив деньги на карточку "Приватбанка" Коломойского. (Иудам всегда не хватает 30 сребреников!) Бузина попал на этот "сайт" после своих выступлений в эфире и выхода книги, которая называется "Союз плуга и тризуба – как придумали Украину". Эта книга о первой четверти XX века, когда конструировалась и навязывалась австро-польская, галицийская Украина. Сегодня она победила, простёрла свои совиные крыла над всей страной Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды, Николая Гоголя, Владимира Вернадского, Ивана Кожедуба – многих великих истинных украинцев.

Сразу вспомнилось, как в октябре 1949 года во Львове по указке подполья ОУН бандеровцы зверски расправились с известным публицистом Ярославом Галаном: ему нанесли одиннадцать ударов гуцульским топором. Он одним из первых встал на пути злодеяний бандеровцев, обличил их в страшных и ярких очерках. Убийца Стахур был пойман через два года и по приговору суда повешен, другие злодеи – расстреляны. Пособники поучили по 10–25 лет лишения свободы, а вот убийцы Бузины, похоже, уйдут от ответа! О Галане давно не пишут, его книги не издают, и это не удивительно для Украины, но, что странно, и для современной России. Ярослав Александрович, будучи русином, уроженцем и жителем Западной Украины, всю свою сознательную жизнь положил на борьбу против украинского национал-сепаратизма, униатства, открывая противную Богу и здравому смыслу их природу. Он боролся с предателями нашей великой единой Родины пером, действенными памфлетами и очерками, за что и был зарублен прямо за рабочим столом. Помню, на Всесоюзном совещании молодых писателей во Львове мы первым делом пошли на могилу Ярослава Галана. В сегодняшней бандеровской Украине только Олесь Бузина подхватил его традиции, унаследовал смелость писать правду. Кстати, и его книги не издавались в России, хотя, например, бестселлер "Революция на болоте" вскрыла всю подноготную и губительную сущность майдана до его повторения. Открываю скромную книжку в бумажном переплёте с автографом автора и снова читаю: "Я благодарен майдану за то, что он дал возможность мне стать контрреволюционером. А настоящая революция впереди. Великий Богдане, вставай – работы непочатый край! Когда он встанет, нынешние контрреволюционеры станут революционерами". Вот этим он и был страшен антинародной власти.

Уроженец славного Киева – политик, разведчик и публицист Василий Шмелёв – утверждал: "Москве без Киева не быть Россией, а только Московией, а Киеву без Москвы не быть Русью, а всего лишь продолжением Австрии". Олесь Бузина понимал это как никто, я не раз цитировал его афоризм: "Современный украинский язык родился в австрийской казарме". И этой запоминающейся афористичностью был особенно ненавистен слепым националистам. Украинский портал "Гуляй поле" злобствовал: *"Три минувших вечера, в Москве скандальный украинец Олесь Бузина развлекал российский народ. В самых рейтинговых вечерних телешоу наш "авторитетный специалист по Тарасу Шевченко" морализаторствовал, поливал грязью, кликушествовал, врал, лебезил, визжал, угождал, унижался, но искренне наслаждался славой и аплодисментами восхищённого русского телезрителя. Его лозунг-заклинание: "Один народ – два государства" ("народ единый – русский, а государства Россия и Украина – два"), написали огромными буквами и золотой краской на стенах московского Кремля (прямо за мавзолеем Ленина)! Мэр Москвы Сергей Собянин переименовал улицу "Коммунистический тупик" в проспект*

“Наш украинский Олесь”. Государственная библиотека имени Ленина, стала носить имя Бузины. А московское метро стало “олесябузиновским”. Благодарными слушателями Олеся Бузины стали миллионы почитателей федерального ТВ “Россия-1”, главного пропагандистского рупора единой, неделимой России... Союз писателей России единогласно принял Олеся в свои Члены, а российская телевизионная академия избрала нашего Олеся “Академиком российского ТВ”. В центре Москвы Олесю Бузине поставили памятник из бронзы. Это самый большой памятник писателю (будущему лауреату Нобелевской премии) в Европе и Азии. Олесю Бузине подарили шестиэтажное, помпезное здание, в котором разместился научный центр. Лично премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил бюджет этой исследовательской организации истории Украины и борьбы с Украиной”.

По сути, этот пещерный стёб – ядовитый пересказ мечты любого “свидомого” украинца: кому бы подороже продаться? Да чтоб с наградами, со своим исследовательским центром, баблом и памятником! Но Бузина был принципиально другим, потому его и обвиняли с этих рваческих иудиных позиций: неужели он говорит правду по убеждению и бесплатно? Истинную причину убийства Бузины, каких бы отморозков для этого ни использовали, раскрывает последняя беседа писателя на “Радио Вести”. Подчеркнём, что это радио вместе с “Эхо Москвы” впервые за годы противостояния, а потом и информационной войны нашли общий язык на русофобской почве и организовали общий эфир. Впервые украинское и российское радио объединили свои специфические аудитории. В галерее ведущих этого украинского радио на первом месте оказался... Матвей Ганапольский. Этот уроженец Львова кругом успевает. Он сразу устроил беседу с телеведущим Евгением Киселёвым, тот сразу начал врать, хотя время и последовательность сообщений о грянувшей трагедии были уже просчитаны – президент России был далеко не первый проинформирован, но Киселёв жуёт усы: *“Э-э, то, что Путин комментирует эту новость раньше, чем украинские СМИ, это дорогого стоит... Э-э, я не верю в такие совпадения, чтобы одновременно были убиты два скандально известных человека, которые были такими возмутителями спокойствия, общественными деятелями, но никаким особым влиянием не пользовались. Есть ли в Украине атмосфера для убийства политических оппонентов? Э-э, я её не чувствую!”* Ещё бы – ты часть этой атмосферы: когда в комнате смердит, свою вонь не чувствуешь...

Но Олесь приходил не к Моте, а к другим ведущим: его пытались расколоть, унять и вразумить Василиса Фролова и Юрий Кулинич.

– Итак, как Вас называть – журналистом, политиком, общественным деятелем?

– Скромнее надо называть – писателем. Издал восемь книг и живу на них. Это при всех должностях – постоянно!

– Историю с “Сегодня” можете объяснить? “Украинская правда” написала, что вы не нашли с руководством общего языка.

– В “Украинской правде” много брехни. Я работал в газете “Сегодня” с весны 2006 года. А тут вдруг “не нашёл общего языка”. Я ушёл из-за цензуры, из-за диктата, что публиковать.

И тут ведущая Василиса сделала прокол, поддавшись профессиональному задору: “А давайте проведём голосование: сайт Бузины или “Украинской правды“ – кому больше доверяют?.. Хотя нам для этого надо спросить разрешения у главного редактора (в эфире переговоры). Вот – он разрешает! Хорошо, мы стартанули, звоните по телефонам таким...

Через некоторое время она констатирует: “В эфире – буря. Столько СМС приходит! 400 человек уже позвонило. Итак: кому больше доверяют – “Украинской правде” или сайту “Бузина.орг”? О, у нас на телефоне – главный редактор “Радио Вести”. – Да, вот хотел дозвониться и дозвонился. С Пасхой поздравляю! Я тоже имею право задать любой вопрос. Вот авиация – вы хотите лететь через море на “Боинге” или на ПО-2? Ну, это к слову. Как ты, Олесь, относишься к писателю Эдуарду Лимонову?

– Как к писателю, а не как к политику. Считаю одним из самых ярких русских писателей современности.

– Он из Харькова. Как к писателю я к тебе тоже отношусь, с уважением. Но некоторые суждения...

– Ты ведь из Москвы, многие суждения не знаешь. Почитай мои колонки в “Сегодня”, столько предсказал – от падения гривны до диктата США, –

снятие Коломойского, например. Но гражданскую войну даже я не мог предсказать.

Василиса:

– А вот Ваше интервью 1999 года. Вы сказали, что стоите за воссоздание Российской империи. В Википедии написано...

– Ложь. Вы нигде это не найдёте, а цитируете по Википедии, там что хочешь напишут. Вы ссылку дайте!

Хочу просветить читателя, почему в раскалившемся эфире прозвучала фраза: "Ты из Москвы": формированием редакции и концепции новой радиостанции занимаются российские медиаменеджеры – два бывших руководителя "Коммерсантъ FM" Дмитрий Солопов и Алексей Воробьёв. Кроме российских, к проекту привлечены европейские и американские специалисты... Но продолжим цитирование этой интересной беседы:

– Ты говоришь в России ужасные вещи по телевидению. Ты, в отличие от многих твоих единомышленников, живёшь в Украине. Это они там получили по три квартиры, но ты-то... Лучше пиши книжки, а не рассуждай о Путине с Обамой.

Вот о чём его упорно предупреждали: пиши книжки, которые сегодня многие просто не читают, да и тираж их небольшой. Только не лезь никуда! Вот и Василиса подхватила:

– Я тоже удивилась, так часто видя Вас по российскому ТВ. Зачем?

– Да, принимаю, но не так часто участвую в российских ток-шоу, чтобы высказать свою позицию. Говорю и там прямо, что стою за единство Украины. Когда один политик выразился, что нет такого государства Украина, я достал свой паспорт. А вот на украинское телевидение меня никто не приглашал – ни Шустер, ни Киселёв. Я – запрещённый человек, потому что говорю: **происходящее на Донбассе – не АТО**. Представьте, что среди нас в студии террорист, и всю радиостанцию вдруг начали обстреливать из орудий... Мой друг Сева – офицер 47 лет, я говорил ему перед гибелью: "Не бери в руки оружие – этот конфликт не будет решён военным путём". Там армия 100 тысяч, они что, все из России?

– Представители НАТО говорят, что 13–14 тысяч, – проявил осведомлённость ведущий Юрий. – А вы уверены, что все там граждане Украины?.. Ну, всё, время кончается. Итак, кому больше доверяют – "Украинской правде" или сайту Бузины? – 44% и 56% – почти пополам. Вы хотели расколоть и раскололи!..

На слух из этой галиматьи было непонятно, кто сколько голосов отдал и за кого. Но я пересмотрел концовку программы по видео: при называемой цифре 56 – жест был в сторону Бузины. Обвал! – он победил весь огромный прохунтовский информационный ресурс: 56 на 44. Вот это удар! Сам Олесь удивился:

– Чёрт возьми, я ж не получаю никаких денег, и вдруг!..

Эфир скомкали и оборвали. **А Олеся через два дня после этого эфира подло и демонстративно убили...** Концовка программы, конечно, произвела шок. Представьте себе ужас националистов: провластный, дорогущий и многолюдный проект, так называемый аналитический журнал "Украинская правда" (написано на шапке сайта: "Основан Г. Гонгадзе в 2000 году"), и вдруг писатель-одиночка повергает могучее СМИ в пропасть, в навоз втаптывает.

Пустыми головами да с пустыми сердцами оказались все создатели и спонсоры этого ресурса, а слушатели поверили Олесю. До сих пор продолжают появляться отклики на архивные записи программы: "Какой грамотный человек! Слушаю снова – и опять интересно! Не знаю, многие ли со мной согласятся, но думаю: ни слова вранья! Вот в чём его можно обвинить??? В том, что патриотам Украины это всё скучно слушать? А правда – не всегда приятна? Легче же убить, чем привести аргументы! Вот Олесь говорил, что ему Донбасс жалко, а я вдруг с ужасом вспомнил, смотря это видео, что уже самого Олеся-то нет!.. Нет его больше! И когда слушаешь его, то погружаешься в саму историю! И во время просмотра ещё пришло осознание, что Олесь очень любил свою страну, очень! Видео есть, а человека уже нет! Некоторые "укры" пишут мне, когда читают другие мои комментарии по поводу Олеся Бузины, но как много грязи от "укров" по поводу смерти Олеся! Именно укры, ведь это не те украинцы, о которых говорит Олесь! Олесь был Настоящим "русским

украинцем". Я не ошибся! Такие бы люди Украину сейчас и подняли, но увы... На Украине – отстрел самых лучших. Моё почтение Олесю и вечная память!".

3. Он писал: "Я не люблю, когда Россию душат..."

Характерно, как совсем по-другому отозвались о подлом убийстве журналиста известные политиканы и его украинские коллеги. Ну, про упырей-свободовцев и говорить нечего. Экс-народный депутат Украины Ирина Фарион прокаркала: *"Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта наглая смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую этим подонком. Таких не убеждают. Такие приходят в мир, чтобы мы очищались от ментального ила и творили духовную вертикаль. Такие идут в канализацию истории"*, – написала Фарион в своём Facebook. Помню, в 2010 году Бузина и Фарион схлестнулись в прямом эфире у продажного Евгения Киселёва в программе "Большая политика", и Олесь сказал депутатше: **"Вы – Бандера, но только блондинка. И кончите тем же, чем и он"**. Не угадал пока – Фарион оказалась живучей его! Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook'е тоже иронично и кощунственно сразу отозвался о гибели Олеся: "Ещё один поэт погиб – изжога доконала..." Вот у кого изжога не проходит!

Президент Украины, в отличие от его реакции на смерть журналистов-провокаторов из "Шарли" в Париже, соболезнования семье погибшего соотечественника – писателя, журналиста и общественного деятеля – выразить **не посчитал нужным**. На своей странице он лишь политикански отметил, что убийство Олеся Бузины и бывшего депутата Партии регионов Олега Калашникова, произошедшее днём ранее, – "сознательная провокация, которая льёт воду на мельницу наших врагов", и дежурно потребовал в кратчайшие сроки найти исполнителей и назвать организаторов. То ли французские журналисты ценятся выше украинских, то ли рисование оскорбительных для многих карикатур – это истинная свобода слова, а выражение мнения о ситуации в нашей стране, отличного от нынешнего мейнстрима, – нет. Как бы то ни было, но и украинское медиасообщество, которое, по идее, просто обязано было выступить с осуждением хладнокровного убийства коллеги, ничего подобного не продемонстрировало. Американский комитет защиты журналистов осудил убийство Олеся Бузины. А что же в Киеве? На сайте Национального союза журналистов есть интервью первого секретаря НСЖУ Сергея Томиленко от 17 апреля, в котором тот призывает раскрыть преступление, чтобы развеять спекуляции, и новость за 23 апреля, что Комитет ВР по вопросам свободы слова и информполитики обратится к МВД с просьбой о расследовании. Но официального заявления Союза журналистов и Рады с осуждением убийства коллеги на их сайте обнаружить не удалось.

Даже по нынешним меркам это за гранью морали. Казалось бы, вне зависимости от политических взглядов должна же быть в журналистском цехе какая-то профессиональная этика? Но её, видимо, заменила спайка корпоративная, где в лице корпорации выступает работодатель или заказчик. Пусть и заказчик убийства – в одном лице. Имя Олеся Бузины в репортажах упоминалось исключительно с определениями "скандальный публицист" и "скандальный писатель, известный своими украинофобскими взглядами". Хотя Бузина ни капли украинофобом не был. К развалу страны никогда не призывал, а на российском ТВ, где был частым гостем, доказывал псевдошовинистам от политики, что есть такая страна – Украина, и лично он – украинец казацкого рода. Большая часть сюжетов была посвящена не личностям погибших писателя и депутата или разным версиям трагедий, а поискам российского следа. Профессиональная и моральная деградация – налицо!

Некто Десятерик написал в украинской националистической газете "День": "В Киеве возле собственного дома убит бывший журналист Олесь Бузина. Тот самый, что "Вурдалак Тарас Шевченко". В некоторых сообщениях его ещё называют писателем..." Этот Десятерик помянул честную книгу о Шевченко, но ведь Олесь знал и любил Кобзаря поболее упёртых националистов, призывал его творчество на благое дело: "Шевченко мог бы стать символом примирения и внутри Украины, и между Украиной и Россией. Две трети его произведений написаны по-русски. Все повести. Часть стихов. Дневник. Для Тараса русский был таким же родным, как и украинский.

Не станет человек писать дневник, куда заносятся самые интимные переживания, на неродном языке. Если двуязычие было естественно для автора "Кобзаря", то почему мы должны отвергать его в себе? А ведь Шевченко был даже не билингвом, а трилингвом. С детства он разговаривал ещё и по-польски, усвоив этот язык во время проживания со своим паном в Вильно. Шевченко был общительным подростком. Он усвоил польский мгновенно, чтобы не чувствовать себя чужим в новом городе, куда попал из своего родного села. Тем более, что в дело вмешалась ещё и любовь к польской девушке. Языки сливались в прямом и переносном смысле. Девушка была пряная. И кто знает, не был ли один из последних фантастических проектов Тараса – создать единый литературный язык, понятный всем славянам (о нём упоминает Тургенев), – отзвуком той любви? Шевченко хотелось научить такому же пониманию всех славян. Дать им инструмент для общения, то есть для примирения. И если тот же Тургенев отнёсся к задумке Шевченко иронически, как к утопии, то абсолютно чистую, без тени акцента русскую речь Тараса он отметил особо".

Смерть Олеся Бузины в России стала искренней болью для патриотов и славянофилов, но и раздражителем, предметом для политических спекуляций врагов Русского мира. Или поводом для политиканства и сомнительных публикаций. Так, Олег Кашин выступил с заметкой *"Не радуйтесь!": "На Украине убили журналиста Олеся Бузину. Я не знал его, но у нас, как оказалось, было много общих друзей и знакомых, все они отзываются о нём исключительно тепло и описывают его как настоящего патриота той Украины или, если угодно, Малороссии, которой сейчас нет, но о которой некоторые у нас всерьёз мечтают, то есть Украины, где все говорят по-русски, Бандеру считают фашистом, голодомор – выдумкой, а девятого мая надевают георгиевские ленты и обнимаются, поздравляя друг друга с праздником. Такой Украины, как известно, нет, а теперь нет и Олеся Бузины".*

Ложь провокационного журналиста! Теперь он старается занимать умеренную либеральную и слегка русофобскую позицию, не вдаваясь в крайности. Но лгать-то зачем? Сама жизнь Олеся Бузины, а главное – его яркое творчество показали, что такая Украина-Малороссия – есть, стонет под игом, корчится в муках, ищет своих защитников и выразителей. Самый главный и последовательный из них был Бузина. И нельзя сказать, что его самого теперь НЕТ. Он тоже ЕСТЬ, потому что остались его книги и статьи, а в воздухе Украины, среди её просторных полей и долин растворилось его горячее, умное и смешливое Слово. Поэтому, я убеждён, крайне важно, чтобы как можно больше русских читателей прочитали лучшие главы книг самого Бузины, прониклись его взглядами и чувствами, уверились, что есть в современной измученной и свихнувшейся Украине родная душа.

Перечитал почти всё из написанного Олесем, включая подённые заметки и колонки в газетах, пересмотрел его убедительные и неудачные телевыступления (последних было немало и у нас на ток-шоу) и **ещё раз убедился, что историческая проза его с проекцией на современность и с заглядом в будущее – выдающееся и немеркнущее явление, которое надо донести до самого широкого читателя**.

Книги Бузины в России не выходили, издательство "Алгоритм" только вело с ним переговоры об оригинальном издании, но вот грянули четыре роковых выстрела, и Олесь уже не принесёт новую рукопись. Конечно, теперь книги его будут переиздаваться, пришедшие в себя мама и жена вместе с друзьями соберут какие-то рукописи для новых книг необыкновенно работоспособного литератора, который не пил и не курил, а вкалывал без устали и оставил огромное творческое наследие. Но по горячим и скорбным следам надо донести до русского читателя те заветные мысли, изыскания, концепции, которые приобретают всё большую остроту и являются краеугольными камнями, на коих и будут строиться наши отношения с братской Украиной, – она ведь всегда останется рядом с нами и в нас!

4. Он сам встал в ряды мучеников и героев

Точнее всего написал о Бузине его друг, тоже известный нам по ток-шоу на многих каналах, донбасский журналист Александр Чаленко, который написал эссе с ясным названием "Малоросс-имперец": "Помню, я как-то, смеясь,

сказал Олесю: “Слушай, Бузина, ты же самый популярный русский писатель Украины! Ну, чего ты до сих пор живёшь в этом ужасном панельном доме?! Ты должен переехать в центр, в какой-нибудь старый красивый дом. Ты так любишь булгаковский Киев, а сам живёшь в таком небулгаковском месте. Кстати, может, и памятник тебе тут же около дома поставить придётся, и музей открыть, а они будут в таком непрезентабельном месте...”

Олесь усмехнулся. Он никогда не рассуждал о своей смерти. Всегда был молод, здоров, полон творческих планов и проектов. Тогда он мне сказал, что на улице Дегтярёвской прошло его детство, поэтому ничего в своей жизни менять он не хочет. Он вообще был консерватор. Во всём. У меня нет никаких сомнений в том, что Бузину убили украинские националисты. Он входил в тройку их самых главных идеологических ненавистников. Они преследовали его и не давали покоя всегда. Я даже познакомился с ним в 2000 году в больнице киевской “скорой помощи“, куда он попал с сотрясением мозга. Помню, я, тогда главный редактор интернет-издания Part.org.ua, пришёл в больницу, чтобы взять у него своё первое интервью. Ещё до выхода его самого знаменитого бестселлера “Вурдалак Тарас Шевченко” украинский Союз писателей подал на него в суд за его литературные “издевательства” над Кобзарём и другими литературными деятелями украинства. Во время одного из судов свидомиты устроили шумный пикет. Когда Бузина вышел из здания после очередного заседания, они окружили его. Какой-то боксёр сильно начал бить его по голове. В результате – больница “скорой помощи“.

Бузина публиковал свои разоблачительные опусы о классиках украинской культуры – Лесе Украинке, Иване Франко, Ольге Кобылянской, Марко Вовчке – в популярной в 90-е годы газете “Киевские ведомости”. Позже о “вурдалаке Шевченко”, заменившем на Украине Ленина, он писал как об алкоголике, неряшливом товарище, от которого вечно несло водкой и луком, любителе проституток, жмоте, отбиравшем у своих невест ранее сделанные им подарки, и человеке крайне неблагодарном, которого Николай I сослал в ссылку не за мифическую борьбу с самодержавием и крепостничеством, а за оскорбление своей жены-императрицы, способствовавшей выкупу Кобзаря на волю. Чуть позднее Бузина несколько смягчился по отношению к Шевченко, указывая украинским националистам, что свою прозу и дневники Тарас Григорьевич вёл на русском. Все “литературные” суды у Союза писателей Украины Бузина выиграл”.

Хочу добавить, что на Украине родился, окреп и получил ещё до смерти народное признание истинный наследник традиций Гоголя и Булгакова. И напомню несколько важных политических штрихов к биографии писателя. **В мае 2009 года Олесь Бузина дальновидно предложил принять пакет законов, запрещающих неонацистские организации и пропаганду нацизма, запретить пропаганду идеологического наследия ОУН как тоталитарной фашистской партии**. Это предложение поддержал один из лидеров Партии регионов Борис Колесников. По мнению Олеся Бузины, опубликованному на антиющенковском сайте “АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ”, президент Украины Виктор Ющенко покровительствует украинскому неонацизму и сам является неонацистом. Начались преследования. Против Олеся Бузины предпринимались попытки цензурных ограничений идеологического характера. В мае 2009 года украинская Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали поручила своему аппарату провести мониторинг печатных СМИ на предмет соответствия закону “О защите общественной морали”. Это было сделано по инициативе члена комиссии, директора Института украиноведения П. Кононенко, который обратил внимание комиссии на публикации Олеся Бузины в газете “Сегодня”, где якобы “дискредитируют выдающихся украинских деятелей, выбирается всё позорное в нашей истории”.

В марте 2015 года, за месяц до гибели в интервью “Российской газете” Бузина рассказал о нападениях и угрозах жизни в его адрес. В ряде телевизионных передач (в частности, в программе Владимира Соловьёва от 30 января 2014 года) также высказывались опасения об угрозе жизни. Так оно и случилось. В своей книге я приводил слова анонима на сайте Олеся Бузины: “Завтра мы будем хоронить Олеся Бузину. Завтра мы будем хоронить не только его, мы будем хоронить Украину. Конечно, есть много писателей, журналистов, но больше нет Олеся. У меня не болит больше сердце за Украину, боль за Украину давал мне Олесь, и я надеялся, что он прав и есть ещё воз-

можность... Оказалось, нет. Олесь был последним искренним идеалистом, который давал надежду на восстановление, а его за это убили...

Почему убили Олеся? Ответ до наивности прост, Олесь представлял реальную угрозу. В последнее время всё больше людей узнавали о нём, о его книгах, а многие даже начали его читать. Тот, кто читал книги Олеся или слушал то, что он говорит, становился потенциальной угрозой, и до какой величины могла дорасти популярность Бузины как человека выступающего за восстановление Украины, догадаться несложно. Вот и вся тайна: фашисты всегда боятся конкуренции, а если эта конкуренция ещё и отбирает у них баранов, превращая их в людей, то это вовсе неприемлемо. Вот вам и версия, и доказательство, я могу ошибиться в последовательности, но не в выводе.

Благодаря Олесю я полюбил свою землю, на которой жили мои предки так же, как и предки Бузины. Я узнал, что наша земля называется Малороссия, и наши предки были малороссы. Хотя я это слышал и от своего деда, но мне казалось, что это что-то царское, давнее и забытое. Ещё я узнал историю своего народа, не прилизанную, а такую, как была, Олесь всегда писал о наших предках, как о современниках, он всегда полагал, что они были не глупее нас, хотя знали меньше. Тем не менее, они осваивали земли, не имея машин и, заметьте, таки освоили. И, похоже, нынешние жители Украины куда глупее своих предков. Олесь надеялся, что это не так, и мы все надеялись до последнего дня. Надежда умерла вместе с Олесем. Теперь, нам ничего не остаётся, как похоронить и её.

Но это совсем не конец, это начало. Нам по-прежнему нужен Бузина, пусть в книгах, пусть в истории, но нужен. По его книгам нужно преподавать историю нашей земли и нашего народа. По его книгам можно растить достойных и честных людей, и мы должны сделать для этого всё. Я хочу, чтобы мы все вернули имя Украины Олеся, чтобы мы вспомнили, что мы не галичане, а малороссы. Первым настоящим малороссом, родившимся на Украине, по праву является Олесь Бузина. Не только потому, что погиб, а потому, что именно он в своих книгах нам её вернул. Возможно, это звучит слишком пафосно, но я действительно так думаю. Я уверен, что Олесь со мною спорить не стал бы, потому что столько любви к Малороссии, сколько есть в его книгах, нет больше нигде. Возможно, это и была его Украина с прекрасным именем Малороссия. Теперь мы об этом можем лишь догадываться, читая его книги. Вот только сам Олесь не сможет подтвердить эту догадку".

Сказано весомо и убедительно, хоть и без подписи. Можно понять, ведь это современная больная и терзаемая Украина, которую любил и воссоздавал Олесь.

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

ЖЕНИТЬБА И СЕМЬЯ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

К дню семьи

1. История вопроса

В 2011 году в интервью журналу “VIP-Premier” наш президент Владимир Путин назвал национальной идеей “сбережение народа”, процитировав Александра Солженицына. В 2014 году Патриарх Кирилл заявил, что “идеалом, общенациональной идеей” России является святость. И, наконец, уже в феврале 2015 года Владимир Путин, в ходе встречи с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров, заявил: “У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма”. И строго добавил: “Для этого нужно сознание, и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях...”

Но это тем, чьи дети живут за границей, надо напоминать про патриотизм “постоянно”, мы же, здешние, и так не забудем – чай, дома, не в гостях.

И теперь – о главном.

Наша национальная идея есть СЕМЬЯ, а стало быть – и ЖЕНИТЬБА. Да-да, женитьба, женитьба и ещё раз женитьба! Дело это хоть и естественное, но не для всех возможное, о чём и написал в своё время Гоголь. Надворный советник Иван Кузьмич Подколёсин с ужасом размышляет: “На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего – всё кончено, всё сделано...” У страха глаза велики, и жених “делает ноги” – выпрыгивает в окно, дабы отсрочить судьбоносное решение.

Русская классическая литература и так, и эдак исследует эту тему. “Час моей воли пришёл: не хочу учиться, хочу жениться”, – прямо заявляет матери Митрофанушка в “Недоросле” Фонвизина. Напомним, что модернизация от Петра I насильственно прививала молодёжи западные ценности эпохи Просвещения, а результатом данной политики стало “Горе от ума” – “головное” воспитание дворян. И вот уже появляются такие типажи, как Чацкий. В пьесе Грибоедова все коллизии крутятся вокруг женитьбы – увы, не сбывшейся.

В “Евгении Онегине”, *энциклопедии русской жизни*, главный герой грезит о женитьбе с Татьяной как о недостижимом счастье, а она отвечает ему: “...но я другому отдана...” Зато Лермонтов в “Песне про царя Ивана Васильевича...” рисует нам идеальные отношения в семье купца Калашникова. Правда, дело было в далёком прошлом, во времена Домостроя, а на Кавказе возможно и другое развитие событий: прекрасную Тамару соблазняет Демон, разбивая уже назначенную свадьбу.

В “Анне Карениной” Толстого самые любимые читателями страницы, услада сердцу — про счастливую женитьбу и семейную жизнь Константина Левина. А вот у Достоевского, чтобы возвыситься до национальной идеи, героям “Преступления и наказания” нужно пройти искушение ложными теориями, преступить заповеди “не убий”, “не прелюбодействуй”, “не кради”, изведать духовную пытку и каторгу. Демона, в конце концов, Родион Раскольников и Соня Мармеладова побеждают, но какой ценою!..

Ложное образование затемняет у разночинной молодёжи главные смыслы. То ли дело люди от сохи: как тут не вспомнить счастливое семейство Прокла Севастьяныча из поэмы Некрасова “Мороз, Красный нос”?! Увы, женщина, даже если она “коня на скаку остановит”, в одиночку бессильна перед жестокостью жизни. Красавицу Дарью уносит стихия в образе Мороза-воеводы. В деревне — не в городе! — без мужика не выживешь!..

Вокруг женитьбы как русской идеи кипят идеологические битвы и литературные споры. Тургенев в “Отцах и детях” рисует нам нигилиста Евгения Базарова. Женитьба друга Аркадия для него — измена идеалам: “Для нашей горькой, бобыльной жизни ты не создан”. Ну, конечно, для того ли он женился?! А вот в романе “Что делать?” Николая Чернышевского “особенный человек” Рахметов отвергает любовь, чтобы построить в России новую жизнь.

От дворянства мечты о революционном спасении человечества перекидываются на другие социальные группы. Рабочий Павел Власов из романа Горького “Мать” сознательно отказывается от личного счастья и семьи “для дела”. Этот типаж “монахов в миру” привлекает жаждущую истины молодёжь своей новизной (неважно, что идеи ложные, главное — они свежие, *нетрадиционные*).

Сэкономленную от женитьбы и семьи жизненную энергию революционеры направляют на разрушение общественного строя и государства. Наступает 1917 год.

В советское время литераторам, прямо скажем, было не до женитьбы — все силы забирала борьба с врагом внутренним и внешним. От названий знаковых произведений эпохи бросает в дрожь: “Разгром” (Александр Фадеев), “Как закалялась сталь” (Николай Островский), “Хождение по мукам” (Алексей Толстой), “Железный поток” (Александр Серафимович), “Цемент” (Фёдор Гладков). “Гвозди бы делать из этих людей // Крепче б не было в мире гвоздей”, — подытоживает Николай Тихонов в своих стихах. Но могут ли “стройматериалы” вступать в брачные отношения? Вопрос риторический.

Идея женитьбы в русской литературе приходит в величайший упадок. Далеко от России, на юге Франции, пишет “Тёмные аллеи” Иван Бунин, и общий смысл сборника чувственных рассказов таков: жениться-то надо было на другой!.. А Михаил Шолохов живописует разрушение, казалось бы, незыблемой скалы — казачьей семьи. В финале “Тихого Дона” Григорий Мелехов у разбитого корыта: ни страны, ни семьи, ни жены.

Теперь, чтобы жениться, русскому человеку нужно пройти через “Котлован” (Андрей Платонов), “Горячий снег” (Юрий Бондарев) или уцелеть в местах не столь отдалённых, описанных в “Колымских рассказах” Варлама Шаламова. Но задел был велик, и воля к жизни взяла своё.

Да-с, выжили, и пора возвращаться к “Привычному делу” — то есть к женитьбе. Правда, сватовство, с которого начинается известная повесть Василия Белова, заканчивается конфузом, но дрейф к национальным первоосновам — очевиден. Между прочим, главный герой повести, Иван Африканыч Дрынов, отец девяти детей. И тут самое время напомнить: а благодаря чему русские стали русскими, то есть одним из самых больших народов Европы? Ну, точно не из-за марксизма, либерализма или ницшеанства. И потому, когда поэт Александр Яшин оказался “свадебным генералом” на торжестве, он был весьма травмирован несоответствием высоты национальной идеи и её воплощением в современности. Ужас, во что превратилась женитьба!.. Так появился художественный очерк “Вологодская свадьба”.

Хорошо ли, плохо ли, но народ стал потихоньку браться за старое и входить в привычную колею, отсрочив на неопределённое время “построение коммунизма”. Женитьба всё-таки понятней русскому человеку, и никакой “диктатуры пролетариата” в этом деле не надо. Однако же у тех, кого называли “совестью нации”, кто считал, что они выше быта и умней природы, продолжало зудеть и свербеть неутолённое честолюбие. Из-за океана Александр Солженицын одарил тёмные народные массы статьёй “Как нам обустроить

Россию". Космополитическая интеллигенция, завороженная духом колбасных прилавков загнивающего Запада, поднапряглась, рванула изо всех "Огоньков" и с величайшим энтузиазмом затащила воз российской истории в очередную трясину бездумных реформ и революций.

Наступил 1991 год. СССР пал.

В литературе восторжествовали новые "маяки": жрицы похоти, торгующие телом за валюту. "Народные артисты" слагали гимны блудницам. Олег Газманов так и пел: "Путана, путана, путана, / Ночная бабочка, ну, кто же виноват..."

Солженицын стал открещиваться от сутенёров и попытался скорректировать курс: мол, настоящее обустройство России – это, оказывается, не бордель, а "сбережение народа".

Ишь, ты! Звучит благостно. Но солженицынское запоздалое озарение сильно отдаёт нафталинным брежневским Политбюро и геронтологическими домами призрения. Идея "камеры хранения" – утешительная морковка для тех, в ком огонь желаний давно угас. То ли дело – ЖЕНИТЬБА и, как следствие, – крепкая СЕМЬЯ! В нашей настоящей национальной идее есть задор и азарт молодости, энергия действия, правда жизни, созидательный смысл. И, между прочим, никакого разврата или агрессии. Наоборот: в цене верность, честь, целомудрие, домовитость, нежность, серьёзность.

Пусть читатель сам подумает и уяснит, чем идея женитьбы отличается от многоженства, материнского капитала, почитания культа предков, шведской семьи, однополых браков и пр. **Женитьба – это наше всё, это расцвет личности и созидание жизни, это новые ветви на родовом древе, это сила и мощь государства, это доминанта мужественности и ответственности, это устремлённость к центральным смыслам бытия.**

Женитьба ставит мужчину в обществе на должную высоту – хозяина, руководителя, защитника семьи, она позволяет ему состояться как личности, полностью раскрыть свои способности. Это совсем не та роль, что достаётся ему в так называемом "гражданском браке" (сожительстве) – развратника, альфонса, приживалы или спонсора, но в любом случае – не созидателя жизни, а её прожигателя.

Ещё Константин Леонтьев справедливо замечал, что фамильность и семейственность в России слабы и нуждаются в укреплении. Государственность наша дважды в прошлом веке – в 1917 и 1991 годах – подвергалась сокрушительным ударам и всё-таки возродилась благодаря запасу положительно заряженных народных "атомов". Нигилистам и даже троцкистам-безбожникам не удалось создать мощного реактора по расщеплению культурного ядра. Традиция устояла.

Ныне же мы видим грамотную, кропотливую, многолетнюю, систематическую работу по разрушению самой сердцевины народной души, по внедрению в неё и укоренению там совершенно чужеродных, самоубийственных программ поведения.

Вместо любви – секс (ну, это, примерно, как ваучер в перестройку), вместо женитьбы – ни к чему не обязывающий "гражданский брак", вместо детей – иномарка и телевизор. И это уже считается нормой! А впереди – нетрадиционные семьи, ювенальные юстиции, право однополых пар на усыновление, разрешение на инцест, суррогатное размножение и прочий "прогресс". Разрушительные "сексбомбы" соседствуют с высокоточным информационным оружием – приучением населения к милым и безобидным "иным" мужчинам и женщинам.

Женитьба как идея последовательно дискредитируется. Кто у нас главные женихи в России (а после – мужья и отцы)? Максим Галкин и Филипп Киркоров. Масс-медиа называют их переходящую "жену" Аллу Пугачёву Примадонной, то есть первой девой. Вся догматика и практика порока – телесного и духовного – много лет, методично, изо дня в день внедряется в сердца и умы людей.

Что же позволяет "модераторам" процесса навязывать огромной стране самоубийственные программы поведения? Вопрос интересный, а ответ на него, как нам думается, нужно искать в пропорциях существования культуры и индустрии развлечений в современной России.

С начала "холодной войны" и до времён "перестройки" СССР пребывал за "железным занавесом". Массовая культура этого времени не была потребительской, советская автаркия воспитывала созидателей, и пусть это был обеднённый, приспособленный под конструкции марксизма-ленинизма идеал, но всё-таки он не рассматривал человека как "одноразовое изделие".

Слом советской политической системы позволил не только перекроить экономическую модель страны, превратить её из технологической державы в топливно-сырьевой придаток Запада, но и принципиально изменить процессы управления умами и сердцами. Национальная культура (начиная от эстрады и заканчивая литературой) была загнана в дальний угол, а индустрия развлечений заняла командные высоты. Технологии – вплоть до лицензий телепередач, шоу, кинофильмов, поп-звёзд, гей-парадов – все завозные и многократно опробованные в "цивилизованных странах".

Напомним, что в культуре даже читатель или зритель всегда созидатель, со-творец, возделывающий свой внутренний мир. В индустрии развлечений иная ситуация: здесь человек пассивен, он потребитель "хлеба и зрелищ", и даже художник тут – лишь придаток огромной машины масс-медиа, пиара и моды. Попытки деятелей культуры "встроиться" в механизм с целью овладения им бессмысленны – такой путь неизбежно приводит к "перемалыванию" художника, к популизму, конформизму и перерождению личности. Настоящее творчество есть истина, и она не совместима с компромиссом.

Для Запада форматирование "человека потребляющего" стратегия даже более эффективная, чем спаивание или наркотизация аборигенного населения, не говоря уж о прямом военном вторжении. Главная цель этой "мягкой" технологии – заменить народ России безродно-бесполыми "торговыми единицами", которые будут грезить по хамону с пармезаном и услаждаться концертами Макаревича вместо Чайковского. **Люди с уничтоженным "культурным стержнем" амбивалентны – у них нет твёрдых убеждений, они не только не готовы умирать за родину, для них, извините за напоминание, даже женитьба – задача неподъёмная.** Зачем же лезть в семейное ярмо, если на свете столько *нетрадиционных* удовольствий и все надо попробовать?! Уж лучше взять кредит, купить айфон и утоляться на порносайтах...

Итак. Свободные отношения, гордо называемые "гражданским браком", навязывают доверчивой молодёжи масс-медиа в союзе с индустрией развлечений. Эта идея рождена и проводится в жизнь людьми ущербными и дисгармоничными, у коих нарушены пропорции между телесным, нравственным и умственным содержанием. Идея бытового разврата не только вредная, но в ней есть ещё что-то невыразимо затхлое, антиэстетичное и пошлое. Такой тип отношений, кстати, больше унижает мужчин, неспособных взять на себя ответственность за семью, чем женщин.

Вот почему молодая, горячая, счастливая и животворная идея частной жизни, идея ЖЕНИТЬБЫ для построения крепкой СЕМЬИ должна вернуться в нашу жизнь. Как это сделать? Задача непростая: отдавать "рынок сбыта" – человеческие души – никто без боя не собирается. Тема отдельная, требующая серьёзного разговора. Ну, а сказанного, надеюсь, достаточно, чтобы повнимательнее присмотреться к работе современных зомбо-механизмов, отнимающих у человека путь к самому себе.

2. Женитьба и замужество у нас и на Западе

"Во, открытие! – иронизировали мои оппоненты после знакомства с вышенаписанным. – А чего ж ты, интересно, замужество не воспела? Под эту концепцию тоже можно подвести "базу" из русской литературы".

Ну, во-первых, про замужество я уже высказалась – в сборнике рассказов "Уже и больные замуж повыходили". А во-вторых, единственная страна, которая имеет женскую литературу мирового масштаба и влияния, это, конечно, Англия. Не потому ли англосаксы правят миром, что их национальная идея – замужество? России, заметим, мировое владычество не нужно; мы и без мира – мир.

"Джен Эйр", "Грозовой перевал", "Гордость и предубеждение", "Разум и чувства", "Мэнсфилд-парк", "Доводы рассудка" – произведения, любимые читателями многих стран. Героини этих романов не только выражают идеал англосаксонской национальной жизни, но и программируют её будущее – до тех пор, пока у сестёр Бронте и Джей Остин будут поклонники и почитатели. Прибавим сюда "Унесённых ветром" Маргарет Митчелл – энергичный характер главной героини имеет сугубо фамильный вектор. Для сравнения: в популярной советской пьесе Константина Тренёва "Любовь Яровая" жена по "идейным соображениям" отдаёт мужа на съедение молоху революции...

Фамильность у англосаксов сильна, и потому весь мир для них – своя "вотчина", за которую они "в ответе" (вот и американцы упирают на мессианское служение, которое, мол, и заставляет их "страдать за человечество" в Ираке и в Афганистане, в Ливии и в Сирии); в общем, они "пасут народы", взирая на них, как на неразумных подростков, кои не доросли в осознанных формах вроде литературы даже до такой простой идеи, как замужество. Фамильность англосаксов – это Диккенс с "Оливером Твистом", Марк Твен с "Гекльберри Финном", Клайв Льюис с "Хрониками Нарнии", Джон Толкин с "Властелином колец", Лаймен Баум со "Страной Оз", Джоан Роулинг с "Гарри Поттером"... В детской литературе они тоже законодатели мод – и дело тут не только в пиаре. Детская тема – логичное развёртывание идеи замужества, коей Россия похвастать не может. Потому Запад и смотрел на нас, как на неведомую бездну, тьму, где клокочет "народное варево" вроде Пугачёвского бунта. И вдруг, в XIX веке, на "ужасном Востоке", словно из мифического Хаоса, рождаются безусловные титаны – Толстой и Достоевский.

Русская литература – наш подарок миру, оправдание бытия. В сущности, литература не должна "творить грёзы". Эту "самонадеянность художника", будто он умнее "массы" и может вести народ в светлое будущее, гениально описал Александр Фадеев в романе "Разгром". Главный герой – Левинсон, – вооружённый передовым учением, завёл партизанский отряд в болото. Прямо-таки провидческая метафора! Гений – не поводырь, а всего лишь "эхо" русского народа. Но эхо – это не примитивное бытописательство ("как в жизни"), не "натуральная школа", не "новый реализм", а величайшая концентрация энергии творения. В общем, этот акт сопоставим по своему волнительному и вдохновенному накалу с женитьбой, но никак не напоминает "работу в творческих Союзах". (Можно ли, кстати, создавать национальные идеи "чиновничьим способом" – помогая, поддерживая и раскручивая? Отчасти да. В этот путь очень верят либералы, которые пиная государство на каждом углу, всё время лезут к нему в карман.)

И всё же, несмотря на "русские вершины" в литературе, объективно говоря, наши национальные свершения весьма скромны (вспомним классическое наследие Древней Греции и Рима, итальянское Возрождение, французское Просвещение, немецкую философию, византийскую государственность). Но для нас они вполне *достаточны*. Духовных богатств нам хватает, главное – не менять их на "стеклянные бусы" колонизаторов.

И тут возникает вопрос: а почему у нас нет женской литературы и нет должной фамильности? Что же мы, глупей англичан?! Не факт. И, тем не менее, воздействие на умы отечественной женской литературы ничтожно. Скажем больше: литература больших идей, выраженных женщинами, в России отсутствует. Может, она и томится где-то "под спудом" или в малотиражном издании, но миру пока не явлена. А если мы обратимся к русской словесности XX века, то вообще затруднимся с мета-текстами, где дан образ женщины, на которой бы захотелось жениться! Ну, разве что Аксинья в "Тихом Доне", так ведь она и без того замужем!..

Нет, не положительного героя не хватает русской литературе (эту беду мы, в общем, можем пережить), а "гения чистой красоты", светлого образа невесты. Искусственное конструирование "тургеневской барышни" ничего, кроме умножения лжи, не даст; чтобы пушкинская Татьяна вновь явилась в русскую жизнь, должен быть запрос на верность. Будут женихи – появятся и невесты. И, опять же, при всей демократичности устроения нашей бытовой и литературной жизни, опыт былого подсказывает: только мужское творчество может нам дать и большие идеи, и мета-тексты. Потому попытки "угнездить" на вершинах отечественного литературы Дину Рубину и Людмилу Улицкую изначально обречены на неудачу. Кстати, в их творчестве нет ничего женского – и это совсем не комплимент.

Великое литературное произведение может быть создано только как выражение великой народной жизни; только поправив дела "на земле", можно подумать и о небесном; только укрепление нравов, традиции (не показное, а реальное), только сокращение болтовни во всероссийском масштабе (уважаемые мужчины, берегите свою энергию для других, творческих дел!) может создать среду для появления шедевров. В развратном теле не может быть высокого духа. Но и этого мало, мало и таланта, потому что великое литературное произведение есть чудо художественности, рождённое большой стихией – любовью к жизни.

АЛЕКСЕЙ АБРАМЫЧЕВ

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ УСПЕХА

Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов.

Игорь Курчатов

1945 год знаменателен не только Великой Победой. Тогда произошло ещё одно событие. О нём знали немногие.

20 августа 1945 года – через 14 дней после атомной бомбардировки американцами японского города Хиросимы – распоряжением Государственного комитета обороны СССР № ГКО-9887сс/ов был образован сверхсекретный Специальный комитет при Совете Народных комиссаров СССР по использованию атомной энергии...

Ровно через четыре года – 29 августа 1949 года, в 7 часов утра по местному времени – тайная тишина вокруг созданного Спецкомитета была нарушена атомным взрывом на советском Семипалатинском полигоне.

В конце 40-х – начале 50-х годов прошлого столетия в политическом лексиконе стало привычным словосочетание: "ТАСС уполномочен заявить". Именно, под таким заголовком я прочитал опубликованное 25 сентября 1949 года в газете "Правда" сообщение о решении в СССР проблемы, связанной с созданием атомного оружия. В сообщении, в частности, говорилось:

"23 сентября президент США Трумэн объявил, что... в одну из последних недель в СССР произошёл атомный взрыв. В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее.

В Советском Союзе ведутся работы крупных масштабов.., которые вызывают необходимость применения новейших взрывных технических средств.., это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что ещё 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что "этого секрета давно уже не существует".

Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление В. М. Молотова как блеф... Однако они ошиблись".

В начале 1970 годов, находясь на отдыхе в военном санатории "Архангельское", я познакомился с Дмитрием Трофимовичем Шепиловым, который в 1952–1956 годах был главным редактором газеты "Правда", а в 1956–1957 годах – министром иностранных дел. Он и рассказал мне, что до передачи в печать проект Заявления ТАСС был показан Сталину, который внёс в него правку.

Уточнил редакцию документа таким образом, что его содержательная часть стала допускать двойное толкование – было ли это испытание: а) *очередной*, или б) первой и единственной бомбы. В обстановке "холодной войны" это был вполне оправданный ход.

Получив в августе известие о наличии в атмосфере у границ СССР повышенного уровня радиоактивности, президент США Гарри Трумэн молчал более трёх недель. К американскому народу он обратился только 23 сентября, после рассмотрения на закрытом заседании своего кабинета возможных военно-политических последствий этого события. Решение в СССР атомной проблемы явилось для администрации президента США полной неожиданностью. На основании анализа экономики СССР (за год до нашего первого атомного взрыва) американские аналитики считали, что за время войны диспропорция между исследованиями по атомной энергии в США и СССР значительно увеличилась, а "советское промышленное строительство всё ещё находится в "веке кирки и мотыги", перегружено работами по восстановлению трети промышленности..., и даже ознакомление с секретами не поможет русским в силу их технической отсталости" *(Хогертон Дж. Ф., Рэймонд Эл. "Когда Россия будет иметь атомную бомбу?" М., "Иностранная литература". 1948)*.

По оценке ЦРУ, Россия могла бы получить "агитационную бомбу", в лучшем случае, не ранее 1954 года. Однако случилось неожиданное: "Америка, – по образному выражению академика Б. В. Раушенбаха, – перестала быть страной, которая всё может" уже в 1949 году. За то, что Центральное разведывательное управление ничего не знало о разработке и производстве в СССР нового оружия, директор ЦРУ Хилленнотгер был лишён своего поста.

Вслед за советским атомным взрывом на политическом фронте американскому руководству предстояло пережить ещё один удар: 1 октября 1949 года была образована Китайская народная республика, что до предела накалило международную обстановку на Корейском полуострове, в непосредственной близости от границы нашей страны. В этих условиях сентябрьскому сообщению ТАСС суждено было сыграть роль той сдерживающей силы, которая не позволила "холодной войне" превратиться в войну настоящую.

В 1945-м году, после разгрома гитлеровской Германии, формирование взглядов на жизнь у меня и моих сверстников происходило в атмосфере веры в будущее страны и свершение всех намеченных планов. Передачи "Голоса Америки" и "Би-Би-Си" (ВВС) от нас отскакивали, как горох от стенки. Зарубежные новости, кроме официальных газет, я, как правило, получал на службе – от лекторов ЦК и МГИМО. Особым успехом пользовались лекции журналиста-международника А. Я. Свердлова. Они содержали конфиденциальную информацию, которую не прочитаешь в официальных СМИ. В памяти сохранился рассказ моего товарища – студента МГИМО Ювеналия Полякова, сына писателя Александра Полякова, известного автора книги "В тылу у врага", – об откликах западных СМИ по поводу "произошедшего в Советском Союзе атомного взрыва", подкреплённый переведёнными с английского газетными статьями под громадными заголовками (типа "Русское чудо", "Атомный взрыв в России"), что, само по себе, производило эффект разорвавшейся бомбы. Писали "кто во что горазд", вплоть до того, что атомный взрыв был проведён на Чёрном море... на глазах у Сталина!.. Среди сумбура различных мифов, на Западе звучали и трезвые голоса. Так, немецкий исследователь, профессор Отто Ган (1879–1968), получивший Нобелевскую премию "За открытие расщепления тяжёлых ядер" (1944), заявил, что "...сообщение, согласно которому СССР располагает секретом атомной бомбы – хорошее сообщение. Если США и Советский Союз имеют атомные бомбы, то это значит, что определённо войны не будет. Будет так, как было с ядами во время последней войны... опаснее всего была бы монополия одной державы на сверхоружие".

Со временем, когда эмоции поутихли, споры стали вестись вокруг вопроса, как страна с "разрушенной до основания экономикой, лишившаяся каких-либо технологий и организационной структуры", истерзанная четырёхлетней летней войной, сумела в короткий срок повторить тот же рывок, который даже для нетронутой войной промышленности Соединённых Штатов был сопряжён с огромными трудностями?

* * *

К концу 30-х годов Советский Союз стал единственным – кроме США, – государством, обладавшим национальной наукой с целостным фронтом. В СССР организационная форма решения сложных народно-хозяйственных задач возникла не на пустом месте.

Созданию в августе 1945 года Специального комитета при Государственном комитете обороны "по урану" предшествовал комплекс проводимых в предвоенные годы фундаментальных и прикладных исследований, выполнявшихся институтами Академии наук СССР. Это в решающей степени определило успех выполнения атомного проекта в Советском Союзе. В 1925–1936 годах Академию возглавлял Александр Петрович Карпинский, до февраля 1917 года занимавший пост президента Имперской Санкт-Петербургской Академии наук.

Сегодня этот период деятельности академических учёных почти забыт. Или связывается с высылкой из России учёных-философов и деятелей культуры (1922), не принявших революцию.

Но задача индустриализации страны была поставлена перед учёными уже весной 1918 года. В её основу было положено научное сопровождение программы подъёма и развития экономики страны на базе электрификации всего народного хозяйства молодого советского государства (22 декабря 1920 года, план ГОЭЛРО): от создания энергетической базы и производства отдельных видов техники до подготовки кадров разных специальностей и уровней квалификации, что заставило власть обратиться к "собственным Ньютонам".

Этот план, объявленный "второй программой партии" – "...планом развития экономики в целом", не потерял свою актуальность и сегодня как научный базис для модернизации тепловой энергетики нашей страны *(Академическая наука фронту. К 70-тию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945. Коллективный труд. М., "Наука". 2015. С. 261).*

Задача "приспособлять образование и научные теории к практическому применению в промышленности" была включена в число важнейших направлений работы Академии с начала двадцатых годов. Её решению способствовало привлечение старых научных кадров к активному участию в социалистическом строительстве.

В период 1918–1925 годов начали свою деятельность такие институты, как Платиновый (1918), организатор и первый директор – основатель химической школы комплексных соединений профессор Л. А. Чугаев (1873–1922); Петроградский физико-технический (1921), организатор и первый директор – основатель знаменитой физической научной школы академик А. Ф. Иоффе (1880–1960); Физико-математический (1921) во главе с академиком В. А. Стекловым (1863–1926); Химический (1924) во главе с академиком Н. С. Курнаковым (1860–1941); Физиологический (1925) во главе с академиком И. П. Павловым (1849–1936) и др. На их базе в первые послереволюционные годы начала создаваться сеть будущих отраслевых научных учреждений.

Представления руководства партии о конкретных путях и средствах индустриализации России и о роли отечественной науки в этом процессе с 1918 по 1925 год не были одинаковыми. Необходимый уровень понимания был достигнут в ходе подготовки постановления ЦИК и СНК СССР об образовании Академии наук и принятии её первого Устава. Документы свидетельствуют, что в начале 1925 года Наркомат просвещения, ходатайствуя перед СНК СССР о признании Российской академии всесоюзным научным учреждением, одновременно настаивал "по соображениям идеологическим, плановым и организационным" на подчинении её (по аналогии с теперешним Минобрнауки) своему ведомству (Наркомпросу). Вопреки этому, постановлением ЦИК и СНК от 27 июля 1925 года Академия была признана "высшим всесоюзным учёным учреждением страны при Совете народных комиссаров Союза ССР и переименована в Академию Наук СССР". Это постановление укрепило статус Академии, способствовало защите академического сообщества от произвола нарождающейся советской бюрократии.

В апреле 1928 года число академиков было увеличено до 85 – практически в два раза (тогда в академическую систему входило около 80 научных институтов примерно с двумя тысячами научных работников). После состоявшихся 12 января 1929 года выборов в состав академии вошли С. А. Чаплыгин,

В. Ф. Миткевич, И. М. Губкин и Д. К. Заболотный – специалисты по техническим наукам. Кроме того, были избраны известные своими научно-техническими интересами Д. С. Рождественский и Л. И. Мандельштам (по физическим наукам); А. Е. Чичибабин (по химии). В числе избранных по социально-экономическим наукам был Г. М. Кржижановский.

В марте–апреле 1930 года сессия Академии утверждает первый в её истории план работы. 23 мая 1930 года Президиумом ЦИК СССР утверждён Устав АН СССР.

4 февраля 1931 года Сталин, выступая на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности по вопросу стратегии дальнейшего развития советской индустрии (за 10 лет до нападения Германии на СССР), заявил: **"...Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут..."**

Можно как угодно относится к Сталину, но за его выступлением на конференции последовало дело. "В период 1931–1939 годов финансирование Академии наук СССР было увеличено почти в 25 раз" *("Академическая наука фронту". М., "Наука". 2015. С. 40).*

21 августа 1931 года СНК СССР принимает постановление об укреплении материально-технической базы академии и увеличении в ней числа учёных-естественников.

В 1932 году в числе избранных академиков были Н. Н. Семёнов и С. И. Вавилов (по физическим наукам), И. П. Бардин, А. А. Байков, С. В. Лебедев, М. А. Павлов, А. А. Чернышёв и К. И. Шенфер (по техническим наукам). С этими именами связаны последующее развитие научно-технических исследований в АН СССР и её активное участие в индустриализации России.

К концу 1932 года уже более 47% бюджета АН СССР составили средства, выделенные наркоматами и другими ведомствами на выполнение конкретных хозяйственных задач. Все эти мероприятия положили начало истории организации академических научно-технических исследований как государственного института.

Революционные открытия физиков, сделанные в 30-е годы прошлого столетия, резко ускорили исследования по ядерной тематике в Германии, Великобритании, Франции и США.

Не остались в стороне и учёные АН СССР.

* * *

С началом 30-х годов ядерная физика становится одним из основных направлений отечественной физической науки. Работы по изучению структуры атомного ядра и ядерных превращений получили развитие в Радиевом институте Академии (РИАН) и Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ). РИАН и ЛФТИ тесно взаимодействовали между собой и провели ряд совместных работ: с июня 1934 года и до середины 1935-го было осуществлено 10 совместных публикаций, положивших начало нейтронной физике в СССР.

С ноября 1932 года в ЛФТИ стали регулярно (до 3-4 раз в месяц) проводиться "ядерные семинары", а также конференции по физике атомного ядра (с 1933 по 1940 год было проведено 5 конференций). В 1-й Всесоюзной конференции приняли участие крупные зарубежные учёные по ядерной и теоретической физике, такие как Фридерик Жолио-Кюри, Филип Перрен и Пьер Оже (Франция), Поль Дирак и Рудольф Пайерлс (Англия), Вольфганг Паули (Швейцария), Франко Разетти (Италия). Активное международное сотрудничество в ядерной сфере в те годы объяснялось признанием достижений в области фундаментальных исследований АН СССР на мировом уровне и желанием научного сообщества поставить атом на службу мирным целям. Так, в статье, опубликованной А. Ф. Иоффе в 1930 году, он, в частности, писал, что "в колоссальном количестве внутриатомной энергии нужно искать выход из того энергетического кризиса, который грозит человечеству через 2-3 сотни лет, учитывая чудовищный рост промышленности и относительно небольшие природные запасы топлива (леса, угля, нефти)". В декабре 1932 года А. Ф. Иоффе к работе "по ядру" привлёк И. В. Курчатова. В 1933 году

И. В. Курчатовым были выполнены экспериментальные работы, связанные с ускорением протонов, в 1934-м начаты исследования по нейтронной физике. Для их проведения в СССР был создан второй в мире циклотрон (первый был сооружён в 1932 году в Беркли в США). С 1933 года в отделе ядерной физики ЛФТИ стали работать талантливые исследователи: Л. А. Арцимович, Л. В. Скобелицын, братья Артём и Абраам Алихановы. О масштабах быстрого развития в стране в 30-е годы работ по физике ядра свидетельствует деятельность Комиссии по атомному ядру во главе с С. И. Вавиловым, в составе которой были А. Ф. Иоффе, А. Н. Алиханов, И. В. Курчатов, И. М. Франк, В. С. Векслер, А. И. Шпетной. О том же свидетельствовал и рост кадров, двигающих вперёд отечественную науку: в работе первой Всесоюзной конференции по физике атомного ядра в 1933 году принимало участие около 30 специалистов, в работе второй конференции в 1937 году участвовало уже свыше 100 учёных-ядерщиков, а в работе последней в 1940 году – свыше 200 специалистов.

В 1934-м Президиум АН СССР переехал из Ленинграда в Москву. Была значительно укреплена материально-техническая база Академии. К 1940 году Президиум АН СССР стал координировать деятельность восьми тематических отделений (по основным направлениям научного поиска): физико-математического, химического, геолого-географического, биологического, технического, историко-философского, экономического и правового, а также по литературе и языку. Количество академических институтов составило около 150, количество научных работников достигло четырёх тысяч.

К этому времени относится создание академических Кольской и Северной баз, а также Дальневосточной горно-таёжной станции; организация 47 институтов, 76 лабораторий, станций, обсерваторий.

Наличие развитой сети академических и прикладных институтов, а также квалифицированных кадров позволило стране успешно решать сложные практические задачи и заниматься крупными теоретическими проблемами. В целом, не было почти ни одной отрасли хозяйства, в которой бы не отражалась деятельность Академии.

Усилия учёных не пропали даром. Наиболее ярким достижением АН СССР явились работы в области изучения атомного ядра, проводимые в Ленинградском физико-техническом институте – вотчине академика А. Ф. Иоффе или, говоря словами вице-президента РАН, Нобелевского лауреата, академика Жореса Ивановича Алфёрова, – в "детском саду папы Иоффе", который сформировался в ЛФТИ".

В Физтехе в разное время работали талантливые физики, такие как Лев Ландау, Николай Семёнов, Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Анатолий Александров, Яков Зельдович, Георгий Флёров.

В 1939–1940 годах в лаборатории Курчатова молодыми физиками Георгием Флёровым и Константином Петржаком был открыт новый тип радиоактивных превращений – способность ядер урана к спонтанному (самопроизвольному) делению, без облучения нейтронами. Параллельно Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон определили условия возникновения атомного взрыва и оценили его огромную разрушительную мощь. Сообщения на эту тему были сделаны на семинаре в Ленинградском физико-техническом институте АН СССР. Результаты этих работ, как и другие важные работы советских физиков, были опубликованы в научных журналах и явились основой решения атомной проблемы в СССР.

К началу 1940-х годов, располагая мощным научным потенциалом, АН СССР превратилась в "штаб советской науки". Академию лично курировал В. М. Молотов, в 1930–1941 годах – председатель Совнаркома СССР, а во время войны – уполномоченный ГКО по науке С. В. Кафтанов.

В ноябре 1940 года в Москве с успехом прошло заседание Урановой комиссии, образованной в 1940 году Президиумом АН СССР по инициативе В. И. Вернадского, с отчётами по результатам работы экспедиций по изысканию урана в Средней Азии.

В начале войны Советскому Союзу предстояло перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями времени и оказать помощь фронту и народному хозяйству. В том, что эта задача была успешно решена, сказались результаты большой работы по укреплению Академии наук СССР, проведённой руководством страны в довоенный период.

В июле 1941 года исследования по атомной физике в СССР и деятельность "Урановой комиссии" были приостановлены. Ведущие научные учреждения, работавшие в этой области, были эвакуированы в Казань, Уфу, Алма-Ату и Свердловск. Тематика их работ была подчинена военным проблемам. Большинство молодых физиков-ядерщиков из лаборатории И. В. Курчатова оказалось в армии. Работы физтеховцев сосредоточились на актуальной для военного времени тематике. Большую роль в эти дни сыграло постановление Президиума АН СССР от 23 июня 1941 года о первоочередных мерах по пересмотру тематики НИУ и разработке предложений по внедрению в практику результатов научных работ, связанных с обороной. И. В. Курчатов и А. П. Александров, занимавшиеся последние годы проблемой защиты кораблей от магнитных морских мин, теперь целиком переключились на эту задачу, а 28-летний Георгий Флёров пошёл в военкомат и стал техником-лейтенантом ВВС. Как инженера его направили в Йошкар-Олу вместе с эвакуированной из Ленинграда Военно-воздушной академией. Между исполнением служебных обязанностей у него была возможность следить за свежей научной периодикой, связанной с проблемой ядерных цепных реакций. И это дало неожиданный результат.

Молодой физик обнаружил, что с середины 1941 года в зарубежных журналах полностью исчезли публикации по ядерной тематике. И это после целой лавины работ в самом конце 30-х годов! Будучи хорошо информированным в данной области, он пришёл к выводу, что на Западе вплотную заинтересовались созданием атомного оружия. Прирождённого аналитика особенно тревожил тот факт, что у нацистской Германии были в наличии "первоклассные учёные... значительные запасы урановых руд, завод тяжёлой воды, технология получения урана, методы разделения изотопов". Флёров решил бить тревогу: обратился с письмами к Иоффе и Курчатову, в середине декабря 1941 года выступил на семинаре в Казани перед группой учёных. Принимавший участие в том семинаре, вместе с академиками А. Ф. Иоффе и П. Л. Капицей (Курчатов болел), физик из Радиевого института АН СССР И. И. Гуревич (позже член-корреспондент АН СССР), вспоминает: "Аргументы Флёрова произвели впечатление на аудиторию... Не вызывало сомнения, что это очень серьёзно и основательно, что работу по урановому проекту надо возобновить. Но шла война. И у меня абсолютно не было уверенности, чем, скажем, завершилось бы тайное голосование, если бы на семинаре пришлось решать, нужно ли немедленно начинать работы или же начинать их через год или два. ...И дело не в том, что доклад Флёрова был недостаточно убедительным, – время было неподходящим для такого предложения. Красная армия сражалась, чтобы остановить продвижение немцев к Москве, а военная промышленность ещё не оправилась от катастрофического разрушения, причинённого ей германским вторжением".

Не получив поддержки в возобновлении ядерных исследований у таких авторитетов, как академики А. Ф. Иоффе и П. Л. Капица, воспитанник Курчатова – "неугомонный лейтенант", – вернувшись 22 декабря в Военно-воздушную академию, не опустил руки. Он отправил записку уполномоченному ГКО по науке С. В. Кафтанову. Ответа не последовало: обстановка на фронте была уж очень тяжела, и трудно было ожидать положительной реакции на предложения, казавшиеся в то время многим фантастическими.

Тогда Флёров решает обратиться к Сталину, надеясь, по его словам, "прошибить головой каменную стену". Он был уверен, что "исследования по делению" в Соединённых Штатах засекречены, а это означало, что американцы работают над созданием ядерного оружия. В последнем обращении к власти между строк читалась даже "угроза":

"Я складываю оружие, – писал он, – и жду, когда удастся решить эту задачу в Германии, Англии или США. Результаты будут настолько огромны, что будет не до того, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили эту работу..."

Предупреждения Флёрова подтверждались одно за другим. Всё это сошлось в одну точку – точку принятия решения. Однако не всё было так просто. Среди противников "работ по урану" была такая влиятельная организация, как Госплан. В мае 1942 года вместе с письмом Флёрова Сергею Кафтанову поступил доклад разведки о том, что на Западе ведутся работы по "урановой проблеме". Анализ открытых в последние годы по линии НКВД документов (и публикаций в печати) показывает, что разведывательные данные по атомной проблематике в начале войны Сталину не торопились докладывать:

не было уверенности в их достоверности. Подтверждением сказанному может послужить сохранившийся в архиве проект письма Верховному о необходимости организации работ по созданию атомного оружия (написанного в период между 10.10.1941–31.03.1942), которое так и не было отправлено. Обобщённый доклад был представлен Сталину только 6 ноября 1942 года – через год после получения уполномоченным ГКО по науке записки Флёрова. С. В. Кафтанов вспоминает:

"Получив сводный доклад от разведчиков, "я стал советоваться с физиками. Наиболее весомым для меня было мнение А. Ф. Иоффе... Я попросил его подписать со мной письмо в Государственный Комитет Обороны о необходимости создать научный центр по проблеме атомного оружия. Докладывая вопрос на ГКО..., я говорил: конечно, риск есть. Мы рискуем десятком или даже сотней миллионов рублей... Изучив сводный доклад, Сталин походил, походил и лаконично бросил: "Надо делать".

Подробно об этой истории мне стало известно от физика-атомщика, академика Бориса Васильевича Литвинова, лично знавшего академика Флёрова. Из разговора с ним запомнилась его шутливая реплика. По поводу сталинского решения *"Надо делать"* он сказал примерно следующее: "Тут имеет смысл говорить, в лучшем случае, о соломинке, сломавшей хребет верблюду, уже готовому упасть: молодому учёному удалось, не достигнув возраста Христа, стронуть с гор лавину военного атома".

В августе 1942 года из армии был "извлечён лейтенант Флёров", за ним стали собирать остальных физиков, работавших до войны в Академии по ядерной проблематике. Проект стартовал 28 сентября 1942 года. Для его осуществления только на первом этапе были привлечены, наряду с АН СССР, шесть союзных наркоматов.

Общее руководство работами, связанными с возобновлением исследований и подготовкой доклада ГКО "о возможности создания А-бомбы или уранового топлива" (до 01.04.1943) было возложено на вице-президента АН СССР академика А. Ф. Иоффе.

Сталин, приняв решение об организации работ "по урану", сделал неординарный шаг. В стране шла война. Экономика была напряжена до предела. Распоряжение о возобновлении работ по урану явилось первым шагом, благодаря которому в СССР к 1945 году была создана научная база для начала ОКР по разработке не только одного из самых совершенных вооружений, но и для развития атомной промышленности и ядерной энергетики в целом.

Это Распоряжение должно быть прочитано. Оно конкретно и лаконично: по своему стилю и результативности оно может служить примером для современных чиновников (в том числе курирующих в Правительстве РФ проекты типа "Роснано", "Сколково"), как надо готовить подобные документы.

СОВ. СЕКРЕТНО

Государственный Комитет Обороны

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2352СС
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО УРАНУ

Москва, Кремль 28.09.1942 г.

Обязать Академию наук СССР (акад. Иоффе) возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путём расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. Для этой цели:

1. Президиуму Академии наук СССР:

а) организовать при Академии наук специальную лабораторию атомного ядра;

б) к 1 января 1943 года в Институте радиологии разработать и изготовить установку для термодиффузионного выделения урана-235;

в) к 1 марта 1943 года в Институте радиологии и Физико-техническом институте изготовить методами центрифугирования и термодиффузии уран-235 в количестве, необходимом для физических исследований, и к 1 апреля

1943 года произвести в лаборатории атомного ядра исследования осуществимости расщепления ядер урана-235.

2. Академии наук УССР (акад. Богомолец) организовать под руководством проф. Ланге разработку проекта лабораторной установки для выделения урана-235 методом центрифугирования и к 20 октября 1942 года сдать технический проект казанскому заводу "Серп и молот" Наркомата тяжелого машиностроения.

3. Народному комиссариату тяжелого машиностроения (т. Казаков) изготовить на казанском заводе подъёмно-транспортного машиностроения "Серп и молот" для Академии наук СССР к 1 января 1943 года лабораторную установку центрифуги по проекту проф. Ланге, разрабатываемому в Академии наук УССР.

4. Народному комиссариату финансов СССР (т. Зверев) передать к 1 ноября 1942 года Академии наук СССР один грамм радия для приготовления постоянного источника нейтронов и 30 граммов платины для изготовления лабораторной установки центрифуги.

5. Обязать народный комиссариат чёрной металлургии (т. Тевосян), Народный комиссариат цветной металлургии (т. Ломако) выделить и отгрузить к 1 ноября 1942 года Академии наук СССР следующие материалы по спецификации Академии:

а) Наркомчермет – сталей разных марок 6 тонн,

б) Наркомцветмет – цветных металлов 0,5 тонны, а также обязать НКстанкопром выделить два токарных станка за счёт производства.

6. Народному комиссариату внешней торговли (т. Микоян) закупить за границей по заявкам Академии наук СССР для лаборатории атомного ядра аппаратуры и химикатов на 30 тысяч рублей.

7. Главному управлению гражданского воздушного флота (т. Астахов) обеспечить к 5 октября 1942 года доставку самолётом в г. Казань из г. Ленинграда принадлежащих Физико-техническому институту АН СССР 20 кг урана и 200 кг аппаратуры для физических исследований...

Председатель ГКО
И. Сталин

Какой же верой в победу надо было обладать, чтобы в дни, когда стратегическая инициатива была у Гитлера, после поражения под Харьковом и катастрофы Крымского фронта принять решение о возобновлении работ по урановой проблеме с перечнем конкретных поручений, стоивших больших объёмов финансирования.

Лаборатория № 2 АН СССР для работ по урану была организована 12 февраля 1943 года. Руководителем Лаборатории, по рекомендации А. Ф. Иоффе после одобрения Сталиным был утверждён И. В. Курчатов.

Документы свидетельствуют: кадровая политика, проводившаяся в ходе А-проекта, в решающей степени определила успех его реализации. Пишу об этом не случайно. Количество сотрудников легендарной Лаборатории вплоть до 1945 года не превышало 100 человек. Но это были высококвалифицированные специалисты и каждый находился на своём месте.

Приступая к работе, И. В. Курчатов с первых дней столкнулся с проблемами, трудноразрешимыми даже в мирное время. Одна из ключевых проблем атомного проекта была связана с накоплением в больших количествах урана для получения требуемого делящегося вещества.

В июле 1943 года Игорь Васильевич обратился к Молотову:

"Мы сделали только первый шаг и находимся, – писал Курчатов, – в начале большого и трудного пути. Как по числу квалифицированных кадров, так и по материально-технической вооружённости исследований по проблеме урана наша страна находится далеко позади Америки, Англии и Германии. Проблемой урана у нас занимаются сейчас около 50, а в Америке – около 700 научных сотрудников.

Имеющееся резкое отставание нельзя ликвидировать путём привлечения наличных кадров учёных и создания единичных технических сооружений. Только при специальном правительственном внимании (здесь и далее подчёркнуто мною. – **Авт.**) и всемерном развитии физики атомного ядра, физики деления изотопов нам удастся ликвидировать отставание... Необходимо

накопить в ближайшие годы 100 тонн урана. Разведанные запасы этого элемента в СССР оцениваются в 100–120 тонн. Является настоятельно необходимым ускорение работ по накоплению урана, что возможно только при условии обнаружения новых и предельно высокой эксплуатации существующих месторождений" *(Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах. М., "Атом", 2004. Док. № 13).*

По этой записке можно судить о масштабе проблем, вставших перед Курчатовым.

В сентябре-октябре 1943 года по разведывательным каналам прошла информация о содержании переговоров президента Рузвельта и премьера Черчилля в канадском городе Квебек в августе 1943 года, в ходе которых ими было подписано секретное соглашение о совместных работах по созданию атомного оружия. Работавший в конце 1950-х годов в британской службе МИ-6 советский агент внешней разведки Джордж Блейк свидетельствует: "Для совместной работы с американцами в рамках "Манхэттенского проекта" группа английских учёных была направлена в 1943 году в США. В неё был включён немецкий физик Клаус Фукс (коммунист, эмигрант из Германии), известный своими научными трудами в сфере атомной энергетики, который, симпатизируя Советскому Союзу, с 1941 года добровольно сотрудничал с нашими спецслужбами..."

Сообщение К. Фукса о начавшихся в Соединенных Штатах работах по А-проекту послужило на́ руку Курчатову. 16 мая 1944 года Сталин возлагает "наблюдение за ураном" на вновь назначенного заместителя председателя ГКО Л. П. Берия, в задачи которого входил контроль за работой всех наркоматов оборонной промышленности.

29 сентября 1944 года Курчатов докладывает Берии "о неудовлетворительном состоянии работ по атомной проблеме" по сравнению с высокой концентрацией "исследований по урану" за рубежом. Обращение срабатывает: 8 декабря 1944 года Сталин подписывает Постановление ГКО № 7102сс/ов "О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки урановых руд", в Москве создаётся НИИ по урану (будущий НИИ-9). Ответственность за поиск, добычу и переработку урановых руд возлагается на талантливого организатора металлургической промышленности генерал-лейтенанта А. П. Завенягина. *(Трякин П. "Генерал Средмаша". Озёрский вестник. 06.02.2002).*

* * *

О войне пишут много. Есть мнение, что это была "схватка двух сцепившихся между собой диктаторов", а в научно-техническом отношении Вторую мировую называют "войной моторов". Но сегодня весь цивилизованный мир признаёт, что это была борьба интеллектов. Роль учёных в этой победе трудно переоценить. В ходе подготовки к юбилею Победы у меня была возможность познакомиться с материалами, связанными с участием учёных в работе АН СССР в годы Великой Отечественной войны. Только несколько примеров.

К лету 1942 года основные направления деятельности Академии в новых условиях, наряду с работами "по урану", были сосредоточены на трёх главных блоках: а) по разработке средств вооружения, внедрение которых не терпит отлагательства; б) по научной помощи промышленности в улучшении и повышении эффективности освоения производства; в) по мобилизации сырьевых ресурсов страны, замене дефицитных материалов местным сырьём.

Война потребовала широкого использования научных достижений в промышленном производстве, в совершенствовании вооружения и военной техники. К середине 1942 года полностью завершилась перестройка экономики страны. В этот период учёные АН СССР в составе созданных межведомственных комиссий активно включились в работы в интересах фронта. На Академию была возложена масса задач, требующих решения по целому "букету" вооружений и военной техники. В её учреждениях по заданию наркоматов обороны и ВМФ сотрудниками АН СССР разрабатывалось более 180 тем. В рамках одного очерка все их перечислить невозможно.

На юбилейном митинге Президиума Российской академии наук, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, президент РАН

академик В. Е. Фортов назвал имена "выдающихся учёных, достижения которых в годы войны имели решающее значение на полях сражений": А. П. Александров и И. В. Курчатов обеспечили защиту кораблей от магнитных мин; С. В. Вонсовский создал метод и внедрил аппаратуру магнитного контроля артиллерийских снарядов; С. А. Христианович на основе разработанной им теории процесса горения пороха повысил устойчивость полёта снарядов знаменитых "Катюш"; М. В. Келдыш разработал теорию, обеспечившую борьбу с флаттером в авиации; Е. О. Патон и П. В. Никитин разработали уникальную технологию производства танковых корпусов; В. А. Фок, Л. Д. Ландау и А. Н. Колмогоров внедрили методы расчёта данных для артиллерийской стрельбы; и многое, многое другое. Кроме того, в 1942–1943 годы начали работу комиссии по мобилизации сырьевых ресурсов восточных районов страны. На одно из первых мест **были поставлены работы по изысканию и накоплению урана, а также повышению эффективности эксплуатации существующих месторождений.**

В 1944 году для решения задач атомной программы были получены первые килограммы чистого урана, запущен первый исследовательский ядерный реактор на природном уране с тяжёлой водой в качестве замедлителя, перепрофилирован в химико-металлургическое производство один из заводов Наркомата боеприпасов (1945).

Победное завершение Отечественной войны совпало с 220-летним юбилеем Академии. В докладе на сессии Общего собрания президентом АН СССР академиком В. Л. Комаровым было отмечено: "Грохот пушек вдохновил наших учёных выполнить свой патриотический долг...". К 1945 году количество научных сотрудников, несмотря на то, что многие учёные ушли на фронт, сохранилось на прежнем уровне, а в ряде институтов и лабораторий – увеличилось. Повышению потенциала Академии способствовало привлечение в науку талантливой молодёжи. По состоянию на 1 января 1945 года аспирантура Академии превышала довоенный уровень. К концу войны АН СССР располагала 7 филиалами и 4 базами, объединявшими 87 НИУ (институтов, самостоятельных секторов, отделов и лабораторий). Кроме того, в состав Академии входили 1 астрономическая обсерватория, 2 сейсмических станции, 4 музея, 12 ботанических садов и заповедников. В 1943 году, после победы в Сталинграде и на Курской дуге, на базе региональных филиалов были созданы республиканские АН в Армении (29 октября), Узбекистане (18 ноября), 23 января 1945 года – в Азербайджане. Хотя ряд филиалов АН СССР превратился в республиканские Академии, к концу войны число филиалов за счёт создания новых не изменилось.

Не прекращающиеся фундаментальные и прикладные работы АН СССР по урану, наряду с работами, связанными с оказанием помощи фронту, заложили основу решения оборонных задач в послевоенное время. Война не приостановила развития Академии. В ходе войны на восток эвакуировались сотни заводов, научные учреждения, конструкторские бюро, учебные заведения. Их взаимодействие способствовало укреплению обороноспособности и народного хозяйства нашего Отечества в целом.

Выдающиеся научные достижения академиков И. П. Бардина, А. А. Байкова, С. Н. Бернштейна, С. И. Вавилова, Б. Е. Веденеева, М. М. Дубинина, Н. Д. Зелинского, А. Ф. Иоффе, В. Л. Комарова, А. Н. Несмеянова, В. Н. Образцова, Е. В. Тарле, А. Е. Ферсмана и многих других советских учёных были отмечены в годы войны Сталинскими премиями.

За пять месяцев до окончания войны – в январе 1945 года – по каналам разведки поступили сведения о работах по созданию в США плутониевой бомбы (с технической документацией по её устройству) и информация о сроке её первого испытания (намеченного на июль 1945 года). Эти сведения явились основанием для интенсификации в стране работ по плутонию и созданию в СССР атомной бомбы.

В июле 1945 года проходила Потсдамская конференция глав трёх великих держав – СССР, США и Великобритании. Мало кто знает, что конференция сначала планировалась на более ранний срок. Затягивал проведение встречи американский президент. Он надеялся к её началу заполучить ядерное оружие. Известно высказывание Трумэна по этому поводу: "Если бомба взорвётся... у меня будет дубина для этих парней".

24 июля после получения подробного письменного отчёта об испытательном взрыве близ авиабазы Аламагордо в районе штата Нью-Мексико, Трумэн в присутствии Черчилля проинформировал Сталина о том, что в США разработано "оружие огромной разрушительной силы". Слова "атомная бомба" им произнесены не были. Вопреки ожиданиям союзников, "дядюшка Джо" (Сталин) внешне не проявил интереса к полученной информации и в ходе последующих заседаний конференции к этому вопросу не возвращался. У Черчилля даже сложилось впечатление, что советский лидер "не понял значения" этого сообщения... Присутствовавший на конференции маршал Г. К. Жуков вспоминал, что, вернувшись с заседания, Верховный рассказал В. М. Молотову о разговоре с Трумэном, поручив ему "переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы". Это поручение было выполнено в аккордном режиме с участием выдающегося деятеля оборонпрома генерал-полковника Б. Л. Ванникова (арестованного НКВД за 2 недели до войны и освобождённого Сталиным после её начала – 20 июля 1941 года) и И. В. Курчатова. В совокупности это была государственная программа взаимосвязанных по задачам и срокам работ, направленных на конечную цель А-проекта.

Распоряжение ГКО об образовании Специального комитета по атомной энергии Сталин подписал 20 августа 1945 года. В состав Спецкомитета вошли Л. П. Берия (председатель), член ГКО Г. М. Маленков, председатель Госплана Н. А. Вознесенский, а также крупные руководители, имеющие опыт руководства оборонной промышленностью и наукой – Б. Л. Ванников (вооружение); А. П. Завенягин (горная металлургия); академик И. В. Курчатов и академик П. Л. Капица (АН СССР); В. А. Махнев (боеприпасы); М. Г. Первухин (химическая промышленность).

В "одной папке" с распоряжением Сталина был утверждён ряд важнейших документов, которые превратили советский атомный проект в государственную проблему № 1. Работам по этой тематике был придан необычайный размах. Принятые меры носили мобилизационный характер. Вся деятельность участников проекта была подчинена единой воле и жёсткому контролю. Для решения беспрецедентной задачи руководство СССР привлекло лучшие силы промышленности, КБ и НИИ, все звенья партийных органов и административного аппарата, лучших руководителей и специалистов, в том числе и разведку.

Для предварительного рассмотрения вносимых на обсуждение Спецкомитета научных и технических вопросов (в тот числе и связанных с созданием сырьевой базы и организацией урановой промышленности, строительством энергетических комплексов и объектов для производства А-бомбы) при Комитете был образован Технический совет, в который, наряду с крупными организаторами промышленности, вошли учёные АН СССР. Среди них А. И. Алиханов, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, В. Б. Хлопин, И. К. Кикоин и др. *(И. В. Курчатов в воспоминаниях и документах. М., "Атом", 2004)*.

Руководство практической работой осуществлялось созданным Первым главным управлением (ПГУ) во главе с Б. Л. Ванниковым, который привлёк, по рекомендации И. В. Курчатова, к работе в ПГУ Е. П. Славского – будущего легендарного руководителя Минсредмаша (современного Росатома).

С образованием Специального комитета его заседания, на которых рассматривались узловые вопросы атомного проекта, стали проходить несколько раз в месяц. И практически все протоколы, ведущиеся на заседаниях, содержали фразу: *"Проект Постановления представить товарищу Сталину И. В."*. Только в течение года (с августа 1945-го) в интересах ускоренного развития атомного проекта им было подписано более шестидесяти документов. Таким образом, ход выполнения атомного проекта был поставлен под личный контроль Сталина. Курчатов получил своеобразный карт-бланш. 25 января 1946 года он был вызван в Кремль. "Специальное правительственное внимание" стало фактом. С этого момента интенсивность работ существенно возросла. От исследовательских работ Лаборатории № 2, весь коллектив которой на конец войны составлял около 100 человек, надо было перейти к новому масштабу работы – к созданию крупнейших предприятий и комбинатов нового типа зарождающейся атомной отрасли с тысячами сотрудников. Именно тогда стали закладываться закрытые города – Арзамас-16 и Челябинск-40.

По мере продвижения работ возникла необходимость в особой организации, сочетавшей наряду с исследованиями, конструирование и отработку самой атомной бомбы (Изделие). 9 апреля 1946 года по инициативе Курчатова главным конструктором Изделия был назначен Юлий Борисович Харитон. Его заместителями стали члены-корреспонденты АН СССР генерал-лейтенант Н. Л. Духов и К. И. Щёлкин. Руководителем теоретического отдела – член-корреспондент АН СССР Я. Б. Зельдович (с 1958 – академик). Для разработки Изделия при Лаборатории № 2 создаётся Конструкторское бюро (КБ-11). Строительство КБ-11 проходило в Сарове – в зоне лесного Мордовского заповедника в Горьковской области (10 кв. км). Стройка велась в авральном режиме, с энтузиазмом, без проектов и предварительных смет, стоимость работ принималась по фактическим затратам при непосредственном участии Курчатова. Коррупция в ходе атомного проекта отсутствовала!

Хорошо знавший Игоря Васильевича академик А. П. Александров (в 1975–1986 годы – президент АН СССР) свидетельствует: "Курчатов сам участвовал в разработке всех вопросов, он пытался всегда получить конкретное решение... Он заставлял всех теоретиков вникать в эксперимент, и поэтому эксперимент получался обеспеченным теоретической поддержкой. Это сыграло решающую роль в сокращении сроков решения атомной проблемы... Так что в этом смысле я так и говорю в любом своём выступлении, что стране необычайно повезло, что на эту проблему был назначен Курчатов... Иоффе, например, Капица, Семёнов – никто из них не мог так это дело реализовать, как это сделал Курчатов. Потому что это был человек необычайной увлечённости, но в то же время именно конкретной увлечённости... Причём сам он выкладывался, как мог... С начальством у него были такие взаимоотношения. Я бы сказал так, что его авторитет у начальства был абсолютно непререкаем... Он сумел себя так поставить, свои отношения личные так сформировать со всем начальством, что все они работали ему на пользу и никакого не было сопротивления..." *("Академик Анатолий Петрович Александров. Прямая речь." М., "Наука". 2001).*

Разработка модели первого атомного заряда (в масштабе 1/5 от натурной величины бомбы) велась с конца 1945 года в Лаборатории № 2, то есть ещё до создания КБ–11, и проводилась по согласованию с Курчатовым без техзадания (ТЗ) по устным указаниям Ю. Б. Харитона. Испытание модели прошло под Москвой (на полигоне НИИ-6 в Софрино) летом 1946 года. 1 июля 1946 года была начата разработка атомной бомбы по ТЗ, подписанному Ю. Б. Харитоном. В соответствии с заданием предусматривалась разработка двух вариантов атомных бомб: а) на плутонии (РДС-1) и б) урановой (РДС-2). К этому времени в КБ–11 были уже созданы условия для изготовления блоков Изделия. Срок сборки плутониевого заряда для РДС-1 был намечен до 1 февраля 1949 года (через два месяца после получения необходимых количеств плутония и урана-235).

Одновременно предусматривалось строительство полигона, аэродрома, опытного завода и других объектов, а также решение исключительно широкого круга вопросов, связанных с проведением обширной программы конструкторских и экспериментальных работ.

Постановлением СМ СССР от 08.02.1948 года предписывалось обеспечить предъявление на государственные испытания Изделия РДС-1 до 1 марта 1949 года. Первое испытание атомного устройства планировалось провести на вышке, хотя изготовление Изделия велось с учётом его авиационного применения самолётом ТУ-4: масса ограничивалась 5 тоннами, его диаметр и длина соответственно, 1,5 и 5 метрами. Успешное испытание советской А-бомбы на Семипалатинском полигоне (29.08.1949) стало итогом проведённой работы. Отставание в развитии ядерного оружия Советского Союза по сравнению с Соединенными Штатами составило всего четыре года. Президент Трумэн долго не мог поверить, что *"эти азиаты могли сделать такое сложное оружие, как атомная бомба"*.

Ликвидация атомной монополии США предотвратила Третью мировую войну. Окончательно с американским атомным шантажом было покончено после создания и успешного испытания советской водородной бомбы на полигоне "Новая земля" (30.10.1961), получившей обозначение АН-602. У бомбы, помимо официального обозначения, сохранилось широко распространённое

неофициальное название “Кузькина мать” (благодаря известному высказыванию советского лидера Никиты Хрущёва).

В Российской академии наук до её реформирования традиционно проводились встречи журналистов с учёными – так называемые “чаепития в Академии”. Отчёты о них, как правило, публиковал (в рубрике “Правда.Ру”) широко известный в академической среде писатель Владимир Степанович Губарев. Запомнилось одно из “чаепитий” – встреча с академиком Евгением Павловичем Велиховым, директором Курчатовского научного центра (выросшего из Курчатовской Лаборатории № 2 АН СССР).

Встреча состоялась в один из мартовских дней 2012 года в актовом зале главного корпуса Президиума РАН. Речь шла о науке вообще и роли И. В. Курчатова в овладении атомной энергией – научной основой отечественной атомной промышленности, в частности. *(Чаепития в Академии. “Правда.Ру”. 15.03.2012).*

Свой разговор с выдающимся учёным Владимир Степанович начал с вопроса:

– **Евгений Павлович... теперь уже Вам приходится нести груз традиций, начало которых идёт от Курчатова. Тяжела ли эта ноша?**

Велихов: Традиции Курчатовского института своими корнями, конечно же, уходят к традициям Ленинградского физико-технического института, к знаменитой “школе А. Ф. Иоффе”... У хороших традиций всегда две стороны, которые гармонично сочетаются друг с другом. Прежде всего, это опора на хорошую, настоящую науку, которую называют “фундаментальной”, то есть ту науку, что построена на принципе любознательности... А с другой стороны, научная деятельность должна подчиняться какой-то цели, чтобы был, как говаривал Анатолий Петрович Александров, “сухой остаток”. Для него важен был собственный опыт и, в частности, размагничивание кораблей, где в “сухом остатке” были корабли... Две стороны научной деятельности необычайно важны. Тогда и возникает гармония. Уважение к науке должно сочетаться с задачей для решения, и в этом случае появляется ответственность человека за дело. Ему необходимо находиться под давлением обстоятельств, и это заставляет понимать проблему до конца.

– В таком случае Курчатов был первым учёным, перед которым стояла задача сохранить мир на Земле?

Велихов: Теперь мы это называем “ядерным сдерживанием”. Задача столь же актуальна, как и полвека назад... Есть отдельные личности, которые попадают в “резонанс со временем”... Те, кто создавал современную физику в начале XX века... стали особыми людьми в истории... Курчатов будто бы заложил в “гены науки” нечто принципиально новое, которое и сейчас проявляется и будет проявляться в дальнейшем... у поколения физиков, к которому он принадлежал и которое смог объединить...

Успехи советской науки и техники, те самые, которые дали стране ядерное оружие, были достигнуты благодаря созданной в СССР системе образования. В ходе атомного проекта для закрытия дефицита в специалистах была организована по инициативе И. В. Курчатова и Б. Л. Ванникова сеть специальных факультетов, обеспечивающих потребность атомной промышленности. Один из сотрудников Лаборатории № 2 АН СССР, физик И. Н. Головин позднее вспоминал: “И. В. Курчатов и Б. Л. Ванников как нельзя лучше дополняли друг друга. Курчатов отвечал за решение научных задач и правильную ориентацию инженеров и работников смежных областей науки, Ванников – за срочное исполнение заказов и координацию работ”.

Опыт атомщиков был использован в последующем при создании факультетов, ориентированных на подготовку кадров в интересах разного класса ракетного вооружения и космоса. Всё вместе взятое обеспечило выход советской системы образования на передовой мировой уровень.

В этой связи мне запомнилось ставшее хрестоматийным, вынужденное признание выдающегося американца – президента США Джона Кеннеди в 1961-м, после полёта в космос Гагарина: **“Победило советское образование. Ребята, если не хотите учить русский, – учите физику...”**

За этим заявлением в Америке в срочном порядке были **переведены на английский язык лучшие советские учебники**. В том числе школьные:

по математике – А. П. Киселёва и Н. А. Шапошникова, по физике – А. В. Пёрышкина, по химии – Л. А. Цветкова и другие, – превратившиеся в России (благодаря либеральным реформаторам!) в библиографическую редкость. А в американской прессе появилась любопытная статья под названием "Почему американский Джонни (ученик) знает меньше и хуже русского Ивана?".

С момента образования в Советском Союзе Спецкомитета по атомной энергии минуло семь десятилетий. Создание ядерного оружия в нашей стране поставило СССР по своему оборонному потенциалу в один ряд с одной из самых могущественных стран в мире – с Соединёнными Штатами Америки. Однако с окончанием "холодной войны", после того как снизилась угроза крупномасштабной глобальной ядерной катастрофы, спектр дестабилизирующих рисков в международной сфере расширился. Увеличивающийся разрыв между наиболее развитыми странами и остальным миром в развитии дорогостоящего высокоточного оружия нового поколения создаёт условия, когда ядерное оружие является для ряда развивающихся стран едва ли не единственным видимым фактором, которому нет альтернативы.

В то же время жизнь показывает, что непреходящей заслугой советских учёных в области атомной энергетики является пуск первой в мире атомной электростанции. Данное достижение поставило на службу человечеству самый мощный источник энергии – энергию деления атомного ядра. Приобретённый технологический потенциал ядерной отрасли позволяет уже более двадцати лет постсоветской России осуществлять научно-техническую деятельность в мире по самым широким направлениям ядерно-топливного цикла в целом.

Опыт разработки отечественной А-энергетики является примером создания продукции двойного назначения – для военного (БР, подводные лодки) и гражданского (АЭС, ледоколы и т. п.) применения. В отличие от ряда других стран, особенно США, Россия вынуждена расходовать огромные средства на армию и вооружения отнюдь не по экономическим причинам, а для обеспечения своего существования в качестве независимого государства. В этой связи превращение организационно-кадрового и управленческого интеллектуального ресурса, приобретённого в ходе успешных советских проектов, в инструмент модернизации экономики современной России, обеспечивающий создание конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынков, имеет первостепенное значение. Опыт этой работы уникален и полезен для нового поколения российских управленцев всех уровней и направлений.

МЕФОДИЙ
епископ Каменский и Алапаевский

ПО СЛЕДУ БЕЛОГО АНГЕЛА

Завершилось паломничество по скорбному посмертному пути великой княгини Елисаветы Феодоровны. Она была немкой по происхождению, а стала подлинно русской святой. В час скорби великая княгиня отказалась покинуть Россию и безропотно прошла вместе с ней её — и свою — Голгофу до конца.

По традиции паломничество начинается в день гибели святой Елисаветы в политом царской кровью Екатеринбурге и продолжается на Святой Земле, где великая княгиня была похоронена.

Дни убийства Царской семьи и великой княгини в Екатеринбурге и Алапаевске называют Царскими. Сюда съезжается множество народу, чтобы молиться святым Царским мученикам. Идя ночным крестным ходом к шахте Нижне-Селимская, куда Елисавету и других алапаевских мучеников сбросили живыми, по такой мирной теперь последней их дороге, трудно вообразить, что могли они чувствовать, зная или предугадывая близкую смерть.

Паломничество ежегодно организует известный российский оборонщик Игорь Ашурбейли, назначенный не так давно заместителем председателя ИППО (Императорского Православного Палестинского Общества).

Участник паломнической группы владыка Мефодий, епископ Каменский и Алапаевский, согласился рассказать о трудностях и радостях своего служения и своём хождении за три моря — Галилейское, Мёртвое, Средиземное — по следу той, которую за великий дар сострадания и любви называли Белым Ангелом Москвы.

— Владыка, спасибо, что, несмотря на усталость после долгого перелёта, вы согласились встретиться с нами. Вы впервые участвуете в этом паломничестве? Ощутили ли, что это та земля, по которой ходил Христос или современный облик Израиля помешал этому?

— Это была моя первая поездка на Святую Землю. Первое, что я почувствовал, — это то, что здесь очень тепло сердцу. Благодать зависит от готовности сердца и приходит через него, а не через камни. Настройка идёт заранее. Сердце по молитве может включиться раньше, чтобы приехав, ты уже понимал, где находишься, был настроен на встречу со Спасителем и теми местами, по которым он ступал. Нашему вхождению в пространство Святой Земли помог ещё и гид Михаил, историк-археолог по образованию, который, как апостол Фома, чтобы убедиться в чуде, хотел вначале к нему прикоснуться. Именно такой человек был нам нужен, потому что мы тоже хотели всё потрогать, совали руки, куда обычно их, наверное, не суют, ходили мимо туристических маршрутов, в места, куда туристы редко ходят. Такие паломничества, в особенности на Святую Землю, — это возможность не только помолиться, но и увидеть, пощупать, если так можно сказать, Евангелие собственными ру-

ками. Здесь начинаешь осознавать, что ты ходишь, прикасаешься руками, ногами к тому месту, где ходил Христос. Это очень важно – иметь возможность помолиться там, где молились апостолы и сам Иисус. Нам могли показать какую-нибудь пещеру, в которой Матерь Божья с Иисусом и Иосифом жили. Может быть, тут не написано, что вот именно здесь Иисус ходил. Детство Христа – это, конечно, тайна. Но он был ребёнком, а дети все места и все окрестности обязательно должны облазить, это такой детский мир, и поэтому очевидно, что по этой пещере, этим местам он ходил многократно. Паломничество – это путеводитель по Библии. Ты не только понимаешь Евангелие, но и проживаешь его, чувствуешь его запах.

– Благое дело часто сопровождается искушениями, попыткой злых духов воспрепятствовать благому начинанию. Было ли что-то такое у вас?

– Я бы сказал, что наоборот, в продолжение всего нашего пути было постоянное ощущение водительства святой, её небесного покровительства.

– В чём это выражалось? Случалось ли у вас что-то, что невоцерковленный человек упорно считает совпадением, а православный христианин – Божиим участием в его жизни?

– Чудо зависит от восприятия человека, то есть от того, как он реагирует на реальность, насколько он восприимчив, насколько открыты у него глаза. Само паломничество – это чудо, и особое благословение Божие я вижу в том, что нам удалось не только приложиться, но и помолиться и даже уединиться. В самых посещаемых местах по Божьей милости почти не было народу. Это было паломничество открытых дверей. Мы приходим к святыне, народу никого, а нам говорят: "Вы знаете, как вам повезло! Здесь обычно такие очереди!" И так везде почти. Удивительно было и то, что, хотя команда паломников была очень разнородна, но, тем не менее, она как-то сразу срослась. Это было заметно, потому что был момент притирания, и то, что потом группа так быстро объединилась – это тоже чудо. Это редкий случай, учитывая разнородный состав команды, начиная от епископов и монахов и кончая людьми, не очень, в общем-то, воцерковленными.

– Где проходит грань между паломником и туристом? Как не превратить паломничество в светское мероприятие?

– Слава Богу, у нас везде была возможность постоять, попеть молитвы. Когда мы приходили с экскурсией на святое место, мы старались хотя бы кратко помолиться. Эти места не позволяют их узурпировать надолго. Там всё приходится делать быстро. Что касается туристических троп, то наш гид старался вести нас своими маршрутами. Например, он мог вывести нас в чистое поле и показать остатки древнего храма, связанного с местом, где Дева Мария искала пристанище, где она могла бы родить Иисуса. Конечно, к таким рассказам нужно очень аккуратно относиться. Есть факты, изложенные в Священном Писании, а есть предание. И в преданиях часто много пристёгнутого, привнесённого, потому что предания иногда – это, к сожалению, некоторый бизнес. Слава Богу, наш гид оказался человеком, для которого история, истина дороже. Несмотря на то, что он, по его собственному выражению, "ещё не определился", он ходил с Евангелием и во время экскурсий зачитывал нам некоторые места оттуда.

– Знали ли вы кого-нибудь из тех, с кем вам потом пришлось пройти по скорбному пути великой княгини?

– С некоторыми членами нашей команды я познакомился ещё во время предыдущего паломничества, когда они были в Алапаевске. Кое-что я слышал от отца Спиридона Калитина, который в своё время был участником первого такого паломничества. С Игорем Рауфовичем Ашурбейли я познакомился в 2014 году. Мы вместе провели вечер. Жизнь-то короткая. Проведёшь вместе один тёплый вечер – это уже, считай, вы близко знакомы, а иногда бывает наоборот: вроде и близко знакомы, но вот как-то далеко. Игорь Рауфович в тот вечер мне сказал, что для него не безразлично это место – Алапаевск, что он знает про трудности в епархии и хотел бы помочь, и спросил совета, куда направить эту помощь. Тогда же он пригласил меня войти в состав паломнической группы по скорбному посмертному пути Великой княгини Елизаветы Романовой в июле 2015 года. Я почти не бывал в святых местах за пределами страны, потому что приход не мог себе этого позволить, когда так много всего нужно построить и восстановить. И я с благодарностью принял приглашение Игоря Рауфовича и предложение о помощи, которую решено

было направить на строительство храма в Алапаевске во имя святой великомученицы Елизаветы.

— В епархии есть и другие храмы. Почему для вас так было важно построить храм именно в этом месте?

— Храм — это территория, которую небо отвоёвывает у земли. По сути храм — кусочек неба на земле. Если где-либо строится храм, это пришествие Бога в это место. Есть в епархии и другие храмы, но для этого места, этого монастыря строительство храма очень значимо. Очень непросто складывалась судьба этой женской обители. Храм уже своим строительством начинает решать ряд проблем. Когда возведён фундамент, когда уже существуют камни, они сами уже начинают собирать средства. Камни — это такие глашатаи о помощи. Кроме того, это важное место. Ведь храм строится у Напольной школы, в которой долгое время содержалась под стражей перед своей смертью великая княгиня Елисавета вместе с другими членами царской фамилии. Вокруг этой школы тоже очень непростая ситуация. Но есть надежда, что храм поможет разрешить возникающие сложности. Когда будет храм, тогда и школа прилепится к нему.

— Когда-то любое паломничество было сопряжено с трудностями и опасностями. Кто-то, не выдержав пути, возвращался назад. Шли часто пешком, месяцами, а то и годами, осознавая своё недостоинство. Святой Давид Гареджийский после трёх лет пути, почти дойдя до Иерусалима и взглянув на него с Сионской горы, решил вернуться, потому что посчитал, что недостоин ступать по Земле, по которой ходили стопы Спасителя. Раньше человек в прямом смысле мог быть не допущен к святыне, как это случилось с преподобной Марией Египетской. В наше время двери храмов перед нами не закрываются. Современный паломник уже не ходит пешком, он оснащён суперсовременной техникой, а передвигается на самолётах. Как не потерять благоговение и чувство своего недостоинства?

— Мир переменился, вернуться в прошлое уже нельзя. Если раньше были одни проблемы, то сейчас они, хоть и другого характера, но никуда не исчезли. Организовать паломничество — трудная задача, сопровождающаяся множеством искушений, несмотря на все самолёты и технику. Поскольку мне самому приходится часто что-то организовывать, я понимаю, насколько это сложно.

— В Израиле не самая спокойная обстановка. Были ли у вас сомнения по поводу поездки?

— Нет, никаких сомнений не было. Меня пригласили, и я сразу согласился.

— Вы привычны к долгим службам, но это паломничество особенное. Оно предполагает большие физические нагрузки: семнадцатикилометровый крестный ход после ночной службы, нелёгкое восхождение на Сорокадневную гору под палящим солнцем — к месту, где было искушение Христа. Насколько легко вам это далось?

— Не могу сказать, чтобы были такие уж долгие службы. Если они и были, как, например, ночная литургия у Гроба Господня в Иерусалиме, то это такая радость! Да мы и не за долгими службами в общем-то ехали. Для этого нужно осесть где-нибудь в монастыре, никуда не торопиться, настроиться. Любое паломничество — это всё-таки в какой-то степени благочестивая беготня.

— Паломничество — это ведь ещё одна прожитая жизнь. Что больше всего запомнилось? Чем именно это паломничество отличается от других?

— Я бы не стал вот так делить на места, которые больше понравились или меньше. Но, конечно, наибольшее впечатление произвело то, что было в первые дни на Святой Земле: Храм Гроба Господня в Иерусалиме, Via dolorosa — путь Спасителя к Голгофе. А к концу всё равно накапливается некоторая усталость, перенасыщение информацией. На мой взгляд, очень важно, что паломничество стартовало именно из Каменской епархии, из Алапаевска, где прошли последние дни святой Елисаветы и недалеко от того места, где её убили. Ведь наше действо и наш труд связаны с памятью о ней. Там мы смогли настроиться. Очень важно, что начинали мы с того, что молились ей, просили её небесной помощи и благословения. И конкретно просили её быть нашей помощницей в этом начинании. И потом до самого конца поездки мы всё время ощущали как бы лёгкое дуновение ангельских крыльев. Это очевидно было для всех нас.

– Паломничество – это ещё и способ укрепления духовных связей между православными разных стран. Ваша программа включала в себя встречу с Иерусалимским патриархом Феофилом III. Будучи духовным лицом, как вы могли бы охарактеризовать эту встречу?

– Такие встречи обычно носят протокольно-деловой характер. Речь шла о согласовании взаимодействия по ряду вопросов, в том числе связанных с деятельностью Императорского Православного Палестинского Общества. Я очень рад, что мы при этом присутствовали и получили благословение патриарха.

– Как вы оцениваете деятельность ИППО?

– Замечательно, что ИППО продолжает ту деятельность, ради которой оно было создано в 1882 году. И если прежде его функцией была помощь русским паломникам в нелёгких на тот момент условиях и, конечно, сохранение того, что было, а затем того, что осталось, то теперь оно начинает возвращать то, что было потеряно. И хорошо, что это зависит от конкретных людей, в том числе и от Игоря Рауфовича.

– В свете волн ненависти, которые катятся по планете и обрушиваются на нашу страну, чему может научить нас жизнь и смерть подвижницы, которая не оставила Россию в самое страшное для неё время?

– Жизнь великой княгини – это, по сути, восхождение на Голгофу. Её ни с кем не спутаешь. Ей нужно молиться за мир и объединение народов. Ведь она сумела сочетать в себе княжеское воспитание с глубочайшим смирением и покорностью Воле Божьей даже в самые страшные минуты жизни – тогда, например, когда она собственными руками собирала окровавленные останки разорванного бомбой тела её мужа. И даже тогда она нашла в себе силы просить царя о помиловании убийцы Каляева, казнь которого, благодаря ей, была отложена. Своей смертью она соединила Святую Землю с Россией и столицу с провинцией, как это случилось с нами, когда она соединила нас и сопроводила из Алапаевска на Елеонскую гору, у подножия которой в ожидании мучений и смерти молился сам Христос. Она соединила высший свет, аристократию с самыми отверженными из людей. И даже непримиримых врагов – красных и белых. На неё не смог распространиться гнев даже тех, кто с демонической злобой относился к царской семье. Относительно святости Елисаветы Феодоровны не было никогда никаких возражений – она была сразу причислена к лику святых. Это редкий случай, чтобы в жизни святой не было никаких тёмных мест или изъянов, которые надо было бы заретушировать. Это признавали даже те, кто её не любил. Она возродила сестричество милосердия – по сути, дьяконис, истоки чьего служения идут ещё из первых веков христианства, – основала первые хосписы в России на базе Марфо-Мариинской обители. Так получилось, что я вошёл в проблему реабилитации наркозависимых, и я знаю, сколько там проблем. А ведь есть ещё престарелые, люди, пережившие потоп и другие бедствия, бомжи, алкоголики, мигранты, люди, вышедшие из тюрьмы, беженцы, – с этой, особенно острой сейчас проблемой мы сами столкнулись, – и всем им нужна помощь. И заслуга великой княгини в том, что именно её молитвами и примером в людях живо милосердие и сострадание. Думаю, что святая Елисавета Феодоровна займёт особое место. Она уже заняла его, потому что близка всем, самым разным людям. Будучи немкой, лютеранкой по происхождению, она соединяла и продолжает соединять Европу с Россией, благодаря её молитве произошло объединение зарубежной ветви и Московского патриархата Русской Православной Церкви. Оно ещё продолжается, потому что есть ещё внутренние барьеры, но благодаря небесной помощи святой Елисаветы, надеюсь, и они разрушатся. Самое главное, что нам нужно преодолеть, – это проблему неразрешённых противоречий между Европой и Россией, между протестантской европейской традицией и российской православной. А это возможно только молитвой. Потому что рушатся города, а молитва остаётся на месте.

Беседовала Мария-Алиса Свердлова

ВАЛЕНТИН СВИНИННИКОВ

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ

(К 90-летию Владимира Осиповича Богомолова)

Краткое предуведомление читателям: эта статья написана в 1988 году для переиздания романа "Момент истины" в серии "Ратная слава" Центрально-Чернозёмного книжного издательства. Разрабатывая серию, мы (а я работал тогда в Госкомиздате РСФСР) предусматривали необходимым вступлением к каждой книге статью о самом авторе-фронтовике. И вдруг тревожный звонок из Воронежа: Богомолов категорически отказывается, чтобы о нём появилась статья. Что делать? Срывается план. "Ну, а чем я-то могу помочь?" – "Мы сказали, что есть критик, который занимается именно художественной документалистикой, а роман построен на документах. Он согласился хотя бы поговорить с Вами". Так состоялось моё невольное знакомство с Владимиром Осиповичем. Убедил ли я его в том, что негоже подставлять работников издательства, или тронули в предложенном варианте статьи рассуждения о детях на войне, но статья увидела свет.

Впрочем, только в той книге. Он взял с меня обещание не публиковать её в прессе: "Мне никакой критики и рекламы не надо. Сейчас много разговоров о "секретарской литературе". А я не то что не секретарь – даже и не член Союза писателей, но тиражи перевалили за 30 миллионов". Он действительно не вступал ни в Союз писателей, ни в Союз кинематографистов (после блистательных-то экранизаций "Ивана" и "Зоси"). Не вступал из гордости: когда-то чиновники от литературы отказали ему после первой книги. "Вот напишешь ещё – и приходи". Не пришёл... Помню его громогласный смех: "Вот ты критик-документалист, а тоже попался. А меня, когда печатал роман в "Юности", пригласили "на беседу" сразу три генерала на Лубянке. Я уже догадывался: будут допытываться, кто "слил информацию" о подготовке знаменитой операции "Багратион" в Белоруссии. Но я только по документам архива узнал самое важное. Остальное – опыт личный, хотя у фронтовой разведки другие особенности". Тогда и признался со смехом, что целых четыре месяца числился сыном полка. "А сыночка-то кормить надо, под восемьдесят килограммов вес и метр восемьдесят рост..."

В той памятной беседе "за рюмкой чая" уловил я и такую тонкость: почему писатели-фронтовики (правда, далеко не все) любят пересыпать разговор, как бы помягче выразиться, "ненормативной лексикой". Ведь они же мальчишками были среди других воинов! И Владимир Богомолов, и Виктор Астафьев, и Михаил Анчаров, и Леонид Кокоулин. Наверное, и "дымить" приучались без особого желания, лишь бы взрослее казаться. И "фронтовые сто

грамм", как Кузнечику из фильма "В бой идут одни старики", нужны были только "из принципа". Как же нам будет не хватать их, ветеранов той поистине Великой войны...

Вот и Владимир Осипович Богомолов, которому 3 июля исполнилось бы 90 лет, ушел из жизни в 2003 году, так и не дописав третьего романа... Вообще-то, по официальной его биографии, он родился в 1924 году, но я склонен верить, что два лишних года он себе приписал, чтобы скорее сразиться с врагом, как герои его книг...

Ничего менять в статье я не стал, хотя, перечитывая эпизод с разоблачённой шпионкой, так хотелось сравнить с нынешней "героиней Украины" Надеждой Савченко: те же презрение и ненависть. А в рассуждениях об ответственности и мужестве не выполнять приказы "ради галочки" встаёт передо мной образ маршала Николая Васильевича Огаркова, под началом которого довелось мне редактировать газету "Ветеран". Он ведь, будучи начальником Генштаба, не побоялся и на Политбюро отстаивать свою позицию – против ввода войск в Афганистан. Вот они – святые традиции фронтовиков...

А опубликовать ту давнюю статью теперь, думаю, всё-таки можно.

Настоящая литература – это всегда правда. Не правдоподобие вымысла – скажем, достоверность ситуаций, фактографическая точность в конкретных деталях, мастеровитость, даже изощренность в психологической нюансировке изображаемых характеров, – нет, всего этого еще мало для большой литературы. Ее отличаешь безошибочно лишь тогда, когда сердце твое пронзает острое ощущение правды, заставляющее тебя думать, обостряющее мысленный взор, поднимающее к высотам, откуда "видно во все концы света...".

Это трудно объяснить – почему за конкретным, не Бог весть какой значимости фактом вдруг встает широкая панорама народной жизни, глубина народного подвига. Наверное, потому, что к обычному вроде бы жизненному материалу прикасается рука истинного художника, талантливого, честного и мужественного в своей верности правде до конца.

Вот в 1958 году появилась в печати повесть "Иван" (иногда её называют рассказом) никому в ту пору не известного прозаика Владимира Осиповича Богомолова и стало ясно: так о войне народной, Великой Отечественной, ещё нам не рассказывали. И дело не в том, что образом главного героя – мальчишки – словно бы подчёркивается именно всенародность участия в войне. К тому времени был уже и катаевский "Сын полка", и "Улица младшего сына" Л. Кассиля и М. Поляновского, и многие другие неплохие книжки. Всякие – от романтически приподнятых и почти безоблачных, чтобы не сильно смущать юные души призраками смерти, до трагических по своим финалам (большинство книг о реальных пионерах-героях). Но "Иван" – он словно бы особняком стоит. И не случайно вошёл и в 200-томную классическую "Библиотеку всемирной литературы", и в 12-томную антологию лучших произведений о Великой Отечественной войне "Венок славы", и послужил основой для потрясающего фильма "Иваново детство" кинорежиссёра Андрея Тарковского.

В чём секрет столь бесспорного успеха начинающего тогда автора? Правда. Полная правда, без приукрашивания или утайки, о том, что война безжалостна и бесчеловечна по самой природе своей.

В холодную осеннюю ночь 12-летний мальчишка переплыл Днепр. Переплыл с разведданными, настолько важными, что они должны быть немедленно доставлены в штаб армии. Переплыл... В рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: "...если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна". Это если ниже +15°, а если примерно +5°? Немыслимо! Но дальше – ещё более, казалось бы, немыслимое. Мальчишку снова переправляют через несколько дней на тот, "чужой", берег. Здесь жестокая правда в том, что заменить его в столь трудном и опасном деле, как разведка в тылу врага, взрослые – в этом конкретном случае – не в состоянии. Вспомним трупы разведчиков, друзей Катасоныча, которых немцы, раздев донага, выставили на берегу Днепра, специально вытащив из глубины своей обороны.

Дети – воины... Какая жуткая правда! Какая возможность обвинить нас в негуманности, ведении войны "не по правилам".

Но это, конечно же, и не вся ещё правда. А правда-истина в том, что такого Ивана в свём тылу и не удержать. Пробовали, когда вывезли самолётом из блокированного немцами партизанского отряда. Нет, не смог Иван "зубрить" в школе о "значении травоядных в жизни человека", когда родную землю попирали тяжёлые сапоги человекоподобных... Тех, в бою с которыми погиб в первый же день войны отец-пограничник. Тех, кто прямо на руках у Ивана убил полуторагодовалую сестричку. Иван, мальчишка, ещё не разучившийся "играть в войну", по-детски увлекающийся "финками" с красивыми рукоятками, уже прошёл ад фашистского лагеря смерти. Тяжело, по-взрослому ненавидит он врага. И давно уже сознательно живёт по суровым законам настоящей, невыдуманной войны.

Жестокость и бесчеловечность войны... Она проступает в повести Богомолова неброскими точными штрихами будничной фронтовой жизни. Иван по-мальчишески обижается на своего друга Катасоныча за то, что тот не зашёл проститься с ним. А Катасоныч уже лежит на дне траншеи с аккуратной дыркой во лбу... Так же буднично сообщит рассказчик потом и о гибели Холина, подорвавшего себя противотанковой гранатой, когда прикрывал отход товарищей, и о последних часах жизни самого Ивана — бесстрастным языком случайно обнаруженных немецких документов.

Однако вряд ли бы повесть поднялась в ранг великих произведений о войне, если бы она была только о жестокости и бесчеловечности войны. Нет, главное в ней — правда о человеке на войне. Какие тонкие движения человеческой души чутко уловил В. Богомолов! Сердце у читателя обливается кровью именно потому, что и он вместе с Гальцевым, Холиным, Катасонычем воспринимает мальчишку как своего младшего братишку, если не сына. Словно бы и сам чувствуешь на лице эти холодные грязные брызги из-под сапог немцев — так близко проходит их боевое охранение. Вместе с Гальцевым и Холиным изживаешь эти страшные минуты неведения — как там Иван, прошёл ли он этот минированный овраг, сотни метров глубоко эшелонированной, густо нашпигованной войсками полосы обороны...

Скуп на слова автор, но мы зримо видим его героев. Вот среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, с изрытым оспинами, смуглым, мясистым лицом подполковник Грязнов, начальник разведотдела армии, который "воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно: "Ты жив, Гальцев?!" Что ему, казалось бы, несостоявшийся переводчик разведотдела — старший лейтенант, случайно встреченный на дорогах войны? Но — искренняя радость, что среди стольких смертей уцелел человек...

Всего несколько слов — а видишь статную красавицу с ярко-голубыми глазами, в растерянности прикладывающую руку... к марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, военфельдшера с тихим, прерывистым голосом, которую и полюбить бы мог, и пожалеть рад, но "впереди форсирование Днепра и нелёгкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы".

И понимаешь, что всё это видишь глазами совсем ещё молодого, чуть больше двадцати лет, человека, на которого взвален груз ответственности за целый батальон. Он ведь и сам ещё мальчишка, Гальцев, мальчишка, обрадовавшийся возможности сходить "на тот берег"...

Человек на войне. Это громадная тема, как нигде более в мире, глубоко разработанная именно советской литературой. В. Богомолов сразу же, с первой, как говорится, попытки, занял своё достойное место среди таких выдающихся художников, как Юрий Бондарев, Виктор Астафьев, Василь Быков, Евгений Носов... Он по праву среди тех, кто не понаслышке знает и глубоко правдиво передает так называемую "окопную правду", правду самого что ни на есть переднего края. Но, как и к ним, неприменимы к Богомолову критические упреки в "узости" взгляда, заземлённости правды о войне. Из окопа (как, скажем, и из деревенской избы) далеко видно, когда смотрит не какой-либо безликий "винтик" военной машины, а настоящая личность, живой, мыслящий, страдающий и бесстрашный человек, защищающий свою священную Родину.

Человек на войне... Одним из первых Богомолов ярко рассказал и о том, что в дыму, в огне сражений, в крови, рядом со смертью может расцвести и бессмертная любовь, потому что никогда бесчеловечности не победить Человека. Об этом — и маленький, в несколько страниц, его рассказ "Первая

любовь", и поэтическая повесть "Зося" (1965). Всё тот же щемящий душу мотив – мальчишки, едва успевшие впервые поцеловать женщину (а то и не успевшие), вынуждены буднично и профессионально заниматься тягостным и необходимым трудом войны. И столько же – пусть на краткий миг – приоткрывается света в их душе! И режет сердце боль за тех, кто унёс этот свой свет в небытие. Какая терпкая горечь – сознавать, что каждый из более чем 20 миллионов, погибших на войне, – тоже личность, может быть, поэт в душе, как рассказчик из повести "Зося", может быть, поэт по-крестьянски нескончаемой работы, как его друг Витька, Герой Советского Союза Виктор Степанович Байков, лежащий под каменным надгробием в Трептов-парке.

...А в 1974 году появился вдруг совершенно не похожий ни на что из напечатанного у нас к тому времени роман В. Богомолова "Момент истины (В августе сорок четвертого...)". Роман не просто о человеке на войне, но – о цене отдельной человеческой жизни на войне. Цена эта, если можно так сказать, складывается из меры ответственности человека и его возможностей.

Не скажем, что тема нова для нашей литературы. Как много зависит от одного человека – главное содержание многих и, увы, далеко не всегда истинно художественных повествований о неуловимых и всемогущих разведчиках, "окопавшихся" в высоких вражеских штабах. Есть и примеры действительно художественной разработки этой темы. Назову лишь то, с чем лично столкнулся, отбирая произведения для шестого тома антологии "Венок славы". Например, "Зелёный луч" Леонида Соболева, где внешне просто, но острей острого показана зависимость больших, огромных событий в рамках не какой-либо одной армии – нескольких фронтов! – зависимость от того, сумеют ли два моряка до конца выполнить свою боевую задачу... Или небольшая повесть Василя Быкова "Дожить до рассвета"...

Для меня, помню, это было как вспышка молнии – подтверждение давно бродившей в голове догадки, что не только мироздание, космос, солнце, например, влияют на всё живое – и на человека в том числе, но и, наоборот, любая живая песчинка, тем более человек, наделённый разумом и волей, влияют на мироздание. Другое дело, что степень их влияния различна. А применительно к войне... Вдруг пришло отчётливое понимание, что не бывает жертв напрасных, когда они сознательны, что вклад в приближение великой победы вносит каждый, кто выполняет свой долг до конца...

Впрочем, мы несколько отклонились от темы. Роман В. Богомолова "Момент истины" – не только о мере ответственности каждого человека на войне, но ещё и о его возможностях. Ведь если не справятся со своим делом Алёхин, Таманцев, Блинов, трое тех, "кто официально, в документах именовались "оперативно-розыскной группой Управления контрразведки фронта", то на ликвидацию немецких агентов придётся бросать большие войсковые силы, те самые, которых ждёт фронт перед новым наступлением. Да и операция эта ещё не гарантирует успеха, не говоря уже о том, что может принести вред – косвенно подтверждая врагу, что на фронте действительно готовится нечто важное. "Момент истины", на языке розыскников, – это не просто ликвидировать разведку врага, а, взяв с поличным, сломать врага психологически и заставить действовать на себя, на нашу победу. Три человека призваны сработать за несколько тысяч солдат.

Роман В. Богомолова – новаторский во многих отношениях.

Прежде всего, это едва ли не единственное крупное и, во всяком случае, одно из первых подлинно художественных произведений, где описывается работа розыскников советской военной контрразведки, подчинявшейся непосредственно Верховному Главнокомандующему, Наркому обороны И. В. Сталину. Это правда ещё об одной, пусть немногочисленной, но очень важной службе советских войск, службе своеобразной, требующей от человека не меньше личного мужества, чем на передовой, а умения делать свое дело – так, пожалуй, и намного больше.

Во-вторых, в романе Богомолова чуть ли не впервые в художественной военной прозе столь плотно и органично включён документальный материал, что "Момент истины" в этом смысле не имеет себе аналогов. Оговорюсь сразу, что он вовсе не "рассекречивает" какие-либо подлинные документы о действительно сушествовавших лицах. И если кто-то попытается с помощью писателя разыскать след потерявшегося на войне человека, носившего такую же фамилию, как у его героев, – Богомолов не сможет помочь: он создал роман,

а не документальную прозу, его герои, можно сказать, вымышлены. И в то же время точность его "документов" не вызывает ни малейшего сомнения. И это не парадокс, не игра словами. Он тщательнейшим образом изучил и мастерски использовал формы действительных документов Красной Армии, а к нимто, к скрупулёзной точности их ведения отношение было самое строгое (Богомолов, работая в архивах и встречая какие-либо отклонения от уставного заполнения документов, не отказывал себе в удовольствии проследить, как такие "новации" воспринимались вышестоящим начальством – обычно незамедлительно следовало замечание, если не наказание).

Документ властно берёт слово уже с первых страниц романа, и далее рассказ действующих лиц всё более густо перемежается документами – самыми различными, но каждый из них несёт частицу истины, даже если уводит розыскников на боковые дорожки, ложные следы, отвлекает от основной нити поиска. Частицу истины – об огромном аналитическом труде, иссушающем мозг исследователя, требующем от него колоссального не только умственного, но и нервного напряжения, и всё сгущающем, насыщающем объём информации до предела, казалось бы, уже не подвластного разуму человека, – а ЭВМ тогда ещё не было. Частицу истины и о том, как живёт человек на войне. Мне не доводилось ещё встречать в военной прозе (хотя прочитаны сотни произведений, как и требовало того участие в составлении одного из томов антологии "Венок славы") столь концентрированного изображения быта на войне. Для будущих историков роман Богомолова – неоценимый документ о том, чем питались на войне, какое обмундирование носили, чем вооружены были противники, как работали самые различные службы ближних тылов, как и чем жило население прифронтовой полосы. И всё это – в точнейших деталях. И строго документальных (так, в тексте встречаем в самые напряжённые моменты действия вкрапление вдруг прозаичнейших шифрограмм о нормах питания для тех, кто привлечён для выполнения важной контрразведывательной операции "Неман", и выясняется, что они приравнены к нормам питания лётчиков, разумеется, не случайно, поскольку в романе отчётливо видно, каких колоссальных затрат энергии требует этот незаметный труд), и в тех деталях, которые подмечены зоркими глазами "чистильщиков" (так, немалую роль в обнаружении вражеских агентов сыграли элементарные целлофановые обертки, в которые упаковывались с немецкой аккуратностью стограммовые порции сала, выдаваемые диверсантам и агентам-парашютистам). А уж "чистильщикам" важна любая мелочь. Они обязаны обратить внимание и на "обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой, поникшей на стебельке сантиметрах в тридцати над землей", и на брошенный в лесу надкушенный огурец (потом Алёхин установит даже сорт этого огурца и сколько дней назад он был сорван с грядки). Без этого не суметь сделать то, что удалось им: "В таком огромном глухом массиве силами всего лишь трёх человек обнаружить на вторые сутки место выхода рации в эфир – всё равно что углядеть иголку в стоге сена".

Подобное кажется невероятным, как в рядовом детективе, где автор "играет в поддавки". Но в романе Богомолова всё это убедительно и достоверно. Никакой мистики – только интуиция, наблюдательность, расчет и кропотливый, изнурительный труд...

Грешно поминать всуе великие имена, но мне не раз вспоминался Достоевский, когда я читал и перечитывал роман Богомолова. И не потому лишь, что много схожего в "методологии исследования", в полифонии звучания романного текста. Да, и в романе Богомолова мы видим ход событий глазами то одного, то другого контрразведчика. При этом высвечиваются разные оттенки восприятия одних и тех же фактов и – черта за чертой – характер того, кто в данный момент размышляет, анализирует, рассказывает.

В такой полифонии, думается, просматриваются уроки Достоевского. Но чаще бросаются в глаза отличия: там, где у великого писателя прерывистые и многослойные диалоги или внутренние монологи, раскрывающие глубины психологии персонажей, у Богомолова – подчёркнутый аскетизм, скупость в слове, как бы подчёркнутое стремление уйти от психологических тонкостей. Им же, розыскникам, нельзя расслабиться, пожалеть кого-то, позволить себе "сантименты". И – не позволить нельзя, иначе изменят собственной природе, гуманной природе советского человека. Глубоко скрытые внутренние конфликты с собой прорываются в романе не часто – и как много они говорят о личности каждого, например, старшего из трёх розыскников – Алёхина.

Богомолов в первой же своей повести “Иван” и в повести “Зося”, проявившийся как художник, тонко чувствующий силу точно отобранной детали, остаётся верным себе и в романах. Бросит несколько кратких, но таких художественно ёмких мазков, что читатель уже и сам легко домысливает всё остальное. Вот сцена в сельсовете, затерявшемся в Шиловичском лесу. Председатель сельсовета Васюков — на костылях, судя по говору, как тут же определяет Алёхин, — не из этих мест. И точно, он смоленский, сюда заброшен партизанской судьбой и вот поставлен у власти. Алёхин профессионально выведывает у него необходимые для своей работы сведения, играя роль недалёкого армейского квартирьера. Перед самым уходом в груде тряпья на печи вдруг обнаруживается проснувшийся ребёнок примерно двух с половиной лет, беловолосый, в стираной-перестираной рубашонке — сынишка Васюкова. Подкупающе улыбнулся малыш, осветились улыбками и лица взрослых... “И только тут Алёхин заметил, что у мальчика нет левой руки: из короткого рукава рубашонки выглядывала необычно маленькая багровая культя”. И — срывается железный Алёхин, допускает промахи, за которые сам же себя ругает: расспрашивает у Васюкова, как это случилось, где жена (“В город сбежала. С фершалом...”). И уж совсем не по правилам решительно берётся устраивать Васюкова в госпиталь, узнав, что у того три дня как открылась рана. Розыскник, участвующий в ответственнейшей операции, он, конечно же, не имеет права отвлекаться и подвергать себя малейшей опасности разоблачения, невольной утечке информации. Но как человек... К его счастью, и Васюков — ответственный человек. Он не может оставить председательского поста — не на кого, да и бродят вокруг банды недобитков. И веришь, не можешь не верить его решимости — живым в случае чего не дастся...

Маленький эпизод, а как много сказано и об Алёхине, и о Васюкове, проходном, что называется, персонаже, и о самом Богомолове. Всплеснулась вдруг, высверкнулась его особенная боль на войне — дети, ни в чем не повинные, самые трагические из жертв войны.

Дети ещё не раз возникнут на страницах романа — в неожиданных и в то же время психологически глубоко обоснованных поворотах повествования.

Вот Таманцев ведёт наблюдение за Юлией, любовницей одного из разыскиваемых, Павловского. Казалось бы, он возненавидеть должен её, “немецкую подстилку”, а суровый фронтовик жалеет одинокую, молодую, сирую женщину, которой так трудно живётся, да ещё с крохотным ребёнком. И когда Таманцев с огромным риском для жизни “берёт” Павловского, увы, отнюдь не “тёпленьким”, и должен затем по закону конфисковать не только его вещи, но и продукты, выданные тому немцами, а он оставляет их Юлии, сделав в соответствующих документах оправдательную ссылку на то, что у неё — голодный ребёнок...

Другой розыскник, Алёхин, в разгар операции получает письмо из дому. В свойственной Богомолову сдержанной манере сообщаются крайне тягостные для Алёхина вести: на опытной станции, где он работал до войны, “всё пришло в запустение. Тягла нет, рабочих рук тоже; заведует ныне пришедший с фронта по ранению бывший председатель Кичунского сельпо Кошелев, — Алёхин пытался, но не мог его припомнить, — агрономического образования он не имеет, дела совсем не знает и к тому же с горя или от бессилия пьёт”. Далее сообщалось, “что в конце апреля всю суперэлитную уникальную пшеницу, выведенную с такими трудами Алёхиным и его сотрудниками, плоды почти целого десятилетия упорной селекции, по ошибке или чьему-то нелепому распоряжению вывезли на элеватор, в хлебопоставку”. Можно себе представить состояние человека, у которого в прах рассыпались результаты чуть не всей его творческой жизни. Но дальше, так же скупо и бесстрастно, написаны известия пострашней: “...Лидаша, жена Алёхина, работавшая младшим научным сотрудником той же опытной станции, с самого начала не поладила с этим новым заведующим, и зимой он оставил её без дров, из-за чего Настенька, четырёхлетняя дочка Алёхиных, заболела ревматизмом и мучается ножками по сей день”. Сколь же неисчерпаемы силы человека! Даже и виду не подаст, ни словечком ни с кем не обмолвится по этому поводу розыскник, умеющий держать себя в руках. Но и в самый напряжённый момент “прокачивания” матёрого шпиона, когда счёт шёл на секунды и мозг выдавал лишь самое необходимое, вспыхивает в нём мысль о том, что “ревматизм лижет суставы и кусает сердце...”.

Ещё один штришок: когда генерал Егоров гневается на молодого розыскника Андрея Блинова, "упустившего" подозреваемого, подполковник Поляков как бы между прочим сообщает, что это самый молодой офицер в отделе, прибыл после ранения и тяжёлой контузии, в прошлом – командир взвода, боевой офицер, москвич. Андрей и не догадывался, что всё это "сообщено в эту минуту генералу, потерявшему в боях под Москвой близнецов-сыновей, курсантов военного училища, не без умысла". Дети, пусть и повзрослевших на войне... Андрей к концу операции многое поймёт, став за несколько дней старше будто бы на годы.

То, что эти воины, не раз глядевшие в глаза смерти, далеко ещё не изжили свою мальчишескую сущность, в романе акцентируется неоднократно, скупо, ненавязчиво, но акцентируется. Так, среди многих документов, цитируемых в романе, один резко выделяется своей "неказённостью" – Андрей Блинов пишет матери. Вполне "взрослое" письмо о том, как выглядит население освобождаемой Польши. А концовка, вернее приписка, выдает парня с головой: "Если цела коробочка с леденцами, о которых ты раньше писала, тоже пришли"... Следом – письмо его мамы, Екатерины Ивановны, полное тревожных материнских забот: "не мучают ли тебя головные боли, меньше ли теперь заикаешься, как пораненная нога?", – напоминание о том, что "бабушка связала тебе длинные тёплые чулки специально на раненую ножку". И вдруг... "Вчера встретила у Белорусского вокзала Машу Терехову, стояли с ней на площади и плакали. В вашем классе ещё две похоронные: под Севастополем погиб Серёжа Кузнецов, а в Белоруссии убили Милочку Панину... Это девятая по счёту смерть в вашем классе – бедные ребята, несчастные матери!"

Как умеет Богомолов сталкивать документы! Мы не видим ещё одного письма – от матери Андрея командиру части, где он служит. Автор приводит лишь короткий ответ генерала Егорова – и в каждой его строке так много сказано... "Я сочувствую Вашему горю и с пониманием отношусь к Вашей просьбе. К сожалению, в условиях Действующей армии создание Вашему сыну "щадящего режима для сохранения его жизни", как Вы просите в своём письме, не всегда представляется возможным... Присланные Вами копии трёх извещений о гибели на фронте Вашего мужа, дочери и брата возвращаю..."

Генерал, у которого погибли двое его сыновей, отвечает матери, у которой осталась единственная надежда. И никаких комментариев не надо...

Этот же мотив – мальчишки, совсем ещё мальчишки при вполне взрослом мужестве и умении воевать – возникает и тогда, когда читатель узнает, что Таманцеву снится мать, которой уже нет в живых, снится в то утро, когда ему исполняется 25 лет. Слышится тот же мотив и тогда, когда мы поближе знакомимся с помощником коменданта города Аникушиным, нечаянным участником завершающего этапа операции "Неман", бывшим студентом консерватории с редкостным голосом, насмерть стоявшим потом с остатками своей роты на пути немцев к Сталинграду. Юноша, который стремится на своё решающее свидание с возможной невестой прийти в новёхоньком, специально сшитом костюме. Как тщательно пытается он уберечь сияющую чистоту этого костюма в совершенно неподходящих для этого условиях... Как легко поддается он гипнозу абсолютно "чистых" документов своих, как он считал, товарищей-фронтовиков и как презирает розыскников, "окопавшихся" в тылу", ломтями уминающих белый хлеб, который в госпитале доставался только раненым... И как трагически и нелепо он гибнет...

На войне ко всему привыкают люди. Словно о чём-то будничном, проходном, сообщает писатель ещё об одной трагедии. Старичок-портной, осчастлививший Аникушина новым костюмом, когда тот попросил его ещё и купить букет цветов, невесело сказал, что он тоже однажды покупал цветы.

"– Только один раз? – удивился капитан.

– Так, – подтвердил старик.

Он пояснил, что это было сорок лет тому назад, в девятьсот четвертом году, цветы он покупал будущей жене и, вздохнув, сообщил, что её убили немцы здесь, в Лиде, и детей его убили, и внуков тоже... Зачем он уцелел?"

А привыкают ли? Сострадание, человечность – без этого немыслимы наши советские воины. И на этом тоже строил свои расчёты враг. В памяти Алёхина, например, сохранился случай в Смоленске, где довольно успешно действовала шпионка, изображавшая мать, сошедшую с ума от горя. Изображавшая так, что даже доктор не заметил подвоха. Опытный "чистильщик" Таманцев,

увидев её впервые, отдал ей свой пайковый сахар и "чуть не прослезился". Но когда "она попалась ему на глаза в четвёртый или пятый раз, он уловил, что, проходя мимо теплушек с людьми и зовя, как и всегда, сына, она время от времени поглядывала на платформы с техникой, словно считала". Потом Алёхин видел её на следствии: абсолютно осмысленный, холодный взгляд, поджатые губы, гордая осанка, во всём облике – презрение и ненависть.

"Женщина, помешавшаяся после гибели на фронте двух сыновей", – это была отличная оригинальная маска с использованием и эксплуатацией великого, присущего всем нормальным людям чувства – любви к матери.

"Ивашёва" действовала на узловых станциях в наших оперативных тылах ровно четыре недели. Страшно даже подумать, сколькими жизнями заплатила армия за этот месяц её шпионской деятельности..."

Да, розыскникам, при всей гуманности тех, о ком с таким уважением и пониманием рассказывает Богомолов, поневоле приходилось быть подозрительными, было для того множество оснований – и читатель видит это в десятках различных эпизодов.

И им приходилось то и дело "наступать на горло собственной песне", собственным представлениям о человечности. Вот допрашивает Алёхин некую пани Гролинскую, на квартире которой останавливались подозреваемые офицеры. Перед ним – "мать, терзаемая тревогой за жизнь единственного сына. Полька, мучимая мыслями о гибели соотечественников.

Так случается нередко. Сталкиваешься с чужой жизнью, с чужими страданиями, хочется как-то утешить, подбодрить и – совесть требует – оставить человека в покое. А ты вынужден тут же его потрошить, добывать необходимую тебе информацию. Проклятое занятие – хуже не придумаешь". Но ведь это необходимо для дела...

Ответственность за жизни тех, кто сражается на передовой или перебрасывается туда для грядущего наступления. Ответственность перед Родиной... Это – ведущая тема романа. Она – правда, не в таких возвышенных тонах – то и дело всплывает в разговорах розыскников – от младших офицеров до генералов. "Это наш хлеб, только наш", – не раз говорил новичку Андрею Блинову Алёхин. "Таманцев же Андрею как-то сказал: "Никогда не рассчитывай на прикомандированных. Даже если это оперативный состав. Надейся только на себя".

И это не просто этакая шапкозакидательская самонадеянность. Это – высочайшее чувство ответственности специально подготовленных людей, осознающих меру своих возможностей.

Яростно сопротивляется генерал Егоров проведению войсковой операции. Сопротивляется, потому что ему важно решить боевую задачу, а не создать видимость активности и побыстрее доложить "наверх" о принятых мерах. Войсковая операция чаще даёт "трупы", а не "момент истины". И это понятно: как ни инструктируй, всё равно не подготовленные к такой тонкой работе люди, "прикомандированные", могут невольно испортить дело. В романе это убедительно показано в случае с Павловским. Ведь "слепил" его Таманцев и взял бы "тёпленьким", то есть живым, но... выскакивают из засады прикомандированные оперативники, забыв обо всём, что им наказывали. Поздно понял и Аникушин, что напрасно он отмахивался, когда его тщательнейшим образом инструктировал Алёхин. Ну, а уж Егорову ли не знать, чем кончается прямое вмешательство малокомпетентных, но высокопоставленных лиц...

Вдруг понимаешь отчётливо, что от розыскников требовалось и особое мужество – не подчиняться нелепым приказам, отлично сознавая, от кого они исходят и чем это может кончиться для них лично. Многого стоит такой, например, наказ Егорову начальника Главного управления контрразведки: "Раньше меня, очевидно, прибудет начальство... первые заместители из обоих наркоматов. Обеспечьте их всем необходимым. Но времени с ними не теряйте, а делайте спокойно своё дело! И никаких споров, никаких пререканий! Что бы нам ни говорили – "Да, товарищ комиссар!", "Хорошо, товарищ комиссар!.." Однако любые действия, с которыми не согласны вы или Поляков, категорически запрещаю!.. Чьим бы именем ни оказывалось на вас давление!.."

А драматизм положения, стремительно возрастающий к финалу романа, заключается ещё и в том, что операция "Неман" взята на контроль Ставкой Верховного Главнокомандования, лично Сталиным...

Да, мужество требовалось немалое не только от Алёхина, Таманцева, Блинова, но и от их руководителей – Полякова, Егорова...

Полемически заострённо сказано о работе розыскников в рассуждениях Таманцева: “Контрразведка – это не загадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. Военная контрразведка – это огромная тяжёлая работа... четвёртый год по пятнадцать – восемнадцать часов каждые сутки – от передовой и на всём протяжении оперативных тылов... Огромная солёная работа и кровь... Только за последние месяцы погибли десятки отличных чистильщиков, а вот в ресторане я за всю войну ни разу не был”.

Правда о войне... Писатель Владимир Осипович Богомолов знает её так, как немногим довелось узнать. Великую Отечественную он прошёл почти “от звонка до звонка”, начав в ноябре 1941 года на Калининском фронте, затем воевал на Северо-Западном – под Старой Руссой, изведал на Северном Кавказе тяжкие дороги отступления в сорок втором и победный, не менее трудный обратный путь на запад, через Тамань, города и сёла Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Завершил войну северо-западнее Берлина.

Завершил? Но впереди была Маньчжурия. А ещё – уже в мирных условиях – служба на Чукотке и Камчатке, даже на самом дальнем клочке советской земли – острове Ратманова. И снова – ГДР...

А выпало всё это на долю совсем ещё молодого человека – в ноябре сорок первого ему шел шестнадцатый год. И до своего первого офицерского звания испытал он почти все ступеньки солдатские, начиная с рядового красноармейца (почти – потому что звание младшего лейтенанта ему присвоили, минуя звание старшины). Впрочем, была ещё одна ступенька: много позже, из архивных документов, узнал, что четыре месяца он числился воспитанником в первой своей части, “сыном полка”. Но с первого же дня выполнял в полном объёме обязанности рядового. Мальчишка? Могло ли такое быть? Но “мальчишка” физически не уступал взрослым, сильным мужчинам. Один только рост – метр восемьдесят – чего стоил...

Большая сила воли, природная сметливость да, наверное, дерзость юности определили и главную воинскую специальность Богомолова – войсковая разведка.

Любопытно, что писатель Владимир Васильевич Карпов, сам фронтовой разведчик, прочтя “Ивана”, безошибочно угадал эту особенность богомоловской биографии, прислав тогда тёплое дружеское письмо. Зато миллионы тех, кто читает роман “Момент истины”, искренне убеждены, что так написать о розыскниках мог лишь испытавший всё это на себе человек.

Разведка и воспитала главное в Богомолове – огромную самодисциплину, уважение к неброскому кропотливому труду, скрупулезной точности.

За каждой строкой его романа – многочасовой труд в архивах Министерства обороны, вживание в психологию людей уникальной военной профессии, тщательнейшее изучение особенностей их своеобразной работы, а также обязательная “привязка” повествования именно к той местности, где развёртывается действие. Владимиру Богомолову мало, что всюду в тех местах, о которых рассказывается, он бывал сам. Проверка и перепроверка того, что живет и горит в памяти, – обязательны для него. Проверка до тончайших мелочей.

Характерно, что при экспертно-консультационном чтении рукописи романа четырнадцатью (!) специалистами (например, в области пеленгации, криптографии и т. п.) они не смогли вчинить автору ни одного замечания по вопросам их разнообразной компетенции.

Четырнадцать лет длилась работа над романом “Момент истины”. Вот уже двадцать лет В. Богомолов пишет новый роман. И тоже – о войне. Писатель не торопится выносить своё детище на суд читателей. Он должен быть сам до конца уверен, что на месте каждое слово, каждая запятая или точка. Зато и менять потом ничего не позволяет самым придирчивым редакторам... Задуман и во многом уже сложился ещё один, третий, роман. Его главы даже печатались уже в журнале. Однако сейчас тот, третий, роман отложен. Богомолов решил все силы сосредоточить на одном из двух незавершённых романов, поскольку это должен быть, по его глубокому убеждению, новый шаг в исследовании человека на войне – глубже и основательнее, шире, масштабнее, чем в “Моменте истины”, иначе, мол, не следовало и браться...

Перечитывая “Момент истины”, понимаешь, сколь сложную задачу он перед собой поставил, и с тем большим нетерпением ждёшь появления нового романа Владимира Богомолова – писателя, уже сумевшего сказать о войне своё неповторимое слово, мужественное и правдивое.

К 175-летию гибели М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

МИХАИЛ ЖУТИКОВ

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Отрывок из книги "Лермонтов и неявленная Россия"

15 июля 1841 года по "старому" (юлианскому) календарю в седьмом часу пополудни по дороге в гору к Машуку (лохматая шапка туч укрывала его, сползая) прибыли на место в четырёх верстах от Пятигорска дрожки с секундантами и двое верхами. Торопились: находила гроза. Около семи часов на небольшой поляне на склоне Машука к воткнутой кабардинской шашке, обозначавшей барьер, вышел, поднимая кверху правую руку с нарезным *Кухенройтером* (снял свою пехотную фуражку, отдал другу Глебову). Что он чувствовал? Отчаяние, нетерпение, невозможность уйти? Думал, может быть, о ком-то из близких, о матушке родимой, которой нет на свете, или думал о нужном, боевом: как заставить его дать по себе промах, может быть, взбесить, выжидая? Но исполнимо ли то на трёх выстрелах кряду? О выстреле Грушницкого, с издёвкой над собою: так ли будет удачлив он сам, как Печорин? Испытывал ли соперника и судьбу в холодном любопытстве? Или уже понял и до последнего всматривался Художник: как прост исход, как обыденна реальность, вот хоть эта поляна без романических уступов и демонических затей, как клонятся намокшие, захмелевшие кусты боярышника и уходит наверх чудно зелёный, шумящий ветвями лиственный склон – прощаясь с ним, тревожась?! Один какой-то Мишель перед силами тьмы и света – что ты? что человеческая жизнь? Или – сказать ли? – почуял звериной сутью своей, что *должен* подставиться, что без того не будет хоть вот этого нищенского нашего сожаления, нашего воя по нём, восстания из мёртвых его – его, что *смертию смерть поправ!* И через краткое время сражённый пулей навылет из правого бока в левый от выстрела с пятнадцати шагов, произведённого приятелем по шалопайским трудам 25-летним отставным майором Николаем Мартыновым, в возрасте 26 лет 9 месяцев и 13 дней упал в траву убитый наповал мальчик, не успевший исполнить из своего главного назначения почти ничего, и в глазах окружения почти никто – потомок шотландского барда Лермонта, дитя страстной и угнетённой любви, изгнанник общества, сирота, одна из вершин человеческих возможностей, опальный русский поручик Михаил Лермонтов.

Чудовищное по своим последствиям событие оказалось (как это бывает почти всегда) оценено немногими судьями, большая часть которых одобрила (или сочувственно "объяснила") событие. Был убит неприятный, малопонятный, много мнивший о себе и скверно отзывающийся о знакомых молодой человек, предсказавший себе сам скорый и дурной конец и получивший по своим предсказаниям и по заслугам. За год до этого он опубликовал роман о некоем Печорине – которого срисовал, надо полагать, с себя, в каковом романе опять же весьма гадко (впрочем, любопытно) обрисовал некоторых знакомых (о романе Государь отозвался, по верным слухам, весьма нехорошо...).

Словом, был убит, разумеется, известный, но известный с дурной стороны человек.

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана...

...И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне...
"Сон", 1841

Да уж, играть падшего ангела – дело не мирное, не любезное сердцу простодушному. Играть!.. – и чуять приближение Подлинного совсем с иного берега, подстерегать Натуральное, являющееся охотнику, как зверь в бору: только на миг, дрожа – пулей уходящее в безвестность, лишь заподозрив, что станет добычей Слов.

И скука... и скука же, черт её дери, русская тоска!

Но неспроста начинал он всматриваться в русскую жизнь отнюдь не с её "идейной", то есть рефлективной (быть может, выдуманной и мнимой) стороны.

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков...
"Родина", 1841

Упорно, с редким усердием, скрытно, почти тайком, с нещадностью к себе, с одинокой настырностью трудился Михаил Юрьевич – на привалах и переходах, в ожиданиях и отпусках, вечерами, ночами и целыми сутками, – рано понявший важность реальности, "натуры" и пустоту знакомств и дружб, холод общества, которому нужен не ты, но продукт труда, нужен *результат,* твоя кровь. Он решал, а не мечтал; достигал, а не планировал. Он не собирался, он жил. Он достиг многого! Его отношение к кавказским людям, горцам; к светским цепям; к войне; к журналам; к русской деревне; к русской публике; к Москве; к Тамбову; к женской любви; к десяткам вещей – верно без изъяна и стало образцовым, а во многом окончательным ответом.

Он мог достичь вершины!

Сам тяжёлый и язвительный его характер должен был гармонизироваться от выдающихся результатов его труда и их признания – ведь несправедливость его в личном быту была лишь уязвимостью высокого самосознания, гордыня – отчасти самолюбием (но и рассеянностью великого сосредоточения ума), провокации – методом испытания истины, а мрачная дерзость и вызов – только формой оскорблённой любви. Однополчане, знавшие его в деле, ценили его сердце, не серчали на пустяки, не вылезли со светскою кривою злобой.

Была ли действительная предопределённость в гибели Лермонтова?

Я знал: удар судьбы меня не обойдёт;
Я знал...

Мой ум не много совершит...

Так называемое "общество" – средоточие глухого эгоизма – охотно мирится с чужой гибелью, тем паче предсказанной. Но он не кликал смерть, а заклинал её, он не хотел умирать!

"Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зелёных вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не

проникал ещё радостный свет молодого дня: он золотил только верхи утёсов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождём... как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль!..” Такого не пишут фаталисты, обречённые гибели! Но вот как говорят в народе: “Кличешь, кличешь – и накличешь”. Некоторая предопределённость, вероятно, была; некоторая! – но и русская невезуха. Если в смерти фаталиста Вулича было взаимное искание её, неосознанное устремление, отражающееся в особой предсмертной печати на его лице, то при гибели Лермонтова ничего такого не отмечено! Он был убит, как мог быть убит обыкновенный русский человек. Печорин не допустил бы над собой этакого!

Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь...
“Завещание”, 1840

Но не Шамилю привелось убить его, не боевым оружием, не в сражении: Кавказ невиновен! Кавказ пришёлся ему впору, как приходится впору иное наказание... в отмеренных, конечно, рамках (таким ли, как он, отмеряют их?). Не будь Кавказа (только представить), не явилось бы “Героя...”, “Мцыри”, “Беглеца”! – да и такого “Демона”...

Там за твердыней старою
На сумрачной горе
Под свежею чинарою
Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?

...Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор,
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковёр...
“Свидание”, 1841

И этого бы не было тоже. А что было бы? Были бы в лейб-гвардии Гусарском полку обязательные к посещению балы; вероятные раздражения; возможные дуэли – с его занозистостью, дерзостью, потребностью дела, с бесцельностию службы...

Ощущение и, стало быть, суждение людей, чьё жизненное пространство теснится сильным независимым умом, по отношению к такому раздражителю по одному инстинкту будет, конечно же, враждебным. Но есть ещё одно “поле жизни” – жизни, насыщенной сильнейшими страстями, жизни активной и исключительно ревнивой к конкуренту, – поле творчества. Поразительна в самом деле бывает степень ревности, несдержанности, даже глупости в суждениях о сильном *личном* (ибо он становится личным) враге: Толстого о Шекспире (что бы ему Гекуба?), Бунина и Набокова – о Достоевском, Достоевского – о Лермонтове... Бог знает, зачем удержана в тексте “Бесов” несправедливая эскалация сравнений *злобы* Николая Ставрогина – поначалу со злобой “декабриста Л-на” (очевидно, Михаила Лунина), затем... но процитируем: “В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в обоих вместе...” и т. д.

“Если бы был жив Лермонтов, не нужен был бы ни я, ни Достоевский”, – изволил обронить Л. Н. Толстой обдуманную, тяжёленькую фразу. Слишком

чувствовал это и Фёдор Михайлович! Правда и то, что “Бесы” писались и правились в страшной спешке; но не выбросил же он это имя из *такого* контекста при подготовке отдельного издания, хотя, кажется, вообще следовало бы выбросить из всякого, чтоб не обнаружиться...

Но что ещё интереснее и показательнее, так это описание *дуэли* Ставрогина, кроме, конечно, её смертельного исхода (рано было убивать героя!), во многих мелочах совпадающее с известными (и тогда, может быть, столько же, сколько нам, если не полнее) описаниями дуэли Лермонтова. Случайно ли это? Не тот художник Достоевский (глубоко мною чтимый, чтобы определиться тут в интонациях), чтобы просто как-нибудь случайно “воспользоваться канвой” и не заложить туда какой-нибудь изощрённой каверзы, в особенности после прямого сопоставления своего довольно никчёмного и наиболее надуманного из его крупных героев персонажа с... Лермонтовым.

Обширные цитаты — бедствие работ о писателях, но и их украшение (часто единственное). Как быть? Сократим из главы “Поединок” (“Бесы”, ч. 2, гл. 3) что только возможно и укажем лишь приметы сходства или характерной близости этих двух — реальной и вымышленной — дуэлей. Для чего? Так ли важно это? Угадаем ли мы тут движение самолюбивого и завистливого художнического сердца, а если и угадаем, то опять-таки для чего?

Но мы ведь пустились в некий уже рискованный путь к безвестным берегам... Пусть же сгинет вся история нашего путешествия, коли не приведёт оно никуда!

Кого (отчасти пародируя? или бессильно не достигая?) образом Ставрогина, а заодно, конечно, с иными многосложными задачами желал бы автор косвенно уязвить, *с чьей* тенью посчитаться, с кем сводит личные художнические (а это самые личные в мире) счёты? Ведь сводит он тут же счёты и со старшим здравствующим товарищем своим, Тургеневым, своей карикатурой Кармазинова.

Пошлый Кармазинов — конечно, пакость, излияние желчи, Ставрогин же — отчасти знамя, почти деятель... разве только гнилой внутри.

Но вот эта дуэль.

Стреляется Ставрогин с неким дворянином Артемием Павловичем Гагановым, отправившим ему “необычайное по грубости” письмо, с целью *получить* наконец вызов от приносящего все возможные извинения и тем всё более ненавистного Ставрогина. Тут ещё только аналогия с письмом Пушкина Геккерену, отмеченная и в романе. Гаганов имеет свои резоны, которые тут мало важны, отметим, однако, резоны фамильные.

Гаганов вышел в отставку из военной службы подполковником (убийца Мартынов — майором). В глазах всех окружающих, “особенно ввиду смиренных извинений, уже два раза предложенных Николаем Всеволодовичем”, он какой-то назойливый маньяк... Но прежде, в Петербурге, он “стал известен “благородным” образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек, уходящий в себя, закрывающийся. Ещё черта: он принадлежал к тем странным, но ещё уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьёзно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Ещё в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить своё образование, укоренились в нём некоторые поэтические воззрения: ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть её, рыцарство; он чуть не плакал тогда от стыда, что русского боярина времён Московского царства царь мог наказать телесно, и краснел от сравнений”.

Тут всё неслучайно. Тут нет прямой (но едва ли нет сознаваемой) аналогии с Мартыновым. Тут вернее художественно, лучше идущее к делу. Но связь есть: “Этот тугой, чрезвычайно строгий человек, замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности, в душе своей был мечтателем”.

Ничего, собственно говоря, дурного, ровно ничего! Тут только человек, не любящий родину за то, что она *не та,* не такая, как следует. И только, и только! И ничего более; и стоит человек за фамильную честь. И никому-то он не по душе, и Бог его знает — почему. Тут именно романтизм, то есть не истинный европейский, сильный и не прижившийся на почве нашей, ибо той,

что требовалось (рыцарской), почвы нет и не бывало, а была и есть иная, – тут почти гоголевский "иностранец из Лондона и Парижа. Конечно, Гаганов умнее "иностранца Фёдорова", он образован, он держит оперную Европу в себе; ну, не любят иные люди родину, что тут делать. А иные бранят её словами последними, но любят. А иные *любят странною любовью*...

Условия дуэли крайне жестоки и диктованы самим Ставрогиным секунданту Кириллову. "Определить барьер в десять шагов; затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу...

– Десять шагов между барьерами близко, – заметил Кириллов.

– Ну, двенадцать, только не больше, вы понимаете, что он хочет драться серьёзно".

Но Гагановым ещё усугублено. "Если с первых выстрелов не произойдёт ничего решительного, то сходиться в другой раз; если не кончится ничем и в другой, сходиться в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчёт третьего раза, но, не выторговав ничего, согласился, с тем, однако ж, что "три раза можно, а четыре никак нельзя". В этом уступили".

В сбивчивых и противоречивых указаниях о дуэли Лермонтова есть и барьер в десять шагов, и требование сходиться трижды – исходящее, ясно, не от него. Сошлись только один раз, потому что сразу убили (и убивали сознательно) насмерть. Герои "Бесов" сходятся трижды. Тут опять почти всё знаменательно.

"Гаганов с Маврикием Николаевичем (секундантом Гаганова. – **М. Ж.**) прибыли на место в щегольском шарабане парой, которым правил Артемий Павлович; при них находился слуга. Почти в ту же минуту явились и Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами, и тоже в сопровождении верхового слуги... Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почёл прибытие верховых за новое себе оскорбление в том смысле, что враги, стало быть, надеялись на успех, коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого".

Убитого Лермонтова не на чем оказалось везти...

"Он вышел из своего шарабана весь жёлтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки, о чём и сообщил Маврикию Николаевичу. На поклон Николая Всеволодовича не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий: вышло пистолетам Кириллова".

Тут можно не сомневаться и предвидеть: кирилловские пистолеты ранее описаны – чрезвычайно дорогие, в ящике пальмового дерева, внутри отделанного красным бархатом... Пистолеты не называются по модели, но это была бы и излишняя деталь; разумеется, нарезные; едва ли отечественные...

Далее всю дуэль нужно читать. Совпадает многое – едва ли случайно, многое. Яростная, почти трясущаяся агрессивность одного – и раздражённое, почти наплевательское (и, конечно, оскорбительное) равнодушие другого.

"Я в этого дурака стрелять не буду" – Лермонтов, со слов князя Васильчикова, цитируемых во многих биографических работах.

"Я не хотел обидеть этого... дурака, а обидел опять", – говорит Ставрогин в диалоге с Кирилловым после дуэли.

"– Что же надо было сделать? – Не вызывать. – Ещё снести битьё по лицу? – Да, снести и битьё. – Я начинаю ничего не понимать, – злобно проговорил Ставрогин, – почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут?" (Что тут подчёркнуто? Кто тут невидимый обязан сносить пощёчины?)

Первый выстрел Гаганова задел Ставрогину мякоть мизинца. Ставрогин "поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил, почти не целясь".

Лермонтов (доказано по сильно скошенному каналу пули) держал пистолет, вытянув руку кверху, подняв тем самым правую сторону грудины, и пуля вошла в правый бок ниже последнего ребра, а вышла между пятым и шестым ребром слева.

"– Я заявляю, – прохрипел Гаганов (у него пересохло горло), опять обращаясь к Маврикию Николаевичу, – что этот человек (он ткнул опять в сторону Ставрогина) выстрелил нарочно на воздух... умышленно... Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможною!

– Я имею право стрелять, как хочу, лишь бы происходило по правилам, – твёрдо заявил Николай Всеволодович.

— Нет, не имеет! Растолкуйте ему, растолкуйте! — кричал Гаганов.

— Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича, — возгласил Кириллов.

— Для чего он щадит меня? — бесновался Гаганов, не слушая. — Я презираю его пощаду... Я плюю... Я...

— Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорбить, — с нетерпением проговорил Николай Всеволодович, — я выстрелил вверх потому, что не хочу более никого убивать, вас ли, другого ли, лично до вас не касается...

— Если он так боится крови, то спросите, зачем меня вызывал? — вопил Гаганов, всё обращаясь к Маврикию Николаевичу.

— Как же вас было не вызывать? — ввязался Кириллов. — Вы ничего не хотели слушать, как же от вас отвязаться!"

Легко увидеть в озлоблении Гаганова — прямо в репликах! — и аналогию с Грушницким. Уж этого-то автор "не заметить" не мог... Намекал? Зачем?

Дуэли Лермонтова, её причинам, поводу, самому её течению посвящено так много работ и так всё-таки немногое в ней прояснено, что говорить с какой-либо точностью о некоторых её деталях здесь и невозможно. Мы и не располагаем никакими новыми материалами и совсем не ставим уточняющих задач. Говорим же здесь не столько о ней самой в её деталях, сколько о художественной её аналогии, включая, конечно, и романные отклонения от (вероятно, тех же, что и нам, известных автору "Бесов") её описаний. Эти описания могли быть известны к 1871 году, когда Достоевский работал над "Бесами", и изустно. Воспоминания А. И. Васильчикова о дуэли явились в "Русском архиве" в 1872 году. О пистолетах, принадлежащих Алексею Столыпину (Монго) — крупнокалиберных, дальнобойных, нарезных — сообщалось в том же "Русском архиве" раньше, в 1866 году. Да что значит в России хоть и какая бы то ни было задержка публикаций?! "В России всё тайна, но ничто не секрет", — сказано г-жой де Сталь.

Второй выстрел дуэлянтов безрезультатен. Гаганов опять беснуется по поводу намеренно неточного выстрела противника. Третий выстрел Гаганова пробил Ставрогину его белую пуховую шляпу: "четверть вершка ниже, и всё бы было кончено". Ставрогин "уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял, как придавленный".

То, что тут на первом плане интересы сюжета, очевидно. Однако аналогия, о которой мы говорим, не так уж завуалирована или вовсе... бессознательна? Но мыслима ли бессознательность у *этого* автора, да ещё после прямого сопоставления героя с Лермонтовым? Но тогда что за всем этим кроется? Ставрогин выведен *не сильным* человеком... Это не гадостный Кармазинов, но тоже со своей пакостью в душе, с поступками, прямо вызывающими... Это месть художника? За что? За гений, которого превзойти возможности нет? И поделать-то ни с убитым, ни с его Печориным уже ничего нельзя?.. Печорин дважды упомянут в романе в контексте раздражённом.

Кстати, о белой пуховой шляпе. Шляпа-то, оказывается, "карбонарская", за подобную шляпу едва не пострадал ещё сильнее ссыльный декабрист и писатель А. А. Бестужев (Марлинский), которому прислали шляпу в подарок из Москвы. Пятигорский доктор Майер спас его, назвавшись заказчиком шляпы, и сидел за шляпу в крепости! Гаганов, стало быть, хоть не убил негодяя, но навылет пронзил карбонарскую шляпу? Что тут за символ опять? Так как Достоевский синтезирует героя, а не берёт его "живьём", деталь почти не может попасть к нему "так", случайно. Шляпа явно особенная: кажется, такую же шляпу мы видим на Герцене на одном из его портретов середины века. Не такую же ли пронзает насквозь герой Достоевского?

Ставрогина он повесит на последней странице. "Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: "Никого не винить, я сам". Не забыты и кусок мыла, и молоток с большим гвоздём: "Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты". Опять деталь: сумел бы гвоздь забить "гражданин кантона Ури"? Чай, молотка в руках не держал. Ну, как только пальцы бы себе отбил? И со злости бы не повесился? Фёдор Михайлович, возможно, учёл и это, и "большой гвоздь" отложил.

Проза Достоевского — совсем иного тона, манеры (кружение, аффектация), иной психологической температуры, но по сути, в главном задачи её

те же, что у Лермонтова. Исполняет он, конечно, собственный духовный долг, только решает он эти задачи в атмосфере куда худшей, грозовой... Задачи эти мы, сохрани Бог, не смешиваем с проявлениями художнической ревности. Мы только о том, что неказистый (выразимся так) в итоге получился по содержанию между главными в его творчестве персонаж Ставрогин. Но Фёдор Михайлович отомщён. Недоброе его кружение около тени Лермонтова оставлено, он успокаивается, уходит к своей теме. Карикатуры его всего только косвенны, иных и покоробит... Пусть его, хохочет Иван Сергеевич над Карамазиновым! А кому-то по душе...

* * *

...жалок мир!
В нём каждый средь толпы забыт и сир;
И люди все к ничтожеству спешат,
Но хоть природа презирает их,
Любимцы есть у ней, как у царей других.

И тот, на ком лежит её печать,
Пускай не ропщет на судьбу свою...
"Блистая пробегают облака", 1831

...Свой замысел пускай я не свершу,
Но он велик — и этого довольно;
Мой час настал — час славы иль стыда;
Бессмертен иль забыт я навсегда.
.....
Я небо не любил, хотя дивился
Пространству без начала и конца,
Завидуя судьбе его творца,
Но потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашёл себя, в себе одном
Нашёл спасенье целому народу;
И утонул деятельным умом
В единой мысли, может быть, напрасной
И бесполезной для страны родной,
Но, как надежда, чистой и прекрасной,
Как вольность, сильной и святой.
"Отрывок", 1831

(подчеркнуты строки с нечаянным новым смыслом, созвучным нашей теме. — **М. Ж.**)

О великой задаче, полагаем, думает юноша Лермонтов в свои неполные семнадцать лет. Когда в университете, после холеры и массового бегства из Москвы, с января 1831 года были возобновлены занятия, ни к каким университетским кружкам — ни Станкевича, ни Герцена — он не примкнёт, он сам по себе.

...Его дуэль, внешне сходная, внутренне иная. Прежде всего сам он внутренне иной — сознающий своё назначение, полный замыслов, но бессильный освободиться из ловушки, приневоленный к чуждому делу войны. Он велик и ничтожен. В это положение он поставлен таким образом, что некого и винить. Теперь отставку нужно выпрашивать: искать прощения, не зная вины. (Клейнмихель "не советует" просить её теперь, передаёт ему бабушка: двором не забыта "Смерть поэта", а Григорий Печорин только прибавил монаршего неблаговоления.) Заслужить? Но там, в Малой и Большой Чечне в пятимесячных стычках и "делах" с июня по ноябрь прошлого 1840 года он отличился не раз, в декабре представлен к ордену и золотой сабле "за храбрость". То и другое ему и князю Сергею Трубецкому, в последующем одному из секундантов Лермонтовской дуэли, вычеркнуто государем. Война идёт не за отечество, не с завоевателем, а с коренным народом, за интересы империи. Коренной народ,

поощряемый дипломатией Англии, отказался подчиниться условиям Адрианопольского мира 1829 года. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мингрелии; Черкесия присоединяться отказалась, а на востоке поднялся имамат – с 1834 года это Шамиль. В этих "экспедициях", где ты штрафник и обязан лезть вперёд, дважды выживают немногие, а трижды – почти никто. При одном Валерике убито 6 и ранено 15 младших офицеров, ещё 6 старших штаб-офицеров ранены, контужены, 1 пропал без вести.

Шёл он (ехал верхом) по этой последней дороге своей как будто в весёлом расположении духа, на деле же, можно думать, в досаде – на ненужную, невольничью опять обязанность идти, вынужденное вообще безделье, безнадёжность и униженность ожидания отставки, – а значит, хочешь или нет, снова в пекло! – на сиротство, одиночество, точно после гибели Пушкина, этого низкого убийства несравненного, незаменимого человека какой-то импортной тварью закрылась для него сама возможность содержательного общения, творческого и жизненного совета, исчезла, вдобавок к потере отца, всякая опора... Недаром же делится он в эти дни или даже во время поездки по этой последней дороге обширными планами литературной работы с совсем юным Глебовым ("светлый ум и доброе сердце", храбрый офицер, отличный товарищ, будет через 6 лет убит при штурме очередного аула), отодвигая тем от себя сегодняшний вздор жизни, её невольничью зависимость, надобность теперь идти и стоять под дулом пистолета в руках у пустоголового приятеля, стрелять в которого он не может и не будет. Это же надо перестрелять 9/10 человечества! Это не его промысл, это Промысл Господа Бога нашего, для целей неисповедимых держащего эти 9/10, а то и все 10/10 на земле, а придётся идти и стоять и принять эту вертлявую огненную пулю, пронизывающую, убивающую всё в нём: его лёгкие, сердце, его мечты, его будущее и два века его страны.

Даже неизвестно, сколько прямых свидетелей присутствовало на месте дуэли. П. Л. Висковатов пишет о "полном вероятии", что, помимо четверых секундантов (М. П. Глебов, А. А. Столыпин, князья А. И. Васильчиков и С. В. Трубецкой), были ещё "зрители" – "между ними и Дорохов" (однополчанин Лермонтова), "неоднократно разжалованный в солдаты", сообщает "Лермонтовская энциклопедия" (далее ЛЭ), то есть разжалованный не менее чем трижды и дослужившийся опять до чина поручика (прототип бретёра Долохова в "Войне и мире"). Достоверно, что Лермонтов со Столыпиным (по общей традиции награждаемым прозвищем Монго для отличения от других Столыпиных, родственник и ближайший его друг) выехали верхами из Железноводска. Им навстречу из Пятигорска ехала группа молодёжи с настроениями не то мирить противников, не то почти уверенные, что всё обойдётся, что дело кончится шуткой и товарищеским ужином (в Пятигорске заготовлено для ужина вино и всё, что следует). На половине дороги, в немецкой колонии Каррас все вместе обедали. Обедал ли тут с ними и Мартынов, неясно; но по его совсем иному настрою судя, едва ли. Ожидаемое примирение не случилось. Князь Васильчиков с Мартыновым и столыпинскими пистолетами поехали на дрожках отыскивать место...

Всё это до тошноты нехорошо читать. Кто в точности присутствовал, кто и на чём ехал, кто как был одет? Нужно бы это для "художественности" дела... А на кой она, художественность этого "дела"? Везли убивать русского пророка. И он сам зубоскалил со всеми ними. Тут – и встреченная случайно m-lle Быховец с её тётушкой и её вошедшим в половину книг о нём головным украшением – золотым *"бандо",* впоследствии окровавленным... Поэт отнял его, обещав привезти, "если останется жив". Что это было (если было) – порыв тоски? суеверие? Иное ли что? Так ли уж он был весел? "И весело раскланявшись, вышел. На слова эти, как на шутку, дамы внимания не обратили" *(П. Висковатов).* О дуэли "дамы", конечно, не знали.

Скольких же он утащит с собой в бессмертие!

В самом деле, "биография нищенская" (А. Блок), нужно его "провидеть", ещё как нужно. А приходится биографам его подбирать внешние крохи, всяческий писарский сор, кем-кем не понаписанный, чего-чего там нет... "В ту пору мы все писали такие стихи", – такое тоже есть, достойное бессмертного господина Галиматье! Да ведь и провидеть... не каждому, ведь не каждому дано? Согласитесь, не каждому дано – такое-то зрение? А ведь хочется,

просится сказать о нём? И всё-то кажется, что есть *что* сказать, и всё-то уходит и уходит он дальше в своё, непостижимое, и всё-то уводят его куда-то — нашего от нас!!! — те самые... феи.

Эти негласные секунданты (негласные для следствия) — Алексей Столыпин (Монго) и князь Сергей Трубецкой (к обоим особенно не благоволил Николай, и им двоим могли угрожать наиболее суровые последствия). Первому — 25, второму — 26, не так уже молоды, не так уже! По тем временам расцвет ума и силы; юн один только Михаил Глебов, но и для него расцвет — ранний, потому что война! Нешуточное дело — война, а война с горцами, отстаивающими свою волю, веру, родину? Все они на войне, почти все (кроме гражданского чиновника Васильчикова) побывали в деле, сам Глебов и Трубецкой ранены (Глебов — тяжело, в ключицу, Трубецкой — опасно, в шею), кругом и сейчас горцы, отнюдь не смиренные (а "мирны́е" даже опаснее). Только... вот сейчас... точно ли так умны вы в самом деле там — поручики, корнеты, капитаны, двоюродные дяди, титулярные советники?

Верхами помчались по пятигорской дороге. (Двое — со Столыпиным? Пятеро — с Глебовым, Трубецким и Дороховым? Сколько их всех, что мчатся сейчас под этой чернеющей тучей, с уже предгрозовым ветром, несущим дорожный сор и пыль? Точно ли туда несётесь вы? Туда ли, где ждёт вас весёлый ужин? На такой ли ужин уйдёт ваше вино?) Не доезжая до города двух с половиной вёрст, "повернули налево в гору, по следам, оставленным дрожками князя Васильчикова и Мартынова" (*П. Висковатов,* далее цитируется он же).

"Около 6 часов прибыли на место. Оставив лошадей у проводника своего Евграфа Чалова, молодые люди пошли вверх к полянке между двумя кустами, где ожидали их Мартынов и Васильчиков или же Трубецкой, что тоже остаётся невыясненным. Докторов не было не потому, чтобы, как это сообщается некоторыми, никто не хотел ехать, а потому опять, что как-то дуэли не придавали серьёзного значения, и потому даже не было приготовлено экипажа на случай, что кто-нибудь будет ранен.

Мартынов стоял мрачный, со злым выражением лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундантов воткнул в землю шашку, сказав; "Вот барьер". Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. "Я помню, — говорил князь Васильчиков, — как он ногой отбросил шапку, и она откатилась ещё на некоторое расстояние". От крайних пунктов барьера Столыпин отмерил ещё по десять шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время пистолеты были вручены им (Глебовым? — вопрос у Висковатова. — **М. Ж.**). Они должны были сходиться по команде: "Сходись!" Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте, или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командой *два* и *три.* Противников поставили на скате, около двух кустов: Лермонтова лицом к Бештау, следовательно, выше; Мартынова поставили ниже, лицом к Машуку. Это опять была неправильность. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов... "Сходись!" — крикнул он. Мартынов пошёл быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх... "В эту минуту, — пишет князь Васильчиков, — я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета". Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, всё не трогаясь с места, вытянул руку к верху, по-прежнему к верху же направляя дуло пистолета. "Раз... Два... Три!" — командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. "Я отлично помню, — рассказывает далее князь Васильчиков, — как Мартынов повернул пистолет, курком в сторону, что называл он стрелять по-французски! В это время Столыпин крикнул: "Стреляйте! Или я разведу вас!.." Выстрел раздался, и Лермонтов упал, как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые.

"Мы подбежали... В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь... Неразряженный пистолет остался в руке..."

“Славный малый – честная прямая душа – не сносить ему головы” – из письма однополчанина Руфина Дорохова 18 ноября 1840 года.

Врачебное свидетельство

“При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок, ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящём, пробила правое и левое лёгкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча; от которой раны Поручик Лермантов мгновенно на месте помер”.

Далеко в историю идут деяния великих. И резко движут реальную историю на коротком её участке люди совсем иные, подчас ничтожные. Если даже малозначащие на вид события обретают в ней, в дальней или ближней перспективе, немалое значение, то чем резче, чем серьёзнее событие, тем эта перспектива короче. И вот такими, словно бы форсированными, сдвигами в ней движут ничтожества – пускай только как пособники, – но мы и говорим о том. Жорж Шарль Дантес (1812–1895), поручик кавалергардского полка (в России с 1833 года), гомосексуалист, интимный партнёр нидерландского посла Геккерена, “усыновившего” его, а заодно, с большим вероятием, таковой же графини Нессельроде (продвигающей его в высший свет) и скольких-то ещё высоких и иных особ, женатый на свояченице Пушкина Екатерине Николаевне с целью приближения к любезной ему Наталье Николаевне, в среду 27 января 1837 года по старому стилю, около пяти часов пополудни, смертельно ранит на дуэли Пушкина.

“Я презираю таких авантюристов – эти Дантесы и де Баранты заносчивые сукины дети”, – вот суждение Лермонтова, знавшего обоих. “Срамил собой и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк, в котором числился”, – говорит о Дантесе двоюродный брат Лермонтова Юрьев. “Правду сказать, я насмотрелся на этого Дантесишку во время военного суда. Страшная французская бульварная сволочь с смазливой только рожицей и с бойким говором. На первый раз он не знал, какой результат будет иметь суд над ним, думал, что его, без церемонии расстреляют и в тайном каземате засекут казацкими нагайками. Дрянь! Растерялся, бледнел, дрожал. А как прознал чрез своих друзей, в чём вся суть-то, поднялся на дыбы, захорохорился, чёрт был ему не брат, и осмелился даже сказать, что таких версификаторов, каким был Пушкин, в его Париже десятки”, – так отзывался о Дантесе А. Ф. Синицин, аудитор военного суда над Дантесом, в пересказе мемуариста В. П. Бурнашёва.

Итак, следственно, *ничтожество* смертельно ранит Пушкина.

Со дня этой дуэли и этого ранения в ближнем к Лермонтову кругу столичной аристократии и прямо за столом у собственной бабушки Е. А. Арсеньевой в их петербургской квартире на Садовой он слышит суждения о том, что Пушкин был смешон и жалок, говорил Дантесу дерзости, обижал старика Геккерена, написал ему отвратительное письмо, что он дурён собой и нельзя осуждать Наталью Николаевну, что урод не должен жениться на красавице, что Дантес был вынужден как благородный человек... и т. д., и много подобного прочего. 28 января по столице распространяется ложный слух о смерти Пушкина, а около трёх часов пополудни 29 января Александр Сергеевич скончался. Либо в этот день 29-го, либо 28-го из-за ложного слуха (в истории создания стихотворения есть хронологическая неопределённость) глубоко взволнованный Лермонтов запирается у себя в кабинете и в присутствии друга Святослава Раевского (которого по приходе впустил в кабинет) в один присест пишет стихотворение “Смерть поэта” без его заключительной части – первые 56 строк.

На другой день и в последующие дни они вместе со Святославом раздают списки стихотворения, дают его переписывать знакомым; стихотворение стремительно расходится по столице. Скоро оно достигает и высших сфер, где не вызывает никакого беспокойства. Как рассказано в воспоминаниях А. Н. Муравьёва (1806–1874), поэта и хорошего знакомого Лермонтова (впоследствии камергера), его двоюродный брат, управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии А. Н. Мордвинов знал стихи (даже находил их, по другим свидетельствам, “прекрасными”) и докладывал о них начальнику III отделения А. Х. Бенкендорфу, и они оба “не нашли в них ничего предосудительного”.

Друзья окрылены надеждой, что сам государь настроен применить к Дантесу суровые меры, и стихи продолжают распространяться почти открыто.

В воскресенье 7 февраля Лермонтова навещает родственник, Николай Аркадьевич Столыпин, родной брат его любимого Монго, камер-юнкер, служащий в Министерстве иностранных дел графа Нессельроде, с рассказами о светских новостях и сплетнях. Нет совершенно никаких оснований именовать этого человека *ничтожеством,* если только *сравнительно* с уровнем последующих событий. Тем не менее, хваля стихи, он в тоне высшего света вступается за Дантеса: "Апофеозируй Пушкина сколько тебе угодно, но он говорил Дантесу грубости, я сам слышал такое, что не поверил своим ушам, а Дантес как благородный человек..." и т. д., разговор резко накаляется; аргументы, что перед Пушкиным нужно всё стерпеть ради России, не находят понимания, Лермонтов приходит в ярость ("Я за себя не ручаюсь"), Николай Столыпин принуждён уйти, как раз *стерпев* эту сцену – только уже от Лермонтова, – и тот, опять за столом в том же кабинете дописывает те самые шестнадцать строк:

"А вы, надменные потомки..."

Эти строки идут вдогонку прежним, но поначалу и они не тревожат власть. Великий князь Михаил Павлович посмеялся им: "Эх, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?" Граф Бенкендорф рекомендует начальнику штаба корпуса жандармов генерал-майору Л. В. Дубельту не привлекать к ним лишнего внимания ("иначе мы только раздуем пламя страстей"). Это были, конечно, весьма неглупые люди.

Однако скоро эти строки попадают на стол царю по городской почте (недавнее нововведение) как прямой донос без подписи, с припиской "Воззвание к революции". Теперь Бенкендорф, уже и прежде настороженный некоторыми намеками из великосветского круга, обязан принимать меры. Он пытается говорить о них царю "в успокоительном тоне" (так ли?), но стихи "с гнусной надписью" – на столе у Николая и меры принимает он сам (призрак 14 декабря для него вполне реален). Есть опять-таки воспоминания В. П. Бурнашёва: "Многие того мнения, что это работа Х... причём, конечно, в отделении городской почты в Главном почтамте поверенный дал вымышленный адрес, и концы в воду, но, естественно, не для жандармерии, которая имеет своё чутьё". Говорит эти слова Бурнашеву Николай Юрьев, двоюродный брат и друг Лермонтова, и речь идёт о А. М. Хитрово, прозванной "проказой общества"...

"Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: "И зачем это я на беду свою ещё брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до чего он довёл его". (*М. Н. Лонгинов,* дальний родственник Лермонтова, начальник Главного управления по делам печати).

* * *

И вот (забегая тут сильно вперёд) с момента написания этих 16-ти строк уже очень проблематично предполагать, что историю России – такую, как она сложилась на сей день, – можно остановить. Через четыре года, пять месяцев и восемь дней, считая от момента написания этих 16-ти строк, Лермонтов будет убит *ничтожеством,* и это уже будет то событие, от которого остановки не случится, а медленно, тяжко, инерционно ускоряясь, воздействуя через цепочки событий, совсем не соотносящихся как следствие и причина, так что каждый последующий агент судьбы обоснованно отопрётся от какой-либо вины – судьба использует его вслепую, – и дело докатится до крушения русской государственности.

...Легко раненный в руку, разжалованный из поручиков в рядовые и высланный на родину Дантес (а на кой ему там чин русского поручика?) прожил 83 года. Его именем в Париже названа улица.

Имя Пушкинской улицы в Москве и Лермонтовской станции метро сняты, в видах "исторических". Зато мы теперь строим *Сити* и *таун-хаусы* (пишутся русскими буквами – вероятно, чтобы *они* не поняли: шифровка). Проституство вместо гордости.

* * *

Далее следует собственно открытие Лермонтова страной и всё то, что за четыре года и пять с небольшим месяцев оставшейся ему жизни подняло его вровень с Пушкиным и известно изо всех его биографий. Во внешней жизни – собственно жизни – это ссылка тем же чином (прапорщиком, а не корнетом, поскольку кавалерия драгунская) в Нижегородский драгунский полк на Кавказе, куда он едет без охоты и спешки с марта 1837 года (Петербург–Москва–Ставрополь – лечение от ревматизма с мая по август на минеральных водах – опять Ставрополь–Тамань и далее) и к своему полку в Тифлисе поспевает к ноябрю и уже к приказу о его оттуда увольнении: тяжкие хлопоты бабушки о возвращении внука удовлетворены. Это не проволочки и симуляции (хоть и не совсем без того), он действует по предписаниям командования, но, кажется, желает избежать сентябрьского императорского смотра в Геленджике. Серьёзных боевых действий на черноморской линии и в горах в расположении полка в эту осень не случилось, но очень многое увидено, написано и продумано. Уже в октябре 1837 года вышел высочайший приказ о переводе его корнетом в л-г Гродненский гусарский полк (очень неохотно возвращал Николай его в гвардию!), и вот, возвращение в 1838 году (через Москву, где он встречал Рождество, и Петербург) сначала в Гродненский л-г полк в Новгородской губернии, где он "промелькнул, как метеор" (26 февраля 1838 года прибыл, 9 апреля – высочайший приказ о переводе в родимый л-г Гусарский, 25 апреля он в Петербурге, 14 мая уже в своём полку в Царском Селе). 6 декабря 1839 года в этом полку он получит чин поручика.

Снова близкий Петербург, короткие два года, с конца апреля 1838 по май 1840 года, *литературной* (перемежаемой балами и гауптвахтами) жизни: полезные и иные литературные знакомства, публикации... немного же отпустил ему этого Господь! 20-летняя вдова княгиня Мария Щербатова – "как ветер пустыни, и нежат и жгут её ласки", потом дуэль с Барантом 18 февраля 1840 года, где *ничтожество стреляло* (выражусь так) *и могло убить;* но дало промах. Баранта Белинский называет "салонный Хлестаков". Лермонтов выстрелил в воздух.

"Мне ваш демон нравится: я бы хотела опуститься с ним на дно морское и полететь за облака" (Щербатова). Не сложилось; его опять сослали, на этот раз в Тенгинский пехотный полк, в пекло. В апреле 1840 года Николай потребовал срочного окончания дела и в первых числах мая – отъезда на Кавказ. В апреле же случился выход в свет отдельного издания "Героя нашего времени". Слава Богу, что так тянулось следствие, успел 9 мая 1840-го побывать в Москве на именинном обеде у Гоголя... с кем свидеться дал ему ещё Господь! Заметим, что хотя, по словам Николая, две трети вины с него снимается за то, что дрался с французом за честь русского офицера, – наказание тяжкое, все дальнейшие просьбы об отставке отклоняются, из последующих наградных списков государем отовсюду вычеркнут... Отношения дворов с "королём-гражданином" Луи-Филиппом, признанным скрепя сердце, – непростые: великий князь Михаил Павлович во время расследования даёт предписание министру К. В. Нессельроде взять показания Баранта. Нессельроде (русский министр!) распорядился: "Отвечать, что Барант уехал..." Сцепя зубы, держит двор пристойные отношения с Францией (битой нами!), с её непрекращающейся гадостной революцией, на юге напряжены таковые и с Турцией, битой нами... Непредсказуема, чужда им всем наша цивилизация, нависает над ними её тень. Не утихает кавказская война...

И ещё заметим, что убили Михаила Юрьевича, как водится, отчасти родственники: бабушка, без ума его любящая, неведомо зачем не желала его отставки, когда сам он желал и просьба была бы удовлетворена (мечтала о его адъютантстве – о внуке в генеральских адъютантах!) Кузен Аким Шан-Гирей спровоцировал новое недоумение с Барантом, результатом чего явилась жалоба посольской маменьки высшему начальству, что Лермонтов-де вызывает её сына на новую дуэль! И из благоприятного течения расследования оно повернуло к гораздо худшему. Таковы уж случаются услуги родственников.

Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, Боже!
“Евгений Онегин”

От родственников же паче и паче того. От доброты их и попечения их, от “понимания”, где лямку тянуть способней нам, где готовое счастье уже оскалено нам.

Возможно, до 1840 года он ещё не столь уверенно осознавал, а только приближался к осознанию своего настоящего назначения (требовательностью к себе он отличался редкой). По молодости он ещё нередко мог судить о людях высоко, по себе, а то и по-светски предоставлял разному люду равняться с ним, до чего особенно охоча духовная чернь — ей лестно видеть в гении такую же дрянь, как она сама; для неё чужая искренность есть глупость, но это-то он, конечно, понимал и не раскрывался; подставлялся же ей невольно. В этой второй ссылке 1840—1841 годов им владело уже отчаяние. Возможный успех прошения об отставке был упущен после истории с Барантом, резко осложнённой их новой встречей по вызову Лермонтова на Арсенальной гауптвахте 22 марта 1840 года во время производства над ним суда. Вызов для объяснения был невольно спровоцирован Шан-Гиреем, по другим сведениям — писателем Соллогубом, вероятно же — обоими. (Сам Барант объявил, что он удовлетворен дуэлью, но маменька напугалась, и по её жалобе дело приняло наихудший оборот.) Он уезжал в эту вторую ссылку в самом дурном расположении духа. Он не ощущал вины, а был виновен. Он думал о великом жизненном поприще, а подвергался неудовольствиям двора, начальства и чьих-то маменек.

Есть люди, которым не везет — как будто по их же вине. Не всякий это испытал; не всякий знает, что такое попасть в жизненный капкан. Эти люди неосмотрительны, неосторожны — их поле передаётся во внешний мир, и мир не прочь их добить; это происходит на инстинкте, из верного чувства опасности: от такого исходит агрессия, он непредсказуем; такие не поддаются дрессировке. Такой неполезен поголовью. В напряжённом, состязательном сообществе одиночество и укрытие их удел.

В начале 1841 года он вместо отставки получает двухмесячный отпуск и затягивает его на три месяца (февраль-апрель), которые проводит в Петербурге, всеми путями домогаясь отставки и надеясь на неё, а в то же время непрерывно вредит себе — то присутствием на балу с царскими особами, что для опального офицера найдено неприличным, то просто тем, что он в славе и блеске, а при “нижайших просьбах” и хлопотах сидеть бы тихо и не раздражать и т. п. — такие вещи легко говорить: “кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал” — такова народная мудрость. И дожидается того, что ему предписано покинуть столицу и ехать в кавказский полк “в 48 часов”. После всех надежд, после глотка столичного воздуха, после планов основания журнала — это был страшный удар, это становилось как бы третьей ссылкой! О его отчаянии есть свидетельство редактора “Отечественных записок” А. А. Краевского. 2 мая 1841 года он покидает Петербург, но всячески затягивает отъезд из Москвы, затем всеми неправдами задерживается в Туле, Ставрополе, Пятигорске... Жить он хотел, жить, как все люди, он хотел работать, он не хотел умирать!

...Дальнейшие показания перед следственной комиссией Глебова, Васильчикова и самого Мартынова имеют целью, по возможности не теряя лица, выгородить себя и умолчать вовсе об участии Столыпина и князя Трубецкого, особенно нелюбимых царём. Секундантами назвались: Васильчиков — секундантом Лермонтова, Глебов — Мартынова. В действительности было обратное, но Глебов квартировал с Мартыновым, Лермонтов же квартировал со Столыпиным, принятое распределение выглядело естественнее, и тем они отчасти прикрывали Столыпина. Мартынов в показаниях объясняет свой вызов как “вынужденный”, указывает барьер в 15 шагах. Но в черновике его показаний имелось иное: “Условия дуэли были: ...3-е. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. 4-е. Более трёх выстрелов с каждой стороны не было допущено...” Глебов после чтения черновика (на обмен записками с гауптвахтой, где заключён Мартынов, начальство закрывает глаза) присылает ему записку: “Я должен же сказать, что уговаривал тебя на условия более лёгкие. Теперь покамест не упоминай об условии

3-х выстрелов; если же позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего: надо будет сказать всю правду". Военный суд запроса не сделал (Окружной пятигорский стал было слишком вникать! Гроза висела над Мартыновым!), "...и условие 3-х выстрелов (с вызовом отстрелявшегося на барьер!) было от следствия скрыто" (ЛЭ). При этом Мартынов уверенно знал, что Лермонтов стрелять не будет. Князь Васильчиков позднее сообщил Висковатому, что Лермонтов продолжал держать пистолет дулом кверху. "На вопрос изумлённого Висковатого (которому Васильчиков сделал это сенсационное признание), "отчего же он не печатал о вытянутой руке, свидетельствующее (так в тексте. – **М. Ж.**), что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять", бывший секундант ответил, что "прежде он не хотел подчёркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его". "Итак, секунданты скрыли от следствия ещё один факт – пожалуй, самый важный: Мартынов стрелял в Лермонтова не только будучи уверенным, что тот в него не целится и не выстрелит, но именно в тот самый момент, когда Лермонтов поднял руку с пистолетом и, возможно, даже успел выстрелить в воздух" (там же). О последнем может свидетельствовать и обмолвка Мартынова: "У его (Лермонтова) пистолета осечки не было". В показаниях Васильчиков говорит, что он уже после разрядил пистолет Лермонтова на воздух...

Если до пушкинской дуэли, ещё и сразу после неё возможны были светские суждения о "чести", "обязывающей" стрелять хотя бы и в Пушкина, то после "Смерти поэта", известной в списках каждому грамотному русскому, злодеяние Мартынова в наших глазах не может иметь окраски оправдательной. "Не мог понять в сей миг кровавый, *на что* он руку подымал"? Положим, и не мог; и не до того ему было, чтобы понимать. Но отчего? Так оскорблён, что оскорбление всё затмило? Чем же так оскорблен? "Montagnard au grand poignard" ("горец с большим кинжалом") – *при дамах*? Вот этим – оскорблён?? И держал-то пистолет курком набок, "по-французски" – и тут, кажется, выверт, манера, амбиция, самолюбование...

Но вероятнее, что он бессознательно красовался; вряд ли он и сам так-то уж всё соображал. Их отношения на самом деле были неискренни и взрывоопасны; понимаем мы это, конечно, задним числом. Можно предполагать, что в этот период Мартынов внутренне был болезненно неприкаян, он ходил вокруг центра, в котором находился Лермонтов, и хотел бы стать с ним просто, по-товарищески, на дружеской ноге. Но тому не требовались товарищи – разве приятели-сотрапезники, очень немногие, и те от безысходности, – тот видел с птичьего полета и уже высоко сознавал себя; Мартынова же видел насквозь и едва ли считал и за человека (он отнюдь не всех считал за *людей,* как и пушкинский Онегин, он был исключительно избирателен, если только не сказать, брезглив, – да и занят же он был иным!). Помимо скрытого отторжения, Мартынова подмывало ревнивое соперничество, на которое Лермонтову опять-таки было наплевать... за исключением, скажем, дамской составляющей, где соперник как раз преуспевал. Приятель, в сущности, *не замечал* его вне этой зоны (где, конечно, злился и зло шутил).

Мог ли он завидовать Лермонтову? – Разве только его славе, но этому не завидуют, это чужое; он не был так уж глуп, как аттестует его сильно умная m-lle Быховец, хоть и не сознавал настоящего значения приятеля, но ведь и никто не сознавал! Он был только ординарен. Не лезть бы ему туда...

Но явное предпочтение славы, отданное приятелю в близком соседстве, когда приятель весь рядом и на вид "такой же", именно близостью может раздражать, досада на его успех может быть непроизвольна и сильна; Мартынов одержим комплексом первенства – товарищами такие быть не могут.

Его настоящее назначение и призвание – добротный домашний хозяин, самец, благодушный мещанин, кем он и стал, только с клеймом убийцы, которое, ещё не факт, давило ли его. В начале карьеры он планировал достичь генеральства, но не обладавший должными для этого данными, понявший, какими рисками на войне устелена дорога, и притом со слухом о какой-то "истории" в полку, вышел в отставку майором. Это удар по самолюбию очень сильный, сбивающий молодого честолюбца с ног. По неприкаянности он искал поклонения, претендовал на него, а вместо того часто получал острые насмешки, которые не истощались, они кололи изо дня в день и отгоняли его на дистанцию. Он хотел быть *равным* – его не подпускали; уступая как лидер,

сжимая это в себе, он искал оценённости, уважения (чем он был хуже?) и не только не имел того, но получал в лицо дружный беззаботный смех и чуть не в глаза аттестацию глупца – и его заело. Он стал словно взбешённым зверем. Этого скачка, по беззаботности, не почувствовал никто, кажется, даже Лермонтов, понявший это в последние минуты. И в эти минуты, поднявши в небо руку с пистолетом, он ждал – *как* определится то, *что сейчас стоит перед ним,* он изучал – как он всю свою короткую жизнь изучал людей, в том числе провоцируя их; но он и по-печорински испытывал судьбу. Он был *тоже* глубоко уязвлён нескладывающейся жизнью, тоже несчастлив на своём, несравнимо ином уровне.

Судьба не любит, когда её испытывают не на подъёме сил. Говорят, что фортуна – женщина, она уступает уверенным и весёлым.

* * *

В Пятигорске сразу после дуэли распространился слух, что Лермонтов категорически отказался стрелять в Мартынова.

Священник Василий Эрастов отказался отпевать Лермонтова как приравненного каноном к самоубийце (что почти и было?) и донёс на протоиерея пятигорской Скорбященской церкви Павла Александровского, что тот (настоянием самого начальника штаба, командующего войсками Кавказской линии полковника А. С. Траскина и деньгами Столыпина) проводил тело Лермонтова до могилы и прочёл над ним погребальную молитву (вносить тело в церковь не разрешили).

"От него в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!.. Мало, что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовёт, чтобы другим неприятность наносить...

Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались... От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, его насмешки переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был...

Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая... Ноги вперёд висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал". (Слова В. Эрастова со ссылкой на публикацию "Вестника Европы" 1914 года).

На другой день после похорон, 18 июля, под эгидой полковника князя Владимира Сергеевича Голицина в казённом Ботаническом саду, в полутора верстах от Пятигорска, состоялся давно подготовляемый бал, на котором присутствовали и танцевали три сестры Верзилины (старшая, по другому отцу, Эмилия Клингенберг), в доме которых случилась 13 июля ссора. Удался ли бал, неизвестно. Кажется, явилось немало молодёжи: не пропускать же бал! Хотя, конечно, не все, так-то уж не надо; некоторых не было. Любили они его. Были ошарашены.

Обстоятельная статья "Дуэли" в ЛЭ (*Л. М. Аринштейн, В. А. Мануйлов*) избегает утверждения о существовании какого-либо пятигорского или иного *заговора* против Лермонтова; в ней лишь указано со ссылкой на мемуариста *П. Ж. Мартьянова*, что в пятигорском салоне генеральши Е. И. Мерлини относились к Лермонтову "с явным предубеждением" и что, "по некоторым сведениям, незадолго до дуэли с Мартыновым близкие к Мерлини люди пытались спровоцировать ссору Лермонтова с офицером С. Лисаневичем". Прапорщик Семён Дмитриевич Лисаневич от этой роли уклонился: "Чтобы я поднял руку на такого человека!" – если эта фраза достоверна, то ясно, что и в офицерской среде иные люди понимали, кто такой Лермонтов. Начальник штаба полковник А. С. Траскин и сам командующий войсками Кавказской линии генерал-адъютант П. Х. Граббе скорее симпатизировали Лермонтову. Исследователи считают, что глубинной причиной ожесточения Мартынова было его неуравновешенное состояние, вызванное неудачами карьеры, обострившими некоторые черты его характера (самовлюблённость, потребность в самоутверждении – то, что теперь называют комплексами). "Вместе с тем не следует преуменьшать остроту конфликта между Лермонтовым и придворными кругами, некоторыми лицами, близкими к Бенкендорфу (например, министр иностранных дел К. В. Нессельроде), которых Лермонтов заклеймил в стихах "Смерть поэта" (ЛЭ, с. 153).

В этой связи безусловно неслучайна исключительная мягкость, проявленная царём Николаем к Мартынову, приговорённому к трехмесячному заключению на киевской гауптвахте и последующему церковному покаянию, которое через пять лет было отменено. Он жил в Киеве, затем в Москве, был выгодно женат, состоял в Английском клубе, где вечерами играл, и умер шестидесяти лет от роду. Глебов и Васильчиков были высочайше прощены.

Всё-таки повторим, что недопустимый по понятиям чести выстрел наводит на сильное подозрение, что Мартынов был как-нибудь обиняками заранее обнадёжен в смысле будущего наказания и тем поощрён к удовлетворению своей ярости. Дело ещё в том, что, по мягкому выражению Висковатого, он не был храбр, а тут совпало всё: и новое оскорбление ("Я в этого дурака стрелять не буду...”); и противник раздражительно выжидает, провоцирует, поднявши пистолет; и можно дать себе волю, и вот же она, *его* победа. Это была секунда, но её хватило. "Потеря для мира небольшая".

Для мира — как знать. А для русских — непоправимая.

Как ни полузабыт сегодня тон поношения русского самодержавия, как ни оборотился нынче сам вектор поношения, приходится коснуться и традиционно-размытого демократического толкования: убил его "самодержавно-крепостнический строй". Если и так, если и убил, то убил, как думается, отнюдь не за принадлежность к чуждому лагерю, не за приверженность демократизму или идейности какого-нибудь непозволительного толка; скорее, быть может, как раз за то, что он не поддавался никакому и, что хуже всего, идейному толку, что он сам был суд и судья всему, не считаясь в большинстве вопросов ни с кем, кроме тех немногих, кого любил (и с ними не в главных вопросах), что он ставил себе сам и решал выдающиеся по трудности познавательно-философские и художественные задачи, одинаково чуждый царю и Белинскому, не разделяя общественных установок, исходящих от кого бы то ни было и пообезьяньи подхваченных "направлениями" той или иной ориентации. С успехом его могли бы убить за то же самое и "демократы" — интересы партий обычно сходятся в отношении того, кто презирает их одинаково.

В работах советского времени неизменно акцентируется его интерес к декабристам и декабризму — и прямо привязывается его мировоззрение к их идеологии; в биографическом очерке *Б. М. Эйхенбаума* термин "декабристы" в прямой связи с Лермонтовым употреблён более десятка раз — притом известные слова Герцена о 14-м декабря и о том, как "вынужденные молчать, сдерживая слёзы, мы научились... вынашивать свои мысли... полные ярости" и т. д — по мнению биографа, "до некоторой степени заменяют нам недостающие признания самого Лермонтова". Не вызывает сомнения, что Лермонтов выспрашивал сосланных декабристов на Кавказе при всяком случае с глубочайшим интересом к их надеждам и планам, равно и к психологическим типам этих, впрочем, очень разных, людей (сам по обыкновению не открываясь и изображая легкомыслие), несомненна и его дружба с этими благородными людьми. Не нужно забывать, *кто* был Лермонтов как психолог, художник, патриот своей родины и мыслитель. Но нет никаких сведений о том, что он разделял их революционную идеологию. Слова "Богаты мы, едва из колыбели, *ошибками* отцов *и поздним их умом"* никак не соответствуют духу непримиримой революционности, скорее говорят о куда большей глубине чувствования русской исторической сути. Если соединить это с предсказанием "Настанет год, России *чёрный* год, когда царей корона упадёт" и с его выражением сути России в известном отрывке о Еруслане Лазаревиче... Но приведём его целиком: "У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем двадцать лет и спал крепко, но на двадцать первом году проснулся от тяжёлого сна — и встал и пошёл... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия..." Если связать это в целое, то его понимание прошлого и будущего страны окажется куда содержательнее прежних и последующих радикальных программ.

Непосредственные впечатления от разговоров с ним передаёт декабрист М. А. Назимов: "Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полёта, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи

журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нём удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьёзная беседа. А в нём теплился огонёк оригинальной мысли, – да, впрочем, и молод же он был ещё". (В передаче *П. А. Висковатова*). "Теплился огонёк"! "Молод был"! Глумился, отделывался шуткой или сарказмом... Насколько же он превосходил их всех, с их статьями и "наследием лучших умов Европы". Они, а не он, были дети перед ним. Жалок перед ним и сам Белинский, грозно выговаривающий Герцену, – что там, самому Гоголю! – он школьник перед этим мальчиком, видящим в секунду суть человека, его вторичность, его зависимость от чужих умов, чужой сильной логики – как будто логикой познаваем мир! Эти Вольтеры, Герцены, Белинские – провокаторы, остроумные критики внешнего, ведущие за собой таких же ожесточённых неприкаянных детей, – вот история революций и разрушения государств: дитяти нужны "восторги", ему хочется "вперёд"! Они всё постигли, они знают, где "перёд"...

В отличие от деятелей-середняков великий ум тем менее уверен, чем более знает. "Я знаю, что я ничего не знаю", – сказал Сократ. Каков итог жизни, целиком посвящённой познанию! Бытие мира таинственно; вещи в нём неслучайны. Только ограниченный ум тщится "улучшить" мир – ведь мы не знаем о нём ничего. Улучши *себя* – и спасутся около тебя многие! Но упорно втягивают могучую личность в свой лагерь: она придаст вес, она привлечёт внимание. Ему же хотелось выйти из круговой поруки людей. Находясь в отношении даже не презрения, а уж почти сострадания к примитиву, он бежал партий. И именно потому, что он был таков, он и был способен на гораздо большее, чем "демократия" или даже "народность", что бы под этим не хотелось тем или иным согражданам подразумевать.

Но месть тупиц ожесточается пренебрежением; и в том, если угодно, и заключалась "предопределённость". "Уступи, и победишь", – скажет мудрец Востока; "Аккуратнее всего быть с дураком", – сказала бы женщина.

Он не "замыкал" собой прежний этап развития и не "связывал" его с этапом новым, он уже *был* этим новым этапом. На полном ходу оборвали это развитие, в момент, когда восходила русская звезда.

...и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений...

Он мог достичь вершины! Но то не было обыкновенной вершиной – это должна была быть вершина вершин!

Новая подборка писем наших читателей обращена к поиску истины, стремлению увидеть правду за мелочами сегодняшнего дня, разоблачить клеветников и злопыхателей, которые ненавидят всякое стремление к добру, к правде и свободе. Читатели защищают наш журнал от гнусных нападок мелких людишек, они обеспокоены судьбой своего любимого журнала, они боятся остаться без него, без издания, которое стало подлинной духовной опорой их жизни и судьбы. И как разнообразен спектр нашей читательской аудитории! Здесь и несломленные коммунисты, которые в Бога не веруют, здесь и люди, твёрдо верующие в Бога, неуклонные ревнители Православия, но и они видят в нашем журнале свободную трибуну своим мыслям и словам. Всем нужен журнал "Наш современник", журнал русского духа, и вместе с нашими преданными читателями мы победим, мы выстоим!

"ИЩИТЕ ВСЮДУ ДУХА..."

"ЗАВИСТЬ НЕ ЛЮБИТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ"

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Прочитала майский номер "Нашего современника". Журнал, как всегда, на высоте. И вдруг – в моём любимом журнале читаю про некоего Байгушева – "а ля разведчик, или а ля интриган"!.. Много внимания ему уделено. Но в чём причина? Ответ простой – зависть к успешной деятельности успешного журнала, причём, безграничная, застилающая глаза, притупляющая здравый смысл, рождающая глухую ненависть.

"Наш современник" – флагман современной литературы. В нём публикуются произведения замечательных русских и российских современных писателей. Видно, что они безгранично доверяют редакции, общественному совету журнала. Это рождает зависть. Читатели пишут откровенные письма, а вы смело их публикуете. В этом проявляется взаимное уважение редакции журнала и его читателей. Опять причина для зависти!

В журнале публикуются талантливые молодые писатели, в произведениях которых есть аромат большой литературы! Это надо увидеть, почувствовать, разгадать новое имя и щедро предоставить ему страницы журнала! Ну, конечно же, это рождает зависть. Через увеличительное стекло, думается мне, просматривают литературные собратья вашу журнальную жизнь.

И ещё нюанс. Все авторы, которые разбирают дело доносчика, отвечают по-мужски, серьёзно, аргументированно, а надо было бы взять что-то из Салтыкова-Щедрина про "руководителя стратегической разведки при ЦК КПСС", "помощника Суслова", "лидера негласной русской партии внутри КПСС" и т. д. Прав Михаил Петрович Лобанов был в том, что "терпеть не мог всей этой байгушевщины".

Все эти доносы "закулисных" людей исключительно вызваны завистью, а она, как известно, рождает злобные действия и не любит противодействия.

Посмотрите, Станислав Юрьевич, в патриотическом литературном мире давно не всё гладко. Взять хотя бы беспрецедентную травлю Ивана Переверзина. И за что? За то, что человек указал – дачи в Переделкино никак не могут стать частной собственностью. Они государственные, отданные для проживания и творческой работы писателей. Это не предмет для приватизации и обогащения. Это незаконно.

А с “Литературной Россией” что происходит? Зачем эти оскорбительные публикации? Разные взгляды всегда будут. Их можно и нужно высказывать. Человек, который хочет добра, но по-другому видит путь к нему – не враг! Но клевета, доносительство!.. Ядовитая молва, искусственно созданная и запущенная в мир – чудовищное оружие. Вся эта гнусная компания преследует только одну цель, – уничтожение. Это, знаете, охота, есть охота на волков, а это – на людей. Это увлекательное занятие для тех, у кого за душой ничего нет. И ведь кто-то это оплачивает, кто-то руководит всем этим действом.

“Наш современник” – центр русской словесности всей нашей многострадальной России. Журнал сохраняет дух и букву русской литературы, русского языка. Он стоит уже многие годы на страже государства Российского. И не замечать этого нельзя.

Мужайтесь, Станислав Юрьевич! Это война и покой Вам только снится. Рука хотела написать “нам”, но прекрасно понимаю, что мы – читатели – в тылу, а Вы – на передовой.

Здоровья. Спокойствия. Единства. Выдержки.

С уважением

Надежда Александровна Ланчикова
г. Москва

“Я НЕ МОГУ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЖУРНАЛА”

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Обращаюсь за помощью к Вам, редактору моего любимого журнала “Наш современник”. Я не получила № 4–6 вашего журнала за этот год. Обращалась к начальнику почты у нас в Уфе, мне сказали, что редакция не выслала мне журнал, обещав вернуть деньги. Но деньги мне не нужны, мне нужен ваш журнал. Я очень старая подписчица журнала. Выписывала “Новый мир”, а в 80-е годы стала подписываться на “Наш современник”. И с тех пор подписываюсь, не пропуская ни одного полугодия. И в прошлом году оформила подписку вовремя. Но на почте перепутали индекс журнала, и я не стала его получать. Ценою больших моих усилий почтовое отделение договорилось с редакцией журнала, и мне с апреля должны были высылать журналы, но я их не получила. Помогите, пожалуйста!

В уфимских библиотеках, которыми я пользуюсь, журнал не выписывают – дорого! Я сама делилась с библиотеками – отдавала им полугодовые подписки. В свободной торговле журнала тоже нет. Я не могу остаться без журнала. На второе полугодие давно подписалась и теперь надеюсь, что на почте ничего не перепутают.

Станислав Юрьевич! Я очень старый человек, мне идёт уже 94-й год, но я живу, как и прежде, интересами страны, даже тружусь физически в общественном палисаднике и общаюсь с бывшими своими учениками, сейчас пенсионерами. Дочь моя, с которой я живу, и сын – доцент университета – тоже читатели. Даже внучки (журналистка и музыкант) не обходятся без общения с “Нашим современником” и с “Молодой гвардией”. В недавнем прошлом Вы подарили мне с автографом книгу своих стихов. Затем выслали по моей просьбе “Стас уполномочен заявить”. Прошу вас и сейчас: вышлите “Жрецы и жертвы холокоста” и “Любовь, исполненная зла”. Журнальных выдержек, конечно, недостаточно. Думаю, что моей семье, молодым думающим, тоже полезно будет познакомиться. Я же в своё время подбирала материал о холокосте из периодики в особую тетрадь.

Спасибо Вам за Ваш журнал, спасибо всем его сотрудникам, всей редакции. И только просьба – не оставляйте нас, подписчиков без Вашего журнала, ибо в теперешнее время он нам помогает выживать, разделяет наши мысли, чувства, несёт большую позитивную надежду. С Вашим журналом мы чувствуем локоть друга, мы вместе, мы единомышленники.

Валерия Иосифовна Избицкая
г. Уфа

Комментарий от редакции: Мы благодарим Валерию Иосифовну за любовь к журналу “Наш современник”. Такими читателями мы особенно дорожим. Поэтому по первому же обращению В. И. Избицкой редакция выслала ей номера журналов, затерявшихся на почте.

“БЛАГОДАРЕН ЗА ПУБЛИКАЦИЮ”

Станислав Юрьевич, добрый день!

Искренне благодарен Вам и редакции журнала “Наш современник” за публикацию, с которой выступил Швед в журнальных номерах № 3–5.

Швед последовательно в своей статье раскрывает путь Горби к открытому предательству. Впечатляющее изложение: попал в паучью сеть – из неё не выберешься ни перестройкой, ни кампанией за трезвость, и раскрыто, что он и не пытался выкарабкаться, выжига впутывал людей и обманывал народ. Его раскусили простые колхозники, когда он появился в родном селе, – не радостью, а гневом встретили земляка, и с той поры он забыл могилу родной матери и отчима. Убедительно раскрыл Швед падение запятнанного от рождения человечка.

Шеварднадзе выскочил на высоты власти в борьбе с теневой экономикой, и сам в ней погряз. Швед показал, что сблизило Горбачёва с Шеварднадзе. Хитроватого Эдика не зря в народе прозвали Лисом. Это называется одним словом – предательство. Только то, что в 90-е годы по Москве бродило 50 тысяч беспризорных детей, это достойно высшей советской меры наказания. И. В. Сталина либералы чихвостят за репрессии. Но вождь вёл страну к лучшей жизни. Куда привели государство Горбачёв и Ельцин? Найдётся историк и покажет, сколько людей ушло из жизни раньше времени в 1930-е и 1990–2000-е годы и к чему мы пришли. Страну разгромили не атомной бомбардировкой, а захлёстом воровских цунами.

Мы живём в эпоху разбойничьего капитала, когда разгромлены рабочее и коммунистическое движения, когда булыжник стал оружием империалистов. Натворили такое в стране, что даже либералы не поминают про шведский и норвежский социализм. Прав Великий Ленин, что любая революция чего-нибудь стоит, если она умеет себя защищать! Хрущёв убрал контроль КГБ над партийными органами, а контроль других органов не усилил, создалась лазейка для иностранной разведки. Ею и воспользовались. Разгромили социалистическое государство и стараются добить нас, натравливая на Россию то поляков, то украинцев, то турок, что мы видим сейчас воочию.

Для защиты страны работает Госдума, так, пожалуйста, дайте такой парламентский материал, чтобы возрос тираж журнала, и понимало бы большинство, что ни жириновские нас спасут, а честные патриоты.

Успехов Вам, Станислав Юрьевич, в публицистике и в укреплении здоровья!

В. А. Мотовилов
г. Калачинск Омской области

СПОР ПОЭТА И МОНАХА

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Прочитал подаренную Вами книгу “И бездны мрачной на краю”. Благодарю Вас. Задел за живое раздел книги, касающийся монаха Брянчанинова, обличённого поэтом Кузнецовым. Дерзну не согласиться с категоричным и несправедливым суждением великого поэта Юрия Кузнецова в адрес великого православного писателя Слова Божия – святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского.

Проблема Православия, его истинных защитников и последователей – наиважнейшая. Особенно когда атака на Православие достигает в мире небывалых размеров. Поэтому замалчивать эту тему – значит, погрешить против истины, “...но истина дороже”. Потому считаю необходимым в историческом ключе рассмотреть проблему эмоционального суждения Юрия Кузнецова. Полностью она звучит так:

Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освещённый, как все.
Где та древняя свежесть зари,
Аромат и тепло?
Царство Божье гудит изнутри,
Как пустое дупло.
Ваша вера суха и темна,
И хромает она.
Костыли, а не крылья у Вас,
Вы разрыв, а не связь.
Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц.
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.

"...Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики, – сказал Кузнецов в одном из последних своих интервью. – ...По Игнатию Брянчанинову выходит, что надо уничтожить пшеничное поле, потому что на нём есть плевелы. Но плевелы надо отделять от злаков. Каждый злак ведь дорог! Но такой труд не для святителя. Он режет по живому и не замечает, что при этом льётся кровь. Каков монах! Каков инквизитор!.. Игнатий Брянчанинов плохо знает людей, он их видит в узком просвете христианской аскезы. Он не понимает природы ума. Ум – производное чувство. Всё, что есть в уме, всё это есть и в чувствах, только в зачатке, в спящем состоянии. Умертвить чувства – значит, подорвать корни ума".

И далее Юрий Кузнецов в предсмертном стихотворении, опубликованном в ноябре 2005 года, отвечает от имени поэта монаху, сказавшему: "Искусство – смрадный грех" – своеобразным монологом:

Ты умерщвляешь плоть и кровь,
Любовь лишаешь ощущенья,
Но осязательна Любовь,
Касаясь таин Причащенья.
Какой же ты христианин
Без чувственного постоянства?
Куда ты денешь, сукин сын,
Живые мощи христианства?
Так умертви свои уста,
Отвергни боговоплощенье,
Вкушая плоть и кровь Христа
И принимая Причащенье.
При грозном имени Христа,
Дрожа от ужаса и страха,
Монах раскрыл свои уста —
И превратился в тень монаха.
А тень осклабленного рта —
В светящую воронку праха...

При прочтении этой книги кто-то разуверится в истинных служителях Церкви, кто-то будет иметь повод позлобствовать, кто-то будет нести возмущение в душе своей, если один из почитаемых святителей Русской Православной Церкви сохранится в сознании читателей в судейской оценке поэта.

Так кто же такой монах Игнатий Брянчанинов? "Сукин сын", скрывавший "под монашеским обличьем свою тёмную личину" или ярый защитник истинного Священного Писания? Я не учёный богослов. Используя общедоступную литературу, прочитываю в очередной раз религиозное издание книги "Ищите всюду Духа, а не буквы" – полное жизнеописание Игнатия Брянчанинова, и думаю, я прав в своём намерении.

В философии есть парная категория: "случайная необходимость" и "необходимая случайность". Случайность – это от лукавого. В православном изло-

жении нет случайностей, есть Божий Промысел. Так, по Божьему Промыслу в семье потомков древних дворян Брянчаниновых 6 февраля 1807 года родился младенец, наречённый Дмитрием. Далее краткие фрагменты из книги "Ищите всюду Духа, а не буквы".

Родовое имение его отца располагалось в селе Покровское Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Младенец возрастал в окружении величественной безмолвной природы среди светской обстановки. Возрастая, углубляясь в себя, он чувствовал себя "питомцем пустыни". "...Искра Божественной Любви коснулась его чистого сердца".

...Его отец – Александр Семёнович – детей своих видел на высших государственных должностях, "на что они по роду и состоянию имели неотъемлемое право".

...По нравственности и уму юноша был несравненно выше своих лет, но не обнаруживал ни малейшего превозношения или хвастовства... С возрастом религиозное настроение Дмитрия Александровича обнаруживалось заметнее: оно проявлялось в особенном расположении к молитве и чтению книг духовно-нравственного содержания. Способствовали в этом профессора Вологодской семинарии и учителя гимназии... 16-летним юношей в 1822 году Дмитрий по настоянию отца, несмотря на выраженное ему вслух желание идти в монахи, поступает в Главное инженерное училище. Здесь он блистательно сдаёт вступительный экзамен. Отличная подготовка Дмитрия в науках, а также знание латинского, греческого и французского языков заставили обратить на него внимание Великого князя Николая Павловича, бывшего тогда генерал-инспектором инженеров России. Ставший императором Николай Павлович и его супруга оказывали милостивое расположение Дмитрию Брянчанинову. По окончанию инженерного училища Дмитрий успешно продвигался по служебной лестнице. Родственные связи, редкие умственные способности и личные нравственные качества позволили ему бывать в доме тогдашнего президента Академии художеств Оленина. Там на литературных вечерах Дмитрий Александрович являл себя замечательным чтецом. А поэтические и литературные дарования были отмечены вниманием Гнедича, Крылова, Батюшкова, Пушкина. И далее из книги: "...Дмитрий Александрович и в шуме столичной жизни остался верен своим духовным устремлениям, какие воспитал в уединении в родном селе Петровское. Он всегда искал в религии *живого, опытного знания*. И хранимый внутренней благодатью не поддавался тлетворному влиянию чуждых учений, ни приманкам светских удовольствий".

Мучительно долго Дмитрий Александрович искал ответы на свои духовные запросы в науках – науки молчали. Он претерпевал непонимание от священнослужителей. Внезапная мысль внушала изучить веру в источниках – в писаниях святых отцов "их святость ручается за их верность истине", – с усердием вникал Дмитрий в чтение святых отцов. "Оно с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах российской церкви несомненно, чего лишены вероисповедования Западной Европы **как не сохранившие в целости ни догматического, ни нравственного учения первенствующей Церкви Христовой** (выделено автором). ...Оно научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к вечности".

Несмотря на сопротивление родителей в его стремлении стать монахом, преодолевая многие препятствия монастырских приходов, могущих его разочаровать, он достигает своей цели. 28 июля 1831 года Дмитрий Александрович был пострижен в монахи и был назван Игнатием. Многотрудный монашеский путь Игнатия Брянчанинова сопровождался постоянным духовным совершенствованием. Иоанн Лествичник назвал это устремление лестницей восхождения к Богу. "Игнатий Брянчанинов имел особенный дар смотреть на всё духовно: малейшие случаи, ничтожные, по-видимому, обстоятельства часто получали у него глубокий, духовный смысл. Они доставляли обильную пищу его уму и сердцу и нередко слова в дивной гармонии изливались из его духовно-поэтической души. Таковы его произведения: "Блажен муж", "Чаша Христова", "Песнь под сению креста", "Плач инока" и многие другие".

Игнатий Брянчанинов на опытных житейских пшеничных полях смело и бескомпромиссно отделял зрелые плевелы от вызревшей пшеницы. Он на основе своего опыта достойно отстаивал, дополнял и утверждал Слово Истины.

В одном из последних своих интервью Юрий Кузнецов сказал: "Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики".

Живой Христос – это живое Слово Его. Уход от живого Слова Христа ведёт к плотскому вожделению отдельных человеков или к ереси, ведущей к революционным потрясениям.

Так, в начале VI века в Римской империи случились массовые волнения из-за одного слова Символа Веры: Христос "единосущный" или "подобосущный". Видный проповедник Арий утверждал, что Бог был сотворён Богом-отцом. Но это противоречило христианскому учению о том, что Христос единосущен и равен Богу-отцу. Чтобы предотвратить волнения народа, император Константин вынужден был созвать в городе Никея в 325 году Первый христианский собор, утвердивший догмат Символа Веры с основополагающим словом "единосущный", сохранившимся до сего времени.

Период царствования Александра I назван масонами "золотым веком русского масонства", занесённого франко-британским ветром политического воздействия на Россию. В масонские многочисленные ложи входили видные государственные персоны (М. М. Сперанский, князь А. И. Голицын) и некоторая часть духовенства. В этот период масоны созданного русского "Библейского общества" наводнили территорию России книгами Священного Писания. Но так исказили догмат апостольских правил и творения святых отцов, что, по выражению истинного защитника Отечества, тогдашнего президента Российской академии наук Александра Семёновича Шишкова, "чтение священных книг состояло в том, чтобы истребить Православие". А написанный в этот период русский перевод Госнера "О Евангелии от Матфея" настолько исказил истину, что в переводе оно, Евангелие, превратилось в антиправославие. Возмущённые истинные радетели Отечества во главе с А. С. Шишковым вскрыли коварную суть госнеровского написания и вынудили императора принять решение о высылке Госнера за границу. Русский перевод книги решением суда был сожжён палачом, а переводчики и цензоры отданы под суд. Все масонские ложи и тайные общества в России были запрещены.

В наше время под ширмой революционных демократических преобразований М. Горбачёв и пришедший к власти Б. Ельцин и его окружение развалили СССР. **Б. Ельцин в угоду западным политикам своим указом в противовес возрождающемуся Православию разрешил хлынуть на просторы российской территории разного рода западным сектам с их развратным воздействием на умы и души духовно ослабленных россиян.** Вред их воздействия ещё не оценён и будет углубляться, если пшеничное поле России не будет вовремя решительным образом очищено от плевел западных сеятелей.

Таким образом, наименование ширмы революционных преобразований меняется, а суть остаётся прежней. Целью якобинских революций является злобное свержение существующей верховной власти на фоне рекой текущей жертвенной крови. **Эволюционный путь развития любой общественно-экономической формации – это бескровный, естественный, Божественный путь. Это путь прогресса. Революционный же путь – это взрывной, кровавый, сатанинский путь. Это путь регресса.**

Но вернёмся к монаху Игнатию. Да, в своих гневливых провидческих утверждениях истины Игнатий Брянчанинов – "враг якобинского прогресса, который стремится к преуспеянию в безбожии, безнравственности, к отвержению всех властей и законов, к гибели человечества нравственной и гражданской". Утверждение же Юрия Кузнецова, что Игнатий Брянчанинов "плохо знает людей, что он видит их в узком просвете христианской аскезы, что он режет по живому и не замечает, что при этом льётся кровь", по меньшей мере, неосмотрительно.

Образцом стремления к духовному совершенству многие считают Макария Великого, являвшегося отцом отцов, наставником святых и преподобных. Чудотворцы находились у него в повиновении. Когда его спросили, откуда его познания о духах и душе, он ответил: "От Святого Духа. Редкие, – говорил он, – даже из святых сподобляются этого опытного и вместе благодатного познания... Борьба с духами в помыслах и ощущениях свойственна всем христианам, проводящим жизнь по заповедям Божиим. Явная борьба попускается от Бога преуспевающим аскетам, чтобы соделать их способными к принятию христианского совершенства, чтобы можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против духа злобы поднебесной".

В книге "Ищите всюду Духа, а не буквы" отмечается, что "кроме духовного руководства архимандрит Игнатий занимался со своими учениками разви-

тием их способностей в искусствах и сообщением научных познаний сообразно их положению". Так, заметив в послушнике Иване Малышеве наклонность к художествам, он дал ему возможность учиться живописи в Академии художеств, которая развила в нём познание и вкус настолько, что этот послушник имеет известность знатока-специалиста как по живописи, так и по архитектуре церковной. Другому послушнику Ивану Татаринову, обладавшему прекрасным тенором, доставил возможность обучаться пению и музыке под руководством именитого русского маэстро Глинки.

И если Игнатий Брянчанинов оценивал искусство, как "смрадный грех", то лишь ту сторону порока, которая проявляется после танца дочери блудницы Иродиады, испросившей у Ирода голову Ионна-Крестителя. Или нынешнее киноискусство, проповедующее насилие, блуд, безнравственность. Клеймить такое "искусство" нужно повсеместно.

"...Вообще, по природе своей близкий к сангвинистическому темпераменту, Игнатий Брянчанинов тщательно наблюдал за охранением своего душевного мира, подавляя всякие излишние порывы, и строго разбирал свойства каждого душевного влечения. Поэтому в его "Аскетических опытах" нередко упоминается о кровяных движениях, препятствующих духовному состоянию, о ревности, происходящей от кровяного разгорячения, о разнообразных действиях крови в разных страстях, что указывает на глубокое и всестороннее наблюдение старцем духовной человеческой природы и влияния на неё плоти и крови". А разгорячённые страсти народных масс, разогретые посулами вседозволенной свободы плоти, ведут к революционным потрясениям, умытым обильной жертвенной кровью. Это мы сегодня наблюдаем в цветных революциях в Грузии, Прибалтике, на Украине. Кто следующая жертва?

Юрий Кузнецов приблизился к пониманию Бога через простор воображения в порыве поэтического вдохновения.

Игнатий Брянчанинов унаследовал Богопознание из своего опыта аскетической жизни через учение святых отцов при постоянном восхождении к духовному совершенству.

Иисус Христос учил учеников своих: "Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали пророков бывших прежде вас. Вы – соль земли" (Ев. от Мф.).

Игнатий Брянчанинов на протяжении всей своей монашеской жизни, опираясь на собственный опыт, писал: "Христианство требует терпения по отношению к ближним, уклонившимся от любви к злобе".

Юрий Кузнецов говорил: "стихи стали для меня всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой". То есть поэзия стала для Кузнецова своеобразным идолом. Он пренебрёг заповедью: "не сотвори себе кумира". Отсюда кузнецовское посвящение монаху:

При грозном имени Христа,
Дрожа от ужаса и страха,
Монах раскрыл свои уста
И превратился в тень монаха...
А тень осклабленного рта —
В светящую воронку праха.

Таким выплескам поэтического ума можно обессолить соль земли. И "тонко чувствующий поэтический гений своего друга" Ст. Куняев проникновенно высказал ему своё предостережение: "По-моему, ты даёшь поэту слишком большие права, выходящие за пределы поэзии. Осуждать монаха словами "сукин сын" и делать поэта судией над монахом? Можно ли так?"

В приближении к пониманию Бога, знал бы Юрий Кузнецов полное жизнеописание Игнатия Брянчанинова, его восклицание в адрес монаха с упрёком: "Каков монах! Каков инквизитор!" – прозвучало бы с восхищением: "Какой монах! Каков инквизитор зла!" И предсмертные строки поэта – гения пера, прозвучали бы, думаю, по-иному.

Очень хорош известный афоризм: "Поэзия – путь к покаянию, а религия – путь ко спасению". Внезапный уход из жизни не позволил великому русскому поэту Юрию Кузнецову завершить поэму "Рай" и подготовить себя перед кончиной к духовной исповеди. С последним словом "домой" он ушёл преодолевать путь к вратам рая.

И. Брянчанинов завершил пятый том своих сочинений “Отечник”, посвятив “всю жизнь свою подвигам деланий духовных, заповеданных Господом”. Келейник святителя Игнатия говорил о последних днях его, что “уклоняясь от общения с людьми, он, видимо, уже не жил на земле”. И, вероятно, лишь лёгкое облачко жизни заслоняло его от распахнутых врат рая.

Благодаря Вашей книге, дорогой Станислав Юрьевич, посвящённой великому русскому поэту Юрию Поликарповичу Кузнецову, люди проявят желание подробней познакомиться и с жизнеописанием достойнейшего утвердителя Божией Истины, которую Игнатий Брянчанинов утверждал даже вопреки начальствующих его лиц с его опытным жизнеутверждающим принципом: “Ищите всюду Духа, а не буквы”.

С чувством братолюбия –

Александр Бабаев
г. Набережные Челны, Татарстан

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Дорогие и уважаемые Александр Иванович, Сергей Станиславович и вся ваша плеяда русских витязей – наша национальная гордость!

Пишет вам Шурманов Юрий Игнатьевич из обезлюдевшей псковской глубинки, только что у нас ликвидирована – “оптимизирована” – любимая юридическая формула помешавшегося на римском праве премьера, Леховская Волость. Зачистка северо-запада от русских движется к завершению.

Станислав Юрьевич, с июня 2015 года я возобновил подписку на Ваш журнал, а с января этого года повторил её пока на полгода. Несколько раз, правда, с перерывами, делал это с болью в душе, что было связано с известными проблемами выживания.

Я не являюсь исключением и при этом тяжко страдаю от того, сколько мной потеряно мудрости без общения с Вами. Дело в том, что Ваш журнал и публикуемые в нём материалы для меня – живая вода, чистейший источник, который давал и даёт мне все силы для бытия. К этому можно добавить, что твёрдость, стойкость и непреклонность моего нынешнего самосознания я связываю с Вашим журналом и счастлив, что он у нас есть и показывает величайшее искусство в непрерывной борьбе с многоликим злом, обрушенным на Россию и русский народ сатанинской силой.

Станислав Юрьевич, в первом номере “Нашего современника” за 2016 год журнал сообщает, что в редакции можно приобрести Ваши новые книги: “Нет на свете печальнее измены...”, “Русское слово и мировое зло”. К сожалению, у меня нет средств связи (никаких, как в пустыне), поэтому и обращаюсь к Вам и Александру Ивановичу, у которого вышла книга “Имитаторы”: убедительно прошу прислать мне наложенным платежом в мою глухую псковскую деревню.

Письмо к Вам я начал писать 5 марта 2016 года. А это рубежное число – Тимофей весенний, овсянка подала сигнал: “Скинь кафтан, покинь сани”. Пока грачей, скворцов, ласточек не видно, но сегодня снег, выпавший в последние две недели, весь день оседал и намокал влагой, и птахи божии уже на подходе. Такое чувство есть, а я весь день напевал на стихи незабвенного Юрия Поликарповича Кузнецова, подаренные мне вместе с Вашей книгой “Сергей Есенин”: “Опять весна и в русскую глубинку // весенний ветер гонят журавли”. Кстати, я написал музыку на эти слова Юрия Поликарповича и послал Вам, чтобы и Вы разделили мою радость. Тогда даже хотел выслать экземпляр и его жене Батиме, да адреса не знаю, а у Вас попросить постеснялся, но это так, к слову.

Я обретаюсь в 150 метрах от огромного болота, и вот уже 27 лет каждый год ожидаю перелёта журавлей. Вожак со своей станицей в день прилёта делает несколько больших кругов и оповещает своей серебряной трубой о своём возвращении. И каждый год, как и нынче, я с тревогой думаю, даст ли мне Бог ещё раз встретить, услышать, увидеть спокойные царственные круги уставших, вернувшихся в Отечество красивых и величавых птиц.

Низкий Вам поклон, дорогие ратоборцы, и умножения сил.

Сражение, которое вы ведёте за Россию и русский народ, — это воля Божия.

Господи, спаси и сохрани наших воинов.

Аминь.

Уважаемый Станислав Юрьевич, прошу Вас убедительно, берегите близких, вашу жену, детей, есть ли у Вас внуки, не знаю. Но если есть внук, то он нуждается в постоянной охране, ибо он всегда носитель самых сильных и лучших наших качеств, помноженных на число 7. Это число полноты.

Силы тьмы знают это и будут атаковать именно его. Они используют у нас змеиную мудрость, и от них нельзя ждать добра, они делают только зло и, в первую очередь, русским, о чём свидетельствует вся наша оболганная за 400 последних лет история.

Сердечно —
Юрий Шурманов

Поздравляем нашего сталинградского автора
Василия Стружа с 55-летием!
Желаем успехов в творчестве и жизни!
Редакция

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

СЛАВА ГЕРОЯМ! ФАШИСТСКИМ?

О странностях "мемориальной пропаганды"

Не так давно кубанский казачий атаман предложил поставить в Краснодаре памятник генералу Краснову, мол, яркий полководец, много раз воевал за Россию, поддерживал казацкий дух, а то, что был белым генералом, сейчас и не страшно, может, это даже лучше, чем красным. Наверное, так бы и поставили. Только одного не учел нынешний казачий атаман, или, скорее всего, осознанно скрыл, что в годы Великой Отечественной войны генерал Петр Краснов, в отличие от генерала Деникина, радующегося победам Красной Армии над фашистами, служил этим самым фашистам, и не где-то в обозе, а командовал эсэсовскими казачьими частями. Так что все-таки есть отличие белых генералов Врангеля, Колчака и Деникина от тех белых генералов, которые пошли служить Гитлеру. Вот и повесили генерала Краснова вместе с Власовым и другими предателями в Москве.

Но переоценка ценностей, тем не менее, продолжалась. Совсем недавно в Армении, достаточно зависимой и сейчас от России и экономически, и политически, поставили памятник якобы национальному герою Гарегину Нжде. Отличился он еще совсем молодым на Балканах, где воевал с турками, вырезая турецкие деревни, затем храбро сражался в рядах царской армии, после революции возвращается в родной Ереван и занимается в Зангезуре чисткой азербайджанского населения. Заодно воюет и с красноармейцами.

В 1930-е годы Гарегин Нжде увлекается фашистской идеологией, перебирается в Германию, где работает под крылом начальника внешнеполитического управления НСДАП Альфреда Розенберга. Здесь он вместе с генералом Дро занимается формированием армянских военных отрядов для войны против СССР, а также входит в созданный фашистами "Армянский национальный совет". 809-й армянский пехотный батальон был переброшен на Украину и в Польшу, где участвовал в операциях против партизан. За заслуги личный состав батальона заслужил похвалу от командующего Вермахта на Украине Гитцингера и командующего восточными частями генерал-майора Ильгена. Особого внимания заслуживает деятельность зондеркоманды "Дромедар", получившей свое название в честь генерала Дро. В апреле 1943 года она занималась организацией разведывательно-диверсионных мероприятий в тылах войск Северо-Кавказского фронта.

В 1944 году, вовремя поняв, подобно Муссолини, Маннергейму и болгарским лидерам, что Германия войну проиграла, Нжде снова меняет свою кожу, начиная заигрывать с коммунистами, пишет письмо Сталину, в котором пытается оправдать себя и свои преступления. Он предает своего товарища по оружию генерала Дро, называя последнего предателем и преступником, тем не менее, фашиста арестовали и осудили на 25 лет. Будущий герой Армении

и столп Республиканской партии Саргсяна не дожил до окончания срока, скончавшись во Владимирском централе 21 декабря 1955 года.

Зачем сегодня Армении надо возвеличивать нациста, скончавшегося в российской тюрьме?

Установление памятника Нжде в Ереване вызвало резкую реакцию в России. Россия ведет по всей Европе борьбу с неофашистскими тенденциями, а в столице ее кавказского союзника воздвигают памятник нацисту и головорезу. Для Москвы Нжде никакой не герой – он обычный военный преступник и фашист. Но никакой ноты протеста из российской столицы в Ереван не последовало.

Политолог Сергей Марков, обычно озвучивающий кремлевские позиции, заявил: "Открытие памятника Гарегину Нжде свидетельствует о наличии в армянском обществе неких мощных сил, которые ориентированы против России, ведь Россия является главным победителем германского нацизма. Подобный поступок Еревана выходит за все приемлемые форматы. Это должно потребовать решительной реакции России..."

"Сотрудничество с германским нацизмом и тем самым соучастие в его чудовищных преступлениях, в том числе в геноциде русского народа, одном из важнейших стремлений германского нацизма, должно зачеркивать любые заслуги", – заявил Сергей Марков.

Интересно, почему он молчит по поводу мемориальной доски маршалу Маннергейму не в далёком Ереване, а в нашей северной столице – в Петербурге?

Вот это была уже самая настоящая сенсация мирового уровня, хотя она и замалчивается в нашей прессе. Местом для уже повторной попытки увековечивания памяти Карла Густава Маннергейма в Санкт-Петербурге выбрано здание на Захарьевской, 22. До 1948 года здесь располагалась Церковь святых и праведных Захария и Елизаветы (домовая церковь лейб-гвардии Кавалергардского полка), а после сноса храма был построен учебный корпус военного инженерно-строительного училища, сегодня это Военный инженерно-технический институт имени генерала Комаровского. Кавалергардом был и барон Маннергейм. Вот он и стал первым кавалергардом, увековеченным в каменной летописи Петербурга. Ни славный партизан Денис Давыдов, ни освободитель всех славян генерал Михаил Скобелев – тоже кавалергарды – такой чести не удостоены. Следующим, очевидно, согласно нынешней перевернутой логике, отметят памятной доской кавалергарда Жоржа Дантеса.

Не поверите, но предложение установить в Петербурге памятную мемориальную доску в честь барона Маннергейма поступило от Российского военно-исторического общества, больше в военной истории России весомых фигур для увековечения памяти не нашлось. Как указывается на главном сайте этого общества: "У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно!.." Слова самого Владимира Путина. Вот и подобрали героя для примера.

На сайте "Фонтанка" я нашел высказывания самих питерцев о Маннергейме. Руководитель Военно-исторического клуба "Ленинград 900" Артем Кокин считает: "Нам рассказывают, что он был весь такой любитель Ленинграда, но все-таки блокада состоялась в том числе благодаря и ему. Все разговоры о том, что он отдал приказ не штурмовать Ленинград, являются исторической фальсификацией. Финнов остановила Красная армия. Я не могу иначе к этому относиться – у меня прадед погиб под Ораниенбаумом, прорывая блокаду Ленинграда". Заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Барышников также не уверен в необходимости героизации полководца. "Маннергейм если и был героем, то, конечно, не России, а иного государства, – считает он. – Все его заслуги, которые были связаны с нашим Отечеством, они существовали. Но таких генералов в русской армии было более чем достаточно, и преувеличивать значение одного из них не следует".

И называть Маннергейма спасителем Ленинграда просто кощунственно. "Задача была Ленинград взять, – говорит Барышников. – Даже более того: в Финляндии была заготовлена правительственная речь по поводу взятия Ленинграда, и в ней ничего хорошего о нашем городе не говорилось. Давайте вспомним, что финские войска также оккупировали советскую часть Карелии. Практически все города были переименованы на финский лад. Что говорит

о том, что эти территории хотели сохранить за собой. Режим, установленный на территории Карелии, был расистским по своей сути. Русское население отделялось от финно-угорского, определялось в концлагеря, смертность в которых в процентном отношении была даже выше, чем в немецких. И эти жертвы ложатся тенью на маршала Маннергейма".

Один из сотрудников военно-инженерного института, на стенах которого теперь закреплена мемориальная доска, считает: "На занятиях по военной истории курсантам рассказывают, что Маннергейм был союзником Гитлера, его войска держали Ленинград в блокаде. Желания принимать участие в ее открытии лично у меня никакого нет. Но если нам прикажут, придется стоять там – позориться. У меня дед воевал на Ленинградском фронте, если бы он сегодня был жив, мне было бы стыдно ему в глаза смотреть..."

Пробовали и протестовать против этого увековечения, но очень уж с больших высот прозвучало это требование. На открытие мемориальной доски приехали из Москвы министр культуры Мединский и глава администрации президента России Сергей Иванов. Куда уж выше.

Только непонятно, откуда возникло это дикое желание? Дело в том, что в самой Финляндии к этому увековечению отнеслись с определенным скепсисом, сами финны к маршалу относятся достаточно сложно, помню, когда я был последний раз в Тампере, видел его памятник, весь залитый ядовитой краской. Так что особой радости это питерское увековечение финнам не доставило. Тогда кому это понадобилось?

Может быть, нам в центре Москвы установить памятник великому французу Наполеону, жаль, прозевали 2012 год, как раз бы к юбилею и установили бы?! А заодно и Чингиз-хану, дабы угодить восточным народам. И как-то в северной столице всё одно к одному подбирается. Только что отшумела полемика по поводу моста имени Ахмата Кадырова, моста, который народ уже метко прозвал "Ахматовским", – думаю, и так останется в памяти всех. И вот уже, перейдя Кадыровский мост, мы подходим к памятной доске в честь маршала Маннергейма. Совсем, что ли, белены объелись?

Официальные СМИ сообщают: "Карл Маннергейм в Финляндии считается национальным героем. Тридцать лет его жизни при этом связаны с Россией: он служил при императорском дворе в Петербурге, участвовал в русско-японской войне, командовал частями российской армии в Первую мировую.

После прихода большевиков к власти Маннергейм уехал в Финляндию, где стал главнокомандующим. В 1941–1944 годах он возглавлял финские войска, воевавшие против СССР, но вопреки требованиям Германии не стал наносить удар по Ленинграду с севера..."

Вот и пусть в Финляндии он считается героем, это дело самих финнов. Но зачем же нагло врать, что Маннергейм не стал наносить удар по Ленинграду с севера?

"Тем вот, кто сейчас там кричит, я хочу напомнить от нас: не надо быть святее Папы Римского и не надо стараться быть большим патриотом и коммунистом, чем Иосиф Виссарионович Сталин, который лично защитил Маннергейма, обеспечил его избрание и сохранение за ним поста президента Финляндии и умел к поверженному, но достойному противнику, относиться с уважением", – прокомментировал Мединский.

Сталину же в 1944 году надо было быстрее вывести из войны гитлеровских союзников, он и шел на переговоры и с Маннергеймом, и с болгарами, выигрывая время и защищая национальные интересы России. Так в свое время он и с Германией подписал договор о ненападении. Сталин, как бы ни уверял нас Мединский, не брал Маннергейма под свою защиту. Как очень прагматичный политик он понял: Маннергейм в Финляндии – фигура уважаемая и компромиссная, и если его взять и повесить, то у правых партий будет свой мученик. Все преступления были повешены на Ристо Рюти. Маннергейм же был исключен из списка военных преступников, но это не равносильно тому, чтобы вешать ему памятную доску.

На Карельском перешейке и в Карелии к этому времени финские войска были вынуждены отступить. Сначала Германия перебросила в Карелию часть войск из Эстонии, но впоследствии была вынуждена их забрать. Финляндия стала искать пути для выхода из войны. 4 августа 1944-го вместо ушедшего в отставку Рюти президентом страны стал маршал Маннергейм.

Узнав о протесте, высказанном немецким посланником против намерений Маннергейма выйти из войны, последний жёстко ответил:

"...Он в своё время убедил нас, что с немецкой помощью мы победим Россию. Этого не произошло. Теперь Россия сильна, а Финляндия очень слаба. Так пусть сам теперь расхлёбывает заваренную кашу..." Вот и все мнимое благородство маршала, пригнул его Сталин, он и побежал на другую сторону, как всегда делают слабаки.

19 сентября 1944 года в Москве было подписано соглашение о мире между Финляндией и СССР.

А тем, кто фальшиво делает из Маннергейма пламенного русского патриота, я скажу: почитайте документы. Еще с 1918 года и до конца дней своих маршал делал все, чтобы переиграть русских. Сначала выиграл гражданскую войну в Финляндии, вырезав всех красных финнов, затем бросал десантные группы в Карелию, стараясь поднять там восстание.

Специально для защитников Маннергейма публикую обращение этого "русского генерала". В 1918 году он писал:

"Воззвание ко всем рабочим Финляндии!

Большинство из вас — честные люди, которых принуждением заманили в ряды красной гвардии бандиты и смутьяны. Заканчивайте это, выйдите из безнадежного сражения, которое приведет к гибели вас и ваши семьи.

Ложью завели вас на неверную дорогу, и вы это видите теперь, когда наши победоносные войска приближаются к вам по всех сторон. Вы еще можете спасти свою жизнь, если сдадите ваших руководителей и оружие. Достаточно пролито крови граждан из-за бунта красных русских свиней"...

Верховный главнокомандующий войсками Финляндии

Генерал Маннергейм..."

После победы белой армии в Финской гражданской войне весной 1918 года был приказ Маннергейма "Клятва меча". Он сказал: "Я не вложу меч в ножны, пока народы Карелии не будут свободны от ига большевизма". Он был обеими руками за экспансию Финляндии и присоединение к ней Республики Карелии. В 1919–1922 годах он никоим образам не противостоял военным экспедициям — вторжению в Карелию финских добровольческих отрядов. В 1941 году финская армия не остановилась у границ 1920 года, взяла Олонецк, Медвежьегорск, форсировала Свирь, заняла Подпорожье. Начиная с 1918 года Маннергейм поддерживал отделение Карелии от России и в 1941 году это осуществил. И только в 1944 году, когда понял, что Советский Союз не будет повержен, от этого отказался.

Глава Администрации президента Сергей Иванов выразился так: "Как говорится, из песни слов не выкинешь. Никто не собирается обелять действия Маннергейма после 1918 года. Но до 1918 года он служил России, и если уж быть совсем откровенным, то он прожил и прослужил в России дольше, чем он служил и жил в Финляндии".

В свою очередь, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал это так: "Действительно, до сих пор личность Маннергейма вызывает споры. Но однозначно совершенно можно сказать, что это личность незаурядная, это личность, имеющая отношение к нашей истории..."

Петербуржцы явно не одобряют решения властей. Они могут оскорбиться тем, что вопреки их воле, вполне ясно выраженной, им навязан мемориал личности, непосредственно участвовавшей в самом страшном событии в истории города — в блокаде, которая унесла почти миллион жизней их предков.

Вспоминаю своего учителя, наставника, давшего мне рекомендацию в Союз писателей, замечательного писателя Дмитрия Гусарова. Он один из зачинателей нашей военной прозы, его роман "За чертой милосердия" — это уже русская классика. Но воевал-то Дмитрий Гусаров в лесах Карелии, и воевал с теми самыми "неоднозначными" финнами, командовал которыми маршал Маннергейм. Если маршал такой хороший, то, может, он и на самом деле "освобождал всю Карелию и город Петрозаводск от этих грязных русских свиней"? То-то этот роман последние годы не переиздают. Не с теми врагами воевал Дмитрий Гусаров, надо было сдаться?

И вообще, как теперь в моей родной Карелии отмечать День победы, если ее оккупировали, а затем и освобождали именно от благородных финнов? Кстати, в том же Петрозаводске тоже давно уже иные чиновники носятся с идеей памятника Маннергейму, сейчас их еще эта мемориальная доска подхлестнет.

А вот воспоминания жителей Карелии о периоде оккупации:

— Мне тогда было шесть лет. Отец привез меня в комендатуру по требованию финнов. В кабинете сидели двое в белых халатах. Один держал мои руки

за спиной, а что делал другой, я не видел, только почувствовал жуткую боль. После этого на моем теле на всю жизнь осталось выжженное клеймо в виде буквы V, что значит "vanki", то есть "заключенный, пленный", – так вспоминает годы оккупации бывший житель поселка Ильинский Иван Молостовкин.

– Мы с матерью были обязаны ходить на работы, назначенные финскими властями, пилили лес по два кубометра в день. Работали по двенадцать часов, едва ноги переставляли от голода – кроме 300 граммов муки, другой еды не было. Смешивали с мукой солому, опилки и пекли хлебцы. Первое лето ходили за грибами и ягодами, а потом, когда в лесах объявились партизаны, финны запретили и это. Нарушителей режима лишали и без того скудного пайка или сажали в кутузку, – рассказывает еще один свидетель событий военных лет, живший тогда в поселке Кузаранда, Владимир Мухин.

Подобные воспоминания до сих пор не дают покоя тысячам жителей Карелии, пережившим финскую оккупацию. Они бы и рады забыть, но события последних лет вновь разбередили старую душевную рану. Сначала карельские суды с подачи властей Карелии лишили сотни бывших узников статуса и льгот, мотивируя это тем, что жители оккупированных территорий не имеют права причислять себя к узникам. На судебных процессах стариков доводили до слез выступления чиновников, уверявших, что в оккупации было не так уж и плохо – кормили, платили за работу. Мол, за что вам давать льготы?!

Очередным ударом по чувствам стариков стала растиражированная в СМИ идея об установке в Петрозаводске памятника финскому генералу Густаву Карлу Маннергейму, возглавлявшему армию Финляндии во время войны и воевавшему на стороне гитлеровской Германии. С такой инициативой выступил председатель комиссии по внешним связям Петрозаводского городского совета Владислав Грин. Он предложил установить памятник Маннергейму в центре поселка Шуя и приурочить это событие к дню рождения финского генерала. Поражает, что с подобными идеями и в Петрозаводске, и в Москве, и в Петербурге выходят не финны, не карелы, Мединские и Грины – им-то что надо?

Теперь по поводу слов о том, что "никто не собирается обелять действия Маннергейма после 1918 года. Но до 1918 года он служил России, и если уж быть совсем откровенным, то он прожил и прослужил в России дольше, чем он служил и жил в Финляндии..."

Замечательно, тогда давайте, выскажемся и по поводу "смелого и храброго" советского генерала Андрея Власова, не будем обелять его действия в составе войск Вермахта, но до этого он служил Советскому Союзу, защищал Москву. Не пора ли в центре Москвы поставить памятник одному из ее спасителей? Если уж быть откровенным, то генерал Андрей Власов неплохо служил и неплохо воевал, и в Китае, и в других местах, дольше, чем он служил Гитлеру. Можно вспомнить и других, ту же бригаду Каминского, которая, между прочим, освободила от немцев Прагу, – уже позже туда вошли советские войска. Может, забыть о его службе у немцев и дать звание Героя России? У каждого из коллаборационистов и союзников Гитлера были и иные периоды. Но самое главное, вспомним и будем почитать прекрасного талантливого австрийского художника Адольфа Шикльгрубера, мы же не будем обелять его действия в сороковые годы, но в двадцатые и даже в тридцатые в его жизни было много достойного. Не пора ли в Австрии ставить ему памятники? Можно и в России, он высоко ценил русскую живопись и литературу.

После этого скандального на весь мир жеста с памятной доской русскому генералу Маннергейму даже неудобно что-то возражать нашим братьям украинцам, возвеличивающим своих национальных героев Степана Бандеру и Романа Шухевича, они, как и Маннергейм в Финляндии, всю жизнь сражались за ридну неньку Украину.

Слава героям! Героям слава!

Больше всего меня поразил почетный караул при увековечении памяти Маннергейма. Завтра этот караул будет увековечивать генерала Власова, Розенберга, всех, кого прикажут. А где воинская честь?

Пишет в интернете один старый петербуржец: "У меня родня от голода погибла в блокаду Ленинграда. Маннергейм – фигура не спорная для тех, кто погиб от голода и бомб. Он руководил блокадой на Финском направлении, жал руку Гитлеру, подарки ему отправлял, точка. У него есть заслуги перед Финляндией, финской государственностью – там ему памятники стоят, помнят его там и чтут. В России он получил знания и военный опыт, который использовал

после против Советского Союза (России). В городе-герое Ленинграде (Петербурге) подобное кощунство над памятью, смертями соотечественников вызывает гнев. Товарищам Мединскому, Чурову (он фанат Карла Густавовича), Иванову и прочим надо заниматься своей работой, а не чёрт знает чем. Лучше сидели бы дальше и ничего не делали, чем устраивать подобное. Надеюсь, как горожанин, это "сокровище" исчезнет. Как можно скорее..."

Кстати, это не только я подметил. Читаю в интернете: "...Еще одно последствие героизации Маннергейма – это утрата Россией морального права делать замечания "украинским партнерам" за героизацию Бандеры, Шухевича и Коновальца. Ну, фашисты. Ну, пособники Гитлера. Ну, проводили нацистский геноцид. И что с того? Что вы теперь, русские, можете сказать в свое оправдание? Не в наше, а в своё?"

Возразить нечего.

Обелителям финского маршала приведу один из документов из семитомника о Нюрнберском процессе: "Показания полковника гитлеровской армии Хорста Кичмана, бывшего военного атташе в Финляндии, от 27 декабря 1945 г. // Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: Сб. материалов в 7 т. / Под общ. ред. Р. А. Руденко. М, 1958. Т. II. С. 660–662:

"Когда в ноябре месяце 1941 года я посетил генерала Тальвелла в его штаб-квартире в районе города Аунос, он в беседе рассказал мне, что по личному поручению маршала Маннергейма он еще в сентябре 1940 года одним из первых установил связь с германским верховным командованием в деле совместной подготовки нападения Германии и Финляндии на Советский Союз. Как сообщил мне далее фон Альбедилл, в феврале или марте 1941 года в ставке Гитлера происходили дальнейшие переговоры о планах подготовки нападения и ведения войны против Советского Союза. В этих переговорах участвовали начальник Генерального штаба вооруженных сил Финляндии генерал-лейтенант Гайнрихс и представитель того же штаба генерал-лейтенант Эквист. Таким образом, в результате переговоров, начатых с сентября 1940 года между правительствами Германии и Финляндии, а также их верховным командованием, было достигнуто полное согласие о совместной практической подготовке к войне против Советского Союза, что, как известно, в июне 1941 года было осуществлено путем вторжения германских и финских войск на территорию СССР. В октябре 1941 года второй помощник германского военного атташе в Финляндии майор Шлютер в беседе сообщил мне, что командир 163-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Энгельбрехт в начале июня 1941 года, еще до начала военных действий на Восточном фронте, прибыл из Норвегии в Финляндию для подготовки к операциям против русских войск и захвата полуострова Ханко. За несколько дней до начала войны войска дивизии Энгельбрехта уже были переброшены через Швецию в район полуострова Ханко. В конце 1942 года, на приеме у германского посла в Финляндии фон Блюхера, я встретился с начальником германской военной миссии в Финляндии генералом от инфантерии Эрфурт. В присутствии Блюхера Эрфурт рассказал мне о том, что еще за 14 дней до начала военных действий против Советского Союза он по приказанию германского генерального штаба прибыл в Хельсинки в гражданской одежде для связи со ставкой Маннергейма. Финский генерал-лейтенант Эквист в то же время с такими же целями был командирован в Берлин в качестве начальника финской военной миссии при ставке Гитлера. Говоря о миссии немецкого генерала Эрфурт в Финляндии, фон Абельдилл рассказал мне, что на совещаниях между представителями германского и финского командования в первой половине июня 1941 года по вопросу подготовки нападения на Советский Союз, кроме генерала Эрфурта, принимали участие генерал-полковник фон Фалькенхорст, позднее командующий немецкой лапландской армией в Финляндии, и его начальник штаба генерал-майор Бушенхаген. Перед отъездом в Финляндию я познакомился в Берлине с отчетными материалами германского военного атташе в Финляндии Россинг, из которых установил, что он не только являлся участником и организатором тайных переговоров, но был в курсе всех практических планов и мероприятий по подготовке нападения на Советский Союз, так же, как и германский военный атташе в Финляндии, содействовал своим участием в осуществлении их."

На мой взгляд, увековечение маршала Маннергейма, как белого генерала, связано с общей попыткой нынешнего режима однозначно встать на сторону белых сил. Недаром фанатик белого движения Владимир Чуров так старается. Установка мемориальной доски Карлу Маннергейму – явление знаковое.